

SEATTLE PUBLIC LIBRARY



0 01 00 4141116 5

КАБАКОВ

ВСЁ
ПОПРАВИМО

ВАГРИУС

Александр
КАБАКОВ

**ВСЁ
ПОПРАВИМО**
хроники частной жизни

Москва Вагриус 2005

УДК 882-31
ББК 84(2Рос=Рус)6
К 12

В оформлении переплета
использован фрагмент картины А.Бородина «Ку-ку»

Дизайн — Т.Костерина

Кабаков А.А.
К 12 Всё поправимо: хроники частной жизни. — М.: Вагнус,
2005. — 480 с.

ISBN 5-9697-0091-6

Герой романа Александра Кабакова — зрелый человек, заново переживающий всю свою жизнь: от сталинского детства в маленьком городке и оттепельной (стиляжьей) юности в Москве до наших дней, где сладость свободы тесно переплелась с разочарованием, ложью, порушенной дружбой и горечью измен...

УДК 882-31
ББК 84(2Рос=Рус)6

Охраняется законом РФ
об авторском праве

ISBN 5-9697-0091-6

© А.Кабаков, автор, 2003

И идут дни за днями, сменяется день ночью, ночь днем — и не оставляет тайная боль неуклонной потери их — неуклонной и бесплодной, ибо идут в бездействии, все только в ожидании действия и — чего-то еще... И идут дни и ночи, и эта боль, и все неопределенные чувства и мысли, и неопределенное сознание себя и всего окружающего и есть моя жизнь, не понимаемая мной.

Иван Бунин

Пролог. Дом престарелых.

Теперь, когда все уже ясно и кажется, что по-другому и не могло случиться, да и не имеет никакого значения, как могло бы случиться, потому что все уже произошло и будет идти дальше, как идет, и ничто не остановит эту колесницу, пока не изотрется ось, и не разлетится все к чертовой матери, и не рухнет вон с дороги в овраг, и не пронесется мимо новый экипаж — теперь я пытаюсь понять, как же мы жили тогда, как доживаем теперь.

Мне, собственно, и делать-то уже больше нечего, кроме как пытаться понять. Им пока нет нужды, они еще гонят всюю, не думая о силе трения, победившей нас и уже их предупреждающей еле слышным сквозь грохот гонки скрипом. Они уже знают, конечно, что трение побеждает всегда и на финиш приходит без соперников, но им не до этого, да и нет давно тормозов.

Я же хочу увидеть нас там, на скрывшемся в пыли старте, в бешенстве соперничества, на последних кругах, разглядеть очертания исчезнувшего навсегда и понять, на каком повороте вырывается вперед и уходит, увеличивая отрыв, будущий победитель — и когда переворачивается и, разбрасывая колеса, летит кверху тормашками в огне и грохоте.

Я просыпаюсь тяжело и лежу несколько минут, вспоминая, что еще жив — ночь прошла без сна, болела, как всегда, нога, и только лиловый рассвет дал недолгий покой. Потом я откидываю одеяло и с отвращением рассматриваю в свете ночника рваные шрамы над левым коленом. Да, повезло — обе пули вошли в мягкое.

Натянув тренировочные штаны и сунув щетку в футляре в карман теплой куртки, тихо встаю и иду чистить зубы — дай Бог здоровья моим ребятам, все платят и платят за приличную богадельню, на две комнаты сортир с душем. Ожидая очереди — послеинсультный сосед, с которым делим умывальку, встает рано и копается долго, а потом еще долго мычит, извиняясь, — я рассматриваю себя в высоком зеркале, зачем-то повешенном в нашем общем тамбуре. Огромный, нелепый, с косою бородой седыми клочками, становлюсь все больше похож даже не на Льва Толстого, а на глупый, несоразмерно большой памятник низкорослому графу. Бороду надо бы подстричь, да лень возиться, корячиться перед зеркалом, заглядывая искоса.

За седыми космами, за редким пухом вокруг плечи во всю голову, за глубокими складками и мелкими бумажными морщинами вокруг набрякших подглазней, за косо выпирающим под самой грудью животом я пытаюсь разглядеть мальчишку, похожего на маленького японца, с тощими руками и ногами-палочками, юного пижона с блестящим пробритым пробором, огромного тяжелого мужика с неизменным выражением упрямого презрения к миру на уже слегка оплывшем лице...

Ничего не видно. Смотрит в зеркало, напряженно щурясь, высокий обрюзгший старик. Увидеть их всех удастся только ночью, лежа без сна с закрытыми глазами, прислушиваясь — спокойно ли дышит? — к иссякающей рядом жизни.

Что ж, дождусь ночи.

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава первая. Утро.

Отцу Мишка не придавал большого значения. Планируя свои действия и оценивая их предполагаемые результаты, Мишка почти не учитывал возможность отцовского вмешательства в ход событий. С точки зрения практической, мать была куда важнее, реально влияющие на жизнь вещи находились в полной ее власти. Притом представлялось совершенно очевидным, что сама по себе, в одиночку, мать существовать не может, она абсолютно зависит от присутствия в мире отца. Но зависимость эта была настолько же неявной, насколько естественной. Так живущий в современном мире человек зависит от подачи электричества, заводской выпечки хлеба и работы общественного транспорта, но не осознает этого в каждый миг, поскольку пока все идет нормально, он чувствует только свою подчиненность начальству, страдает от нехватки денег, боится сильных врагов и, если уже испытал, болезней, но никак не холода, тьмы, бескормицы, непроезжих пространств — словом, как раз того, что действительно страшно, не боится.

Отец, Леонид Михайлович Салтыков, работал заместителем главного инженера на производстве п/я 12, то есть

на военном заводе при большом, всесоюзного значения лагере, а мать, Салтыкова Мария Ильинична, никем не работала, как почти все женщины в городке, сидела дома, варила любимый Мишкин суп из пестренькой фасоли, мыла дощатый, рыжей блестящей краской крашенный пол и читала книжки.

Утром Мишка выходил из дому вместе с отцом.

Начищенными до теплого блеска сапогами отец ступал, не выбирая, куда, но грязь, тугая желтая глина, тяжелой каймой облепавшая Мишкины галоши, на отцовы сапоги не цеплялась, он шел, будто по воздуху.

Обычно Мишка, рано встав, быстро умывшись (постоял в ванной, намочил зубную щетку, пригладил мокрой рукой челку, украшавшую почти наголо стриженую голову, помял мокрыми руками свежее вафельное полотенце) и надев лыжные байковые штаны-шаровары с застегивающейся манжетой внизу и двухцветную куртку-бобочку, низ из отцовых старых синих галифе, верх из материнной клетчатой серо-черной юбки, молния с поводком-цепочкой от какой-то износившейся тряпки еще из американских посылок (или серую, из тонкого «пионерского» сукна форму, китель со стоячим воротником и латунными пуговицами с гербом и длинные штаны со стрелкой, но форму Мишка не любил, потому что в школе тех, кто ходил в серой форме, называли фашистами, а те, кто ходил в школу из села, форму вообще никогда не носили, потому что у сельских на нее не было денег), до завтрака наблюдал процесс подготовки к этому выходу.

В полосатых лилово-кремовых пижамных штанах и голубой майке в рубчик с отвисшими от узких бретелек проймами отец босиком выходил на деревянную, еще сыроватую после мытья лестничную площадку и располагался там со всем имуществом — с заточенной щепкой для отдираания засохшей грязи с ранта и подошвы; с плоской, тяжело, с подковыриванием, открывавшейся круглой банкой подсохшего и от краев банки отошедшего гуталина; с вытертой и слипшейся щеткой для намазывания и пушистой, с хорошо отполированными желобка-

ми в ручке, расчисткой; с сапогами, которые нес за матерчатые петельки, вытащенные из голенищ. Чистка занимала ровно пятнадцать минут, не больше, но не меньше, и заканчивалась теплым сиянием, с которым от тупоносых головок и расправленных голенищ начинало исходить это самое тепло, не позволявшее грязи приставать к полированному хрому. Мышцы на тощих руках отца натягивались и сокращались, а под голубой вязкой майки дергались и сжимались, и сияние проступало, загоралось, начинало греть...

Потом сапоги, дружно свесив набок халявки, становились в угол прихожей, а отец садился на табуретку посреди кухни с кителем на коленях и соответствующим набором на краю кухонного стола — с прямоугольной фибровой дощечкой, прорезь в которой имела форму огромной и грубо воспроизведенной замочной скважины, пузырьком бурой взвеси под названием «асидол» и байковой тряпочкой, отрезанной от старой портянки. Правую переднюю полу кителя отец собирал в гармошку так, что все пять латунных пуговиц с выпуклыми звездами помещались в горсть, после чего каждая просовывалась в широкую часть прорези-скважины и сдвигалась в узкую, так что в конце концов все пять оказывались стиснутыми в ряд в узкой части прорези, отец ронял на каждую по капле «асидола» и начинал растирать его и полировать все вместе тряпочкой и доводить каждую пуговицу до блеска круговым движением, и зеленоватая латунь загоралась. В завершение еще влажной тряпочкой он проходил по майорским звездам на серебряных инженерских погонах и стряхивал выпавшие из «асидола» крупинки мела с ткани. Иногда после этого отец заставлял Мишку снять его китель и тоже начистить пуговицы.

Наступала очередь подворотничка. Резким и ровным рывком отец отдирает от куска чуть замахрившегося по краям полотна длинную и узкую полоску, ровно складывает ее по длине вдвое, со второй или третьей попытки вдергивал в иглу длинную белую нитку и непрерывным волнообразным движением в один момент приметывал ленту верхним краем, складкой, к сатиновой изнанке кительного воротника, так что ровно миллиметр оставался над воротником. Потом этот

миллиметр врезался в навеки загорелую отцову шею, и уже никогда с тех пор Мишка не видел мужской одежды и мужской шеи красивее. А Мишке подворотничок пришивала мать с вечера.

Под конец сборов отец раскладывал на столе старый, истертый шинельный отрез, которым зимой укрывались для тепла поверх атласного одеяла в прошвенном пододеяльнике, нес с плиты маленький тяжелый утюг с обернутой ватином тонкой ручкой и приступал к бридгам. Синие коверкотовые — бостоновые полагались от полковника, — бриджи лежали на столе распяленным гигантским цыпленком. Сначала отец через кусок марли отпаривал пузыри на узких коленях, потом переворачивал штаны задом кверху и долго водил над марлей, покрывавшей этот блестящий вытертый зад, утюгом в облаке огненного пара. Мишке брюки отец гладил, заглаживая бритвенно острую стрелку раз в неделю сам, чтобы Мишка утюгом не ошпарился.

Погладив брюки, отец сразу начинал одеваться. Мгновенно сбрасывал пижамные штаны и, оставшись в синих очень широких трусах, стоя, с невероятной ловкостью просовывал тонкие жилистые ноги в узкие нижние части бриджей, вздергивал их доверху, так что стеганый высокий корсаж долезал почти до подмышек, и стягивал его сзади вороненой зубастой пряжкой, прикусывавшей матерчатый хлястик. После этого, шлепая нижними завязками штанин по полу, он шел к шкафу, брал из узкого, бельевого отделения выстиранную и выглаженную матерью пару чистых портянок и садился обуваться на маленький, будто игрушечный венский стульчик, ранее принадлежавший Мишке, а теперь стоявший в прихожей.

Подложив уголок портянки под большой палец, он мигом оборачивал всю ногу поверх бриджей почти до колена полотном, так что получалась плотная и даже твердая упаковка (Мишка уже тоже почти так умел), подсовывал верхний кончик внутрь, закрепляя сделанное, и вбивал ноги по очереди в туго наползавшие голенища.

За все это время мать на кухне успевала пожарить на керогазе картошку тонкими, с заворачивающимся краем ломтика-

ми и блестящие жирным тусклым блеском котлеты — отцу две, Мишке одну. На кухне стоял легкий синеватый масляный угар, на клеенку норовила присесть озверевшая поздняя муха, избежавшая липучки, винтом свешивавшейся с середины потолка, полные материны руки в сочинском, уже выцветшем загаре двигали тарелки, черная сковородка утверждалась на проволочной подставке. Отец и Мишка быстро завтракали, отец запивал чаем из большой своей кружки с украинскими цветами, а Мишка чаю не пил, только съедал два куска рафинаду.

Потом выходили из дому, переходили грязную дорогу, шли вдоль кирпичного забора с еще одним проволочным забором по верху кирпичной кладки, в небо. Сизое ледяное небо конца октября, рассеченное узловатыми линиями колючки, летело, уплывало, непрерывно меняя само себя, раздвигалось, обнаруживая новое небо — такое же.

За углом отец поворачивал к КПП, предварительно приронувшись к Мишкиному затылку под кепкой, над самой шеей, — прощался до вечера, а то и до конца недели, если была неделя дежурства, а Мишка шел дальше, до конца забора, переходил еще одну дорогу, асфальтовую, по которой иногда шли колоннами машины, впереди «додж» три четверти с брезентовой кабиной, потом «студебеккеры» с наглухо задраенными тентами длинных кузовов, потом еще два «доджа» и один командирский ГАЗ-67, «козлик» с трубчатым каркасом, на который была натянута выцветшая брезентовая крыша, отчего машина почему-то напоминала Мишке аэроплан летчика Уточкина.

В коротких кузовах «доджей» ехали по восемь солдат с новыми удивительными автоматами — ствол без дырчатого кожуха, а как у карабина, штыки откидывающиеся, под прикладом ручка, как у нагана, а магазин длинный, плоский и изогнутый, как слоновий бивень. Автомат — Мишка однажды слышал — называется «ака».

Что везли в «студебеккерах», узнать было нельзя. Некоторые мальчишки говорили, что в них везут на смену заключенных, а другие считали, что секретные детали, из которых на заводе делают секретное оружие.

А из «козлика» отцу, улыбаясь во все сверкавшие мелкие зубы, отдавал честь знакомый капитан дядя Лева Нехамкин. Он прикладывал широкую руку к малиновому околышу голубой фуражки, а отец, стоя у проходной и приложив худые и кривоватые пальцы к черному бархатному, тоже улыбался, открывая длинные желтые зубы и даже темно-розовые десны, но смотрел не на капитана, а на Мишку, ждал, пока сын, пропустив колонну, перейдет дорогу и помчится, размахивая портфелем и серым сатиновым мешком для калош, в котором пока лежали тапочки для физры, уже по прямой к двухэтажному, из белого кирпича, бараку школы.

На крыльце школы, возле правого гипсового шара, скрываясь за ним от возможного взгляда из директорского окна, Мишку ждал Игорь Киреев. Круглое его, зеленовато-бледное от конопатин лицо, из которого клювом высовывался длинный и острый, красный от вечной простуды нос, как всегда, выражало испуг и презрение одновременно.

— Шух не глядя, — говорил Киреев, спрятав обе руки за спину. Портфель и мешок со сменкой валялись у его ног, прислоненные к вымазанным глиной маленьким, сшитым на заказ яловым сапогам — галош у него не было. В руках он мог держать что угодно: запрещенное для письма, поскольку без нажима, серо-стальное перо «рондо» или даже тоненькое чертежное; суставную телячью кость с залитым в просверленную посередине дырку свинцом — битую для игры в альчики, как по-местному назывались бабки; микрокопическую колесницу, скрученную из тонкой трансформаторной медной проволоки, с запряженной в нее посредством прокалывания спины проволочным крючочком мощной мухой, тихо жужжавшей и готовой к гонкам по парте... Словом, угадать было нельзя.

— С разменом, — на всякий случай осторожно отвечал Мишка, сжимая в левом кармане, чтобы, не дай Бог, не вынуть как-нибудь нечаянно, немецкий складной ножик в серебряной чешуйчатой ручке, похожий на мелкую рыбку, вынешь — у Киреева потом обратно фиг разменяешь. В левом еще лежала немецкая лупа, а в правом болтались оловянный, немного облупленный солдат с розовым лицом под круглой зе-

ленной каской с красной звездой и с оловянным аккуратненьким автоматом ППШ в оловянных, слишком коротких руках; серая резиновая пробка от пенициллинового пузырька, ни на что вообще-то не годная; черная лакированная трубочка без обеих, и для пера и для карандаша, пишущих вставок, но потому ценная еще более — она уже могла использоваться только по одному, главному назначению: чтобы плевать сквозь нее жеваной промокашкой или дробленным горохом, если его принести из дому... Мишка опускал руку и в этот карман, но вытаскать не спешил, чтобы как-нибудь исхитриться и открыться вторым. Киреев ждал.

— С разменом, — отвечал Мишка и вытаскивал пробку в правом кулаке, но Киреев вытаскивал из-за спины две фи-ги, а драться с ним уже не было времени, да и повод был не такой, чтобы рисковать прямо на крыльце, в двух метрах от окна директорского кабинета.

С Киреевым никто не дружил, а Мишка не то чтобы дружил, но все ж таки вместе построил штаб в зарослях высокой кустообразной темно-зеленой травы, заполонившей весь городок и называвшейся вениками, а другого названия никто не знал. Штаб пристроили к задней стене длинных, нарезанных на отсеки по квартирам сараев, стоявших напротив дома. Притащили большую крышку от так называемой упаковки — эти большие ящики из хороших, плотно подогнанных досок, покрашенных гладкой защитной краской, многие офицеры привозили домой для всяких домашних деревянных поделок. Внутри ящики были разделены толстыми фанерными перегородками на длинные узкие ячейки, и весь этот материал шел в дело, отец по воскресеньям, устроившись на лестничной площадке, понемногу пилил, свинчивал шурупами, и из одной упаковки получались три полки для посуды, к примеру, или для книг — голубой подписки Жюль Верна, зеленой Бальзака, темно-синей Толстого Алексея и серой, приходившей в книжный бесконечно, год за годом, Толстого Льва. Но большую крышку от одной упаковки, обитую снизу промасленной бумагой, Мишка однажды почти незаметно утащил, а Киреев помогал нести. Из нее сделали косую крышу штаба, а для подпорок с высокой стороны Киреев притаранил

длинные тонкие бревнышки, заготовленные его отцом для крепления поленницы, — Киреевы жили не в кирпичном двенадцатиквартирном, а в финском доме на две семьи и топили дровами. И получился в вениках отличный штаб, так что сидеть в нем можно было не сгибаясь, а по бокам Мишка с Киреевым сделали стены из половинок кирпичей, которые вечером, в синих сумерках, под дождем, украли на стройке Дома офицеров.

И поскольку у них был общий штаб, считалось, что Мишка с Киреевым дружит, хотя Мишке просто было стыдно так же гонять от себя Киреева, как другие гоняют. Киреева все называли только Киреевым, даже не Киреем и не Кирей, и он этим не огорчался, особенно глядя на Мишку, который из-за своего прозвища — Салтычиха — был вынужден постоянно драться. А Киреева все называли по фамилии, но гнали вон, потому что из его длинного клюва постоянно текло, сопли он обтирал рукой, а руку вытирал обо что попало, чаще всего об стенку, и за это каждый проходящий, даже девчонка, молча давал ему по шее. Из-за соплей он дышал открытым ртом, а изо рта у него пахло каким-то особенным противным запахом — не гнилыми зубами, а как будто сырым мясом, и поэтому тоже все его гоняли. А Мишка гнать его из-за запаха и соплей стеснялся, и они с Киреевым сидели в штабе, сначала Мишка рассказывал «80 тысяч километров под водой», которые раньше назывались «20 тысяч лье под водой», и «Таинственный остров», а потом Киреев рассказывал, как они с отцом, матерью и сестрой живут дома.

Жили они, на Мишкин взгляд, странно и даже противно.

Во всяком случае, от того, что рассказывал Киреев, Мишку подташнивало, как от запаха паровозного дыма, но он Киреева почему-то не только не прерывал, но слушал очень внимательно, молча глядя в сторону и не упуская ни слова.

Киреев рассказывал, что летом дома, когда никто их не видит, вся семья ходит голой, совершенно без одежды. Это придумала Киреева мать, работавшая — в отличие от других матерей она ходила на работу, а не сидела дома — мед-

сестрой в солдатском госпитале. Киреева мать говорила, что тело должно дышать, а стесняться ничего не надо, потому что они родственники и все равно когда-то раньше видели друг друга голыми. Мишка вспоминал, что он иногда видел в бане, куда ходил, когда отключали воду, с отцом, и что однажды с мальчишками подсмотрел сквозь мутные стекла в той же бане в женский день, балансируя на поставленном ребром ящике от китайских мороженных яблок, и его мучило, как от паровозной угольной гари. Он представлял Киреева отца, низенького пожилого старшего лейтенанта, который был в части Мишкиного отца секретчиком, с рыже-седым жестким чубом, с короткими толстыми ногами; Киреева мать, худую, высокую, широкую в кости, с обтянутыми скулами и выступающим губастым ртом; Киреева сестру, толстую, носатую и круглолицую, одно лицо с самим Киреевым, семиклассницу; самого Киреева, в конопатинах по всему телу и с соплями под носом... Он представлял, как все у них висит и болтается, его тошнило, он смотрел в сторону и внимательно слушал.

А Киреев рассказывал, как его сестру отец порет узким брючным ремнем за круглые двойки — она уж и так сидела в шестом классе два года и теперь наверняка сядет в седьмом на второй. И когда отец ее порет, привязанную бельевой веревкой к кровати и с завязанным полотенцем ртом, то у него уже не болтается, а встает и стоит, двигаясь из стороны в сторону, как пушка линкора, а мать смотрит и стонет, как будто это ее порют, а сестра один раз обмочила всю кровать, так что потом они с матерью стирали всё и тюфяк у печи сушили, а самому Кирееву было сказано, что если он в школе или вообще кому-нибудь про это рассказывать будет, то отец его просто убьет. Но Киреев вот все-таки рассказывал Мишке, и Мишка молча удивлялся не только всему рассказанному, противному, конечно, до тошноты и страшному, но и смелости Киреева, потому что уже давно понял, что за такой рассказ действительно надо убить, особенно если все правда.

Потоптавшись на школьном крыльце и поругавшись с Киреевым из-за подлого шуха, Мишка пошел с ним в школу, раздеваться и менять обувь в раздевалке.

Протиснувшись среди сырых пальто — многие были сшиты из бесплатного отцовского шинельного сукна, а некоторые даже и сохраняли следы шинельного кроя — и усевшись на дальний, скрытый за одеждой подоконник, переобулись. Мишка просто поставил галоши под пальто, а мешок с чешками для физры взял с собой в класс, чтобы там перед четвертым уроком их надеть. Кроме того, мешком было удобно кого-нибудь лупить на большой перемене, хотя, конечно, в ответ можно было получить и просто портфелем с пеналом и книгами. А Киреев стащил сапоги, прямо грязные сунул в тот же мешок, в котором притащил тапочки, тапочки сразу надел поверх мятых и мокрых носков, а мешок взял с собой, чтобы сапоги, которыми он страшно задавался, в раздевалке не украли. И драться сапогами в мешке было мирово.

Тут пришла техничка Валька, очень толстая тетка лет восемнадцати. Еще в прошлом году она сама училась в школе, ходила через пустырь из села в городок, но доучилась на натянутые тройки по два года в каждом классе только до седьмого и пошла работать техничкой.

Валька просунулась между пальто и сделала мальчишкам страшную морду — оттянула указательными пальцами нижние веки, а средними, заткнув их в ноздри, задрала нос.

— Дура, — сказал ей Киреев и попытался схватить за огромные шары груди. — Лучше дай за буфера подержать.

Девушка открытой ладонью молча щелкнула Киреева по стриженному под ноль затылку, так что звон пошел по раздевалке, и снова сделала морду, внимательно глядя на Мишку. Мишка пожал плечами и усмехнулся.

— Ты, Валька, правда, дура, — сказал он с некоторой натугой, потому что, во-первых, он стеснялся так говорить старшим, даже действительно известной дуре Вальке-техничке, и, во-вторых, опасался, что она и ему навешает. — Ты лучше пальто стереги и галоши.

Мальчишки протиснулись между вешалкой и Валькой, причем Киреев схватил-таки ее за буфера, и побежали в буфет за компотом и слойками.

В буфете уже было много первоклассников, а среди них возвышались Надька и Нина.

Надька, как всегда, смотрела в пол, косо наклонив голову. Синие фурункулы на ее щеках переливались в утреннем сером свете из высоких окон, в глубоких ямах от заживших нарывов лежали тени — или, может, там уже скопилась черная грязь для новых воспалений. Нина, как бы никого не видя, оглядывалась по сторонам, ее желтая толстая и короткая коса при этом ползала по коричневой спине форменного платья, переkreщенной черными широкими лямками фартука, а в желтых глазах блестели искривленные отражения окон — как в стекле. Киреев и Мишка, растолкав малышню, как положено шестиклассникам, встали рядом с девчонками, немного сбоку и впереди, чтобы было видно, что они, конечно, влезли без очереди, но чтобы девчонки не очень обиделись и могли взять слойки и компот первыми. Никто ни с кем, естественно, не здоровался, но Мишке показалось, что все — и Надька, понятно, и Киреев, от которого вообще не спрячешься, и даже первоклассники стали смотреть на них с Ниной, заметив, как она не смотрит на него, старательно скользя глазами по голубой масляной краске стен, по сизо-белой, в трещинах, побелке потолка, по светлым окнам, и как он не смотрит на нее, вытягивая шею и заглядывая за прилавок, где в большом чане громоздились оранжево-коричневые, облепленные сахарным песком слойки и колыхался в огромном ведре с краном внизу зеленовато-соломенный компот, в котором плавали лодочки разваренной кураги.

Вчера вечером Мишка гулял с Ниной до половины десятого и едва избежал скандала дома.

Они долго молча ходили в сизых сумерках, когда видно хуже, чем в полной темноте, вокруг строящегося много лет Дома офицеров, вернее, вокруг кирпичных штабелей и гигантской лужи, вечно стоящей в яме фундамента. По этой луже в апреле, когда она растаяла, мальчишки плавали на плотках — приспособленных для этого больших дверях, валявшихся обычно за кирпичами, и Генка Бойко с Толькой Оганяном перевернулись, Мишка с Киреевым вытаскивали их досками и вытащили, Генка и Толька тряслись, паль-

то их сразу замерзли и встали колом, а они боялись идти домой, попросились в вагончик-коломбину к солдатам-строителям, там разделись и сохли возле железной печки-бочки, а сержант, высокий тощий узбек, смотрел на них, смеялся так, что слезы текли по его черным щекам, и все повторял: «Дюраки, дюраки, мать жёпы бить будет». Сначала Мишка с Ниной ходили вокруг стройки, а когда совсем стемнело и над лужей зажегся большой прожектор, пошли к финским домам, гуляли там между дворами, собаки заходились лаем, а Мишка рассказывал Нине содержание ужасно толстой книги испанского писателя Сервантеса де Сааведры «Дон Кихот», которую только что прочел. Книгу мать взяла в гарнизонной библиотеке, в которой два черных с золотыми надписями тома, напечатанных очень давно, еще до революции, с непонятными буквами и твердыми знаками в конце почти всех слов, оказались неизвестным образом. Мишка быстро научился читать по-дореволюционному и прочел этого «Дон Кихота» меньше чем за месяц. Теперь он пытался рассказать Нине, о чем книга, но получалось плохо, как-то глупо, как будто какой-нибудь «Айвенго» — про рыцарей, и все, хотя «Дон Кихот» был, конечно, не только про рыцарей, но при пересказе все это куда-то делось. Так что в конце концов Нина сказала, что уже запуталась, действительно любил этот Донкий Ход свою Дульсинею или просто сошел с ума, поэтому книгу читать не будет, пусть Мишка ее завтра не приносит. Тут стало совсем холодно, и Мишка с Ниной зашли в тот дом рядом с Нининым, где было ателье мод, в котором шили офицерам шинели, кителя и бриджи, а офицерским женам — жакеты три четверти из серого парадного генеральского габардина с чернобуркой и прямые юбки из синих, сэкономленных мужьями отрезков на бриджи. Ателье уже было, конечно, закрыто, поэтому в подъезде было пусто. Нина встала спиной к батарее, греться, а Мишка молча — и Нина почти не сопротивлялась — засунул руки, как будто греть, под ее пальто, немного расстегнув его, а потом расстегнул и платье под фартуком и засунул руки туда, откуда дышало горячим и шел еле чувствовавшийся запах

мыла, где все двигалось и скользило гладким по ладоням, и тонкие волоски — у Мишки недавно тоже набухла грудь и начали расти волосы под мышками — шевелились между пальцами. Нина молча стащила берет, ухватив его за хвостик, и рукою с беретом обняла Мишку поверх пальто, а Мишкины руки были заняты, поэтому прижиматься было неудобно, но они все равно стали целоваться, крепко прикладывая зубы к зубам.

Теперь Мишка с Ниной не разговаривал, а громко разговаривал с Киреевым, который не выучил ничего по истории, и Мишка быстро ему рассказывал о Кондрате Булавине и Иване Болотникове. Они взяли компот и слойки и сели за зеленые фанерные столы на некрашенные фанерные стулья на железных ногах, продолжая громко разговаривать, так что девочкам за соседним столом все было слышно. Вокруг носились и визжали первоклассники, а Мишка все рассказывал о крестьянских восстаниях и казацких бунтах, Нина пила компот и все крутила головой, глядя поверх предметов, Надька косо смотрела в пол, стараясь незаметно ковырять нарыв на подбородке, Киреев жевал, чавкал слойкой, компот, шумурягая, тянул вместе с соплями и вдруг тихо перебил Мишку.

— А я чего узнал про вас, — сказал Киреев и посмотрел на Мишку с обычным своим выражением испуга, смешанного с презрением.

— Про кого про нас, — с оборвавшимся сердцем спросил Мишка, решив, что вчера Киреев подсмотрел, как они входили или выходили из подъезда, а то мог и в подъезд заглянуть, от него всего можно ждать. — Чего узнал? Ну, говори, а то фиг с два дальше историю расскажу...

Но тут зазвенел звонок, все стали быстро допивать и дожевывать, а на первом уроке был русский, изложение, и так Киреев ничего и не сказал до самой географии.

Глава вторая. Уроки

Географичка Фаина Абдуловна, как и в прошлом году, ходила с большим животом, и было понятно, что до конца года она опять уйдет в отпуск рожать ребенка, а заменять ее

будет кто попало — директор Роман Михайлович, историчка Нина Семеновна или даже Мирра Григорьевна, русский — жопа узкий. Поэтому учить географию и даже просто слушать на уроках не имело никакого смысла, оценки по ней в последней четверти и за год ставили среднетабельные, Мишка все равно получит пятерку, а Киреев — тройку, экзамена же по географии не предполагалось аж до девятого класса. И поэтому на уроках у Фаины, про которую совершенно бесовестный третьегодник Вовка Сарайкин в мальчишеской уборной написал «Хуина Надутовна» и еще нарисовал глупость, хотя Фаина никому ничего плохого не сделала, только кричала и ругалась, — на уроках у нее все делали, что хотели.

Мишка с Киреевым сидели на четвертой парте у окна. Вообще-то Мишка должен был бы сидеть на первой, и, скорей всего, с Надькой, как два классных отличника, но Мишка еще в начале года решительно взбунтовался, мать не особенно настаивала, хотя Киреева, естественно, не любила, а Нину Семеновну, историчку и классного руководителя, Киреев как-то упросил, и теперь они сидели на четвертой, самой лучшей парте в ряду у окон, четвертая была как раз рядом с подоконником, под которым у них был удобный склад в глубокой щели между доской и стеной, толщиной с общую тетрадку. В складе этом можно было держать и запас перышек в бумажке, и проволоку тонкую в моточке, и даже что-нибудь еще более ценное, потому что снаружи щель затыкалась обломком покрашенной голубым штукатурки от этой же стены, так что фиг с два догадаешься, что здесь склад.

— Вчера папка матери рассказывал ночью, — шептал Киреев, глядя прямо перед собой и не шевеля губами, так что Фаина с ее Среднерусской возвышенностью никак не могла ни услышать, ни увидеть ничего, — сначала пыхтели, мне надоело слушать, я и заснул, а потом папка стал рассказывать, я проснулся и все слушал... Про вас. Так все время и говорил: «От Салтыковых теперь подальше держись». Мать обещала мне сказать, чтоб я от тебя отсел, а утром Ольку ругать стала, чтоб посуду помыла, и про меня забыла, а я сразу решил тебе рассказать...

— Что рассказать? — Мишка заорал шепотом, так же неподвижно глядя перед собой. — Что рассказать, что ты врешь все, Кирей? Чего это твой отец ночью про нас говорить стал?

— А того... — Киреев быстро смахнул соплю, вытер руку об стенку и незаметно для себя зашептал громче, так что с третьей парты оглянулась Инка Оганян, Толькина сестра, а Фаина замолчала про каналы и истоки и посмотрела на Киреева с Мишкой, и Киреев сразу заткнулся и сделал внимательное лицо, но, переждав минуту, продолжал еле слышно: — Того, что дядя Коля Носов сдал отцу секретное письмо, а отец его прочел, а в письме написано, что вы, Салтыковы, еврейские шпионы, особенно мать, а вы не заявили про это дяде Коле Носову, поэтому скоро вам будет амбец, а тебя, наверное, отправят в малолетнюю колонию...

В Мишкиной голове все взорвалось и понеслось с криком, как иногда бывало, когда он сидел в комнате один, ел рафинад и учил уроки или просто читал книжку, а в голове начинался крик, как будто там была целая толпа, и все чего-то кричали, не поймешь что, и Мишка не мог этого выносить, вскакивал и начинал бегать по комнате, крик понемногу стихал, но сейчас Мишка не мог встать и начать бегать, он только незаметно под партой пнул Киреева ногой.

— Быстро говори все, Кирей, — прошептал Мишка страшным шепотом, уже не обращая внимания на Фаину, — а то на перемене я тебе так навешаю! Говори...

Однако ничего сказать Киреев уже не успел, потому что ударил электрический звонок и Фаина, так и не успев закончить про то, откуда вытекает Волга, пошла быстро из класса, едва не забыв журнал, держась одной рукой за толстый живот, а другой, с платком, зажимая рот. Все, конечно, тут же повскакали, начали драться и кидаться чем попало, постепенно выпираясь из класса под крики дежурных, потому что наступила большая перемена и из класса всем положено было выйти.

Но Мишка с Киреевым послали дежурных подальше да еще пригрозили, если будут залупаться, мел в чернила сунуть, и остались в классе. Дежурные принесли из девчачьей убор-

ной ведро коричневой воды, заперли дверь изнутри, косо заложив ножку учительского стула в ручку, и принялись возить по полу большой тяжелой тряпкой на палке. А Мишка с Киреевым сели на крышку парты, чтобы не мешать уборке, и тут уж Киреев дошептал Мишке всё.

Он признался, что все слова, конечно, не расслышал, но отец часто повторял фамилию Салтыковых и слово «еврей», потом Киреев услышал целую фразу и запомнил ее дословно, фраза была такая: «Кольке Носову прислали письмо, а он, пока не решил, бумагу мне под номером сдал». Потом Киреев отец опять говорил тихо и неразборчиво, только было слышно про какого-то Кузьму, который не то уже что-то сжег, не то собирается сжечь, из чего Киреев сделал вывод, что Кузьмины, дочь которых Виолетка, или просто Ветка, Кузьмина училась в шестом «Б» и была известна своими огромными даже для десятиклассницы буферами, за которые ее таскали все, кому не лень, а она только улыбалась, как дура, эти Кузьмины тоже евреи и шпионы, а может, и диверсанты, раз собираются сжечь, скорей всего, большой штаб, желтый трехэтажный дом с белыми колоннами и двумя солдатами с автоматами «ака» у входа, стоявший на центральной площади городка, напротив проходной завода, а откуда Киреев вообще взял про шпионов, он не знал, но был уверен, что речь идет именно о настоящем шпионстве, потому что все знали, что майор дядя Коля Носов, высокий, очень худой и бледный мужчина со светлыми длинными волосами, вылезавшими сзади из-под фуражки, именно ловит шпионов, которых засылают американцы, а они стараются пройти на завод или в большой штаб и что-нибудь там разведать или просто взорвать, и раз дядя Коля Носов заинтересовался Салтыковыми и Кузьмиными, то они, конечно, шпионы, только не американские, а еврейские, наверное, потому, что отец Киреева все время говорил о евреях и несколько раз вспомнил Мишкину мать, которая, конечно, точно еврейка, а дома, когда читает или шьет, даже надевает очки.

— Я бы на твоём месте, Мишка, — вздохнул Киреев, рассказав все, — из дому бы лучше убежал, а потом тебя

нашла бы милиция и отдали бы в суворовское или даже в нахимовское.

Ответить на это Мишка ничего не успел, потому что от бесконечных дерганий из дверной ручки с грохотом вылетел стул, дверь распахнулась, с ревом в класс влетел весь шестой «А», тут же загремел звонок, вошла Нина Семеновна и началась история. Несчастливого Киреева, конечно, вызвали первым, он, все еще переживавший свой рассказ, то, что успел услышать от Мишки, забыл начисто, Болотникова назвал Болотиным, Булавина вообще не вспомнил и получил пару, потом Надька все отбубнила, как по книжке, и получила «петуха», потом Нина Семеновна стала рассказывать про Юрьев день, и Мишка как-то отвлекся от ужасных новостей. А после короткой перемены Нина Семеновна не ушла и начался классный час на тему «Кем быть», и Мишка совсем забыл о рассказе Киреева, потому что, пока все вставали и говорили, что хотят быть летчиками, врачами и инженерами по танкам, он задумался, кем действительно стоит быть.

Конечно, ему очень нравилась морская черная, а особенно летняя белая форма, в которой он видел морских офицеров, когда летом они всей семьей ездили отдыхать в Сочи. Отец жил в военном санатории, они с матерью снимали комнату у сестры-хозяйки, мать ходила в цветастом крепдешиновом комбинезоне и босоножках на пробке, Мишка — в черных трусах, чешках с обвязанными вокруг щиколоток шнурками и в тубетейке, отец — в казенной белой полотняной куртке и белой панаме, а вечером на набережной и в ресторане «Украина», куда они иногда ходили обедать вместе с отцом, прогуливающим санаторский обед, они видели морских офицеров в белых кителях со стоячими воротниками, белых наглаженных брюках, белых парусиновых туфлях, начищенных зубным порошком до легкой голубизны, кортики болтались параллельно земле у белых брючных колен, крабы и дубовые листья вспыхивали темным золотом на фуражке в белом чехле. И Мишка обмирал.

Но возвращались из Сочи домой, начиналась школа, шли дожди, и Мишка понимал, что, конечно, моряком ему ни за

что не стать. Потому что попасть в нахимовское шанс был только у сирот или генеральских сыновей, минимум полковничьих, а просто после школы в высшее училище тем более не поступишь.

Поэтому Мишка все чаще задумывался о другой судьбе. В этих мыслях он видел себя обязательно в Москве, идущим домой с работы.

На Мишке голубовато-серый костюм из материи со странным названием «метро», непонятно, какое отношение имеющей к настоящему метро, которое Мишка тоже вспоминал, бронзовых людей на «Площади Революции» и стальные рифленые колонны на «Маяковской», но все перебивала картинка возвращения взрослого Мишки с работы домой. Голубоватый костюм просторно болтается на худом и высоком Мишке, брюки сминаются мягкими складками, ложась на серые летние туфли с желтым рантом, а на голове косо сидит серая мягкая шляпа из тонкого легкого фетра, с голубой широкой репсовой лентой. В одной руке Мишка несет большой портфель из свиной желтой кожи, тисненной под крокодила, застегнутый большим квадратным медным замком, перетянутый ремнями, с прибитым близко к верхнему краю крышки косым зеленовато-серебряным ромбиком с загнутым уголком, а на ромбике выцарапано гравёром «Михаилу Леонидовичу Салтыкову от друзей и сослуживцев». Портфель раздутый и тяжелый, поэтому Мишка идет, перекосившись в одну сторону и слегка даже балансируя другой рукой. А в другой руке он несет квадратную картонную коробку с нарисованной розой на крышке, перевязанную бумажным шпагатом крест-накрест, дно коробки, которую Мишка держит, просунув указательный палец под перекрестие шпагата, слегка провисает. В портфеле большие книги с шершавыми цветными картинками под папиросной бумагой, узкие длинные деревянные коробочки с мелкими стальными отвертками и молоточками — инструментом, а еще конфеты «Ассорти» с оленем, бутылка вина «Шатикем» и в двух слоях коричневой бумаги, из которых уже и верхний начинает промасливаться, языковая колбаса

с шашечками печенки и жира на срезе, от которой уже весь портфель полон елисеевским запахом. А в коробке лежит мороженный торт.

И сейчас Мишка придет домой — свернет в переулок, а мальчик будет смотреть сверху, осторожно, пока никто из взрослых не видит, высунувшись в открытое окно пятого этажа, а Мишка войдет в сырой подъезд и начнет, немного пыхтя, подниматься по лестнице, потому что на четвертом кто-то бросил лифт незакрытым, а наверху уже щелкнет замок и откроется дверь, и мальчик будет его ждать на площадке, возьмет из руки торт и понесет в столовую, поставит посреди стола, и начнется вечер.

Так все уже было, когда отец после войны учился в академии и они жили в семье дядьки, материнного брата дяди Пети. Дядя Петя возвращался с работы, шел пешком с Арбата, делая крюк через Горького, пересекал Тверские-Ямские и входил в их переулок, а Мишка ждал его, стоя вопреки строжайшим запретам матери и тети Ады на стуле и осторожно выглядывая из открытого окна.

И теперь Мишка хотел быть дядей Петей, на которого, как считала мать, он был и похож, а особенно стал похож теперь, за лето перед шестым классом вытянувшись и начав поэтому сутулиться.

Кем дядя Петя работает, Мишка точно не знал, только слышал, что он заведующий, но это и не имело значения, потому что Мишка не каким-то заведующим хотел быть, а просто идти домой с работы в голубовато-сером костюме и нести мороженный торт.

Конечно, Мишка понимал, что лучше было бы, если уж не получится моряком, стать летчиком, летать именно на реактивном самолете с отведенными назад острыми крыльями, получая за каждый полет здоровенный кусок весового шоколада, носить в петлицах маленькие золотые пропеллеры, зимой надевать короткую кожаную куртку с большим меховым воротником и с гордой усмешкой повторять шутку «где начинается авиация, там кончается порядок». Или, на худой конец, ехать где-нибудь на танке Т-34 или даже КВ, вылезши по пояс из люка, сверкая грязным ли-

цом из-под шлема с валиками и глядя сверху, как медленно ходит из стороны в сторону ствол пушки, жмутся подальше от его наезжающего черного жерла какие-то знакомые мальчишки на тротуарах и бледнеет Нина Семеновна, вспоминая, как ставила Мишке четверки и даже тройки со словами «кому много дано, с того много и спросится, а кому легко дается, тому надо больше трудиться». Конечно, любая из этих профессий была бы тоже хороша, но очки, очки маячили перед нерезким Мишкиным взором, и он, мечтая, не переставал помнить про свою близорукость, черт бы ее побрал, и все чаще вспоминал про костюм из ткани «метро» и мороженный торт.

При этом про самого дядю Петю он почти не вспоминал, как и про тетю Аду, и про двоюродную сестру Марту, которую он, хотя она была старше и уже на следующий год должна была закончить с золотой медалью — в этом никто не сомневался — десятый класс, дразнил «кузей», потому что кузина, и «мартышкой», потому что Марта, но она не обижалась и иногда брала его с собой гулять, они шли по улице Горького к центру, и все оборачивались вслед. Мишка знал, что это означает: про Марту дома все, когда ее не было, говорили «красавица», хотя сам Мишка не понимал, что красивого в ее огромных черных глазах, вздернутом носе с чуть приплюснутым, как ежиный пяточок, кончиком и высокой, тонкой, все время как бы колеблющейся, словно в окружающем ее жарком мареве, фигуре — ростом она была почти с Мишкиного отца. Они шли к центру и сворачивали в переулок направо, где ТЮЗ, и переулками выходили к большому дому недалеко от пруда, там Марта отпускала Мишку на час поиграть во дворе с местными мальчишками, а сама скрывалась на этот час в темном и прохладном подъезде, и лифт немедленно начинал двигаться вверх в стеклянной, пристроенной к стене снаружи шахте, останавливался на последнем этаже. Никто с Мишкой, конечно, не играл, хорошо хоть, что не набили ни разу, «пусть сеструху ждет, она к Робке пришла». Мишка сидел в углу двора, за деревянным ларем, и наводил солнце через складную американскую увеличилку, подаренную дядей Петей,

на щепку, и на щепке появлялся черный выжженный червячок «Миша». Потом, часа через полтора, Марта выбегала из подъезда, на мгновение прижимала Мишкину голову к огненно горячему через платье бедру, и они бегом неслись домой, и по дороге Марта напоминала ему, что ходили они в зоопарк, куда однажды она Мишку действительно водила. Дома уже был крик, приятно пахло валерьяновыми каплями, тетя Ада уже трижды бегала к «Белорусскому» метро встречать, «куда тебя черт носил с ребенком», кричала она, а однажды крик поднялся совсем ужасный, дядя Петя как раз был почему-то днем дома, Мишку мать увела в другую комнату, а из дядиного кабинета, где кричали, донеслось несколько раз «этот Роберт», и Мишка почему-то вдруг сообразил, что тот Роба — это знаменитый футболист Роберт Колотилин из «Торпедо», вот кто, но тут раздались почти одновременно резкий шлепок и короткий вскрик, и Марта вылетела из кабинета с наливающимися красным пятнами на правой щеке, пронеслась в переднюю и хлопнула дверь так, что зашуршала по косяку штукатурка, а дядя Петя в кабинете уже кричал в телефон адрес, и через полчаса к тете Аде приехала карета «скорой помощи», тетя лежала на большом кожаном диване в столовой, а на ее лбу лежало мокрое полотенце, и врач перетягивал ее руку черным резиновым шнуром.

Случилось это недавно, прошедшим летом, когда по дороге из Сочи они опять останавливались в Москве, но теперь Мишка об этом вспоминал нечасто, а когда в последний раз вспомнил и спросил мать, поедут ли они и на следующее лето «к Малкиным на Третью Ямскую», это были фамилия и адрес дяди Пети, тети Ады и Марты, так их всегда и называли в Мишкиной семье, мать посмотрела на Мишку, помолчала, а потом, так ничего и не ответив, отвернулась и пошла на кухню. Мишка пошел за ней следом и увидел, что она стоит у плиты, внимательно смотрит в кастрюлю с варящимся фасолевым супом, мешает его половником, а в суп при этом каплют ее слезы.

Казалось бы, после этого Мишка должен был заинтересоваться, почему мать плачет при упоминании Малкиных, попробовать узнать что-нибудь у отца или какими-нибудь

окольными путями выведать все же у матери, но он почему-то, наоборот, про них как-то забыл, хотя себя в дядином костюме и с мороженым тортом представлял все чаще. А вокруг Малкиных в его голове как будто возник волшебный круг или их прикрыла шапка-невидимка, и он совсем не вспоминал эту семью, где прожил столько времени — два года, пока отец заканчивал ускоренный курс артиллерийской академии имени Дзержинского, после которой не стал, к Мишкиному удивлению, никаким артиллеристом, а стал носить на погонах и петлицах инженерские молоточки, и еще каждое лето по дороге в Сочи или на Рижское взморье, или на обратном пути недели по две, поскольку отпуск у отца был большой, сорок пять суток без дороги. Но теперь и дядя Петя, и тетя Ада, и Марта из Мишкиных мыслей совершенно исчезли. И он не удивлялся, что они исчезли и из разговоров матери с отцом, и из почтового ящика, из которого раньше время от времени вынималось письмо, на котором высокими и узкими буквами тетиного почерка был написан странный адрес: «Москва-350, ул. Маркса, д.12, кв.5, Салтыковым», — хотя село, возле которого был выстроен лагерь с заводом и военным городком при нем, где они жили, называлось Заячья Падь и до Москвы от него было три тысячи километров. Но Мишка уже давно таким вещам не удивлялся, привыкнув к словам «военная тайна» едва ли не с тех пор, как сам начал говорить.

Кем же я буду, подумал Мишка, прогоняя видение человека в очках и просторном костюме, с мороженым тортом в одной руке и портфелем в другой, я же не хочу быть заведующим (но и тут как-то не вспомнив дядю Петю, который именно заведующим и был), кем же я хочу быть?

И, конечно, тут его класрук Нина Семеновна и подняла.

— Вот Салтыков там мечтает, пусть он теперь выступит на тему классного часа. Какая тема, Салтыков? Встань, я к тебе обращаюсь.

Мишка тянул время, с грохотом откидывал крышку парты, которая ему была действительно очень мала, выпрастывался из нее...

— Тема классного часа, Нина Семеновна, — начал он пол-

ным ответом, как и положено отличнику, — называется... называется... «Кем быть», правильно?

Нина Семеновна молчала, глядя на Мишку. Он знал, что классный руководитель его не любит, хотя он был единственный в классе отличник-мальчишка. Но Нина Семеновна считала, что ему все слишком легко дается, а таких людей она не любила вообще, — не только учеников, но и взрослых. Она закончила учительский четырехлетний институт, много лет учила младшие классы, потом заочно выучилась на историка в областном педагогическом и не уважала тех, кому все доставалось сразу. Она и замуж за старшину-сверхсрочника из хозроты вышла только пять лет назад, детей у них не было, и квартиру в городке они не получили, а снимали полдома в селе и держали поросенка и курей. И теперь Нина Семеновна молчала, глядя на Мишку, а он вспоминал, как однажды историчка разговаривала с матерью, встретив ее в воскресенье по дороге в продуктовый, Мишка отирался рядом с пустой пока материнной клеенчатой кошелкой в руках, а мать вдруг, уж Мишка не помнил, к чему, сказала учительнице своим обычным удивленным тоном: «Но, Нина Семеновна, позвольте, у Ключевского написано...» — и Нина Семеновна сразу перебила ее: «А в наших вузах историю не по Ключевскому учат», — повернулась и пошла к себе в село, под гору, неся в каждой руке по сплетенной из цветной проволочной изоляции авоське с хлебными буханками.

— На вопрос, кем быть, Нина Семеновна, — продолжил Мишка напирать на полноту предложений, — советские школьники отвечают, помня, что любой труд в нашей стране почетен, Нина Семеновна, и еще что надо быть, а не казаться. Можно стать моряком, летчиком, танкистом... инженером...

Тут он запнулся и замолчал, потому что не мог вспомнить больше ни одной профессии, хоть убей, а Нина Семеновна все молчала и смотрела. «Гидро!» — прошипела подсказку, не оборачиваясь, Надька. Нина, как всегда в школе, на Мишку не смотрела и делала вид, что и не слушает.

— ...строителем гидроэлектростанций, — сообразил Мишка и уже легче поехал дальше, — гидромелиоратором...

— А ты знаешь, — перебила его Нина Семеновна, — чем, например, занимается гидро... мелератор?

— Гидромелиоратор, — радостно затарахтел Мишка, повторив и тем невольно подчеркнув правильное произношение, довольный, что беседа, кажется, идет к концу, — осушивает... осушает болота, чтобы на этом месте построить дома, или, допустим, посадить какие-нибудь полезные растения...

— Хорошо, — опять перебила его Нина Семеновна, — а ты сам кем хочешь быть?

Что произошло с Мишкой, он и сам потом понять не мог, но голубовато-серый костюм и мороженный торт мгновенно мелькнули перед его глазами, и он ляпнул — «как в лужу пёрнул», сказал после уроков Киреев.

— Заведующим, — ляпнул Мишка, замолчал на секунду и уже в хохоте, в визгах «следующий — кричит заведующий!», в грохоте и кошмаре поправился, уточнил: — Ну, этим... завпроизводством, кажется, — вспомнив, к счастью, как называются отцовские подчиненные лейтенанты.

Но было, конечно, уже поздно. Класс бушевал. Володька Сарайкин под шумок лапал Инку Оганян, и она почти не отбивалась, Толька Оганян с Генкой Бойко дрались книжками, и сухие щелчки переплетов по головам прорывались сквозь общий шум, Надька уже, как обычно, плакала, а Нина сидела, наклонив голову и зажав уши руками. Звонok ничего не прекратил — наоборот, бесчинство возросло и достигло невообразимого. Вовка Сарайкин швырнул в доску мелом, который раскрошился и засыпал все белыми обломками, дружок и вечный соперник Сарайкина спортсмен Эдька Осовцов сделал стойку на руках и так, вверх ногами, вышел на середину класса, а Нина Семеновна незаметно исчезла, как она всегда исчезала, когда класс начинал шуметь, чтобы вернуться с директором Романом Михайловичем и собрать дневники для вызова родителей, — словом, ужас.

В этом ужасе Мишка пробрался к дверям и сбежал.

А через минуту, сам не помня как, оказался на школьном дворе, за недостроенной теплицей, с раскрытым портфелем в руке. Верный Киреев был рядом. Они достали из ниши

в тепличной опоре, выдвинув легко выдвинувшийся кирпич, мятую сиреневую пачку тонких папирос «Любительские» и спички в обчирканной коробке и закурили. Курили молча, пока не закружилась голова и не стало все безразлично. Потом Киреев, угадав, заговорил о главном.

— Отец раза три сказал, что Кузьма палит, а какой Кузьма, не сказал, а у нас же других нет, только Кузьмины, — рассуждал Киреев, и Мишка не мог с ним не согласиться, — значит, Кузьмины — тоже шпионы, скажешь, нет?

Мишка оценил сочувствие Киреева, ведь, говоря сейчас о Кузьминых, он хотел утешить Мишу тем, что не у одного того родители шпионы. Мишка проглотил дым, откашлялся и продышался.

— Мать не шпионка, — сказал он, и слезы поползли по щекам, при Кирееве он даже не очень стеснялся, и Киреев, следует отдать ему должное, сделал вид, что не заметил Мишкиных слез. — Она книги подписные в военторге книжном покупает, а другие в библиотеке берет, никакие они не шпионские, я тоже читаю, там ничего шпионского нет...

И тут он замолчал, потому что потерял уверенность в том, что говорил. Он подумал, что вполне могли некоторые из читанных матерью, да и им самим книг оказаться шпионскими, а почему — это не сразу и догадаешься, на то и шпионство, чтобы дурить таких утративших бдительность, как мать и он сам. Тем более что по радио говорили про утративших бдительность, среди которых были, очевидно, взрослые и умные люди, профессора и даже орденосцы, а они уж, наверное, раньше были побдительней Мишки с матерью — и то утратили.

От курения кружилась голова и во рту сделалось противно, Мишка и Киреев долго плевались густыми длинными слюнями, сгибаясь пополам и мотая головами, чтобы липкую слюнявую вожжу оборвать. Потом сели рядом на посеревшие доски, которые зачем-то были сложены штабелем в недостроенной теплице, и задумались.

— Отец еще чего-то говорил о вас, — сказал Киреев, подумав, — только совсем тихо, и я не понял. Чего-то про фамилию... Вроде у вас фамилия Салтыковы не настоящая, что

ли, а настоящая — шпионская и еврейская. И опять чего-то про Кузьму, только как будто не про Кузьминых, а как будто про вас...

Мишка слушал его уже невнимательно, понимая, что и половины того, что Киреев сейчас рассказывает, он не подслушал, а сам придумал по обрывкам слов, шелестевших в душевной темноте общей киреевской спальни, и по книге «Тайна профессора Бураго», которую сам Мишка привез из Москвы, а потом давал всему классу читать, в том числе и Кирееву. Книга эта выходила тонкими брошюрками-выпусками, последних выпусков у Мишки не было, потому что то ли Марта их потеряла, то ли они вообще так и не вышли, поэтому никто не знал точно, чем кончились поиски шпиона, который все подбирался к профессору Бураго, но там все как раз было: и профессор, утративший бдительность, вроде тех, о которых говорили по радио, и шпион с разными фамилиями, и опытный следователь МГБ Найденов, который должен был обязательно найти шпиона по шраму от трехгранного штыка на спине.

И тут Мишке опять стало плохо, потому что он вспомнил шрам на отцовской спине, сантиметров на пять ниже правой лопатки, и хотя шрам был не трехгранный, а узкий и кривой, и было известно, что он остался от осколка, попавшего в отца, когда немцы бомбили его инженерную роту, строившую под Житомиром дорогу для танков, и отец потом лежал в госпитале в Калининe, а мать ездила его навещать, а Мишку оставляли Малкиным, и его нянчила Марта, сама еще маленькая, и отец иногда вспоминал Калинин и приезд матери, и всегда почему-то с усмешкой, несмотря на все это, Мишке стало плохо, как будто он опять накурился, затошнило и закружилась голова, потому что просто так все не могло совпасть: шрам, другая фамилия, материна любовь к чтению книг, среди которых вполне могли быть шпионские или, во всяком случае, враждебно настроенные... И Мишка почему-то вспомнил «Дон Кихота», изданного до революции с твердыми знаками и другими старыми буквами.

— Пошли, Кирей, — сказал он, называя Киреева в благодарность за предупреждение и сочувствие не полной фамилией, вставая с досок и вытирая жестким рукавом пальто нос

и глаза. Жизнь, еще утром, до встречи с Киреевым, такая нормальная и даже, можно сказать, мировая, рухнула и придавила Мишкины плечи, так что он сгорбился и тащил так и не закрытый портфель почти по земле, а веревку, стягивающую мешок со сменкой, перекинул через плечо, как бурлак. — Пошли, Кирей, уроки давно кончились, меня мать искать будет.

Действительно, школьный двор был пуст, а из окон доносился бубнеж — шли уроки второй смены. Приятели вышли из двора на скучную и такую же пустую улицу. Холодный ветер конца октября нес свернувшиеся и уже потемневшие листья, опавшие с кленов и акаций, на центральной улице Ленина эти листья сбивались в мокрые грязные комки в маленьких лужах у тротуарного бордюра. Шли молча, молча же пинали попавшийся по дороге небольшой обрезок автомобильной покрышки, очевидно, кем-то из сельских использовавшийся в качестве привязанной веревкой к прохудившейся обуви галоши, но потерянный. Молча прошли квартал финских домов, где жил Киреев, молча подошли к Мишкиному двору. И во дворе было пусто. Ледяное октябрьское солнце и прозрачное, но с чернотой предснежное небо освещали пустой двор, пожухшие еще в августовскую жару веники и ряд сараев, за которым был их давно заброшенный штаб.

— Пойдем? — предложил Киреев, имея в виду пойти сидеть в штабе.

Мишка так и знал, что он предложит, и твердо решил сразу отказаться. Дело было не только в том, что мать действительно могла начать искать Мишку и даже пойти в школу. С некоторых пор Мишка вообще избегал сидеть в штабе с Киреевым, потому там и началось запустение, высыпались некоторые кирпичи из стен, а крыша из упаковки покосилась и съехала косо набок. Сначала, сразу после каникул, когда Мишка вернулся из Сочи и Москвы, они с Киреевым продолжали, как весной, сидеть в штабе, но вскоре произошло то, из-за чего теперь Мишка не только в штабе, но и в недостроенной теплице за школой оставаться вдвоем с Киреевым избегал, за исключением таких случаев, как сегодня, когда после уроков надо было поговорить в теплице, но в штаб идти Мишка все равно не хотел. Потому что помнил, как од-

нажды в сентябре Киреев в тесноте штаба как-то извернулся, пихнул Мишку плечом и, мерно двигаясь всем телом и дергая напряженной — Мишка почувствовал боком — левой рукой, показал покрасневшими светлыми глазами вниз: «Смотри, Миха...» Последствия увиденного тогда Мишкой были ужасными, о них ни в коем случае нельзя было думать днем, а ночью не думать было невозможно. Мишка за это Киреева почти возненавидел, но потом прошло, потому что дружили они давно и Мишка к Кирееву привык, ничего не поделаешь, да и не был во всем этом один Киреев виноват, это Мишка в глубине души признавал, и они продолжали сидеть за одной партой и ходить вместе в школу и обратно, но уж только не в штаб!

— Никуда я не пойду, Кирей, — сказал Мишка, — потому что мать...

И тут же ее и увидел.

Мать каким-то образом мгновенно оказалась стоящей посреди двора, между сараями и трансформаторной будкой, и вид у нее, конечно, был такой, что Мишке сразу стало стыдно. Она была без очков, поэтому щурилась еще более презрительно, чем обычно. Нарядилась же она, как всегда, на смех городку: белые сухумские босоножки на пробке, черные чулки с пяткой, жемчужно-серое крепдешинное платье в мелкую белую веточку с юбкой-солнцем почти до щиколотки и серый жакет-букле три четверти с широкими рукавами — поверх летнего платья для тепла. По своей близорукости мальчиков она, естественно, не видела, но то ли тени какие-то мелькнули перед ее вишнево-карими круглыми глазами, то ли почувствовала — мать полувопросительно окликнула «Мишенька?» и еще сильнее прищурилась.

И на Мишку снова все накатило — еврейка, шпионы, другая фамилия и малолетняя колония, и, уже слизывая покатившиеся снова рядом с носом слезы, он побежал к матери.

Глава третья. Праздник

Отец с утра был на торжественном построении. На площади между недостроенным Домом офицеров и большим штабом дня за два до праздника сколотили из желтых досок высокую

трибуну с лестницей сзади и низкими крыльями по обеим сторонам и обтянули ее красным полотном, часто закрепив его мелкими гвоздями. Пришел вольнонаемный художник в бархатных рубчатых штанах, длинной блузе из сизой чертовой кожи и мягкой зеленой велюровой шляпе, принес ведро белил, кисти — узкую для контура и широкую для мазка, шнур — отбивать горизонталь. На полотне, прикрывающем левое крыло, он быстро, всего за полчаса, написал «Слава товарищу Сталину!», а на прикрывающем правое — «Слава народу-победителю!». После этого трибуна два дня стояла пустая, полотно чуть морщилось и волновалось от ветра, но никто к трибуне не подходил, даже мальчишки — и в голову не приходило там лазить.

А утром в праздник солдаты оцепили площадь и там встали раскрытым к трибуне четырехугольником офицеры в парадных мундирах с расшитыми галуном петлицами на стоячих воротниках, с двумя пуговицами сзади, над доходящим до поясицы разрезом (по поводу которых всегда говорилось «пуговицы на самой сра...зу видно, что парадный мундир»), с парадными поясами из желто-золотой парчовой ленты, а те, кто стоял сбоку от «коробочек», по шестнадцать на шестнадцать человек, — с саблями на портупях, пропущенных под золотые пояса.

Накануне праздника отец тоже принес из штаба, где она обычно хранилась, свою саблю и долго чистил пряжку золотого пояса со звездой, множество пуговиц парадного мундира, приколотые к нему навсегда ордена — две «Красных Звезды» и медали на желто-черных, черно-зеленых и красно-белых колодочках, а потом еще и ножны сабли, при этом Мишке не разрешено было даже близко подходить к вытащенной и положенной на кухонный стол сабле, как к опасному оружию, а потом отец вложил саблю в ножны и долго чистил эфес с гербом и Кремлем и, наконец, чистил золото на парадной фуражке — в общем, работы было до самой ночи.

Отец ушел на построение без шинели, хотя было уже холодно, но форма одежды была объявлена летняя парадная для строя; Мишка сел к розовой пластмассовой коробочке радиоприемника «Москвич» и близко придвинул ухо к обтягивав-

шей фасад приемника пестровой матери, чтобы слушать трансляцию парада с Красной площади, сигнал «Слушайте все!» и цокот копыт маршальской лошади по брусчатке; а мать стала варить на кухне холодец из купленных накануне на базаре свиных двупалых ног и резать вареную свеклу и соленые огурцы на большой винегрет.

Так прошло утро.

Мишка послушал парад и пошел на кухню смотреть, как мать возится. Он прошел мимо закрытой двери соседа-подселенца дяди Феди Пустовойтова, холостого старшего лейтенанта, месяцами загорающего на дальних командировках, а сейчас, как и отец, ушедшего в парадном мундире на построение, и тихонько вперся в кухню, чтобы не быть выгнанным, а в случае удачи получить обструганную капустную кочерыжку или шпротину на куске хлеба — обед мать ввиду праздничного дня и застолья в его второй половине не готовила.

В кухне варилась картошка, наполнявшая помещение влажным паром, а мать на доске резала сваренный накануне язык тонкими ломтями и складывала их, как поваленные косточки домино, на длинное блюдо из немецкого торжественного сервиза. Мишка получил кривой кусок языка с конца ближе к горлу, с трубочками и хрящами, на черном хлебе, сел на табуретку и начал жевать, глядя, как мать в длинном голубом креп-жоржетовом халате с тесемками, обернутыми вокруг талии и завязанными сзади, режет и чистит следку-залом. Завинтив ноги вокруг ножек табуретки, Мишка жевал сухомятку, позволенную ему ради праздничного дня, думал о том, как придут гости и начнется шум, и вдруг вспомнил.

И сразу же кусок бутерброда буквально застрял в его горле, он закашлялся, мать обернулась, посмотрела на него со своей рассеянной улыбкой плохо видящего человека, которая могла показаться высокомерной тем, кто не знал, что у матери минус шесть, и, поняв, в чем дело, сильно хлопнула Мишку по спине маленьким крепким кулаком. Кусок вылетел из Мишкиного горла, он слотнул — и совершенно неожиданно для себя в голос заревел.

Он уже давно, класса с третьего, не плакал в голос, и мать страшно удивилась. Она бросила нож, вытерла руки кухонным полосатым полотенцем и прижала голову сидящего на табуретке Мишки к шершаво-скользкому животу халата.

— Прошло, — удивленно повторяла она, — ну, ведь все проскочило? Что же случилось, Мишенька, что случилось? Ну, успокойся, что случилось? В школе? Ну, что ты? Ты у меня, как маленький, перестань, ведь тебе же тринадцать лет уже!..

Мишка не мог перестать реветь, и ответ, громко втягивая носом слезы и даже заикаясь, выдал:

— Ты еврейка, — и от этого заплакал еще сильнее, — ты еврейка, у нас есть другая, шпионская фамилия, меня отдадут в малолетнюю колонию, да, отдадут?

Ему было стыдно реветь, как маленькому, но он уже ничего не мог с собой поделать.

Мать молчала. И от этого молчания Мишкины слезы очень быстро высохли, он высвободил голову из материных рук, отодвинулся и снизу посмотрел ей в лицо.

Он увидел, что глаза матери закрыты, а из-под век тихо ползут слезы, губы кривятся, рот открывается, и он понял, что сейчас и она заплачет в голос, и от этого замолк.

В то же время в прихожей открылась дверь, голоса отца и дяди Феди, громкие, как всегда бывают голоса людей, вошедших с холода, сразу наполнили всю квартиру неразборчиво-веселым разговором, потом послышалось внятное отцовское «Мама, нам по рюмке скорей, околели!», раздался стук сбрасываемых с помощью упора-рогульки сапог, две пары домашних тапочек пошлепали к кухне, и Мишка понял, что объяснять отцу, да еще при дяде Феде, почему они с матерью плачут, будет просто невозможно. Он вскочил, бросился, протолкнувшись в коридоре между отцом и соседом, в прихожую, схватил с гвоздя и вскинул на плечо велосипед «Орленок», купленный ему недавно, на последний день рождения, вылетел на лестницу, выскочил из подъезда, с грохотом хлопнув дверью на спружинившем толстом куске автомобильной резины, с ходу, на бегу, больно плюхнулся на узкое седло и понесся, привставая и крепко надав-

ливая на педали, по дворовым асфальтовым дорожкам, между пожухлыми бурыми вениками на улице, вырвался на опустевшую площадь и принялся накручивать большие круги и восьмерки.

Дул ветер, сдвигая к вискам еще ползущие по щекам слезы, с темно-серого неба редко капал холодный дождь, черные листья уже никто не убирал, они сбились к краю трибуны и лежали там валиком. Понемногу на площади стали появляться и другие велосипедисты, началось обычное кружение, в будние дни возникавшее в сумерках, после конца второй школьной смены и приготовления уроков первой, а сегодня ради праздника начавшееся среди дня. Многие мальчишки ездили, косо стоя под рамой, на взрослых харьковских велосипедах, некоторые — на трофейных, пошедших уже ржавчиной, один парень из девятого «А» — даже на тяжеленном австрийском с карданной передачей. На этом фоне Мишкин «Орленок» с высоко поднятым седлом, низким рулем с повернутыми к земле рогами и с хромированным насосом выглядел неплохо.

И постепенно Мишка влился в кружение, совершенно отдавшись этому вытесняющему любые мысли занятию езды по площади — и обо всем забыл. Он только жалел, что Нина на площади никогда не появлялась, поскольку у нее велосипеда не было, да она и кататься не умела, а возить на раме, как некоторые старшеклассники возят старшеклассниц, он много раз ей предлагал, но она стеснялась.

Впрочем, даже и ее отсутствие недолго огорчало Мишку, и вскоре он уже просто нарезал и нарезал круги мимо трибуны, под крупным, но редким дождем, ни о чем не думая. Велосипед летел, наклонялся на повороте, и серый воздух плотно и туго входил в Мишкину грудь.

Он вернулся домой, когда начало быстро темнеть, в пятом часу, и, как и ожидал, застал там уже гостей.

В прихожей на вешалке кучей висели парадные мундиры и фуражки, в том числе один мундир с серебряными узкими витыми медицинскими погонами, из чего следовало, что в гостях был дядя Гриша Кац, и одна голубая фуражка с малиновым околышем дяди Левы Нехамкина. Был еще и мятый мун-

дир соседа дяди Феди Пустовойтова со связистскими молниями на неровно пришитых петлицах и целлулоидным холостяцким подворотничком.

Под мундирами, кроме отцовской сабли, висела еще одна, с черно-желтым репсовым гвардейским бантом у эфеса, именная, которая во всей части была только у одного человека, у дяди Сени Квитковского, во время войны служившего в кавалерии Доватора и получившего там это наградное именное оружие. Поверх сабли висел мундир с командными золотыми полковничьими погонами, что также подтверждало присутствие в гостях дяди Сени, служившего в штабе замом по строевой.

Под вешалкой грудой валялись хромовые начищенные сапоги, среди которых выделялись дяди Сенины со шпорами — уже давно уйдя из кавалерии, он категорически отказывался менять форму и даже носил длинную шинель — до пяток, не по уставу.

Из комнаты доносились шум общего разговора, стук вилок о тарелки и звон бутылок о стаканы. Мишка повесил велосипед на гвоздь, пошел в ванную, где мокрыми руками пригладил чуб вверх и назад, отчего этот не совсем чуб, а скорее, челка, оставленная на остриженной наголо голове небольшой заплаткой надо лбом (стрижка бокс, до полубокса Мишка еще не дорос), встала несколько дыбом, в очередной раз с отворачиванием отметил свое сходство с японцем, стащил через голову куртку-бобочку (на велосипеде он катался, конечно, без пальто), поправил воротник зефировой полосатой рубашки и вошел в комнату.

В комнате вокруг раздвинутого до овала круглого стола на уложенных концами на табуретки досках сидели гости. Мужчины, все как один, были в наглаженных нижних бязевых желтовато-белых рубашках-гейшах (только отец как хозяин был в гражданской шелковой тенниске с острым маленьким воротом), синих бриджах с высокими простеганными корсажами и шаркали под столом домашними тапочками. А женщины были нарядные, в крепдешиновых платьях и лакированных лодочках, которые они, впрочем, сбросили под столом и сидели в одних чулках со швами и черными пятка-

ми. Молодая красивая жена дяди Левы Нехамкина, которую он нашел в последнем отпуске, ежедневно приходя перед концом лекций к подъезду московского мединститута, тетя Тоня, с короной из черных кос вокруг лба, была в кремовом платье в крупных красных цветах. Жена дяди Гриши Каца, тетя Роза, была в темно-синем платье в мелких желтых цветах, дым от ее папиросы наполовину закрывал ее лицо и как бы смешивался с седыми коротко стриженными волосами. А мать надела вишневое, с большими белыми бутонами, с длинной широкой юбкой и узким верхом, с короткими тугими рукавами, которое она сама только что сшила по рижскому журналу мод из материи, случайно купленной летом в Мосторге у Телеграфа.

Мишке все обрадовались. Дядя Сеня подвинулся на доске и освободил место между собою и матерью, налил в граненую рюмку темно-рыжего компота из груш-чернушек, поставленного матерью на стол для запивки, помог положить на тарелку дымящуюся картофелину и лаково сверкающую коричневую котлету. Но мать, заметил Мишка, смотрела на него со страхом, и он едва снова не заплакал, даже испугался, но тут дядя Федя предложил выпить, а дядя Гриша сказал тост, как всегда, за победу, и Мишка выпил компота вместе со всеми и отвлекся, а мать пошла на кухню смотреть, как жарится гусь, а все снова выпили — за завод, а мать с помощью дяди Феди принесла гуся, и все стали кричать, чтобы дядя Гриша его разрезал «как хирург, ты же хирург, Гришка, так режь или уже только клизмы ставить можешь, пулеметчиков лечить?» — пулеметчиками называли солдат, больных дизентерией и лежащих в отдельном бараке во дворе госпиталя, и дядя Гриша, локтем поправляя толстые очки, разрезал-таки гуся удивительно ловко, быстро и так, что всем вышло по большому куску и еще осталось, а мать раскладывала тушеную, ржавого цвета капусту и яблочные дольки, и все смеялись, дядя Сеня рассказывал анекдоты про Карапета, дядя Лева на столе руками показывал, как курица ловит червяка, и всем было весело, и Мишка все забыл. Он хохотал вместе со всеми, вместе со всеми пил — только ему наливали компот, взрослым мужчинам «белую головку»,

а женщинам «Шато-икем», никто на него не обращал особого внимания, только дядя Сеня время от времени требовал «ну, Михаил, доложи обстановку», но тут же отвлекался, начинал рассказывать анекдот или наливал Мишкиной матери вина. Потом завели патефон, под «Фон дер Пшика» и «Брызги шампанского» дядя Федя танцевал с тетей Тоней, теряя тапочки, дядя Сеня с тетей Розой, перегибая ее назад, как будто хотел поставить ее на мостик, она вскрикивала, а дядя Гриша от смеха ронял очки в холодец, дядя Лева танцевал со старым венским стулом, прижимая его к груди, а отец отбивал ритм двумя вилами по краю тарелки и подпевал Утесову «остался от барона только пшик!». Потом все устали, сели, Мишка принялся менять иглу в патефоне, для чего выдвинул из патефонного бока треугольную коробочку, выскреб из нее коротенькую толстую иглу, повернул винт, вынул из мембраны старую — но все уже про патефон забыли и запели.

Лучше нету того цвету, —

пела мать красивым высоким голосом, а все молчали, ожидая своей очереди, дядя Гриша Кац сидел, подперев щеку, так что очки его перекошились и взъехали на лоб, отец закуривал, вскрыв ногтем новую коробку «Гвардейских» папирос, дядя Лева Нехамкин обнимал за плечи свою тетю Тоню, дядя Сеня Квитковский наливал себе в рюмку «белоголовки», дядя Федя Пустовойтов, проглотив содержимое своей рюмки, неско рту свисавшие с вилки нити кислой капусты, капуста падала на скатерть, и пустую вилку облизывал дядя Федя.

Когда яблоня цветет, —

пела мать, и все подхватывали, едва дождавшись, громкими голосами:

Лучше нету той минуты,
Когда миленький идет!

Громче всех пел дядя Гриша, у которого не было слуха, и он страшно фальшивил, а лучше всех из мужчин, правильным вторым голосом, пел дядя Федя, и дядя Сеня пел густым басом, а дядя Лева Нехамкин просто шевелил губами, отец пел, затягиваясь папиросным дымом посреди слов и выпуская его

углом рта, зажмурив глаз, а женщины, тетя Тоня и тетя Роза, пели на два голоса, сдвинувшись головами и закрыв глаза.

Как увижу, как услышу —
Все во мне заговорит...
Вся душа моя пылает,
Вся душа моя горит!

«Лучше нету того цвету, — про себя пел и Мишка, стесняясь открывать рот, он вообще стеснялся петь при людях, — когда яблоня цветет, лучше нету той минуты...» Он о чем-то, сам не понимал, о чем, задумался, не заметил, как запели уже другое, «Я тоскую по соседству и на расстоянии», — пел дядя Федя, все подпевали негромко, потому что дядя Федя пел здорово и песня была на одного, потом еще что-то запели, но у Мишки вдруг стали закрываться глаза, их защипало, Мишка был уверен, что от табачного дыма, но отец заметил, что глаза Мишкины слипаются, и сразу отвел его в дядифедину комнату, и Мишка даже не очень возражал, потому что вдруг действительно ужасно захотел спать, повалился на узкую дядифедину кровать, на колючее одеяло и сразу заснул.

А проснулся он ночью. В дядифединой комнате было темно, только ярко светилась щель под закрытой дверью, из-за которой доносились тихие голоса. Никто уже не пел и не смеялся, просто разговаривали.

Мишка потянулся так, что его передернуло, сел, нащупал ногами на полу тапочки. За стеной голоса гудели, вдруг Мишка ясно расслышал отцовы слова «я от него только помощь видел!», и голоса загудели погромче, но уже больше ничего разобрать было нельзя. Мишка встал, тихонько открыл дверь и вышел в коридор. Света и там не было, только ярко светилась застекленная и затянутая изнутри сборчатými занавесками дверь комнаты, в которой разговаривали. Стараясь не шлепать тапочками, Мишка проскользнул мимо этой двери на кухню. Там голоса были слышны отчетливо.

И, понимая, что поступает он не просто нехорошо, а недопустимо, и что, будучи обнаруженным, от стыда умрет, а уж что мать скажет, лучше и не думать, Мишка тихонько сел на пол прямо у входа на кухню и стал слушать.

Глава четвертая. Ночь

Говорил отец.

— ...а если завтра про Левку скажут, что он космополит (и Мишка вспомнил того неизвестного поджигателя Кузьму, про которого рассказывал Киреев!), а Гришка солдат в госпитале травит (в комнате слышались какое-то движение и дядифедин голос «Ну, мать же моя женщина!»), а за Маней придут и к брату отправят (дыхание у Мишки перехватило, потому что он понял, что Маней отец назвал мать, братом — дядю Петю, и малолетняя колония, малолетняя колония!), а меня самого за потерю бдительности (всё, подумал Мишка, всё, Киреев правду сказал!) из партии — что ж, мне и в это во все верить?!

В комнате стало тихо. Слезы уже текли из Мишкиных глаз, но даже всхлипнуть вслух он не мог, потому что и вообразить было невозможно, что будет, если его здесь обнаружат. А в комнате опять слышалось движение, заскрипели доски, на которых сидели взрослые, потом звякнула посуда, дядилевин голос произнес «ну, будем», опять наступила тишина, потом кто-то громко вздохнул и заговорила тетя Роза.

— Мы с Гришей давно уже готовы... Детей, слава Богу, нет... И стариков нет, спасибо немцам... (Она делала длинные паузы, и Мишка представил, как она курит, сильно затягивается, и дым как бы смешивается с ее седыми волосами.) А Маша... Я думаю, что тебе, Леня, надо самому пойти в политотдел, поговорить... В конце концов, он не твой брат, а Маша не служит и подписку не давала...

И опять в комнате все замолчали, опять слышался звон стекла о стекло, и Мишка понял, что это разливают водку и вино по стаканам. «На рейде ночном легла тишина», — как бы шепотом пропел дядисенин бас и оборвал. Вилка стукнула о тарелку. Закашлялся дядя Федя и повторил про мать-женщину. Заговорила мать:

— Что Петю рано или поздно возьмут, это было понятно. Ювелир, сын ювелира... Все московские знакомые были уверены, что после папы не все забрали. И в Петинной мастерской было... я не знаю, но может быть... он никогда не го-

ворил, но могло быть... Но кто написал Носову, кто?! Никто не знал, письмо я сожгла... Боже мой, если правда и Носов даст ход...

Мать всхлипнула, в комнате тихо зашумели, опять звякнули стаканы, дядя Сеня тихо пробасил «нашелся подлец, пронюхал», отец повторял «Маня, Маня», потом все смолкли, и голос дяди Левы произнес отчетливо: «Маше уехать бы надо», и все опять тихо заговорили, перебивая друг друга.

— Куда уехать?.. Да куда угодно, страна большая... А Леня что будет говорить, куда жена делась?.. Куда-куда, поехала к родне, климат замучил, соскучилась... У половины офицеров жены с детьми не здесь, а Мишке лучше в московскую школу ходить, он в институт потом после нашей, деревенской, как поступать будет?..

И всех заглушил высокий, резкий голос дяди Гриши:

— Если Маша поедет в Москву, ее там возьмут сразу, вы что, идиоты, не понимаете? Надо сидеть спокойно, а не дергаться, как будто ты в чем-то виноват. Она что-то сделала? Ничего. Она живет с мужем там, куда послали, и ничего за собой не знает. И если Носов здесь начнет копать, ему генерал Леньку не отдаст и Машу не позволит тронуть, а кто заступится за нее в Москве? Тем более что в Москве, я думаю, уже всех взяли и квартиру опечатали. Где она там будет жить и как?

Все молчали. Мишка тихо плакал, понимая, что происходит и уже произошло что-то страшное. Ему хотелось туда, в комнату, где взрослые, все понимающие люди, где отец, который может все объяснить, где мать погладит стриженный затылок и скажет, что неприлично подслушивать, где что-нибудь смешное расскажет дядя Сеня, а дядя Лева сунет со стола горсть конфет, и все разъяснится, и окажется, что ничего непоправимого не произошло с дядей Петей и московскую квартиру не опечатали... И он вдруг вспомнил, что значит «опечатали»! Он вспомнил шум, доносившийся однажды ночью с лестничной клетки, и обнаружившуюся утром бумажку с лиловой печатью, наклеенную на дверной косяк дядипетинных соседей с третьего этажа, и концы веревочки, свешивавшиеся из-под бумажки, и представил себе такую бумажку

и концы веревочки на дядипетиной двери и чуть не заревел в голос, но тут в комнате задвигали ножками табуреток, все начали вставать, и он едва успел убежать в дядифедину комнату, упасть на колючее одеяло, вытереть слезы со щек и закрыть наплаканные глаза.

Глава пятая. Каникулы

Мишка стоял у замерзшего окна и смотрел на узоры, сплошь покрывшие стекло колючими ветками и звездами. Занятие было бессмысленное, к тому же в поле зрения попадала заложенная между рамами сероватая вата, украшенная вырезанными из шоколадного серебра снежинками, вид которых Мишку почему-то раздражал.

На улице было минус тридцать семь с ветром, и каникулы пропадали впустую — все сидели по домам. Даже Киреева Мишка не видел уже три дня, с самой елки, которая, как всегда, была ужасно скучной, малышня в заячьих байковых ушах водила хоровод, девчонки в форменных платьях без фартуков и с кружевными воротничками — так разрешалось приходиться только на Новый год — стояли кучкой в углу, а ребята толпились в другом, время от времени парами выходя в уборную, где один становился у входа на шухере, а другой быстро накуривался до тошноты и зеленых кругов в глазах. А потом ударил мороз, и все засели по домам. Можно было, конечно, позвонить Кирееву по телефону, но нормально поговорить не удавалось, потому что где-нибудь поблизости была мать, а у Киреева тоже мать и сестра были рядом, и весь разговор сводился только к дурацкому «а ты что делаешь?» — «а ты?»». Киреев читал «Тайну двух океанов», а Мишка прочел «Голову профессора Доуэля» и теперь дочитывал «Мальчика из Уржума», вот и все.

И оставалось много пустого времени. Мишка бродил по комнате, слушал радио, но «Москвич», наверное, от мороза, сильно трещал и концерт по заявкам почти не был слышен, Мишка шел на кухню и чего-нибудь брал съесть — в общем, томился.

В конце концов он потихоньку взял на кухне пузатую сахарницу синего резного стекла с металлической дугой руч-

ки (металлическая крышка была давно потеряна), полную плоских кирпичиков рафинада, поставил ее на подоконник и, глядя на ледяные узоры, принялся грызть сахар и думать.

Кем был дядя Петя? Мишке казалось, что, если понять это, сразу поймешь и все остальное. Всю жизнь Мишка был уверен, что дядя Петя был заведующим, но при этом никогда не задавался вопросом, чем именно заведовал дядя. Возможно, это объяснялось тем, что, когда они долго жили в дядиной семье, пока отец учился в академии, Мишка был еще маленький, а после, когда они приезжали в Москву во время отцовых отпусков, по дороге на курорт или с курорта, было как-то не до этого — еще три года назад, даже два, его интересовали совсем детские развлечения.

То ходили с Мартой в зоопарк, где он увидел, наконец, загадочного Робку, футболиста Роберта Колотилина, невысокого молодого человека в клетчатом длинном и широком пиджаке, поверх которого был выпущен воротник голубой шелковой рубашки, в узких и коротких светло-синих брюках, в коричневых ботинках на белой толстой каучуковой подошве, в пухлой кепке-букле, надетой косо, на правую бровь, так что бровь эта была как бы удивленно и насмешливо приподнята, а на затылке под кепкой короткие светлые волосы поднялись ершиком. Стояли возле обезьянника, но Мишка, вместо того чтобы рассматривать скачущих по сетке и то и дело ныряющих в свои домики мартышек, искося рассматривал Колотилина, разговаривавшего с Мартой. Колотилин стоял к Марте близко, заложив руки за спину и слегка покачиваясь на своих необыкновенных подошвах, так что мышцы его немного кривых ног в узких брюках все время еле заметно дрожали под тонкой тканью. Колотилин что-то тихо говорил Марте, а мальчишки, сбжавшиеся к обезьяннику со всего зоопарка, его разглядывали не так, как Мишка, исподтишка, а откровенно, сбившись в кучу, и громко, чтобы Колотилин слышал, спорили о «Торпедо» и «Динамо».

То ходили с матерью в театр на «Синюю птицу», и это, с приготовлениями, занимало целый день. Мишку одевали в короткие штаны и настоящего мужского покроя пиджак из

серого пушистого материала — все это мать сшила сама по выкройкам, переснятым на кальку из трофейного журнала мод, который брала для этого у тети Розы. Повязывался парадный шелковый пионерский галстук, и Марта даже давала надеть на узел галстука свою стальную блестящую пряжку с костром — такие пряжки уже отменили, но в театр для красоты Мишка надевал. На матери было синее блестящее платье из панбархата, переливающееся ворсистыми как бы пятнами, и ожерелье из крупного янтаря. И они шли во МХАТ, так назывался театр, шли пешком по улице Горького, сидели в красных плюшевых креслах с выпуклыми, лишь немного прогибавшимися под человеком сиденьями, и Мишке больше всего нравилось, как актер Грибов играл Хлеб.

То все ехали на дачу в Малаховку, съезжались друзья Марты, молодые люди много старше ее, играли на желтых старых сосновых иглах, лежавших ковром, в волейбол через привязанную к деревьям сетку, кто-нибудь, погасив в прыжке, обязательно на иглах поскользнулся и падал на спину, однажды упал какой-то Матвей, и его гладко зачесанные набок волосы отвалились назад, и открылась большая лысина, а когда он уехал, мать и тетя Ада долго смеялись над его прической, которую они называли «внутренним заемом», и Марта смеялась тоже, а дядя Петя приезжал в поздних сумерках, почти ночью, и входил на освещенную с веранды площадку перед крыльцом, держа на отлете мороженый торт.

В общем, все время в жизни что-то происходило, в чем ни дядя Петя, ни отец, ни вообще все мужчины, которых знал Мишка, не участвовали. Их существование было очень важным, Мишка чувствовал, что все зависит от них, но это существование было отдельным и называлось «работа» или применительно к большинству мужчин — большинство носили военную форму — «служба».

Но теперь Мишка все время думал о дяде Пете и довольно скоро, почти сразу после той ночи с седьмого на восьмое ноября, до многого додумался.

Во-первых, дядя Петя был заведующим ювелиром, это стало ясно из сказанного матерью. И дед, который умер

давно, до Мишкиного рождения, и остался только на портрете с маленькой бородкой, большими усами и смешным галстуком-бантиком, отец матери и дяди Пети, тоже был ювелиром и, наверное, тоже заведующим. Слово «ювелир» Мишка сразу запомнил, он вообще легко запоминал слова, а значение этого слова ему примерно было известно из книг, но он на всякий случай еще влез в серый коленкорый «Словарь иностранных слов» и все внимательно прочитал.

Во-вторых, дядю Петю действительно забрали, то есть арестовали, Киреев не врал. Мишка сам не знал, откуда ему стало известно, что значит «забрали», никто никогда ни дома, ни в школе об этом не говорил, но все это знали, не только тринадцатилетний Мишка, но и самые ничтожные второклассники, крутившие на переменках друг другу руки с воплями «ты арестован! пошли в плен! мы тебя забираем в тёрьму!». И Мишка знал, кого арестовывают, когда нет войны и фашистов: шпионов, диверсантов, тех, кто переходит советскую границу, двигаясь на коровьих копытах задом наперед, но пограничников и их собак обмануть нельзя и они обязательно «берут» нарушителя, который оказывается бывшим предателем-полицаем, а выдает себя за простого колхозника и уже готовится сесть в электричку и проникнуть в глубь страны. Некоторые из таких арестованных потом понемногу исправляются, тогда их присылают в Заячью Падь, в лагерь, и они работают у отца на заводе. Еще иногда арестовывали воров — однажды Мишка сам видел, как такого поймали у площади Маяковского в троллейбусе, его схватили на задней площадке, где толпилось много народу, пытавшегося пробраться на более свободный второй этаж, и все его били чем попало по голове, пока протискивался милиционер в белой летней фуражке. Но ни на вора, пойманного в троллейбусе, ни на шпиона-диверсанта в ватнике и на привязанных копытах дядя Петя никак не походил. Значит, он был другим шпионом — из тех, о ком говорили по радио, врагом народа, который задумывал поубивать всех вождей и продать весь СССР американскому дяде Сэму с длинной бородой, как у козла, в цилиндре со

звездами и полосами и в коротких, выше щиколотки штанах на тонких козлиных ногах. Но даже если бы Мишка согласился поверить, что дядя Петя был таким врагом народа, то и тут не все сходилось. По радио говорили никак не о заведующих и ювелирах, а о профессорах, врачах, убийцах в белых халатах, которые уже многих отравили и готовились отравить всех подряд — инженеров-изобретателей, руководителей партии и правительства, писателей и маршалов. Ювелир же, как Мишка понимал, никого отравить не мог, он просто делал золотые и серебряные кольца для женщин или, например, царей, когда были цари, и вставлял в эти кольца рубины, как те, из которых кремлевские звезды, или изумруды, как в сказках.

В-третьих, Мишка прочитал в том же «Словаре иностранных слов», что такое «космополит», и сначала ничего не понял. Вернее, он понял, что Киреев — дурак и ни про какого Кузьму-поджигателя никто ничего не говорил, а говорил Киреев-отец, как и взрослые ночью за столом, о космополитах. Но про космополитов было написано совершенно непонятно, и вот Мишка, стоя у замерзшего окна и догрызая последний рафинад из сахарницы, про них думал и ничего придумать не мог. Ясно было только, что это тоже враги народа, но они не травят людей, а как-то по-своему делают так, чтобы американцы победили СССР и вообще всех в мире. Мишка стал вспоминать, что говорили мать, отец, дядя Гриша и тетя Роза той ночью — ему казалось, что, если вспомнить точно, станет все понятно и с космополитами, и с дядей Петей, и с тем, что будет с ними со всеми. Он вспоминал слово за словом, и вдруг ему показалось, что он догадался, но в это время мать позвала его обедать, и пришлось идти — с полным ртом сладкой слюны, придумывая на ходу, как отказаться от еды.

На кухне мать наливала уже в его тарелку любимый суп из пестренькой фасоли, которой раньше, когда Мишка был маленький, он любил играть. Мишка незаметно сунул пустую сахарницу на полку и сел есть — от любимого супа отказываться было невозможно. Он тянул сквозь зубы горячий суп негромко, но мать, конечно, сразу сказала «не тяни, лучше по-

дуй на ложку». Мать села на табуретку и смотрела, как Мишка ест. Она сняла очки, и поэтому взгляд ее, как обычно, казался насмешливым — Киреев говорил, что Мишкина мать задается, но Мишка-то точно знал, что она просто почти ничего не видит, у него и у самого теперь, когда дядя Гриша Кац выписал ему очки, которых он не носил, взгляд стал такой же, а в классе многие считали, что он задается, потому что отличник...

И вдруг в одно мгновение Мишка понял все! Каким-то образом все сложилось в его голове — космополиты, шпионы, мать, дядя Петя, все, что говорила тетя Роза, и все, что теперь будет... Он отодвинул тарелку и встал.

— В чем дело? — Мать прищурилась, отчего лицо ее приобрело еще более насмешливое выражение. — Опять сахара наелся? А кто гречку есть будет? Миша! Ведь размазня! И печенье жареная... Миша, куда ты пошел?!

Но Мишка, уже ничего не слушая, не желая ни гречки-размазни, ни жареной печени, которую вообще-то он любил больше всего, уже выскочил из кухни. В прихожей он взял маленький венский стульчик, раньше принадлежавший ему, сидя на котором, теперь отец по утрам обувался, и потащил в комнату. Там он пристроил стул между высокой, с белыми вышитыми батистовыми занавесками, спинкой железной родительской кровати и буфетом и с трудом сам уместился на стульчике в этом углу, прислонившись лбом к прохладным прутьям спинки. Мать заглянула в комнату, но решила не приставать — видно, не хотела скандалить, зная, что добром Мишку, когда он садится в этот угол, выйти не заставишь.

Прижимаясь лбом к прутьям, Мишка старался успокоить, утихомирить мысли, несшиеся в голове с таким шумом, будто там, в голове, орал целый класс, распущенный на большую перемену. Такой крик толпы нередко возникал в Мишкиной голове, но обычно это бывало, когда он сидел один дома, делал уроки или читал, — и вдруг начиналось. Мишка этого крика боялся, вскакивал и начинал бегать по комнате, и тогда крик понемногу затихал, но сейчас крик поднялся в необычных обстоятельствах, и Мишке было не до того, чтобы с ним бороться.

Всё, всё стало ясно! Космополиты — это евреи. Дядя Петя и мать — евреи. Космополиты — за американцев. Дядя Петя — заведующий ювелир и космополит, значит, он помогает американцам, тайком делая для них какие-нибудь «детали» — про «детали» было написано в «Тайне профессора Бураго» — из золота, или серебра, или даже из рубинов, из которых не случайно же делают и кремлевские звезды! Теперь его забрали, и скоро, как еврея-космополита, заберут и мать. Дяде Коле Носову прислали письмо, где обо всем этом рассказано, потому что он, дядя Коля Носов, и должен ловить шпионов, космополитов и других врагов. И главное — никакой малолетней колонии не будет! Потому что Мишка и сам еврей и космополит, потому что очки... как у матери... и его заберут тоже.

Мишка даже не заплакал.

Просто все так изменилось за эти пять минут, за которые он до всего додумался, что плакать уже не было ни сил, ни смысла. Ему даже не было обидно, что он вместе с матерью оказался космополитом и врагом, ничего плохого не сделав, — он чувствовал, что все равно в этом есть какая-то справедливость. Что-то такое было в них с матерью, что отличало их от других, это Мишка всегда чувствовал. Вот отец, конечно, никакой не космополит, а просто переживает и расстраивается за мать и Мишку. И про Киреевых никто никогда не скажет, что они враги, и про дядю Федю Пустовойтова, и про тетю Тоню Нехамкину, и про дядю Сеню Квитковско-го... Дядя Сеня... Мишка задумался, потому что про дядю Сеню не мог решить точно и про дядю Леву Нехамкина тоже. Зато было совершенно понятно, что дядя Гриша Кац и тетя Роза такие же, как мать, как дядя Петя, как Мишка... Хотя представить себе дядю Гришу космополитом и шпионом было еще труднее, чем мать.

Мишка вылез из угла и пошел на кухню.

Мать сидела на табуретке в той же позе, в какой он ее оставил, смотрела прямо перед собой, слегка откинув голову, и выражение лица у нее было уже не насмешливое, а отрешенно-гордое, какое тоже иногда бывает у близоруких. И Мишка сделал то, что уже лет пять стеснялся делать, если кто-нибудь, хотя бы отец, видел: взгромоздился, здоровый тринад-

цатилетний парень, матери на колени. Продолжая глядеть куда-то, в одной ей видимую даль, мать обняла Мишкину голову одной рукой, прижала к своей щеке.

— Мы космополиты, мам? — спросил Мишка тихо.

— Мы евреи, Миша, — так же тихо ответила мать. — Ты уже спрашивал...

— А папа?

— Папа... Он наш папа, понимаешь?

— Нет... Его тоже заберут?

Мать вздрогнула, отстранила Мишкину голову, щурясь, близко посмотрела в Мишкины глаза.

— Ты что-то слышал... Подслушал? Как же не стыдно, Миша... И ничего не понял к тому же!

— Я все понял! Дядя Петя — космополит и шпион! А раз он космополит, то и мы тоже... хотя не шпионы и не враги... Тоже...

Мать уже не щурилась, она придвинула свое лицо к Мишкиному еще ближе, и теперь ее глаза были совсем близко и стало видно, что они светло-коричневые, почти желтые, как золото, и только огромные зрачки делают их темными, почти черными.

— Дядя Петя?.. Откуда ты знаешь про дядю Петю?! Ты совсем ничего не понял... Он... Дядя просто нарушил правила там, на своей работе, просто он ошибся, и скоро его уже отпустят... Только пять лет...

— Я знаю, он ювелир, он заведующий ювелир. — Мишка уже говорил, не останавливаясь, потому что было все равно, теперь уже нечего скрывать, потому что все ясно, — и, наверное, он делал какие-нибудь детали для американцев...

— Дурак! — Мать сбросила Мишку с колен, и он сразу замолчал, потому что мать никогда не сбрасывала его, если он садился на колени. — Дурак! Дядя Петя... Ну, как тебе объяснить? Просто он работал по золоту, понимаешь? И кто-то донес...

Мишка понял только последнее слово.

— И на тебя кто-то донес, — сказал он, уже почти не думая, что говорит. — Кто-то написал дяде Коле Носову...

— Замолчи!

Мать так закричала, что Мишке сразу стало легче: если мать кричит, значит, не все кончилось, не все изменилось, значит, по-прежнему власть в ее руках и все будет, как раньше, все дома будет делаться, как скажет мать, и постепенно устроится, и дядю Петю отпустят через пять лет...

В окнах давно уже был ранний январский вечер, и морозные ветки и звезды сияли на черном. Но Мишке все же удалось уговорить мать и вырваться на улицу — только надеть из-за мороза пришлось столько, что еле застегнулось пальто, а уши шапки Мишка и сам опустил, не дожидаясь, чтобы мать сказала. Когда она, проверив, как Мишка оделся, ушла на кухню, где обычно читала, включив яркую лампу над кухонным столом, Мишка тихонько пробрался к телефону и шепотом сказал дежурному Нинин номер. Нина, будто ждала, сама сняла трубку — не пришлось врать ее матери про заданное на каникулы. «У школы, угол забора», — тихонько пробормотал Мишка. «Ладно, Надька, я уже выхожу», — бодрым лживым голосом ответила Нина.

И Мишка, едва не промахнувшись трубкой по рычагу, кинулся к двери.

Глава шестая. Свидание

Мороз был такой, что сразу заболели руки в варежках и пальцы ног в шерстяных носках. Вообще-то Мишка не любил эти купленные на базаре в селе вещи из серой шерсти с белыми, упруго торчащими волосками. Мать называла такую шерсть крестьянской, а Мишке это слово было неприятно, оно было связано с особым запахом, исходившим от варежек и носков, такой же запах наполнял избу, в которой Салтыковы снимали комнату, когда все назначенные служить в Заячьей Пади офицеры снимали жилье в селе, пока строился городок. Запах входил в число тех, от которых Мишку обязательно начинало тошнить: дорожный запах паровозной гари, ложившейся черными размазывавшимися точками на чистые вагонные наволочки; кислый запах сырого мяса, исходивший не только от мяса, когда мать резала его или отец рубил маленьким топориком на доске, но и от Ки-

реева; едкий запах синего дыма, вылетавшего клубами из гусеничного тягача «атэтэ», который иногда с грохотом и воем проезжал по улицам городка, странный, будто из кино; и этот запах, «крестьянский»... Но в мороз варежки и носки хорошо грели и приходилось их надевать, хотя все равно болели пальцы рук и ног.

Тихонько постанывая от этой боли и оттого, что занемевшие щеки и нос сильно щипало, дыша в цигейковый воротник пальто, сразу покрывшийся инеем, Мишка несся к школе. Высокие валенки резали под коленками, но приходилось спешить, потому что Нина жила к школе ближе, в домах строителей.

Отец Нины Бурлаковой командовал строительным батальоном. Солдатами в батальоне были худые узбеки, скуластые таджики и темнолицые азербайджанцы, а почти все офицеры раньше носили морскую форму, потому что их перевели с разных морей, где они строили порты. И до прошлого года Нинин отец ходил в черной шинели со скрещенными якорями и кирками на петлицах, в синем кителе с тесным стоячим воротником, в черных брюках навывпуск и в ботинках, а в прошлом году всех офицеров-строителей заставили переодеться в сухопутную форму с серебряными инженерскими погонами и скрещенными молотком и гаечным ключом. Но капитан Бурлаков от этого не стал менее заметным: он был самым высоким из всех виденных Мишкой мужчин, из-под козырька его фуражки упрямо вылезал соломенной волной чуб, и погоны на его совершенно прямых и очень широких плечах задирались вверх крыльями еще сильнее, чем у всех офицеров.

А мать Нины была толстая, черноволосая, с большими черными глазами и тонкими, почти совсем сбритыми бровями. Летом она ходила в сарафанах, так что были видны ее всегда сильно загорелые плечи и руки, а зимой носила узкое в талии и очень широкое внизу серое бостоновое пальто с воротником из черно-седой лисы. Этот воротник с лапками и мордочкой, на которой сверкали стеклянные глазки, назывался горжеткой или чернобуркой, и Мишкина мать хотела купить такой еще позапрошлым летом в Москве, но к концу отпуска всегда не

было денег, так что мать не купила чернубурку ни в позапрошлом году, ни в прошлом.

Возле школы было пусто. Мишка проскочил на всякий случай до дальнего угла забора, хотя даже ему, с его материнской близорукостью, издали было видно, что и там никого нет. Его сразу охватило отчаяние: на таком морозе за время ожидания у него совсем застынут руки и ноги, а куда деваться, когда Нина придет, тоже было непонятно. В школе светились некоторые окна, там репетировали в драмкружке «Горе от ума» старшеклассники и офицерские жены учились кройке и шитью, пойти с Ниной в школу было совершенно невозможно, обязательно кто-нибудь их увидел бы.

Впрочем, Нины все еще не было.

Сжавшись внутри одежды, поджимая в валенках и варежках пальцы, словно пытаясь стать меньше, чтобы мороз не заметил его, Мишка еще раз пробежал вдоль школьного забора до угла и дальше, до поворота на Строительную, на которой жила Нина. И сразу увидел ее, узнал очертания фигуры в туго подпоясанном пальто с несоразмерно большой головой — поверх берета был повязан материн пуховый платок. Приближаясь, фигура колебалась в желтом свете, падающем из окон первых этажей.

— Замерз? — задала глупый вопрос Нина.

Мишка молча снял варежки и осторожно просунул руки под рукава ее пальто, Нина тихо крикнула «дурак», но руки не отняла, и они застыли, сцепившись буквой «н».

— Куда пойдем? — все так же почти шепотом, будто кто-то мог их услышать на заледеневшей улице, спросила Нина.

— Меня мать в кино пустила на шесть часов, — сказал Мишка, — в старом клубе опять «Три мушкетера», да мне неохота, я четыре раза видел, глупость, прыгают вверх ногами, совсем на трех мушкетеров не похоже. Американцы все по своему придумали... А ты хочешь?

— Я тоже видела... — Нина уже высвободила свои запястья, и теперь они медленно шли вдоль школьного забора, держась рядом, но не касаясь друг друга. — С Надькой ходили. Мне тоже не понравилось... А куда же пойдем? Холодно очень, колени совсем замерзли...

Ничего не ответив, Мишка свернул в школьный двор. Славка Петренко из девятого «А» — староста драмкружка, игравший Чацкого, любимчик руководительницы, молодой клубной библиотечарши Елены Валентиновны, волейболист, летом участвовавший в первенстве городка в одной команде с молодыми офицерами, переросший всю школу синеглазый брюнет — к Мишке относился хорошо, поскольку жил с ним в одном дворе и брал у Мишкиной матери книги почитать. Можно попытаться как-нибудь незаметно проникнуть в спортзал, где шла репетиция, потихоньку попросить у Славки разрешения — Елена Валентиновна вообще ничего не видит и не слышит, когда репетирует — и молча посидеть на сложенных в темном углу матах, незаметно держа Нину за руку. План, конечно, был рискованный, любой десятиклассник или десятиклассница (особенно вредная Галька Половцова, которая играет Софью) могли выгнать, да еще и обсмеять — от горшка два вершка, а туда же, гуляют! Но ничего другого Мишке в голову не приходило.

Нина молча шла на шаг позади него.

Они уже поднялись на крыльцо, когда раздался очень громкий в тихом морозном воздухе скрип — Мишка оглянулся, застыл — и с грохотом распахнулась маленькая дверь в правом крыле школы. Дверь эта выходила на низенькое крыльцо и вела, как Мишке было известно, в комнату, которую школа выделила под жилье Вальке-техничке, поскольку «положено по закону», как говорила сама Валька. Валька была деревенской сиротой, жить ей было негде, и директор Роман Михайлович пожалел ее, взял после седьмого класса вечную второгодницу техничкой. А в левом крыле у самого Романа Михайловича была комната побольше, с кухней, и он жил там с женой, Зинаидой Федоровной, ботаника, биология и рисование. Сейчас в левом крыле окно было темное.

На низеньком крыльце возникла Валька в шароварах и заправленной в них нижней рубашке. Она выплеснула в сугроб из чайника широкий язык воды и, оглянувшись, заметила пару. Присмотрелась, негромко хохотнула своим почти мужским басом и поманила Мишку рукой. Валька, конечно,

была дура и двух слов не могла связать, так что вряд ли кому-нибудь расскажет, да и кто ее станет слушать, но Мишке все же стало не по себе. Тем не менее он подошел, проваливаясь в не разгребавшийся во время каникул снег, к Вальке. Толстое Валькино лицо белело в темноте, она улыбалась.

— Ну, замерзли на улице обжиматься? — Валька говорила негромко, но Мишка все равно вздрогнул, в любой момент кто-нибудь мог выйти из школы и услышать этот жуткий разговор. — Хотите ко мне зайти? У мене тепло, мне диван старый из учительской дали, сидите лапайтесь, а я на поле у печки лягу, там тепло... У тебе рубель с завтраков остался?

У Мишки был не рубль, а большая синяя пятирублевка, которую мать дала на кино и на какао с птифуром в буфете, но он не сразу понял, что Валька хочет плату за то, что пустит их с Ниной греться. Валька нетерпеливо переступила опорками валенок, надетыми на босу ногу.

— Ну, рубль дашь?

Мишка молча вытащил из кармана и протянул ей пять рублей. Мельком взглянув на купюру, Валька ловко выхватила ее из Мишкиной руки и сунула под рубаху, в вырезе которой при этом сверкнуло белое и пухлое, отчего Мишка вздрогнул.

— За пятерик можете хоть до утра. — Валька суетливо повернулась, снова со скрипом открылась дверь, и на Мишку из глубин налетел тот самый запах, крестьянский. — Бери свою, иди...

Мишка оглянулся. Нина стояла, отвернувшись и провалившись ботами в снег, шагах в четырех. «Слушай, — позвал он ее еле слышно, не желая называть по имени, поскольку надеялся, что Валька в темноте девочку не разглядела, — слушай, иди скорей!» И шагнул следом за Валькой в маленькие затхлые сени и потом в комнату, где синим чертом плясал огонь в железной печке, сделанной из малой керосиновой бочки, двигался теплый пахучий воздух, лежал на полу у печки тюфяк и в дальнем темном углу высился огромный диван — Мишка помнил его по учительской, его рваный дерматин, неподъемно тяжелые колбасы валиков по бокам и деревянную

полку над спинкой, на которой, когда диван стоял в учительской, лежали старые классные журналы стопками, а теперь были свалены кучей какие-то Валькины тряпки. Мишка услышал, как Нина вошла следом и прикрыла за собой скрипучую дверь. Огонь в печи прыгнул и стал розовым, а потом по-синел еще гуще.

Валька храпела на своем тюфяке.

Во тьме, пронизанной голубыми тенями огня, они разделись. Он снял, стянул назад свое пальто, стащил через голову бобочку, еле справившись с заевшей молнией, две байковые нижние рубахи и теперь сидел голый до пояса, мучительно ощущая в темноте свою худобу, тонкие обручи ребер и покрывшуюся мурашками кожу. Он расстегнул ее пальто и снял его, выворачивая рукава. Платок она распутала сразу и положила на колени, но берета не сняла. С мелкими кнопками на спине платья он возился долго, подковыривая каждую ногтем, а потом просто потянул, и они разошлись с тихими щелчками. Под платьем на ней была шерстяная безрукавка без застежки, которую он потащил кверху, но она немного сопротивлялась, и он безрукавку оставил, подняв до подмышек. Обнаружилась широкая полотняная лента лифчика с шершавыми линиями швов, которыми были простеганы чашечки. Он сунул руку ей за спину, но она откинулась, прижалась к своему полуснятому пальто, и ему стало неудобно. Пожалуйста, сказал он, ну, пожалуйста. Она посидела минуту с закрытыми глазами — ему было видно в темноте — и перестала сопротивляться совсем. Ему удалось довольно легко справиться с крючками лифчика на спине. Ее груди разошлись, он положил ладонь и почувствовал подающиеся под рукой, как бы проваливающиеся в пустоту припухлости сосков и застыл. Они сидели молча, не двигаясь, огонь плясал, Валька храпела. Потом он всем телом повернулся и просунул вторую руку под платье, вниз, и нащупал верхнюю резинку трусов и еще какие-то широкие ленты и пряжки, и, неестественно выгибая руку, стал просовывать руку еще ниже и нащупал резинки, стягивавшие вокруг ног эти длинные и толстые, бархатистые внутри от начеса трусы, и еще пряжки, и сантиметр голой, холодной и гладкой кожи,

и сморщенные пряжками верхние края толстых вигоневых чулок. Он оттянул верхнюю резинку, сунул руку, выворачивая ее совсем противоестественно, еще глубже и опять застыл, еле двигая пальцами и поглаживая самыми их кончиками тонкие вьющиеся и ускользящие волоски. Вдруг Валька захрапела громче, бормотнула что-то во сне, перевернулась на спину, солдатский полушубок, которым она укрывалась, свалился на сторону, и открылись толстые желтые Валькины ноги до самого верха, до края взъехавшей рубахи, из-под которой выполз большой черный треугольник, клубящийся в синем прыгающем свете. Мишка оцепенел, закрыл на мгновение глаза, потом открыл их и, еле найдя силы отвести взгляд от Вальки, посмотрел в лицо Нине. Ее глаза были открыты, и она глядела на Вальку не отрываясь, и огонь отражался в ее зрачках сине-розовыми проблесками. Мишка с усилием зажмурился, снял левую руку с Нининой груди и, взяв ее кисть, стал молча засовывать эту кисть под тугой пояс своих лыжных штанов, под застежку байковых, переделанных из отцовских, кальсон, под резинку трусов, туда, где все дрожало сильнее и сильнее, где, казалось, сошлось, натянулось и дергалось все Мишкино тело. Кисть была мягкая, пальцы цеплялись за тряпки Мишкиной одежды, но он дотронул руку туда, где все ждало и требовало этой руки, и сжал эту мягкую руку вокруг дрожавшего и дергавшегося, и снова, уже неотрывно, стал глядеть на Вальку, раскинувшую ноги в стороны и переставшую храпеть, и чувствовал, что и Нина глядит туда же, слышал ее дыхание и даже ощущал запах этого дыхания, горячий и немного едкий запах, который обычно исходит от складок тела вечером, когда раздеваешься. Он сжал Нинину руку вокруг себя еще сильнее, и тут уже все его тело напряглось, натянулось, его стало выкручивать, он прогнулся назад, будто хотел сделать мостик, на секунду его охватила летняя жара, он увидел штаб, услышал голос Киреева «смотри, Миха», потом холод окатил его, он весь передернулся — и почувствовал, что вся его одежда, и рука, и Нинина рука в мгновение стали мокрыми и липкими, и в то же мгновение все прошло, а остался только ужас, потому что это уже не спрячешь от матери.

Как смог, он вытерся слипающимся носовым платком и им же вытер Нинину руку. Потом, никак не попадая крючками в петельки и с трудом нащупывая кнопки, застегнул ее, оделся сам, и они вышли, осторожно открыв и закрыв дверь. Валька опять захрапела и перевернулась на живот, натягивая полушубок, но они старались не смотреть на нее.

На улице показалось гораздо теплее, чем раньше.

И ни одно окно в школе уже не светилось.

И Мишка понял, что случилась страшная вещь: они не заметили времени, сейчас уже очень поздно, настоящая ночь, его ищет мать, а может, и отец, и Нину тоже ищут, обзвонив всех из класса, и его, и Нинины родители поняли, что искать надо двоих, и теперь...

— Идем быстрее, я тебя провожу, поздно очень, — сказал он и потянул Нину за руку к выходу из школьного двора.

Они быстро прошли вдоль забора, свернули на Нинину улицу Строителей и почти побежали по ней. И вдруг Нина остановилась.

— Подожди, я задохнулась, — сказала она и, помолчав секунду, глянула Мишке в лицо и неожиданно задала неприятный вопрос, из тех, на которые была большой мастер, из-за чего они уже несколько раз ссорились и потом не встречались по несколько дней.

— Чего ты все боишься? — спросила Нина и, не дожидаясь, что он ответит, продолжала: — Чего вы все здесь боитесь? Вот мы жили в Поти, там никто ничего не боялся, там все ночью гуляли, и взрослые, и даже маленькие совсем... Там тепло, море, моряки ходят, все в своих домах живут, сады, абрикос растет... А здесь ни у кого даже собаки нет, мороз, темно, и боятся все... Мама правильно отцу говорит, чтобы рапорт писал, уезжать отсюда на юг. Они раньше были веселые, сидели в саду, шашлык жарили, с грузинами дружили, а здесь с кем дружить? Все по домам сидят, одна ваша еврейская компания у твоих родителей собирается...

Тут Нина осеклась и замолчала. От изумления молчал и Мишка. Во-первых, Нина никогда не говорила так помногу сразу, в основном она слушала, как Мишка рассказывает о книгах или о Москве. Во-вторых, «еврейская компания»,

о которой сказал не кто-нибудь, не дурак Толька Оганян, например, или Киреев, который все Мишке говорил, что где ни услышит, а Нина, ударила по ушам, будто лопнул морозный воздух, как бывает, когда вдруг выстрелит мотор грузовика. Мишка даже забыл о времени, о том, что их наверняка уже ищут, и даже о том, что было только что в Валькиной комнате, и о мокрых, прилипающих к телу трусах. В-третьих, и это было самое главное, Мишка почувствовал, что Нина права, и даже не просто права — она сказала то, что Мишка и сам знал, но никогда не говорил, даже себе, в таких словах. Жить в Заячьей Пади было страшно. Возвращаясь из Москвы, Мишка каждый раз чувствовал, как со всех сторон облепляют этот страх, и тоска, и уныние. И собак в Заячьей Пади никто не держал действительно — вернее, в селе-то Заячья Падь их было полно, в каждом дворе рвался с цепи и хрипел Полкан или Шарик, но в городке, имевшем адрес «Москва-350», ни домашних, ни уличных собак не было, только визжали овчарки, бегающие на проволочных поводках, скользящих вдоль длинной проволоки за стеной завода, да еще, говорят, огромная черная немецкая овчарка жила за стеной генеральского дома. Но почему «еврейская компания»?.. Мишка было вспомнил все плохое, что произошло за осень и зиму, но мороз — они так и стояли друг против друга, и холод напомнил о себе — отвлек его.

— Ничего я не боюсь, — для порядка возразил Мишка и осторожно спросил: — Ну, и написал твой отец рапорт? И вы уедете?

— Ничего он не написал, — раздраженно ответила Нина, отвернувшись и пошла дальше по улице к своему дому, и, догоняя ее, Мишка расслышал, как она пробормотала тихо, почти про себя, — тоже боится...»

— Ну?.. — Мишка слегка подтолкнул ее, чтобы она закончила фразу.

— ...а мать говорит, что раз так, то мы с ней уедем к бабке, в Одессу. Там тоже хорошо, тепло, у матери дам знакомых много, у бабки дом на шестнадцатой станции...

Теперь они шли совсем быстро, оба молчали. В голове у Мишки было только одно — Нина скоро уедет! И странное

чувство начал испытывать Мишка: будто сообщили на перемене, что следующего урока, к которому он как раз домашнее задание не сделал, не будет...

Но разобраться с этим чувством он не успел, потому что они подошли к Нининому подъезду и вошли в его теплую полутьму. Мишка протянул руки, чтобы обнять Нину и попробовать поцеловать — они в последнее время всегда целовались прощаясь.

Однако на этот раз, к счастью, поцеловать ее он не успел. Позади грохнула на пружине подъездная дверь, и, не оглядываясь, по Нининому лицу Мишка все понял.

Бурлаков с высоты своего жуткого роста смотрел на Мишку со спокойным интересом. На Бурлакове был распахнутый на груди офицерский белый полубубок, из-под которого виднелись полосы тельняшки.

— Домой беги, — сказал Бурлаков громко в тишине ночного подъезда, — беги, там мать уже всю комендатуру в ружье подняла.

Он взял Мишку за шиворот и подтолкнул к двери. Вылетая в настежь распахнувшуюся от толчка дверь, Мишка успел оглянуться. Бурлаков наклонился и, не размахиваясь, ударил Нину по щеке, так что его ладонь на мгновение закрыла все ее лицо. Нина молчала. Дверь захлопнулась, но Мишка еще услышал, как Бурлаков, еще сильнее нагнувшись, сказал «была б родная — убил бы», и увидел, как Нина взлетела в воздух — Бурлаков взял ее под мышку, как куклу.

В Мишкиной голове, пока он несся по ночному городку, мыслей не было никаких. Вернее, он все время повторял фразу, сразу придуманную для матери: «Часов же нет, откуда я время могу знать?» — как такая наглость пришла ему на ум, он и сам не понимал. Часы в классе были только у Генки Слинько, сына полковника-начштаба, «Победа» с черным ободком по циферблату и золотыми цифрами. И Мишка даже не мечтал пока о часах, надеясь получить их, в лучшем случае, к десятому классу, но тут, видимо, безумие охватило его, и он все повторял про себя: «Часов же нет, часов же нет...»

Он увидел обоих одновременно. Отец быстро шел, почти бежал навстречу, откидывая коленями длинные полы шине-

ли, а мать, сдвигая назад платок, налезавший ей на лицо, выглядывала из подъездной двери — Бурлаков, видно, уже позвонил.

С разбегу Мишка уткнулся в отцовскую шинель, отодвинулся, но сказать ничего не успел — отец сильно прижал его голову к себе, повторяя «сынок, сынок». И Мишка заплакал, конечно.

Глава седьмая. День рождения

Оганянов все считали странными людьми. Во-первых, Инка и Толька назывались двойняшками или близнецами, что уже вызывало интерес — других таких не было во всей школе. Правда, в прошлом году кончили десятый братья Малышевы, но, во-первых, братья, а не брат и сестра, во-вторых, их уже не было не только в школе, а и в городке, потому что эти лоботрясы никуда даже не поступали и их, переростков, не учившихся всю войну, сразу забрали в армию. Малышевых называли исключительно близнецами, а Оганяны требовали, чтобы их называли обязательно двойняшками, а за близнецов Толька лез драться, и Инка его поддерживала. Ну, называли их, конечно, двойняшками-говняшками, но за это они обижались меньше. В отличие от беловолосых и белоглазых Малышевых, абсолютно неразличимых и постоянно этим пользовавшихся, Толька и Инка вообще не были друг на друга похожи, только носы были одинаковые, большие и толстые, но у Инки волосы отливали желто-красным, как провода с трансформаторных катушек, а у Тольки — синевою, как только что почищенный «тэтэ».

Однако всем этим не исчерпывались странности семьи Оганянов, более того — не это было самым странным. Гораздо более удивительным было то, что отец двойняшек дядя Левон не был ни офицером, ни даже старшиной-сверхсрочником, а назывался «вольнонаемный» и ходил в странной одежде: в офицерских яловых сапогах, синих бриджах и полосатом гражданском пиджаке, под которым носил коричневую гарусную вязаную безрукавку, рубашку, длинные и острые уголки воротника которой загибались кверху, и серый галстук в белый горошек. Зимой он надевал сверху офицерскую шинель

без погон или обычный полушубок, а на голову военную каракулевую, как у стоявших у мавзолея солдат, сизую ушанку без звезды, летом же появлялся в широких курортных брюках из сурового полотна, узкой тенниске, обтягивавшей его костлявые плечи, голубоватых от мела парусиновых туфлях на розовой резиновой подошве и белой фуражке с обтянутым материей большим квадратным козырьком. Все это вместе Мишке представлялось как бы обязательной формой для «вольнонаемного» и казалось таким же смешным и нелепым, как само слово «вольнонаемный» и весь дядя Левон с его кривоватым носом на темном, всегда плохо выбритом лице. Нормальным мужчиной Мишка считал, конечно, отца с его выскобленными тугими скулами и так же туго натянутым кителем, ну, еще, пожалуй, дядю Сению Квитковского, тоже умевшего по любой грязи пройти своими сияющими сапогами со шпорами так, будто по воздуху перенесся, — ни пятнышка... И даже дядя Гриша Кац, хотя к нему Мишка давно привык, казался не совсем правильным — с его очками, узкими витыми докторскими погонами и всегда растрепанными полуседыми волосами, и дядя Федя Пустовойтов в вечно нечищенных сапогах и мятом кителе был тоже не совсем хорош...

Между тем с Левоном Оганяном офицеры — Мишка видел — обращались уважительно, и если отец утром, по дороге на службу, издали замечал идущего тоже к проходной дядю Левона, то обязательно останавливался, ждал, пожимал руку, а дядя Левон рассеянно гладил Мишку по голове — зимой прямо по шапке — и дальше шли уже втроем, отец с дядей Левоном сразу начинали говорить о работе и на Мишку не обращали внимания.

А мать Оганянов тетя Леля выглядела, как обычная жена офицера, только волосы у нее были удивительные — росли плотной толстой шапкой почти от самых черных широких бровей, а сзади были свиты в огромную косу, скрученную в большой крендель.

Только Оганяна все считали дураком, а Инку Киреев — не в глаза, конечно, а в разговорах с Мишкой — называл царяпавшим Мишку всякий раз словом «приститутка» за то, что она не сильно отбивалась, когда ее лапал не только Вовка Сарайкин, но и вообще почти все мальчишки, кто хотел.

Но Мишка в глубине души — не вступая ни с кем в спор — об Оганянах думал не так плохо. Ему казалось, что Толька не дурак, а просто слишком добрый и еще больше, чем сам Мишка, не может никому ни в чем отказать. Позвал его Генка Бойко на двери по котловану плавать — он пошел, предложил Вовка Сарайкин подкрасться на перемене сзади к Ветке Кузьминой и юбку ей на голову задрать — он подкрался... И каждый раз ему доставалось больше всех. Вроде действительно дурак, но какой-то не такой, как, например, тот же Генка Бойко — самый безнадежный двоечник в классе и при этом настолько хитрый, что даже как-то Нину Семеновну умудрялся перехитрить, и она уговаривала всех предметников натягивать ему переходные тройки. Да и Инка... Мишке иногда казалось, что она просто теряет сознание, когда ее хватает Вовка Сарайкин или еще кто-нибудь. Она цепенела в том положении, в котором ее заставляли, сидя или стоя, и глаза у нее закрывались. Не то что Ветка, которая действительно, сколько ее ни обжимали, только лыбилась да еще и сама норовила на лестнице прижаться и потереться.

В общем, теперь, когда подошло время дня рождения Инки и Тольки, который им родители обязательно устраивали каждый год, Мишка собирался с удовольствием.

Мать дала на подарок пятнадцать рублей, и Мишка долго слонялся по военторгу, выбирая. В отделе игрушек он полчаса стоял, согнувшись над прилавком и рассматривая конструктор, о котором мечтали абсолютно все мальчишки, но которого, насколько Мишка знал, никому не купили — он-то и был в магазине всего один и уже год стоял в витрине прилавка. Конструктор назывался «Автомобили СССР» и представлял собой плоскую картонную коробку с гнездами. В гнездах лежали тяжеленькие даже на вид, литые, крашенные блестящими эмалями корпуса машин — голубой «Москвича-401», коричневый «Победы М-20», кремовый «ЗИМа ГАЗ-12», черный «ЗИСа-110» и еще один, неизвестной марки, с длинным узким капотом, короткой кабиной и покатым багажником, золотисто-зеленый, обозначенный в приложенной к конструктору бумажке как «спортивный». Неизвестность марки и то, что он

никогда, даже в Москве, не видел такую машину на улице — хотя в такси «ЗИМе» и даже один раз в «ЗИСе» сам ездил, не говоря уж о «Победах», Мишку мучила не меньше, чем недоступность конструктора: стоил он девяносто рублей. В отдельных гнездах лежали два шасси с пружинными заводными моторчиками и колесами в шинах из настоящей черной резины, несколько маленьких болтиков, отвертка и заводной ключ. Вопреки реальности все корпуса были одного размера, и любые два из них можно было привинтить болтиками к шасси и запустить рядом по половине, как по улице. Мишке пришло в голову, что если такие машинки поставить во дворе на асфальтовую дорожку и с близости сфотографировать (фотоаппаратом «Любитель», который отец разрешает брать когда угодно, или трофейной «Лейкой», которую может принести Киреев, а потом проявить пленку в круглом пластмассовом бачке, высушить на кухне и ночью на кухне же отпечатать фотографии, привинтив фотоаппарат к специальному штативу и превратив его таким образом в увеличитель), то на фотографии эти автомобили не отличишь от настоящих...

Потратив таким образом довольно много времени в военторге, Мишка ничего не выбрал, перешел через дорогу в книжный и там купил «Книгу водителя» — хороший подарок и для Тольки, и для Инки, из которого можно было извлечь много полезных сведений. Было там, и как шалаш строить, и как искусственное дыхание делать изо рта в рот, и как запоминать многозначные числа. Книгу продавщица завернула в миллиметровую бумагу рыжей клетчатой стороной внутрь, так что получилось красиво.

А наутро в воскресенье Мишка сразу стал одеваться, хотя пригласили к пяти вечера — не маленькие уже, шестой класс.

Мать предложила надеть брюки навывпуск от формы и к ним пиджак от еще детского выходного, сшитого некогда в Риге во время отдыха, костюма, у которого были короткие, до колен штаны — за них в свое время, в четвертом и пятом классе, Мишка вытерпел много насмешек в школе, особенно от сельских мальчишек, кричавших «москвич, в голове кирпич!» и еще почему-то «африканец голожопый». Мишка пид-

жак померил, но рукава оказались ужасно коротки, едва ниже локтя, да и на груди одежда не сходилась. Мать собралась было рукава быстренько отпустить, было из чего, но Мишка решительно заявил, что ни пиджака, ни форменных брюк не наденет, потому что посмешищем больше быть не желает. Вон Генка Бойко: когда только приехал из Львова, где раньше служил его отец, тоже ходил, как иностранец с картинки: брюки-гольф пузырями, на манжете под коленом, полупальто клетчатое с поясом... А теперь ходит, как все нормальные мальчишки, потому что задрознили.

В результате надел Мишка практически то же самое, что носил каждый день: комбинированную куртку-бобочку и лыжные штаны-шаровары. Только под куртку мать велела надеть белую в голубую полоску вискозную рубашку, которую раньше носил отец с гражданскими брюками, когда в отпуске шли с матерью вечером гулять, а теперь она постиралась и Мишка подрос, так что только манжеты пришлось подвернуть, а воротник мать сама аккуратно выложила поверх куртки. Еще мать проследила, чтобы Мишка надел чистые и целые носки, чтобы разуваться не стыдно было, и Мишка, взяв «Книгу вожатого», в пятом часу вышел.

На маленькой площади перед центральной проходной, через которую ходили только офицеры и вольнонаемные, заключенных рабочих водили через дальнюю, восточную, Мишка подождал Киреева.

Оганяны, наверное, Киреева не звали бы, как не звали Вовку Сарайкина, Эдьку Осовцова, некоторых сельских ребят и вообще шпану. Но поскольку Мишка с Киреевым дружил, приходилось звать обоих. А Киреев, будто нарочно, оделся, как настоящая шпана: в своих любимых сапогах, из правого голенища торчит угол портянки, уши шапки отогнуты назад, но тесемки не связаны, так что правое ухо свесилось и болтается, как у зайца, перешитый из взрослого полушубок расстегнут, под ним расстегнутый же серый китель от формы, а под ним синяя сатиновая рубаха, и ворот тоже расстегнут, так что из полушубка торчит тонкая, красная от холода шея, — в общем, кошмар. Но подарок Киреев нес хороший: мать его дала большой шоколадный набор в красной коробке

с оленем, это было вроде для Инки, а Тольке Киреев от себя тащил в кармане кучу альчигов — мировую битку, аккуратно просверленную и залитую свинцом, и пять штук обычных, тоже мировецких, крупных, ровных и гладко отполированных, подолгу уже игранных. Альчики Киреев сам выиграл у сельских еще ранней осенью на пустыре за базаром, куда вообще-то ходить почти всем мальчишкам из городка родители запрещали.

Мальчишки шли, чтобы сократить дорогу — Оганяны жили в новых домах на восточном краю городка, там им недавно дали квартиру, а до того у них была комната в бараке, — вдоль заводской стены. За стеной носились, звеня проволоочными поводками и коротко взлаивая, собаки, солдат на одной из вышек от скуки отдал пацанам честь и засмеялся во весь широкий рот.

Между собой Мишка и Киреев на ходу не разговаривали — дул сильный ветер, задувал в горло, и слов не было слышно, относило. Поэтому Мишка, как всегда, когда вокруг было неприятно — плохая погода, или скучный урок, или просто нечего делать, — стал придумывать себе жизнь.

Теперь он представил себе, что идет на день рождения одетым, как Роберт Колотилин, в клетчатом пиджаке и ботинках на толстой белой подошве, и вообще — что он и есть Роберт Колотилин, знаменитый футболист «Торпедо», и вот они с Киреевым приходят к Оганянам, он снимает пальто, и все видят, как он выглядит, и Нина стоит в дверях комнаты среди других девчонок, стараясь не смотреть на него... Тут он подумал, что тогда и Нина должна бы прийти не в школьном коричневом платье без фартука, а в ботинках-румынках с полоской меха по краю коротеньких голенищ, в чулках со швом, в черной короткой и узкой юбке со складкой сзади и в желтой шелковой блузке с широкими плечами — однажды он видел так одетую девчонку, это была подруга Марты, «завмаговская дочка», как с неодобрением назвала ее тетя Ада, когда девчонки уже убежали в кино, в «Центральный» на Пушкинскую...

Тут он вдруг вспомнил и дядю Петю, и настроение сразу испортилось. В последнее время ничего не напоминало ему о том неприятном и даже страшном, что было осенью: о рас-

сказе Киреева, о ночном разговоре взрослых, о его ужасе и ожиданиях. Дома о дяде Пете и всей московской семье Малкиных не вспоминали вообще, и Мишка тоже как-то отвлекся, не думал. Что-то мелькало, когда по радио говорили о разоблаченных космополитах и когда приносил почтальон новый «Крокодил», где были нарисованы жуткие морды с длинными и кривыми носами и подписи были тоже про космополитов и врачей-вредителей, но тут же неприятные мысли как-то рассасывались, расплывались. Длинноносые в «Крокодиле» не были похожи ни на дядю Петю, ни тем более на мать, а если и походили на кого-то из знакомых, то, скорей, как раз на дядю Левона Оганяна и еще немного на дядю Гришу Каца, но об этом Мишка тоже не думал, хотя дядя Гриша был к тому же еще и врач, и в госпитале, когда к нему приводили Мишку, был в белом халате поверх кителя.

И вот теперь, идя вдоль заводской стены и уже сворачивая, чтобы пересечь пустырь, за которым стоял новый четырехэтажный дом Оганянов, Мишка вдруг вспомнил.

Но тут Киреев отвлек его обычным своим дурацким разговором.

— А ты водку пил? — спросил ни с того ни с сего Киреев.

Мишка водки не пил, только один раз дядя Лева Нехамкин налил ему в чашку из-под компота шампанского, крайне неприятного напитка — Мишка вообще никакой газированной воды не любил, от газа у него сразу начинал болеть живот, да еще несколько раз ему давали попробовать любимое всеми взрослыми вино «Шато-икем», тоже довольно неприятного, горько-сладкого вкуса. Кроме воспоминания о противной жидкости, которую трудно проглотить, никаких других воспоминаний от выпитого у Мишки не осталось. А как пьют водку мужчины, он видел довольно часто, не только на праздники. Иногда отец просто перед ужином наливал себе стопку, маленький граненый стаканчик, и выпивал одним глотком — это означало, что он устал больше обычного или у него неприятности. Водку наливал он из лилового резного графинчика, и Мишка знал, как эта водка делается: сначала отец наливал туда чуть голубоватый спирт, принесенный со службы в бутылке, заткнутой обрывком газеты, потом кипяченую воду из чайника, потом бросал туда шкурки от мандаринов, если была

зима и дома были купленные к Новому году или оставшиеся с Нового года мандарины, или мелко нарезанное яблоко, или пару долек чеснока — и убирал графин в буфет, а когда через день или два доставал, чтобы выпить водки, то жидкость в стаканчик лилась уже желтоватая или зеленоватая.

Все это Мишка видел, как видел и последствия: уснувшего за столом дядю Гришу, дядю Леву, которого тетя Тоня уводит домой, а он никак не может влезть в шинель и пытается сесть на пол в прихожей, дядю Федю, которого тошнит в уборной — но сам, надо было признаться, водки еще не пил.

— А ты пил? — ответил он раздраженно.

Киреев честно признался, что еще не пил, и сказал, что надеется сегодня выпить: когда родители Оганянов сядут вместе со всеми за стол, перед дядей Левом обязательно поставят в графине их армянскую водку, желтую и вонючую, Киреев забыл, как она называется, но знает, что это точно водка, ее Оганяны из Армении привозят, из отпуска, а когда потом старшие Оганяны встанут из-за стола, чтобы не мешать детям, то водку оставят, и Киреев обязательно нальет себе и выпьет. Он и в прошлом году налил бы и выпил, но еще боялся, а теперь обязательно выпьет.

Мишка не знал, что на это ответить, пить водку дяди Левона он, наверное, не решится, но говорить об этом Кирееву не хотелось, однако отвечать ничего и не потребовалось, потому что они уже пришли.

Пришли они почти последними, хотя пяти еще не было. Все толпились в прихожей и в дверях комнаты, тетя Леся протискивалась, носясь из кухни с едой — с блюдами маленьких голубцов, завернутых в темно-зеленые виноградные листья, и с огромной супницей плова, обложенного оранжевой морковкой. Всякие свои армянские продукты Оганяны летом привозили из отпуска в огромных чемоданах и каким-то образом сохраняли до этого дня. Мишка и Киреев разделись и отдали свои подарки. Конфеты Инка, нарядная, в широком платье цвета «чайная роза» и с распущенными волосами, сразу поставила на стол, а «Книгу вожатого» Толька немедленно принялся листать, приговаривая «железная книга, смотри, здесь про следы есть, в какую сторону человек шел, если он задом наперед шел!», и все стали заглядывать в книгу, хотя

у многих, Мишка знал, она уже была — ему самому мать купила еще в прошлом году.

Нина стояла в дверях комнаты — по обыкновению, рядом с Надькой. Как почти все девчонки, пришла Нина в форменном коричневом платье, но без фартука и с кружевной полоской на стоячем воротничке, только волосы причесала не так, как в школу: подняла косы и уложила их надо лбом полукругом, так что сиреневые банты пришлись над ушами. Мишка к ней, конечно, подходить не стал, затесавшись среди мальчишек, шептавшихся о том, как и где можно будет после покурить. Он рассматривал Нину издали и удивлялся, как всякий раз удивлялся, глядя на нее, почему не все замечают, какая Нина необыкновенно красивая и как похожа на киноартистку Целиковскую, только младше. Между тем красавицей Нина в классе не считалась, многим нравилась Инка, другие бегали за Веткой Кузьминой из шестого «Б», пораженные ее грудью, как у взрослой толстой тетки, ну и, конечно, все заглядывались на общешкольную красавицу десятиклассницу Гальку Половцову, которую, тут уж ничего не скажешь, и Мишка считал очень красивой, но к которой никто даже из десятых классов близко не подходил — всем было известно про Славку Петренко, который хотя и учился только в девятом, но был старше и сильнее всех десятиклассников, поскольку в войну много пропустил, и мог налупить любому. А отношения у Гальки со Славкой были почти официальные, каждый вечер они встречались или в драмкружке, где по роли Славка объяснялся Гальке в любви, или просто на танцах в клубе, где совершенно спокойно среди молодых лейтенантов и вольнонаемных машинисток и бухгалтерш танцевали падеспань и даже медленный вальс (раньше назывался «бостон») прижавшись.

Среди толпившихся в прихожей возвышался дядя Левон, невнимательно, по обыкновению, гладивший по головам тех, кто попадал под руку. Вдруг все затихли — из кухни вышел старший сын Оганянов Гарик. Он всегда приезжал на день рождения младших — сдавал досрочно и отлично сессию в своем институте в Сталинграде и приезжал на целый месяц. Учился он в педагогическом на физмате, получал повышенную стипендию — Сталинскую почему-то не давали — и фигурировал в воспитательных разговорах многих матерей с сыновья-

ями как безусловно положительный пример. Школу закончил три года назад с золотой медалью и поступил — правда, не в МГУ, как собирался, а всего лишь в Сталинградский педагогический, говорили, чтобы учиться поближе к семье, но как-то об этом неуверенно говорили, а глупая Инка однажды проболталась, что в МГУ у Гарика не приняли, несмотря на медаль, даже документы, так что он только неделю проболтался в Москве, посмотрел, как строят высотное здание на Ленинских горах, и еле успел в Сталинград к собеседованию — и вот уже на третьем курсе учился без единой четверки, сопровождал институтскому хору на своем еще памятном всей школе розово-перламутровом аккордеоне «Вельтмейстер» и получил весной первый разряд по классической борьбе, готовился в мастера.

При этом, используя любую возможность, приезжал хотя бы на два дня домой — благо от Сталинграда действительно было близко, ходил с тетей Лелей на базар, на обратной дороге тащил тяжелые авоськи, учил Тольку бороться, а зимой ходил с братом и сестрой на каток за клубом, сам прикручивал к Инкиным чесанкам «снегурки» и катался с ней парой, держась за руки крест-накрест.

Мишке Гарик нравился, несмотря на то что и Мишкина мать нередко ставила его в пример, хотя таким, как Гарик, Мишка себя в мыслях о будущем никогда не представлял. Слишком Гарик был прост — ходил летом и зимой в клетчатой ковбойке и коричневых широких диагональных брюках, вытертых сзади до металлического блеска, носил старое полупальто-«москвичку» с лысоватым цигейковым воротником, из коротких рукавов которого высывались широкие мощные запястья борца, густые черные волосы с красноватым, как у меха котика, оттенком, стриг под полубокс и зачесывал гладко назад, но они разваливались крыльями на две стороны, образуя посредине головы нелепый пробор. К тому же Гарик носил круглые очки в черной оправе, которые снимал, только выходя на борцовский ковер. В общем, до Роберта Колотилина Гарика было далеко, а Мишка, в глубине души сознавая, что, скорее, через семь лет станет похож на Гарика — с его круглыми пятерками, очками и некрасивой прической, представлял себя все же Колотилиным.

Да и история с непоступлением в МГУ, так же как и неполучение Сталинской стипендии по каким-то загадочным причинам, Мишке — он и сам не знал, почему именно — не нравились. Каким-то образом эти истории портили Мишке настроение, когда он себя представлял взрослым, студентом, живущим отдельно от родителей, в общежитии, в Москве или, может быть, даже в Ленинграде.

Всех позвали к столу. Долго рассаживались, протискиваясь между столом, стульями и табуретками, Киреев, конечно, зацепил и чуть не стащил скатерть со всей посудой. Нина села в самом дальнем от Мишки углу среди девчонок, так что на нее и теперь было удобно смотреть. Разложили всем винегрет, и дядя Левон налил каждому в стакан или рюмку — что кому досталось — немного сизо-красного, с сильным кисловатым запахом вина из большой банки, и все стали тянуться, чтобы чокнуться с Толькой и Инкой. Мишка выпил вина, немного поел — по-настоящему он мог есть только дома — и стал смотреть, как едят другие. Многие чавкали и держали вилку в кулаке, и Мишка вдруг вспомнил мать, ее вечное «не хлюпай», когда он тянул из ложки суп, ее подслеповатый высокомерный взгляд, ее сшитые в Москве и Риге платья, нелепо выглядящие в городке... Громче всех чавкал, разумеется, сидевший напротив Киреев, поедая маленькие голубцы с красивым названием «толма» — Мишке пришел в голову толмач из истории СССР. При этом Киреев все пытался незаметно дотянуться до банки с вином, надеясь, видимо, как-нибудь налить себе еще, и строил рожи Мишке — давай, мол, не теряйся. А дядя Левон с Гариком действительно пили сильно пахнущую гнилым желтую водку из другой, маленькой банки и каждую стопку закусывали белым соленым сыром, оборачивая в ломоть сыра ветку темно-зеленой, лиловой с изнанки травы.

Потом пили чай с «наполеоном», который дядя Левон в шутку называл «бонапартом», а потом сдвинули стол в сторону, принесли большой голубой патефон с выдвигной плоской трубой и принялись выбирать пластинки для танцев. У Оганянов пластинок было много, не только Апрелевского завода, на красных или голубых наклейках которых была кремлевская башня, но и довоенных польских, по черным на-

клейкам которых шли золотые мелкие надписи иностранными буквами. Начали ставить, конечно, польские и не пошли дальше фокстрота «Воскресенье», девчонки принялись танцевать, как говорил дядя Левон, шерочка с машерочкой, а мальчишки стояли вокруг патефона и слушали голосовой квартет и резкие медные проигрыши оркестра.

Тут Киреев и осуществил давно задуманное: за спинами пролез к столу, быстро в первый попавшийся стакан налил на треть желтой водки и, спеша, давясь и пуча глаза, ее проглотил в два глотка. Впрочем, видимо, он к этому хорошо готовился, присматривался к взрослым, потому что еще успел и приготовить стакан с компотом, так что не закашлялся, а сразу водку запил. Прюделав все это действительно мгновенно — не успел кончиться оркестровый проигрыш, Киреев сделался страшно важный и снисходительно кивнул Мишке, дескать, подходи, устройо и тебе.

И, конечно, Мишка поддался. Он протиснулся к столу за спинами мальчишек, рассматривавших пластинки, вынимая каждую из тонкого полупрозрачного бумажного конверта и держа за ребро, так же быстро, как Киреев, налил водки — правда, в свой стакан, который запомнил, и не на треть, а почти до половины — и выпил, показав Кирееву, что и он знает, как полагается: резко выдохнул, как делал дядя Сеня, и почти всю водку, чуть-чуть на дне осталось, проглотил за один раз.

Ничего особенного, кроме легкого ожога горла, а потом и желудка, он не почувствовал. Киреев показал большой палец, но Мишка демонстративно от него отвернулся, подумаешь, он еще будет хвалить... Девчонки всё танцевали, теперь уже под танго «Брызги шампанского» в исполнении оркестра радиокомитета п/у Варламова, причем кто-то — кажется, неугомонный Киреев — тихо и фальшиво пел «новый год, порядки новые, колючей проволокой наш лагерь окружен», и Мишке в голову вдруг пришла странная идея. Нина танцевала с Надькой, Надька вела, а Мишке стало как-то обидно, не то чтобы он обиделся на Нину, но вообще на всех вместе, никто не знал, что еще совсем недавно они с Ниной сидели у Вальки и трогали друг друга где угодно, и Мишка бы умер, если бы кто-нибудь узнал, но в то же время ему хотелось, чтобы об этом знали все, а он с Ниной мог танцевать, прижима-

ясь, как танцуют, например, дядя Лева Нехамкин с тетей Тоней, или Славка Петренко с Галькой Половцовой, а потом уйти вместе домой, чтобы у них был общий дом и он снимал сапоги деревянной рогулькой, а Нина подставляла эту рогульку и сердилась, что Мишка не может вставить в нее сапог, промахивается...

И, расстроенный этими мыслями, Мишка решил осуществить свою странную, но теперь казавшуюся ему абсолютно правильной идею: он раздвинул начавшую качаться — видно, все напились желтой водки дяди Левона — толпу мальчишек и пригласил на вальс «Сказки Венского леса» в исполнении духового оркестра краковских пожарных Инку Оганян, которая как раз стояла одна в углу и обмахивалась рукой. Они пошли танцевать на «раз-два-три», которые Мишка все время проговаривал про себя, и получалось очень хорошо, Мишка ни разу не сбился, вовремя выносил назад ногу при поворотах и вообще выглядел ничуть не хуже какого-нибудь суворовца, бал которых и танцы показывали в киножурнале. Один раз, правда, он споткнулся об Инкину ногу, но Инка нисколько не обиделась, за что Мишка ее поцеловал. После этого Гарик и дядя Левон взяли Мишку за плечи и подколенки и зачем-то положили на кровать дяди Левона и тети Лели в другой комнате, с которой Мишка не мог встать, потому что она наверняка была с панцирной сеткой, и эта проклятая сетка проваливалась, когда Мишка ворочался и пытался подняться, и, поняв, что с нею не справиться, Мишка смирился и заснул.

Ему приснилось, что вошла Нина и за что-то ударила его кулаком по лбу, было совсем не больно, но Мишка чуть не заплакал, почти заплакал, но сдержался. Потом ему приснилось, что пришел Киреев, помог ему выбраться из проклятой сетки, они пошли в прихожую, где долго обувались, а Гарик смотрел на них сверху, и Мишка снизу посмотрел на Гарика, и, встретившись с ним глазами, Гарик негромко, но очень внятно сказал «не пей больше, Миша, теперь у тебя жизнь будет трудная, а будешь пить — пропадешь», но Мишка тут же забыл эти слова, а запомнил только, что теперь будет плохо, и как-то сразу понял, что «теперь» означает «когда нет дяди Пети», но потом забыл и это. Еще ему приснилось, как они с Киреевым идут домой, Киреев делает кряк, чтобы прово-

дить его, Мишку, хотя Мишке это совершенно не нравится, он хотел бы идти домой один и вспоминать Инку Оганян, Гарику и его слова, лицо Нины, каким оно было, когда Нина приснилась ему, и музыку «Брызги шампанского», но Киреев не отстаёт, да ещё все время говорит «стой, давай поссым», как он надоел, Мишка хочет спокойно спать, чтобы не мешали ему ни Нина, ни Киреев.

И он наконец засыпает, хотя и в этом сне ему снится кошмар: над ним стоит отец и говорит такое, чего Мишка никогда наяву от него не слышал, — «скотина», вот что говорит отец, отворачивается и уходит из Мишкиного сна.

Глава восьмая. День памяти Ленина

На торжественную линейку строилась вся школа, поэтому, пока не угомонились в ровных рядах, шум и теснота в широком коридоре второго этажа были страшные, несмотря на шиканье учителей «с ума посходили, орете в такой день, перестань толкаться, Сарайкин, сейчас за родителями пойдешь!», и Мишка, забыв все свои неприятности, толкался вместе со всеми, незаметно пихал выстроившихся девчонок, так что वालीлась вся шеренга, и подставлял ногу бестолково носившимся малышам. В гаме и суете весь этот ужас — отец не разговаривает, мать то обзывается, то тихо плачет на кухне, Нина не смотрит, а когда он попытался, дождавшись за углом после уроков, пойти рядом, вдруг рванула с места и побежала, так что и догонять ее, бежать за девчонкой по улице, как дураку, не было никакого смысла — все не то чтобы забылось, но затихло, как затихает зубная боль, если чем-нибудь заняться или придавить зуб, только ноет понемногу...

А уж вся история с дядей Петей, страшным ночным разговором взрослых и ожиданием малолетней колонии вовсе исчезла из головы, было не до этого, а малолетняя колония теперь если и вспоминалась, то в гораздо более реальной перспективе — во всяком случае, утром после того проклятого дня рождения мать сказала о колонии вполне всерьез.

С Киреевым водиться было запрещено настолько решительно, что нарушить запрет представлялось совершенно невозможным, да и сам Киреев не подходил — ему дома за всю

историю с Салтыковым, в которой роль Киреева стала каким-то образом родителям известна, устроили такое, что он два дня в школу не ходил, а пришел с запиской от отца, и Нина Семеновна отсадила его одного на последнюю парту, а Мишку посадила к Эдке Осовцову на вторую парту в ряду у двери, где до этого спортсмен сидел один — ему вдвоем за партой было тесно, он из-за своих размеров даже крышку парты держал всегда открытой. А замечательное место у окна с молчаливого Нины Семеновны согласия заняли Генка Бойко с Толькой Оганяном и уже нашли тайник.

Наконец построились.

На середину вышел директор Роман Михайлович и начал говорить о том, какой сегодня день в жизни трудящихся всего мира, о страданиях свободолюбивого южнокорейского народа под властью марионетки Ли Сын Мана, о кровавой клике Тито-Ранковича и о том, что дети трудящихся всего мира никогда не забудут великого Ленина и будут жить и учиться так, как призывает великий ученик великого Ленина, вождь и учитель советского народа-победителя великий товарищ Сталин.

Мишка стоял в шеренге своего шестого «А» третьим по росту, после Эдки Осовцова и Вовки Сарайкина, смотрел на директора и видел, что директору стоять неудобно. Произносая речь, Роман Михайлович еле заметно двигался, переступал с ноги на ногу, поворачивался и потихоньку перемещался в сторону, одновременно поворачиваясь к шеренгам школьников боком. Такое поведение директора Мишка никак объяснить не мог и задумался, что это могло бы означать. Могло, конечно, быть, что Роман Михайлович вчера сильно выпил, а утром в своем директорском кабинете быстренько налил в стакан, стоявший возле графина с тонким горлом, до половины водки из шкалика «красной головки» — такое бывало, некоторые, не вовремя сунувшись в кабинет, сами видели, — и быстро выпил, чтобы, как говорил дядя Федя, поправить прицел. Но что-то Мишке подсказывало, что сейчас дело не в этом и ничего Роман Михайлович не пил... И вдруг Мишка понял! Начав говорить, директор стал точно перед серединой строя, и оказалось, что большой белый бюст товарища Сталина, установленный на обтянутом красной материей постаменте, смотрит прямо в спину директора. И от этого Роман Ми-

хайлович чувствует себя неловко, как всякий человек, повернувшийся к старшему спиной, да и вообще — неловко, когда тебе кто-нибудь пристально смотрит в спину, даже если это и не товарищ Сталин. И вот теперь Роман Михайлович пытается исправить положение — чтобы и от школьников не отвернуться, и к товарищу Сталину спиной не стоять.

Как только Мишка до этого додумался, а Роман Михайлович наконец встал и к строю, и к бюсту вполоборота, линейка кончилась. В день памяти Ленина уроков не полагалось, и все, под шиканье учителей и потому без большого шума, посыпались в раздевалку. Мишка оделся и в распахнутом пальто — с утра сильно потеплело, начало таять, будто уже скоро весна — вышел на школьное крыльцо.

На крыльце стоял Киреев.

Мишка ничего Кирееву не сказал, и Киреев ничего не сказал Мишке — просто постояли рядом минуту или две, а потом, все так же не разговаривая друг с другом, спустились с крыльца и пошли по улице в сторону клуба.

В клубе было пусто, дежурный старшина дремал, откинувшись на стуле рядом с тумбочкой, перед покрашенными серебрянкой бюстами Ленина и Сталина, стоявшими по обе стороны двери в зрительный зал, были аккуратно выстроены корзины новеньких искусственных цветов из красного шелка с листьями из зеленой жатой бумаги. В пустом вестибюле гулко отдавались шаги, из спортзала доносились удары и приглушенные восклицания. Ничего не обсуждая, Мишка и Киреев на цыпочках проскользнули мимо старшины, сняли на ходу пальто и, держа их в руках, приоткрыли высокую дверь в спортзал, просочились и застыли у самой двери.

В спортзале тренировались борцы.

Это была обычная тренировка сборной городка, которую решили, видно, не отменять, хотя в день памяти вообще-то тренироваться не следовало. Но сборную по борьбе в городке любили, на окружных соревнованиях она всегда занимала первое место, и полученными ею грамотами был обвешан весь клуб, так что нарушение торжественности дня борцами должно было бы сойти как бы незамеченным.

Человек шесть мужиков с покатыми тяжелыми плечами и выпуклыми загривками, в черных линиялых трико и старых

ободренных борцовках, в основном солдаты-строители, прыгали через скакалки, приседали с круглыми блинами от штанги на плечах, один становился на мостик, второй садился ему на живот, и нижний отжимался... Командовал известный Мишке и Кирееву старший лейтенант из охраны по имени Али Николаевич, немолодой азербайджанец с жестким седым ежиком на круглой голове, в сатиновых шароварах и вытянутой майке на оплывшем книзу, густо заросшем черным волосом торсе.

Мишка и Киреев стояли тихо, может, Али Николаевич их и заметил, но ничего не сказал. Пахло в спортзале ужасно.

Двое начали бороться — полутяж и средневес. Оба были волосаты, стриженные нулевкой головы отливали оружейным металлом, все борцы были земляками Али Николаевича. Полутяж почти сразу стал в партер, а средневес, ползая вокруг противника и громко, как-то горестно вздыхая, начал его дожимать, зацепляя шею в кольцо и бросая, коротко встряхивая кистями и опять смыкая их на затылке стоявшего на четвереньках.

Тут Киреев вдруг довольно сильно толкнул Мишку в бок, Мишка хотел дать сдачи — нашел, дурак, где толкаться, чтобы выгнали! — но Киреев все так же молча показал в дальний угол спортзала. Мишка проследил направление, указанное кривым, до последней возможности обгрызенным ногтем, и увидел Гарика Оганяна.

Гарик лежал на самом верху высокой, под потолок, стопки матов и, свесив голову, смотрел на тренировку.

В тот момент, когда мальчишки отвлеклись, произошло самое важное: полутяж вырвался из кольца, вскочил из партера, рухнул на средневеса, мгновенно захватил его руку и, почти без усилия перевернув на спину, прижал лопатки к съехавшему крупной складкой ковру. Бросившие тренироваться и стоявшие вокруг борцы загомонили.

В это же мгновение Гарик с тихим стуком спрыгнул на пол, и мальчишки увидели, что он тоже в трико и борцовках — новеньком густо-синем трико и шикарных белых борцовках. Трудно было поверить, что это тот же самый Гарик, которого привыкли видеть в старой ковбойке и нелепых, широких, как юбка, штанах.

Гарик снял очки, оглянулся, прищурившись, прошагал по периметру спортзала к двери и сунул очки Мишке со словами «подержи аккуратно». Мишка не успел даже ответить, а Гарик уже подошел к Али Николаевичу вплотную и о чем-то очень тихо заговорил с ним. Борцы смолкли, они не обернулись к Гарику, все еще стоя вокруг ковра и глядя, как поднимается, разминая шею, полутяж, как, полежав секунду с прикрытым согнутой в локте рукой лицом, выгибается и, толкнувшись затылком, пружиной взлетает средневес...

Али Николаевич слушал Гарика, наклонив седую голову, глядя в пол и крепко сцепив за спиною руки в замок. Дослушав, он постоял так еще какое-то время, потом кивнул, громко, на весь спортзал, сказал «давай, студэнт», и, обернувшись к борцам, нашел глазами полутяжа — тот все еще крутил головой, разминая намученную средневесом шею.

— Магомэдов, — окликнул его Али Николаевич, — со студэнтом поработать хочишь, нэт? У нэго второй срэдний...

Магомедов, которым оказался полутяж, высокий, очень длиннорукий и худой для борца своего веса парень, молча вышел на середину ковра. Гарик пару раз присел, сцепил руки в замок над головой, покачался из стороны в сторону и, в один шаг впрыгнув на ковер, подал Магомедову руку. Но тот руки не заметил и уже пошел по ковру кругом, чуть присев и наклонившись вперед, неотрывно глядя на Гарика.

Мишка сразу pokrылся потом, что-то сдвинулось в нем и встало в груди, он уже ничего не видел, кроме двоих молодых мужчин, готовившихся сцепиться.

Гарик тоже пошел по кругу, но он не приседал и не наклонялся, а, наоборот, немного откидывал корпус назад, разведя руки и как бы приглашая Магомедова в объятия. Они сделали один круг, второй...

Борцы, встав плотным рядом, заслонили от Мишки и Киреева ковер, и мальчишки, стараясь двигаться бесшумно, подошли поближе, встали сбоку, на них никто не обернулся.

Магомедов нырнул вперед и длинными своими руками рванул разведенные руки Гарика, крутнулся — и повалил Гарика на пол, повернувшись к нему спиной, лег на него и стал давить, прижимать, и лопатки Гарика едва не коснулись ковра, но он успел стать на мост. Продавливать мост Магомедов

не стал, отскочил, снова, присев и согнувшись, пошел по кругу, а Гарик уже спружинил и ждал. Магомедов снова кинулся, но на этот раз проскочил головой под правой рукой еле заметно шагнувшего в сторону Гарика, тот успел взять шею Магомедова сверху в замок, навалился — и поставил Магомедова в партер.

В зале висела тишина, пыхтение и хрип борющихся были слышны, казалось, на весь городок. Киреев, переминавшийся от волнения с ноги на ногу, будто ему приспичило в уборную, не выдержал, снова толкнул Мишку, прошептал «слышишь, как пердят?», но Мишка только отмахнулся от дурака — известно без него, что происходит с борцами от напряжения.

И тут случилось главное.

Гарик на секунду освободил шею Магомедова, Магомедов начал распрямляться — и в мгновение Гарик поднырнул под него, захватил снизу оторвавшуюся от ковра левую руку, дернул, опрокинул Магомедова спиной на ковер, перебросился через него всем своим телом и с тихим гортанным криком-выдохом прижал лопатки впустую извивавшегося противника к ковра. Какое-то время, показавшееся Мишке очень долгим, они так лежали, крестом, потом Гарик поднял голову и, обращаясь к Али Николаевичу, сказал одно слово, непонятное, Мишка догадался, что от волнения Гарик обратился к Али Николаевичу по-армянски! И уж совсем удивительно: Али Николаевич понял! Он махнул рукой, тихо что-то пробормотал тоже не по-русски и, сделав несколько шагов в сторону, присел на стоявшую у стены низкую длинную скамью.

Гарик встал. Магомедов лежал на спине, закрыл глаза и широко раскинув руки. Гарик склонился к нему, тронул за плечо, взял за руку, сказал громко в тишине:

— Вставай, брат, спасибо тебе.

А что было потом, Мишка вспомнить точно не мог.

Кажется, Магомедов вскочил, кажется, в руках у него как-то оказался маленький блин от штанги, кажется, подняв его над головой, он замахнулся на Гарика, кажется, Гарик перехватил руки, сдавил, заломил над головой Магомедова назад, и блин со страшным грохотом рухнул позади Магомедова, среди раскочивших в стороны борцов и закрутился на полу, волной поднимаясь и опускаясь на ребре, кажется, Али Нико-

лаевич уже держал Магомедова сзади и тащил от Гарика, кажется, другие борцы начали Гарика окружать, и все кричали — наверное, по-азербайджански, а Гарик отступал к матам и вдруг, почти без толчка и не оборачиваясь, спиной вперед, вспрыгнул на эту высоченную, метра в полтора, стопку матов и встал там, головой почти под потолок зала, а Али Николаевич, крича по-азербайджански и толкая то одного, то другого, выпихивал из зала своих борцов, и они, оглядываясь, выдавились в раздевалку, Магомедов шел в середине, и никто так и не заметил мальчишек, будто они были невидимыми, а Гарик спрыгнул, уже каким-то образом оказавшись одетым, с мешком в руке, взял у Мишки очки — и через минуту они, Гарик, Мишка и Киреев, уже стояли на площади, дул теплый, пахнувший сыростью ветер оттепели, и казалось, что никакого спортзала нет вообще — и не было.

Они прошли вместе мимо забора, которым в последние дни обнесли котлован строящегося Дома офицеров, и остановились — от этого места Мишке было прямо, Кирееву налево, к финским домам, а Гарика направо, вдоль стены завода, к новым четырехэтажным. Гарик молча подал руку Кирееву и Мишке, повернул уже было, чтобы пересечь улицу и уйти по тропинке вдоль стены, но Мишка решил и спросил его все-таки.

— Чего это он? — спросил Мишка. — Это ж спорт... Он же кандидат в мастера, подумаешь, один раз на тренировке ты его положил... Он же убить мог блином, да?

Гарик внимательно посмотрел на Мишку сквозь очки, потом переложил мешок с трико и борцовками, стянутый веревкой, в левую руку, правой снял очки и, наклонившись к Мишке, близко заглянул в его глаза темными, без зрачков, глазами.

— Он перс, Миша, понял? — сказал Гарик, и Мишка услышал, что он немного задыхается, будто еще не отошел после борьбы. — Он мусульманин, понял?

— Не понял, — честно ответил Мишка. — Персы — это же в истории, а он же...

Гарик выпрямился, махнул рукой, надел очки, повернулся и пошел в свою сторону. Веревку мешка он перекинул через плечо, мешок при каждом шаге слегка шлепал сзади по старой «москвичке», а широкие брюки полоскались на ветру, а лыж-

ную шапочку, мыском сходящую на лоб, которую Гарик всегда носил зимой, он на ходу стянул и сунул в карман.

— Гарик! — окликнул его Мишка. — Гарик, ну почему?! Но Гарик только снова махнул рукой, не оглядываясь.

Глава девятая. Болезнь

Температура уже была нормальная, но дядя Гриша велел пока лежать в комнате с занавешенным окном, потому что корь Мишке в его возрасте опаснее, чем малышам, и от осложнения может еще ухудшиться зрение. И читать, конечно, тоже было нельзя, так что Мишка целый день валялся с закрытыми глазами, думал, скручивал, ворочаясь, простыню, нудил, чтобы мать почитала что-нибудь вслух, как маленькому, но мать отказывалась и вообще заходила в комнату редко и старалась к Мишке не подходить — взрослые от кори могут даже умереть. А спать мать с отцом перебрались в комнату дяди Феди, пропадавшего, как всегда, в командировках.

От тоски Мишка сломал нечаянно термометр, ртуть вылилась на пол, и мать долго собирала ползающие шарики в спичечную коробку, а потом эту коробку выпросил Мишка и положил за кровать: он собирался, выйдя после болезни, упросить одного знакомого солдата, который за рубль заливал биты для альчиков свинцом, сделать жульническую биту — высверлить дырку, залить туда ртуть, заткнуть дырку маленькими камешками, а сверху уже залить свинцом, чтобы на вид была бита как бита. Всем было известно, что бита с ртутью летит ровнее и сильнее бьет, но распознать такую жульническую биту было трудно, а если возникали сомнения и назревала проверка с расковыриванием свинца, всегда можно было ртутную биту к следующей игре подменить нормальной, а про ртутную сказать, что зафинтилил и не можешь найти. У самого Мишки ртутной биты, правда, никогда не было, но Киреев играл такой всю прошлую весну, пока действительно не зафинтилил, и она как сквозь землю провалилась где-то в поляны.

А пока Мишка доставал время от времени из-за кровати спичечную коробку с аэропланом и почему-то английской надписью SAFETY MATCHES — Мишка спрашивал у англи-

чанки Эльвиры Ивановны и узнал, что надпись переводится «безопасные спички» — и, открыв, рассматривал расплзающуюся неровной лужицей и тут же, от малейшего движения руки, сбегаящую в ровный шарик ртуть. Мать, застав его за этим занятием, требовала, чтобы он коробку немедленно закрыл, а то опять придется ловить шарики по всему полу и выискивать в длинных пестрых тряпочных половиках, что почти невозможно, но Мишка смотрел на жидкий металл, «как загипнотизированный» — по выражению матери. Вид блестящих, тяжело перекатывающихся, удлиняющихся и вдруг дробящихся капель действительно приковывал Мишкин взгляд, возникало странное чувство покоя, и одновременно что-то начинало Мишку дергать, покой хотелось нарушить, прервать созерцание, и Мишка едва сдерживался, чтобы не вытряхнуть капли на пол. Мишка задвигал коробку, клал ее за кровать и снова лежал с закрытыми глазами, думал.

Он думал о Нине, которая заболела на неделю раньше и сейчас уже просто сидела дома на карантине, читала, наверное, книги по всей программе до конца года и занималась алгеброй, чтобы до конца третьей четверти исправить свою тройку. Она была вообще старательная да еще жутко боялась своего отца Бурлакова.

С Ниной Мишка уже давно помирился, демонстративно перестав вообще замечать Инку Оганян. Как раз накануне того, как в школе началась корь и Нина заболела среди первых, они с Мишкой ходили гулять за проходную городка. Солдат для порядка проверил их школьные билеты и, конечно, подмигнул Мишке — Нина, к счастью, не заметила. Они вышли на проселок, снег с которого сдуло, и открылась глубокая колея, ограниченная с двух сторон высокими, замерзшими до каменной твердости острыми глиняными хребтами. В колею идти было неудобно, узко, но они шли, каждый в своей, держась за руки, которые для этого пришлось вытянуть во всю длину. Потом сзади стали слышны стук и хрип мотора, они расцепили руки, отступили и встали на замерзшие кочки по сторонам дороги, и, подпрыгивая и едва не валясь на бок, с жутким громом и дымом проехал «Урал-ЗИС» с рваным, хлопающим брезентовым тентом на железных, поднятых над кузовом ребрах, с газогенераторной печкой у кабины и высо-

кой, загнутой сверху трубой, из которой валил голубой дровяной дым. Когда машина проехала, Мишка перелез к Нине, на ее сторону дороги, и они свернули на давно заброшенное картофельное поле, по которому весной и осенью не то что человек — танк не прошел бы, увяз, над которым летом стояли тучи пыли, но сейчас идти, перебираясь с кочки на кочку, было возможно.

Небо низко лежало над полем, и сизые, железного цвета тучи на горизонте ползли прямо по кочкам. Справа виднелись низкие крыши сельских домов, сбившиеся в кучу, как смешанные кем-то на доске шашки, над ними возвышался кирпичный цилиндр средней части сельского клуба, цилиндр был покрыт тускло блестящими жестяными листами конусом. Когда-то, когда квартиру еще не дали и Салтыковы жили в селе, снимая полдома, Мишка бродил сзади клуба и в глубокой яме обнаружил странную вещь: это был скелет из полусгнивших балок, как бы каркас гигантского шлема. Тогда Мишка был еще маленький, только пошел в школу, сам читать не любил, хотя уже умел, и мать как раз читала ему вслух по вечерам «Руслана и Людмилу». И Мишке, конечно, представилось, что это валяется остов шлема, принадлежавшего когда-то говорящей голове. Ужас охватил его, он примчался домой и, захлебываясь, рассказал матери, что видел. Но мать не испугалась и даже не удивилась, а коротко и не очень понятно объяснила Мишке, что клуб раньше был церковью, в ней молились Богу неграмотные деревенские старики и старухи, и цилиндр был покрыт не жестяными листами, а куполом, остов от которого Мишка и нашел. Мишка почти ничего не понял ни про Бога, ни про церковь с куполом, которой раньше был клуб, но успокоился, интерес к находке потерял и, когда через несколько дней пошли в клуб смотреть трофейную картину «Багдадский вор», о страшном скелете не вспоминал уже.

Позади осталась колючая проволока, которой были обнесены городок и маленький, серого кирпича домик проходной с палочкой шлагбаума.

А прямо и влево расстилалось поле с черными плешинами кочек на сером снегу, а там, где поле кончалось, тянулась низкая, с неровными зубьями гребенка лесополосы, за которой,

Мишка знал, проходит железная дорога, а уж за дорогой начинается просто степь.

Они долго шли молча, а потом Нина вдруг впервые заговорила о том, что было у нее дома тогда, ночью, когда Бурлаков встретил их в подъезде и унес ее под мышкой.

— Он не знал, что я знаю, а мне мать давно сказала, что он неродной мне. — Вокруг было пусто, и Нина говорила громко, но в пустом сером воздухе слова ее как-то гасли, а шли они, прыгая по кочкам, то немного сближаясь, то расходясь, и Мишке приходилось напрягаться, чтобы услышать, он даже отвернул и связал сзади уши шапки. — Отца на войне убили, а я тогда еще не родилась, а он учился в Одессе в училище, познакомился с ней и женился, когда она... — Нина запнулась и с заметным трудом выговорила неприличное слово: — ...была беременная. А он всегда был со мной, как настоящий отец...

В ту ночь Бурлаков хотел бить Нину ремнем, но мать не позволила, а Бурлаков носился с ремнем по всей квартире, разбудил младшую Нинину сестру Любку, которой было четыре года, и она сразу заревела, а Бурлаков все орал, так что, наверное, соседи слышали, и Нине стыдно было наутро идти в школу, а мать кричала, что Нину нельзя бить, потому что она уже большая, но Бурлаков никого не слушал и все заматывался через стол ремнем, так что в конце концов разбил лампочку, на всех посыпались осколки, и в темноте Нина крикнула ему, что он не может ее бить, потому что он ей никто. И с тех пор Бурлаков с ней вообще не разговаривает, хотя прошло уже столько времени, и мать, Нина слышала, стыдит его за то, что он, взрослый, а обиделся на ребенка, а тут Мишка еще полез к Инке, когда у Нины теперь такая жизнь...

Мишке было очень жалко Нину, он вдруг отчетливо представил себе, что было бы, если б он узнал, что его отец ему не отец. Он перепрыгнул на кочку поближе к Нине и, не снимая варежки, взял и потянул ее за руку. Нина остановилась и повернулась к нему. По щекам ее, еле видимым из-под повязанного поверх берета пухового серого платка, ползли слезы, оставляя светлые, ртутно-блестящие дорожки на покрасневшей от холода коже. Мишка перебрался на одну кочку с ней и по-

целовал ее, найдя губами маленький промежуток между платком и носом, и попал как раз в слезы. Они долго стояли посреди пустого бело-черного бугристого поля и целовались, держась за руки, чтобы не свалиться с кочки, и не обнимаясь, потому что обниматься, не расстегивая пальто, было неудобно, а расстегиваться на холодном и все усиливающемся ветру не хотелось — сразу замерзнешь.

Теперь Мишка лежал в теплой и полутемной комнате, думая о Нине, а над ним двигалось черно-сизое предснежное небо, вокруг разворачивалось, уходя во все стороны к горизонту, серо-белое поле с черными бугристыми плешинами, а по полю шел к Мишке Нинин отец Бурлаков в морской черной шинели, и Мишка понимал, что Бурлаков и его отец тоже, а Мишкин отец ехал мимо в «газике» с хлопающим, взлетающим и опадающим брезентовым верхом, были видны его профиль, глубоко надвинутая новая ушанка из голубоватой офицерской цигейки, которую он вчера получил и принес домой вместе с отрезом на новый китель, кроем на сапоги и набором из нового ремня и портупей, поблескивающих темно-коричневым блеском, часто простроченных, больно ударяющих, если неловко возьмешь, тяжелыми латунными пряжками — большой со звездой и маленькой, с вертящейся трубочкой, а за отцовским профилем видны были профиль дяди Пети, его зеленая велюровая шляпа, глубоко надвинутая на уши, и высоко поднятый большой каракулевый воротник зимнего пальто, а в глубине машины, Мишка знал, едет мать в клетчатом черно-зеленом жестком деревенском платке, повязанном для тепла поверх маленькой модной шляпки-«менингитки», и они все вместе удаляются от Мишки, уезжая на курорт Рижское взморье, где отец опять будет жить в военном санатории в Лиелупе, а мать — в светлой комнате, снятой у знакомых латышей — дяди Ивара, работающего в санатории шофером на молоковозке, и тети Лины, уборщицы в столовой, а дядя Петя будет спать на узкой кровати у большого окна, где всегда спит Мишка, и вечером все пойдут ужинать в ресторан в Дзинтари, напротив большого деревянного летнего театра, и там официант, высокий седой старик в черном пиджаке с шелковыми лацканами и в галстук бантиком, будет называть мать «мадам», отчего отец будет морщиться и крутить

головой, а утром на веранде столовой молодежь поставит стол для пинг-понга и, может быть, Мишку пустят в очередь играть.

Когда Мишка проснулся, в комнате было совсем темно, значит, стемнело за занавешенным окном. Мишка некоторое время полежал, вспоминая сон, но вспомнил только отца в ушанке, старого официанта, темно-зеленый стол для пинг-понга из двух половинок, положенных на козлы, и красную пупырчатую резинку, отклеившуюся с края Мишкиной ракетки, которую в прошлом году ему купил дядя Петя в магазине «Динамо» на улице Горького. Но вспомнить, что там, во сне, происходило и какая между всем этим была связь, Мишка не смог. Он еще немного полежал, а потом позвал мать — захотелось есть. Он решил попросить, чтобы мать сварила кашу-размазню из гречневой сечки, которую Мишка очень любил с позапрошлого года, когда в Москве, будучи дома вдвоем с Мартой, по ее недосмотру отравился, съев сразу полную масленку шоколадного масла с тремя французскими булками, приехала «скорая помощь», поили Мишку насильно розовой водой с марганцовкой, потом его долго рвало, сутки ему не давали есть ничего, а потом кормили этой размазней на воде, и Мишка ее очень любил.

Мать не ответила, и по тишине, стоявшей в квартире, Мишка понял, что он дома один. Мать, наверное, ушла, пока он спал, к тете Тоне или к тете Розе — переснимать выкройки или просто трепаться, как говорила она вечером отцу, рассказывая, как прошел день.

Мишка слез с кровати, надел зимние тапочки из кроличьего меха на лосевой подошве, такие на всю семью купили осенью на базаре у кустаря, и пошел на кухню, собираясь отрезать там кусок черного хлеба, посыпать его солью и съесть, запивая холодной кипяченой водой, которая обязательно должна быть в чайнике. Мать, конечно, будет ругаться, когда увидит, что Мишка ел хлеб с водой, но есть очень хотелось.

На кухне все было убрано, блестел вымытый и начищенный керогаз, а клеенка, покрывавшая стол, была перестелена так, что образовавшихся на углах дырок не было видно. Мишка снял белую тряпку, которой была укрыта стоявшая на по-

доконнике кастрюля с хлебом, и, отодвинув ситцевую полосатую занавеску полки, хотел взять хлебный нож, но тут увидел на полке конверт, которому на кухонной полке было совершенно не место. Мишка взял нож, а конверт сунул в карман пижамы, решив потом его рассмотреть и, если какая-нибудь интересная, отклеить марку, чтобы выменять потом у Киреева, который марки собирал давно и серьезно, на что-нибудь хорошее. Он отрезал хлеба, посолил его через край низкой граненой солонки сплошь, так что сверху кусок стал совершенно белым, налил в большую отцовскую чайную чашку воды из чайника и осторожно понес все в комнату. Там он включил, несмотря на запрет, черную эмалированную настольную лампу, при которой он делал уроки — все-таки не такой сильный свет, как верхний, поставил чашку на табуретку, положил сверху хлеб и потихоньку, чтобы чашку не опрокинуть, придвинул табуретку к кровати. Потом, высоко поставив подушку, залез под одеяло, откусил хлеба, запил водой и, держа в левой руке ломоть, правой вытащил из кармана конверт и стал его рассматривать.

Марка на конверте была самая простая, с четырьмя профилями вождей, наложенными один на другой, так что отклеивать ее не имело смысла.

Мишка прочитал адрес — адрес был их, Москва-350, улица Маркса, написанный крупными буквами с сильным наклоном, как будто писал старательный первоклассник, а обратный адрес был похож на адрес Малкиных — Москва, 2-я Тверская-Ямская, и номер дома тот же, но квартира, насколько Мишка помнил, была другая и совершенно незнакомая фамилия — Сафидуллин А.М.

Перевернув конверт, Мишка стал рассматривать печати, по которым, как он знал, можно определить, когда письмо отправлено и когда пришло. На одной печати было видно «Москва, К-9», а все остальное смазалось, остались только неразборчивые синие пятна. А на другой печати стояло «Москва-350» и хорошо читались цифры «530203», и Мишка, немного подумав, понял, что письмо пришло им третьего февраля, то есть два дня назад, когда он уже болел. Этим можно было объяснить, что ни о каком письме из Москвы Мишка ничего не слышал — лежал себе в темноте, а мать

с отцом на кухне, наверное, обсуждали, что в этом письме написано.

Читать адресованные другим письма — а на конверте было написано «Салтыковой М.И.», то есть матери — неприлично, это Мишка хорошо знал. Но, во-первых, он не мог считать письмо полностью чужим, потому что оно было написано не кому-нибудь, а матери, и, во-вторых, главная причина, по которой Мишка полез в неровно надорванный сбоку конверт, была такая, что Мишка, конечно, прочитал бы и любое чужое письмо. Ведь писал какой-то сосед Малкиных, которого Мишка не знал, но который наверняка сообщал о дяде Пете, тете Аде и Марте и о том страшном, о чем Мишка уже почти забыл с осени и что сейчас сразу всплыло и навалилось так, что у Мишки даже заболела голова за ту секунду, в которую он достал и развернул толстенькое, на четырех согнутых пополам и подвернутых с одного края страницах письмо.

Письмо было написано совсем другим почерком — мелким, ровным и не очень разборчивым, например, буква «т» была везде написана, как цифра «1», а в букве «ш» приходилось считать крючочки, чтобы отличить от буквы «и». Желтый свет настольной лампы освещал бумагу слабо, и Мишка поворачивал письмо, чтобы читать в боковом освещении. Он сразу догадался, что письмо было от дяди Пети.

«Дорогие Маня и Леня! Думаю, что вы получили предыдущее письмо, которое я отправлял вам еще из (дальше слово густо замазано черным) тоже через Ахмеда (тут Мишка и сообразил, чей обратный адрес был на конверте и кто такой Сафидуллин А.М. — дворник Ахмед из дома Малкиных, вот кто!). Надеюсь, что получили, и пишу снова через него, здесь многие пишут родственникам через знакомых или соседей, если письмо адресат не выкинет, оно доходит, а если писать прямо родственникам, то не всегда.

У меня все неплохо. Меня сразу поставили работать в клуб, колю дрова, топлю печь, рисую декорации для спектакля (пригодились уроки в академии), здесь силами з/к ставят «Русский характер» и получается, я вам скажу, прилично даже для московского театра, есть двое заслуженных (дальше строчка замазана), а ставит (замазано). Еды мне вполне хватает, хотя посылок от Адочки уже три недели нет, не знаю,

что думать, боюсь, что болеет. Во всяком случае, вы не волнуйтесь и не расстраивайтесь, я не голодаю, встретил здесь одного знакомого еще по Потребсоюзу (замазано), мы друга друга выручаем, если требуется.

Теперь о жизни. Здесь был телеграф, что те, кто не по косм... (кусочек слова замазан, но Мишка сразу понял «космополитизм»), могут писать помилочки, и я, поскольку у меня статья хозяйственная, уже написал. А кум (слово было замазано, но неаккуратно, и Мишка его легко прочел, но совершенно не понял, о ком идет речь) сказал, что если спектакль на смотре управления займет первое место, то он сам будет ходатайствовать о досрочном поселении. Так что у меня теперь есть надежда на улучшение. Огорчают только две вещи. Во-первых, как я уже написал, нет вестей от Адочки и Мартышки, и у меня почему-то такое чувство, что они болеют, а Ахмед ничего не отвечает, только пишет «пизьмо пиризлал, будьте здоровый». Надеюсь, что ничего серьезного там не случилось, может, уехали к Адочкиной сестре в Брянск, чтобы поспокойнее было? Вы ведь помните, у нее есть кухня Вера в Брянске, в музыкальной школе работает, свой дом с садом, я был бы рад, если б мои пожили у нее. Конечно, все это очень не вовремя, Марта заканчивает школу, и как она дальше будет учиться, не представляю. Но что же делать, судьба. Во-вторых, немного расстраиваюсь из-за зубов. Уже два выпало, сначала я думал, что после (замазана строка), но потом мне объяснили, что это не хватает витаминов, и очень советуют чеснок. Если бы Ахмед получил от вас немного денег, если это, конечно, возможно, он бы прислал.

А что касается самого дела, то еще раз пишу: Маня и, главное, ты, Леня, не расстраивайтесь и не сомневайтесь, все это ошибка (замазано), без которых, конечно, в жизни не бывает, тем более в такой огромной стране и в такое время. Ни к какому кос-му (Мишка опять догадался и понял, что дядя Петя знал, что некоторые слова замазывают, поэтому и придумал так написать) я, сами понимаете, отношения не имею, а что касается нарушений, то хотел бы я видеть ювелира, у которого их нет, и я их все сам признал, и теперь вот вам признаюсь: да, было, работал с золотом, а что делать, если женщина попросила колечко уменьшить? Получил свой пятак и не жалу-

юсь. Но на помилование надеюсь, потому что ни в чем серьезном действительно не виноват (небрежно замазаны три строки). А от папы ничего не осталось, вы-то мне должны поверить.

Как там Мишенька? Как вы? Как Манино здоровье и Лёнина служба? Понимаю, что спрашиваю зря, потому что куда вы ответите, но очень волнуюсь за вас, нет ли у Лени неприятностей и тому подобное.

Надеюсь увидеться еще на этом свете. Целую вас, родные мои, будьте здоровы. Петя.

Денег на чеснок нужно совсем немного, и можно отправить простым почтовым переводом на адрес Ахмеда, вы его знаете».

Мишка дочитал письмо и стал думать.

Прежде всего он порадовался, что дядя Петя, а следовательно, и мать, которую про себя он сейчас от радости назвал, как называл, подлизываясь, вслух, мамулечкой, — никакие не космополиты. Он на это все время надеялся в глубине души, но из дядиного письма это следовало несомненно.

Потом он задумался над тем, что все-таки значит «ювелир», и тут пришел к выводам неутешительным. Получалось так, что ювелир — это лучше космополита, но ненамного. На счет золота Мишка не понял вообще ничего, так же как и на счет того, что осталось или не осталось от дедушки (он сообразил, что тот, кого дядя Петя называл папой, был дедушкой, тем самым, с бантиком и бородкой), но было ясно, что ювелиры если и не враги, и не шпионы, то все равно люди подозрительные.

Было совершенно ясно, что дядю Петю «забрали», но жизнь, которую он описывал, с самодеятельным театром (Мишка вспомнил «Горе от ума» со Славкой Петренко и Галькой Половцовой) и разговорами о чесноке, не показалась очень плохой, странно было только, что дядя Петя колет дрова и топит печь, как деревенский.

А в целом письмо Мишку как-то успокоило, и он подумал, что не зря после того, первого письма, о котором вспоминал дядя Петя и которое мать, как она сказала тогда, в праздничную ночь, сожгла, все довольно быстро забылось. И дядя Коля Носов, которому кто-то «донес» про дядю Петю и мать,

ничего не стал делать, потому что он все-таки ловит американских шпионов и настоящих врагов, а не ювелиров.

На душе у Мишки стало легко. Аккуратно сложив и засунув письмо в конверт, он отнес его на кухню и положил на прежнее место, а когда возвращался в комнату, решил вдруг позвонить Нине, хотя с той ночи ей ни разу не звонил, боясь налететь на Бурлакова. Но сейчас очень захотелось услышать ее голос и сказать, что у него все хорошо, дядя Петя скоро вернется на поселение — то есть, как понял Мишка, домой, — и нечего будет бояться и расстраиваться. Конечно, услышать Бурлакова не хотелось бы, придется молча повесить трубку, а Бурлаков, если догадается и позвонит дежурному, чтобы узнать номер, с которого звонили, все равно устроит скандал Нине... Но, с другой стороны, сейчас Бурлаков, скорей всего, еще на службе, а с тетей Лелей можно будет смело поздороваться, и она почти наверняка Нину позовет... Мишка снял трубку и назвал номер. После короткой паузы раздался низкий гудок, и почти тут же Мишка услышал Нинин голос.

— Нинка, ты чего делаешь? — спросил Мишка, не здороваясь, как было принято в школе не здороваться ни с кем, только мальчишки говорили «здоров», подавая друг другу руку.

— Географию, — ответила Нина лживым громким голосом, и Мишка понял что там, рядом с ней, или сам Бурлаков, вернувшийся сегодня домой раньше обычного, или Нина не хочет, чтобы тетя Леля знала, что звонит Мишка, и потом скажет, что это Надька спрашивала насчет уроков. — Контурную карту зарисовываю, лесостепь... Я завтра уже в школу приду. Только по физике не знаю, до каких читать? Скажи страницу...

— Откуда ж я знаю, — удивился Мишка, — если ко мне никого не пускают, а Кирей сам болеет и не звонит? В первый день не спросят, не бойся...

Тут он запнулся, сообразив, что Нина говорит с ним, как с Надькой, а на самом деле никакая физика ее не интересует, она и сама знает, что после болезни все учителя дают несколько дней догнать и не вызывают.

— Нинка, а нам письмо пришло, — сказал Мишка тихо, будто на том конце провода старшие Бурлаковы могли его ус-

лышать. — Одно мать сожгла, помнишь, я тебе говорил, а это уже второе. Дядя Петя пишет, что все будет хорошо, его отпустят на поселение, поняла? Значит, он и мать не шпионы...

На этом слове Мишка замолчал. Он вдруг почувствовал длину телефонного провода и понял, что так, не видя Нинино лица, не может рассказывать ей подробно о письме и о своих мыслях по этому поводу, что все рассказать можно будет, только когда оба выздоровеют и пойдут вечером гулять, тесно прижавшись плечами друг к другу, так что со стороны в темноте будет незаметно, что они держатся за руки.

— В общем, все железно, — сказал Мишка, чтобы свернуть тему, — а мне еще две недели дома сидеть на карантине, ты мне звони, ага?

Нина молчала.

— Нинка, ты чего, не слушаешь, что ли? — спросил Мишка погромче. В трубке зашуршало, и вдруг Мишка понял, будто увидел — Нина поворачивается носом в угол прихожей, где у них, как и у всех, висит телефон, и засовывает голову с трубкой под бурлаковский полушубок, чтобы никому, кроме Мишки, ничего не было слышно.

— Я тебя люблю, Миша, — громко прошептала Нина прямо в Мишкино ухо, и он услышал ее дыхание. — Я тебя люблю.

И в трубке раздался длинный гудок отбоя.

Глава десятая. Испытания

Отец пришел с завода и за ужином сказал, что послезавтра будут испытания. Офицерам велели предупредить семьи, потому что всем надо спуститься в первые этажи к соседям и сидеть там с двенадцати дня до половины второго, лучше всего в прихожих, где нет окон. Занятий в школе не будет, и магазин будет закрыт, а если Мишка вздумает выйти на улицу, то... Отец не сказал, что, но и так было понятно.

Что такое испытания, Мишка уже знал, были полгода назад, и Мишка сохранил интереснейшие воспоминания. Поэтому наутро бежал в школу с радостью, собираясь сообщить новость, но новость, конечно, все уже знали, отцы, как и следовало, предупредили. А на втором уроке, на литературе, при-

шел Роман Михайлович и объявил, что завтра занятий в первой смене не будет, задания переносятся на следующую неделю, и от себя повторил, чтобы все сидели по домам, а кто будет замечен на улице, получит четверку по поведению сразу в четверти.

Киреев подошел на большой перемене и сказал, что у него есть секретный план и после уроков надо поговорить. Мишка, не отвечая — с Киреевым они ни при ком не разговаривали, запрет обоим был строжайший — кивнул и стал ждать конца уроков.

Домой пошли разными дорогами и встретились за стройкой Дома офицеров, которая снова шла полным ходом, и стены с неровными оконными проемами поднялись уже почти на два этажа. Сели на почти сухие бревна, Киреев достал из шапки две папиросы «Север», а Мишка вытащил из портфеля лупу. Долго ловили солнце, наконец навели зайчика на конец одной из папирос, она почернела и задымилась, Киреев стал пыхтеть, как паровоз, раскурил, выпустил дым, откашлялся, а Мишка тем временем стал у него прикуривать — при этом Киреев, конечно, отдергивал папиросу, приговаривая сквозь кашель «сколько раз козу ёб?», Мишка сказал, что три, и с третьего прикосновения сумел прикурить. Посидели, выпуская синий с желтизной дым и плюясь.

— Ну, рассказывай план, Кирей, — сказал наконец Мишка, почувствовав, что голова уже закружилась.

Киреев немного покривлялся — «Я тебе скажу, а ты мамочке своей расскажешь» — и рассказал. План был мировой.

Завтра, когда все спустятся в первые этажи и усядутся в прихожих на принесенных с собой стульях и табуретках — мать и сестра Киреева собирались спуститься в погреб своего финского дома, — надо будет убедить матерей не включать свет, сославшись на то, что директор школы Роман Михайлович дал такое дополнительное указание. Матери поверят, потому что испытаний боятся. Но Кирееву, вероятно, не удастся выбраться из подвала незамеченным даже в темноте — надо поднимать тяжелый люк, он скрипит и вообще, а Мишка сможет выскользнуть из прихожей в комнату, там посмотрит в окно, что происходит во время испытаний, а потом все по-

дробно расскажет Кирееву и другим в классе, кому захочет. В самом же крайнем случае, даже если Мишку поймают, ничего страшного не будет, потому что он же не на улицу выйдет, а скажет, что захотел в уборную.

Мишке план не только понравился, но и показался удивительным: Киреев придумал такое, в чем не он, а Мишка должен играть главную роль. Однако потом, уже подходя к дому, Мишка понял, отчего приятель проявил такую скромность и бескорыстие — ведь даже если б не подвал, из которого выбраться незаметно действительно нет никакой возможности, то Киреева все равно никто в классе слушать не стал бы и все, что он мог увидеть, пропало бы без всякого толку.

Утром, как только отец, надев полевую форму, гимнастерку с портупеей, старую ушанку и полушубок, ушел, Мишка начал осуществлять план. Убедить мать, что сидеть придется без света, ничего не стоило, она легко поверила, что отец об этом просто забыл сказать, а в школе предупреждали. Во время прошлых испытаний велели не только спуститься в первые этажи, но и взять с собой вещи первой необходимости — кружки-ложки, запас еды на сутки и запасное белье, так что теперь мать поверила бы во что угодно.

Спустились к нижним соседям Нечаевым уже в одиннадцать, расставили стулья в прихожей, расселись. Мать сидела рядом с тетей Тамарой Нечаевой, на руках у тети Тамары пристроилась маленькая Женька Нечаева, второклассница, а рядом поставили плетеную корзину с родившимся перед Новым годом братом Женьки Юрочкой. Мишка совершенно естественно оказался сидящим несколько в стороне, уже почти в коридоре. Сидел он на маленьком венском стуле, который принес из своей прихожей, так что, когда без пяти двенадцать погасили свет, Мишкина голова оказалась ниже идущего из кухни через коридор мутного дневного света, и ее контур, Мишка понял, не был никому виден, что тоже получилось удачно.

Посидели несколько минут в темноте. Женщины тихонько переговаривались о шитье, Женька негромко ныла, что ей страшно и скучно, спящий Юрочка сопел в корзинке. Вдруг с улицы послышался нарастающий шум моторов, какой бывает, когда идет колонна грузовиков. Все замолчали, и тут Мишка, вылезши из домашних тапочек, в которых пришел,

на четвереньках шмыгнул в коридор и оттуда через предусмотрительно приоткрытую им заранее дверь в комнату, окно которой выходило в сторону завода. Здесь шум моторов слышен был лучше. Он встал на ноги, на цыпочках скользнул к окну и отодвинул белую занавеску-задергушку.

За окном шли «студебеккеры». На большой скорости они катили от центральной проходной, направляясь туда, где кончался городок и за тремя рядами колючей проволоки стояли длинные бараки, которые назывались зоной. Брезентовые тенты были сняты, и люди, тесно стоявшие в кузовах, держались за металлические ребра, на которые тенты натягиваются.

«Студебеккеры» шли один за другим, рассмотреть людей в кузовах Мишка не успевал, видно было только, что все они в одинаковых телогрейках и солдатских шапках.

Мишка сразу сообразил, что это перед испытаниями с завода вывозят заключенных. Обычно их возили на завод еще на рассвете, а с завода уже поздно вечером, к тому же машины шли не через городок, а вокруг, поэтому увидеть эти грузовики в другие дни можно было только случайно. Но сейчас решили, видно, везти короткой дорогой, поскольку все равно весь городок сидел по прихожим и никто этой колонны, кроме Мишки, не видел.

Грузовики все шли. После каждого трех ехал открытый «додж — три четверти» с солдатами. Солдаты сидели вдоль бортов, поставив между ног карабины «эскаэс». Люди в кузовах «студебеккеров» покачивались, но упасть не могли — стояли плотно. Моторы рычали.

Наконец колонна ушла, скрылась в конце улицы последняя машина, наступила тишина.

И почти сразу же со стороны завода небо озарилось огнем, над стеною поднялось зарево, и ударил такой рев, что Мишка, хоть и был готов ко всему, присел ниже подоконника и закрыл уши руками. Рев нарастал и дополнился свистом. В окне полыхало. Мишка заставил себя выпрямиться и снова взглянуть.

Небо над заводом горело, сине-багровым огнем пылали облака. Рев изменил тон, теперь это был визг, будто за стеной завода работала круглая электрическая пила, вроде той, которой распиливали вдоль бревна на стройке Дома офицеров,

только в тысячу раз больше. Пламя прыгало по небу, то поднимаясь в невообразимую высь, то опадая и почти скрываясь за заводской стеной.

И вдруг все кончилось. Мишка постоял еще минуту, оглушенный и ничего не соображающий, и только потом, опомнившись, упал на четвереньки и вполз в прихожую, когда там уже включили свет. Мгновенно придумав, что это он ищет тапочки — в сущности, так и было, — Мишка встал на ноги, взял стул и собрался идти домой, но тут его внимание привлек конец фразы, которую как раз договаривала тетя Тамара.

— ...там ваши людей травят, а тут режимный городок, а вы хоть бы хны, — закончила говорить тетя Тамара.

На мать при этом она не смотрела, а возилась с Юрочкой в корзине, вытаскивая из-под него мокрые пеленки. А мать стояла, уже сделав шаг к двери, но не закончив его, выставив одну ногу, как гипсовая пионерка в сквере за клубом. Глаза ее были прищурены больше обычного, поэтому выражение лица казалось еще более презрительным, чем всегда, но Мишка знал, что с таким лицом мать начинает плакать, и испугался, что она заплачет прямо сейчас, у Нечаевых, поэтому дернул ее за руку и, держа в другой руке стул, почти потащил домой, молотя языком всякую чепуху насчет обеда, лишь бы отвлечь мать и увести. И мать послушно пошла к двери, но, выходя, все же обернулась к тете Тамаре, слезы все-таки вылились из ее глаз, и она успела ответить.

— Я думала, что вы умнее, Тамара, — сказала мать, и от этих ее слов Мишка совсем испугался, потому что мать никогда так не говорила никому из посторонних, могла только Мишке сказать, или отцу, если тот приходил с завода слишком веселый и сильно пахнувший спиртом.

И Мишка еще сильнее потащил мать домой, они вышли от Нечаевых, не закрыв за собой дверь, поднялись к себе, мать сразу же ушла в ванную и там заперлась — очевидно, плакать, а Мишка стал у окна, но за окном все выглядело самым обычным образом и над заводской стеной небо было обыкновенное — серое.

Все, что произошло, требовалось обдумать. И Мишка стоял у окна, дожидаясь, пока мать успокоится и выйдет из ванной, чтобы отпроситься у нее гулять — уроков-то нет, весь

день свободен, — и, сев на бревна возле стройки Дома офицеров, подумать как следует, пока Киреев не придет.

Но мать все не выходила, и Мишка спросил через дверь, нельзя ли теперь пойти гулять часов до пяти, а в полшестого, самое большее, он будет дома. Тут же дверь открылась, и мать вышла с вымытым мокрым лицом и влажными спереди волосами. Не глядя на Мишку, она прошла в комнату, легла на диван, попросила дать ей таблетку пирамидона из аптечки, воды запить и пятый том Диккенса, после чего Мишке можно идти гулять, но по лужам на стройке, конечно, не лазить, шарф не развязывать и пальто не расстегивать.

Мишка сидел на бревнах и старался думать по очереди.

Сначала он, естественно, думал про испытания. Он — да и никто в школе — толком не знал, что именно делают на заводе. Киреев предполагал, что атомные бомбы, но Киреев был настоящий дурак, потому что если бы на заводе испытывали атомную бомбу, то, Мишка читал в «Комсомольской правде», от городка бы ничего не осталось, а у людей сразу вылезли бы волосы и все ослепли бы. Кроме того, Мишка вообще не верил, что в СССР делают настоящую атомную бомбу, потому что одно — американский империализм, которому никого не жалко, ни японское мирное население, ни корейцев, а совсем другое — СССР, который, конечно же, никогда не будет бомбить американских трудящихся, особенно негров, например, Поля Робсона, или писателей, как Говард Фаст. Как бы то ни было, никакая это была не бомба, понятно.

Но что это было, представить себе Мишка не мог. Он допускал, что на заводе могли делать реактивные самолеты, но почему-то ему казалось, что от реактивного самолета такого огня быть не может, потому что самолет и сам может сгореть.

Однажды, Мишка уже не помнил, когда, мелькнуло слово «ракета», но оно Мишке не показалось интересным, потому что ракеты он видел, это были небольшие картонные трубки, которые заряжались в ракетницу, специальный пистолет с толстым стволом, и вспыхивали в высоте белой холодной звездой. Прошлой зимой, в самые морозы, отца подняли ночным телефонным звонком, он тепло оделся и ушел, а когда вернулся утром, у него в кармане полушубка лежал такой пи-

сто лет, а в другом — две ракеты, и из разговора Мишка понял, что из части убежал солдат, его всю ночь ловили в степи, а ракеты были нужны, чтобы подавать тем, кто ловил, сигналы. И трудно было представить ракету — даже если ею стрелять не из пистолета, а из пушки, которая горела бы таким гигантским пламенем, какое видел утром Мишка над заводским забором. Да и зачем такая ракета нужна?

Ничего Мишка придумать не мог. А от утреннего впечатления осталась только одна невнятная мысль: он вспомнил детские сказки о псе, который дышит огнем, и в сочетании с воспоминаниями об овчарках, бегавших за заводской стеной, громыхая поводками по проволоке, представление об огнедышащем звере укрепилось, и Мишка постепенно перестал думать об испытаниях. Зверь стал как бы понятным, и жизнь его за стеной на мгновение показалась Мишке даже вполне целесообразной: зверь охранял городок, следил из-за стены за людьми и стерег их, чтобы никому в голову не пришло, как тому солдату, сбежать, а время от времени — как сегодня утром — демонстрировал свою силу. Этот огненный выдох и назывался испытаниями, которые следовало выдержать живущим в городке.

Мишка от всех этих детских глупостей даже плюнул на землю между своими широко расставленными галошами, надетыми на валенки, и стал думать о другом.

О чем говорила тетя Тамара, он легко понял. Снова выполз из памяти уже полузабытый «космополитизм», снова заныло в животе от мысли про дядю Петю. Из обрывка фразы, которую сказала тетя Тамара, как-то — Мишка не мог понять, как именно, но не сомневался — следовало, что дядя Петя и мать все-таки космополиты, а то, что дядя Петя еще и ювелир, не имеет большого значения, и что дядя Гриша Кац тоже космополит, и дядя Лева Нехамкин с тетей Тоней, и, может быть, даже отец, и ничего не кончилось, и не будет никакого поселения дяди Пети дома, и летом они не поедут в Москву к Малкиным, и вообще все плохо, опять плохо, мать плачет, ничего не кончилось.

Мишку стало даже знобить, он испугался, что простудится и опять заболит — полкласса, выйдя после кори, уже заболели простудой, а у Инки Оганян уже даже было воспаление

легких, и она лежала в гражданском отделении госпиталя вместе со взрослыми женщинами. Болеть совершенно не хотелось, потому что как раз договорились с Ниной идти в кино в субботу на «Тарзана» в третий раз, и Мишка встал, замотал шарф, застегнул пальто и стал ходить в ожидании Киреева вокруг бревен, топая галошами и пробивая тонкий лед на мелких лужах до дна, так что выступала светлая прозрачная вода и поднималась примерно до половины галош.

Что может произойти с матерью, отцом и самим Мишкой из-за космополитизма, он представлял плохо.

Никаких конкретных предположений у него не было. Что заберут в тюрьму мать или отца, он представить никак не мог, хотя дядю Петю в тюрьме представлял, причем, вспоминая прочитанное письмо, представлял в довольно комичном виде: вот он, в своем длинном сером габардиновом макинтоше, рубит дрова, неловко замахиваясь топором, топор застревает в полене, и дядя Петя пытается его вытащить, а вот он растапливает щепками и газетами железную печь, печь дымит, а дядя Петя вытирает глаза уголком галстука, которым он обычно протирал очки... Но представить в таких же обстоятельствах отца или тем более мать Мишкиного воображения решительно не хватало.

Точно так же он не мог представить себя в малолетней колонии, о которой у него вообще никакого ясного понятия не было — так, какой-то кошмар вроде большой больничной палаты, в которой он однажды лежал с подозрением на аппендицит.

И заключенные, которых он видел утром, никак в его сознании не связывались ни с отцом, ни с матерью, ни с дядей Петей. Он, оказываясь иногда на краю городка, проходил вдоль тройной колючей проволоки, иногда смотрел на бараки за ней, но никакого интереса все это у него не вызывало. Вокруг барачных дворов было чисто выметено и пусто, солдаты на вышках дремали стоя, надвинув на глаза ушанки, иногда за проволокой торопливо проходил человек в ватнике — он нес охапку дров, или большой бидон для супа, или еще какую-нибудь хозяйственную вещь. Появившись из одного барака, он быстро скрывался в другом, и следа от него не оставалось ни в пространстве, ни в Мишкиной памяти. Заключенные были

такой же принадлежностью, скорее, завода, чем городка, как длинная кирпичная стена с овчарками за ней, длинные кирпичные здания цехов за стеной, две не очень высокие, но толстые кирпичные трубы там же и рев зверя раз в несколько месяцев — как сегодня. Заключенные не были людьми в обычном смысле этого слова — например, как пропадавший по командировкам дядя Федя Пустовойтов, или мать, или историчка и классный руководитель Нина Семеновна, — скорее, они были, как солдаты: чтобы разглядеть в любом человека, надо было познакомиться, как с часовым, допустим, на капэпэ, или с тем узбеком-сержантом на стройке, а все вместе они были просто солдаты или просто заключенные, и всё.

И, конечно, Мишка никак не мог представить себе дядю Петю в таком ватнике, тем более — отца, и уж никак — не мать.

Тем не менее, вспомнив про увиденные утром «студебеккеры», Мишка как-то непривычно и дополнительно расстроился, а отвлекшись от этого воспоминания, стал снова думать про дядю и мать с отцом и еще больше расстроился.

Тут как раз пришел Киреев.

Уши шапки с кожаным верхом и вытертым черным мехом Киреев раз и навсегда отогнул назад, а поскольку сейчас было уже тепло, февральское солнце пробило снег местами до черной земли, то шапку Киреев не натянул, а просто как бы положил на голову, сдвинув на лоб, отчего голова его казалась большой, вытянутой вверх. Короткий, заплатанный на правом плече черным косым куском желтый полушубок Киреев, конечно, не застегнул, из-под полушубка видна была старая зеленая гарусная кофта матери Киреева, которую он надевал не в школу. На ногах Киреева были его знаменитые сапоги, поверх которых он ввиду февральской сырости надел старые, с разорванными почти до подошвы задниками галоши. В рваную прореху вылезала красная байковая подкладка галош. Голая шея Киреева торчала из кофты, рыжий чуб из-под шапки свисал на один глаз, под носом, конечно, отливала зеленым сопля, а в голых красных руках Киреев тащил, напрягаясь из последних сил, старое, ржавое и без шины, колесо от полуторки.

— Ты зачем колесо притаранил, Кирей? — спросил Мишка, но ответа не получил.

Пыхтя и надсаживаясь, Киреев затащил колесо на высокую, метра в полтора, гору смерзшегося в монолит песка, привезенного еще летом для нужд стройки. Там он установил колесо на ребро и со страшным криком «ата!» толкнул колесо вниз. Железяка, кренясь набок и описывая большую дугу, покатила, едва не задела Мишку — он еле успел отскочить — и, проехав метров восемь, упала плашмя, с глухим звоном расколов оказавшийся кстати кирпич.

— Амбец, — сказал Киреев удовлетворенно и, слезши с горки, пнул колесо. — Испытания закончены.

— Какие испытания? — уже раздраженно спросил Мишка. — Чего ты испытывал, дурила-мученик?

Ему хотелось поговорить с приятелем серьезно, а тот игрался, как маленький.

— Представляешь, Мишка, — сказал Киреев, не обидевшись и даже не обратив внимания на «дурилу-мученика», — затаскиваешь такое колесо на гору, а под горой вражеский штаб. Раз — и амбец штабу, понял? Это будет наш танк «Клим Ворошилов». Надо колесо в штаб оттаранить, спрятать. Потащили?

Мишка прижал большой палец к виску и молча повертел раскрытой ладонью, что означало не просто «дурак», но еще и «лопух». Ничего тащить он не собирался. Детская игра в «штабы» — с нападением обитателей одного штаба на другой и разрушением вражеской постройки, беготня с деревянными, выпиленными из доски автоматами «пэпэша», к которым в качестве дискового магазина прибивалась плоская круглая крышка большой, двухкилограммовой консервной банки от канадской тушенки, размахивание из доски же выпиленными по образцам «Великого воина Албании Скандербега» мечами, с треском врезавшимися в фанерные щиты, удерживаемые за прибитые к ним петли из бинта, — давно все это надоело Мишке. А Киреев их штаб обожал, как только становилось тепло, тащил туда Мишку и в войну играл с удовольствием, хотя никто с ним уже не бегал, кроме малышни-четвероклассников. Впрочем, Мишка помнил, что Киреев использовал штаб не только для игры в войну, но и для другого развлечения, но вспоминать это не любил — и не вспоминал, поскольку Мишка умел не вспоминать то, что было неприятно.

Сейчас, чтобы совсем охладить Киреева, Мишке пришлось привести дополнительный аргумент.

— И где ты, Кирей, возьмешь горку возле вражеского штаба? — спросил он иронически. — Насыпешь, что ли?

Киреев на секунду задумался, и Мишка тут же перевел разговор.

— Испытания видел? — спросил он, и по тому, как Киреев стал кашлять и вытирать задубелым от частого такого использования рукавом полушубка соплю, понял, что Кирееву пришлось все время просидеть в подвале с матерью и сестрой и ничего он не видел. Не дожидаясь прямого ответа, чтобы окончательно не унижать товарища, Мишка стал рассказывать о том, что удалось увидеть ему.

Киреев про рев и огонь слушал без всякого интереса, а дослушав, пожал плечами.

— Подумаешь, — сказал он, и Мишка сразу понял, что приятель не пижонит, а действительно что-то знает, неизвестное Мишке. — Отец все давно рассказал, потому что он ночью матери все рассказывает, а я не сплю и слушаю, это испытывают двигатель для такой ракеты, которая долетит до Америки, и от всех ихних небоскребов на Волл-стрите ничего не останется, она сильнее, чем атомная бомба. А твой отец не рассказывал, что ли?

Киреев сморозил очевидную глупость и насчет ракеты, и насчет небоскребов. Но убедительно возразить ему Мишка не мог, потому что действительно почти никогда не слышал, чтобы отец что-нибудь рассказывал о работе, кроме того, кто обмывал звездочку или кого переводят в Москву, Ленинград или Харьков, а если что-то еще и рассказывал матери ночью, то Мишка в это время всегда уже спал, а пока он не спал, мать с отцом лежали тихо и, казалось, сами спали. Мишка задумался о ракете и вдруг вспомнил картинку в книге: бородатый старик в круглой шляпе и маленьких очках, а рядом сигара, похожая на дирижабль, только длиннее, от нее назад отходит сноп огня с облаком дыма, и в этом огне — стрелочки, которые показывают, куда идет сила от огня. Картинка не противоречила киреевскому рассказу... Впрочем, что это была за книга и что было написано под картинкой, Мишка не помнил.

Чтобы не высказываться по сомнительному поводу, Миш-

ка перевел разговор на заключенных, которых провезли по улице перед испытаниями, но и тут Киреев оказался хорошо осведомленным.

— Они и делают двигатели, — сказал он, — их набрали из всяких инженеров-вредителей и профессоров еще дореволюционных, а еще там пленные немцы есть, тоже инженеры, а твой отец и другие офицеры ими только командуют и следят, чтобы не вредили. Потому что если среди них будет диверсант, то взорвет весь завод и городок тоже... И дядя Коля Носов...

Тут Киреев вдруг замолчал, как будто его заткнули, отвернулся и стал возиться со ржавым колесом, пытаясь его снова втащить на горку.

— Чего дядя Коля Носов? — пихнул Мишка Киреева в бок, а ногой наступил на колесо, чтобы прекратить дурацкое занятие. — Чего, ну?

Киреев бросил колесо и сел на бревна. Мишка сел рядом.

— Курить будешь? — спросил Киреев, взрослым жестом откидывая полу полушубка и доставая из кармана штанов на этот раз мятой «Дукат». — Спички есть?

Спичек у Мишки, конечно, не было, и они стали прикуривать обычным способом — наводя как раз вылезшее солнце через складную лупу, которую Мишка всегда таскал с собой, на край сигареты, пока он не начал тлеть, а потом лихорадочно затягиваясь, чтобы раскурить.

Закружилась, как обычно, голова, рот наполнился слюнями, и мальчишки принялись сплевывать между широко расставленных ног, каждый стараясь попасть в свой предыдущий плевок. Рассказывать про разговор матери с тетей Тамарой Мишка, конечно, не стал, но Киреев как будто бы слышал этот разговор — сплюнув в очередной раз, он затер все плевки ногой и сам заговорил на проклятую тему.

— Чего твоя мать говорит насчет косьма... — Он запнулся, выговорил с трудом. — ...летизма? Мой отец сказал, что у них про это скоро собрание будет, там все будут выступать, и Кац — доктор, и дядя Лева Нехамкин, все косьмолиты, а потом генерал сам решит, кому что...

Про собрание Мишка ничего не знал. Обычно про собрание отец говорил накануне, что поздно придет, и приходил

действительно очень поздно, когда Мишка уже давно лежал в кровати и должен был спать, но Мишка обычно не спал и слышал, как мать шепотом говорит отцу, что от него опять пахнет спиртом, а отец шепотом оправдывается, объясняя, что после собрания зашли к Сене и немного поговорили. Но в последние дни отец — во всяком случае, при Мишке — ничего про собрание не говорил, а сегодня утром, перед тем как уйти на испытания, сказал только, что в эту субботу заступает дежурить в штабе, значит, придет только в воскресенье вечером, будет допоздна чистить свой никелированный «тэтэ» с желтой дощечкой на рукоятке, на которой косыми буквами написано «Капитану Салтыкову Л.М. по результатам стрельб», а утром в понедельник будет спать допоздна, на службу не пойдет и весь день будет слоняться по дому в пижамных штанах, то прося у матери обед в необычное время, то принимаясь сколачивать какую-нибудь очередную полку из раскуроченной упаковки.

— А чего решит генерал, твой отец знает? — осторожно спросил Мишка, не глядя на Киреева и продолжая галошей растирать землю.

— Отец не знает, — так же не глядя на Мишку и старательно давя галошей докуренную сигарету, ответил Киреев и надолго замолчал, снимая с губ и языка табачные крошки. — Он так сказал: «Могут из партии попереть, но генерал может прикрыть, тогда обойдутся выговорами». А твой отец чего говорит?

Мишка промолчал. Слова «из партии попереть» прозвучали страшно, хотя толком Мишка не мог понять, что они значат. Когда-то вроде он слышал что-то подобное, и осталось ощущение ужаса, катастрофы, но не конкретное, а какое-то всепоглощающее, так что даже нельзя было представить, что именно тут страшно, но не было никаких сомнений, что страшно и непоправимо. Настроение испортилось окончательно, тем более что он, естественно, вспомнил, о чем говорила тетя Тамара Нечаева с матерью, и потому никак не мог надеяться, что «обойдутся выговорами» — хотя и этих слов точного смысла не знал, догадывался только, что это не так страшно, как «попереть из партии». Мишка собрался домой — после испытаний отец мог вернуться раньше, кажется,

в прошлый раз так и было, и Мишка боялся пропустить какой-нибудь важный его разговор с матерью, из которого можно было бы что-нибудь узнать.

— Я домой, Кирей, — сказал Мишка, — скоро отец придет, будем обедать... Будь здоров.

— Будь здоров и не кашляй, — ответил по обыкновению Киреев, оставаясь сидеть на бревнах. — Лупу оставь прикуривать, будь друг, я отдам, гад буду.

Мишка знал, что отдаст, но на всякий случай надо было бы взять клятву под салютом всех вождей или пальцем по зубам и по горлу, однако Мишке стало лень выдерживать этот ритуал, и он молча протянул выпуклое стекло, выдвинутое вбок из черной эбонитовой коробочки, приятелю.

Уходя, Мишка оглянулся. Киреев смотрел ему вслед, и на мгновение Мишке показалось, что Киреев сейчас заплачет, — такое у него было лицо.

Глава одиннадцатая. Воскресение

Утром в воскресенье Мишка томился. Скучно было ужасно, он даже попробовал читать дальше заданного учебник физики, дошел до ракет, убедился, что Киреев, пожалуй, мог говорить правду, но и это его не развлекло, и учебник он отложил. Взял Жюль Верна, «Таинственный остров», стал перечитывать список вещей, подброшенных капитаном Немо колонистам, который он постоянно перечитывал и уже почти знал наизусть, но и это сразу наскучило.

Мать сидела на кухне, на плите варился суп, а мать читала книгу. Мишка присел, снизу глянул на обложку и с трудом прочел название. Книжка называлась «Сага о Форсайтах», оба слова были непонятные. Он спросил у матери, что значит «сага» и не совсем понял ответ, получалось не то сказка, не то просто длинная история, но было непонятно, почему так называется толстенная книга. А Форсайты оказались просто английской фамилией — в общем, скука.

В комнате Мишка было разложил схему из «Техники — молодежи» и решил продолжить сборку супергетеродина, который они с отцом уже давно вместе паяли в фанерном ящике от посылки, но мать, как почувствовала, пришла и выдернула

из розетки паяльник, который без отца Мишке категорически запрещалось включать. Впрочем, Мишка успел уронить капелку расплавленного олова на скатерть, но мать не заметила.

Тогда Мишка вытащил старый альбом, где листы были изрисованы растушеванными шарами и кубами на уроках рисования еще в прошлом году, взял желтый блестящий простой карандаш «Кохинор» 2М и начал рисовать в свое удовольствие на обратных сторонах. Он нарисовал танк Т-34, едущий немного боком, в три четверти, на зрителя и при этом стреляющий из пушки. Гусеницы танка сильно сужались назад в резко выраженной перспективе, а выстрел был нарисован несколькими расходящимися линиями, завершающимися волнистым пузырем, так что картина получилась грозная. На следующей странице Мишка нарисовал самолет «Ла-5», тоже летящий на зрителя и тоже в три четверти. Перспектива была такая же отчаянная, поэтому крылья самолета были широкие, а хвост за ними казался коротковатым. Пушки с крыльев стреляли очередями — тоже пучками расходящихся линий, но пунктирных. Нарисовав самолет, Мишка принялся рисовать рассекающий волны эсминец, по памяти воспроизводя картинку из любимой книги «Боевые корабли» — эсминец идет на зрителя в три четверти, нос рассекает и на две стороны разваливает высокими дугами воду, стволы главного калибра смотрят черными дырками и резко сужаются назад в подчеркнутой перспективе... Но корабль Мишка не дорисовал — опять стало скучно и рука устала штриховать изогнутые возле носа борта.

Мишка сложил и спрятал альбом, убрал карандаш в узкую белую коробочку из гладкого картона, где лежали такие же, но еще не заточенные карандаши, коробочку спрятал в свою тумбочку и остался стоять возле нее, глядя в окно.

За окном была пустая зима. По выбитой в снегу узкой дорожке — за февраль нападало очень много снега — шел девятиклассник Колька Потапенко из соседнего дома и тащил за собой санки со спинкой, в которых сидела его маленькая сестра, завернутая в клетчатый черно-зеленый платок. Санки то и дело съезжали с дорожки и опрокидывались, Колька останавливался, поднимал из снега и отряхивал неподвижный платочный куль, снова сажал на санки и волок дальше — его по-

слали гулять с сестрой. Больше на улице не было никого, и Мишке стало уже совсем невыносимо скучно.

Он снова пошел на кухню. Мать читала, положив книгу на кухонный стол. Очки она сняла и положила на стол рядом, поэтому сильно щурилась и низко наклонялась. Мишка посмотрел немного на мать, стоя в дверях, но она не обратила на него внимания и продолжала читать. Мишка пошел в ванную и стал рассматривать в зеркале прыщ, вчера появившийся на лбу. Давить его, наученный горьким опытом — от этого прыщи становились еще ужаснее, Мишка не стал и даже порадовался, рассмотрев как следует: прыщ вроде бы подсох и начал проходить.

В квартире стояла полная тишина. Отец с дежурства должен был прийти только поздно вечером, и до того, как он явится, неся под мышкой туго обернутую ремнем и портупеей кобуру, снимет шинель, стянет, упираясь в рогульку, сапоги, размотает портянки, нащупает шерстяными крестьянскими носками тапочки и пойдет мыть руки, а мать начнет накрывать стол на кухне к ужину, еще оставался почти весь день.

— Ма, я гулять! — крикнул Мишка из прихожей.

Мать ответила нечленораздельно в том смысле, чтобы оделся тепло, — зачиталась.

Мороз был действительно сильный, Мишка на улице стал быстро исправлять упущения в одежде, поскольку мать не послушал: шарфом высоко закрыл подбородок, так что на шерсти от дыхания сразу появился белый пушистый налет изморози, воротник поднял — возиться, развязывая шнурки, чтобы опустить уши шапки, не хотелось, а поскольку варежки не взял, пришлось руки засовывать глубоко в карманы.

Он побрел по узкой вытоптанной дорожке, вышел из двора, повернул к клубу. Мысли в голове как будто бы замерзли, они вяло ворочались, наталкиваясь одна на другую, топчась на месте.

Мишка думал про неприятности, но ничего придумать не мог. Он, конечно, ни капли не верил, что отца или мать заберут, просто не мог в это поверить, но тем не менее картинка возникала: отец в распахнутом полушубке рубит дрова, вокруг — густой лес, поваленные, спиленные деревья на опушке, а чуть в стороне стоит часовой, солдат с карабином, вроде

бы один из тех, кто ездит в «додже» с дядей Лево́й Нехамкиным. Картина эта, к Мишкиному удивлению, не вызывала у него ужаса, как будто отец просто был на работе или на войне, где ему, как Мишка знал из отрывочных рассказов, приходилось и лес рубить, и таскать тяжелые бревна, а однажды он в одиночку даже тащил тяжеленную рельсу и дотащил, куда надо было, а потом хотел снова поднять — и не смог... В Мишкиной голове картинка, на которой отец рубит дрова (как дядя Петя, рассказавший о нынешней своей жизни в письме), сопровождалась странными словами «обойдется... обойдется...» и еще услышанным когда-то, он не мог вспомнить, когда, «везде люди живут»...

А мать Мишка никак не мог себе представить ни в каких других обстоятельствах, кроме тех, в которых ее оставил: кухня, кастрюля на плите, книга на кухонном столе и очки рядом... Такой Мишка ее видел всю свою жизнь. И себя он никак не представлял в малолетней колонии, которую вообще-то учителя в школе вспоминали по разным поводам часто — например, грозили ею Вовке Сарайкину. Но себя Мишка никак не мог увидеть где-то, в большом общем помещении, день и ночь среди других мальчишек, без матери и отца. Голова отказывалась рисовать такую картинку, потому что ее не с чего было рисовать. Мишку никогда не водили в детский сад, не посылали в пионерлагерь — так получалось. В том возрасте, когда водят в детсад, Мишка с матерью и учившимся в академии отцом жил в Москве, у Малкиных, и ни в какой детский сад его, как приезжего, не взяли бы. А в пионерлагерь его не отправляли, потому что отца каждый год посылали на курорт, на Рижское взморье или в Сочи, в санаторий имени Орджоникидзе, а он брал с собой мать, потому что без нее скучал, а мать брала Мишку, потому что считала, что ему полезнее для здоровья побыть у моря, чем питаться черт его знает чем и в конце концов утонуть во время речного купания в лагере...

Мелькнула фамилия Малкиных, и Мишка совсем расстроился. Ничего, никакого утешительного будущего не придумав для себя и родителей, он стал думать про дядю Петю, тетю Аду и Марту, и от этого стало еще хуже. Во-первых, положение дяди Пети уже не представлялось комическим и «поселе-

ние» стало казаться безосновательной надеждой. Во-вторых, Мишка впервые задумался, на какие деньги живут без дяди Пети тетя Ада и Марта. Получалось, что жить им не на что, разве что дядя Петя присылает из леса, где рубит дрова и, наверное, зарабатывает этим деньги.

Вообще-то Мишка про деньги думал часто, но не применительно к жалованью отца или к зарплате дяди Пети, а в основном в связи со своими планами на взрослую жизнь. Это началось наутро после того, как их с Ниной допоздна искали родители. Отец тогда как бы мельком, не обсуждая происшедшего накануне, спросил: «А какие у тебя планы относительно Нины?» И Мишка, неожиданно для самого себя твердо, как будто все уже давно решил, ответил: «Я на ней женюсь после школы». Мать, возившаяся с завтраком, не оборачиваясь от плиты, охнула, потом засмеялась. Отец же, даже не улыбнувшись, кивнул и задал второй вопрос: «А на какие деньги семью кормить будешь?» В тот момент Мишке не пришло в голову начать рассказывать про свои планы стать заведующим, как дядя Петя, он вообще забыл про эти планы, а ответил просто и коротко: «Буду работать». — «Кем?» — все так же серьезно поинтересовался отец. Мишка растерялся, но опять не сказал про заведующего, хотя уже вспомнил про эту идею, но с него хватило урока, который он получил на классном часе, и он вовсе не был уверен, что отец тоже не высмеет его планы. Мишка ответил все так же коротко и солидно: «Подумаю», — и на этом отец разговор закончил. Но с тех пор Мишка часто думал про работу и деньги, которые за нее будет получать.

Он не сомневался, что получать будет много, хотя совсем не представлял, за что. Только видел картинку: себя в серо-голубом костюме, как у дяди Пети, Нину в крепдешинном платье с широкой юбкой, они идут по перрону Курского вокзала в Москве, в руке у Мишки черный лакированный чемодан с желтыми кожаными кантами по ребрам, они подходят к поезду Москва — Адлер, к мягкому или даже к международному вагону, и Мишке, нынешнему, тринадцатилетнему Мишке, видящему эту картину, понятно, что у человека в сером костюме полно денег, целый толстый бумажник из желтой тисне-

ной кожи с металлической пластинкой на уголке, набитый синими пятерками и красными десятками.

При Мишке мать с отцом говорили о деньгах нечасто, в основном, к концу отпуска. Деньги кончаются, говорила мать, отец доставал из кармана большую серую бумагу в разводах под названием «аккредитив» и давал ей, но это ведь последнее, говорила она, а отец молча обнимал ее за плечи, и она успокаивалась, только еще успевала пробормотать, что и эти ведь отдавать придется в кассу взаимопомощи, из которой обязательно брали перед отъездом на курорт. Мишке этот разговор всегда бывал неприятен, и с тех пор, как он начал задумываться о деньгах, он твердо решил, что у него деньги никогда не будут «последние» и в кассе взаимопомощи он никогда брать не будет. Как этого можно достичь, он не знал, но решил твердо.

И сейчас, задумавшись, на какие деньги живут Малкины без дяди Пети, он быстро сбился с этой мысли и стал думать про себя с Ниной.

С тех пор как она сказала по телефону «я тебя люблю», их отношения почти не изменились — они по-прежнему ходили в кино по субботам, смотрели две серии «Падения Берлина», потом еще раз «Тарзана», потом показали на одном сеансе, на который они как раз попали, «Тарзана в Нью-Йорке», а второй сеанс отменили, пришел какой-то незнакомый капитан из политотдела и прямо в зале сказал, что сеанса не будет, и все выстроились перед кассой получать обратно по двадцать копеек, а Мишка с Ниной пошли гулять и долго обсуждали картину — Мишке понравилось больше, чем сам «Тарзан», по крайней мере в Нью-Йорке все было меньше похоже на сказку, а Тарзан и Джейн были очень здорово одеты и вокруг было много красивых — тут Мишка не мог не отдать должное американцам — американских машин. И Мишка даже вспомнил другой фильм, который он когда-то давно, когда маленьким жил с отцом и матерью у Малкиных в Москве, ходил с Мартой смотреть в кинотеатр «Метрополь», в один из маленьких залов над букинистическим магазином. Фильм назывался, кажется, «Серенада Солнечной долины», содержания Мишка уже совсем не помнил, помнил только, что там все мужчины были в таких же прекрасных костюмах, как Тарзан

в Нью-Йорке, до которых далеко даже клетчатому пиджаку Роберта Колотилина. И еще помнил удивительную музыку, которую в картине играли все время, потому что картина была про оркестр, как «Веселые ребята». Музыка была прекрасная, от нее все внутри начинало лететь, как будто очень быстро едешь в машине по хорошему шоссе (однажды так ехали из Адлера в Сочи на «опель-адмирале», шофер которого, грузин с маленькими квадратными, как у Гитлера, усами под большим носом, брал попутных пассажиров, сразу семь человек с чемоданами, только стоило это дорого, по пятнадцать рублей с каждого, в том числе и за Мишку, хотя он всю дорогу сидел у матери на коленях), и все мелькает по сторонам, а ты летишь все быстрее... Когда они жили в Москве, такую музыку передавали даже по радио, а потом перестали, а здесь, в Заячьей Пади, тот фильм ни разу не показывали. Оказалось, что Нина тоже видела тот фильм, когда жила в Потти, они стали вспоминать вместе, только Нина больше, чем музыку, запомнила из этого фильма историю про любовь. Она сказала, что в трофейных фильмах — такие фильмы, как «Тарзан» или эта «Серенада», назывались трофейными, хотя Мишка не понимал, почему, ведь воевали в прошлый раз не с американцами, а с немцами, как же американские картины могли быть трофейными? — всегда про любовь показывают лучше, чем даже в нашей картине «Жди меня».

Так они гуляли каждую субботу вечером, а иногда и в обычные дни — быстро сделав уроки, Мишка звонил Нине, коротко договаривались, он встречал ее где-нибудь возле школы, до которой идти было примерно одинаково и от ее, и от его дома, или за клубом. Каток за клубом в эту зиму закрыли из-за эпидемии кори и простуд, поэтому просто часа полтора ходили по темным улицам, пока оба не замерзали окончательно, тогда прятались в какой-нибудь подъезд и целовались недолго. Несколько раз днем в воскресенье уходили за проходную, гуляли в продуваемой ветром степи, иногда целовались и там.

А к Вальке больше не ходили ни разу, хотя деньги у Мишки были.

Вот это и изменилось после ее слов «я тебя люблю» — теперь Мишка даже представить себе не мог повторения того, что происходило ночью у Вальки. Он много думал о значении

слов «я тебя люблю» — в основном пытаюсь понять, есть ли любовь в нем самом — и ни к какому окончательному выводу не приходил. Единственное, до чего он додумался — любить Нину имело смысл, поскольку было очевидно, что красивее ее все равно никого нет. Он, естественно, не сравнивал ее с другими девчонками из класса, сравнивать с ними вообще было смешно — нет, он сравнивал ее с артистками, и получалось, что она красивее и всех артисток, включая ту, которая играла Джейн, и ту, которая играла в «Цирке», ее даже звали Любовь, она действительно была очень красивая, но Нина все-таки красивее. А раз Нина самая красивая, то Мишка, конечно, не мог ее не любить, тем более что она сама его любит. И можно было считать, что Мишке повезло, потому что он женится на Нине, а жены не у всех бывают красивыми, а у Мишки будет.

И как-то так получалось, что именно поэтому опять пойти к Вальке было невозможно.

Думая обо всем сразу, Мишка бродил по протоптанным на улицах дорожкам, замерз отчаянно и решительно свернул к клубу. Там, как обычно днем, было пусто, в полутемном вестибюле сидел дежурный старшина, у которого Мишка попросил разрешения позвонить домой. Мать сняла трубку, голос ее показался Мишке каким-то незнакомым, очень спокойным. Он сказал, что пойдет сидеть в читалку, мать не возражала, велела только прийти к возвращению отца с дежурства ужинать вместе. Она знала, что Мишка может просидеть в читалке весь день, и дала ему достаточно времени — до возвращения отца оставалось еще часа три.

В читалке он сразу попросил американские журналы, и старая библиотекаря Зинаида Федоровна быстро принесла ему стопку *Popular Mechanics* за весь прошлый год. Библиотека получала этот журнал, как технический, для офицеров, но никто, кроме Мишки, его никогда не брал, отец, когда Мишка старые экземпляры приносил домой, только пожимал плечами, английского языка он, конечно, не знал, только немецкий немного, но видел, что журнал глупый, «вроде «Техники — молодежи», только глупее». А Мишка, умея прочитать иногда одно из десяти, а иногда и одно на всю статью слово, журнал очень любил за мелкие черно-белые, очень старательно нари-

сованные, как бы выпуклые картинки, на которых была целая отдельная жизнь. Больше всего ему нравилась часто повторявшаяся и внутри номера, и из номера в номер такая картинка: мужчина в белой рубашке с закатанными рукавами, в отброшенном ветром на сторону галстук едет в открытой американской машине, улыбаясь Мишке прямо в лицо, а над машиной в прыжке летит так же радостно скалящийся тигр. Что означала эта картинка, Мишка понять не мог, из подписи ему было знакомо только слово *oil*, то есть масло. Но никакого масла на картинке Мишка не видел, а видел нечто, напоминавшее ему и «Тарзана в Нью-Йорке», и музыку из «Серенады» — она словно звучала внутри картинки, и Мишка ощущал себя летящим в машине под эту музыку...

Мишка задумался. Он вспомнил, что дядя Лева Нехамкин обещал во время ближайших каникул взять его покататься на «газике» и поучиться управлять машиной, и стал мысленно проделывать все необходимое для того, чтобы тронуться с места, набрать скорость, затормозить... Он давно все это теоретически выучил по книге «Пособие для шофера 3-го класса» и теперь надеялся скоро применить в действительности. Но мысленное повторение последовательности шоферских действий оказалось непосильно для его сосредоточенности, он отвлекся и стал листать журналы дальше. Остановился он на картинке, на которой примерно тот же дядька, что мчался в машине под тигром — только уже не в галстук, а в комбинезоне с нагрудником, — управлял длинными ручками какой-то маленькой машинки, ехавшей по траве. Понять в подписи Мишка не смог ни одного слова, но догадался, что машинка траву стрижет. Вся же картинка в целом напомнила ему картинку другую, из учебника «История СССР», на которой крестьянин Орловской губернии идет за сохой. Только дядька в журнале шел не по бескрайнему горбатому полю с волнистыми бороздами, а по небольшой лужайке, позади нее стоял дом, похожий на клуб, в котором сейчас сидел Мишка, — с тонкими колоннами и широким балконом, опирающимся на них, а рядом с домом на высоком шесте развевался флаг с полосами и квадратиком звезд, привычно вызывавший у Мишки усмешку, поскольку чаще всего Мишка видел этот флаг на картинках в «Крокодиле».

Впрочем, к «Крокодилу» у Мишки было особое отношение. С одной стороны, все, кого рисовали в этом журнале, ничего, кроме усмешки и презрения, не заслуживали — поджигатели войны в цилиндрах, коротких узких брюках и ботинках на толстой подошве; вредители, тянущие длинные руки-щупальца со спичками к бикфордову шнуру, уходящему под ограду советского завода, точно такую же, как та, которую Мишка видел каждый день; пузатые толстые расхитители, волокущие с колхозного поля снопы; пижоны в длинных широких галстуках и пиджаках почти до колен... С другой стороны, все они были нарисованы так здорово, были такие выпуклые и живые, что отчасти напоминали Мишке самые привлекательные картинки из *Popular Mechanics*, а отчасти рисунки из трофейных журналов мод, которые мать брала у тети Розы и которые Мишка тоже любил рассматривать: высокие мужчины в широких пальто с поясами и в шляпах с переломленными полями и женщины в узких длинных платьях и коротких жакетах с высокими и широкими плечами, в маленьких шляпках, похожих на пилотки...

Мишка закрыл последний журнал, сложил их все аккуратной стопкой, вежливо попрощался с Зинаидой Федоровной, снял с рогатой вешалки, стоявшей тут же, в читалке, пальто и принялся одеваться, чтобы идти домой. За окном читалки, завешенным сборчатой белой занавеской, уже синели поздние февральские сумерки.

Мишка не торопясь брел к дому. Мороз к вечеру ослабел, было похоже на начало оттепели. Мишка вспомнил, что февраль короткий и можно считать, что уже почти март, скоро конец четверти. Это его не сильно волновало, отметки исправлять ему было не нужно — везде пятерки. Но почему-то мысль о наступающем марте испортила ему настроение, а почему — он понять не мог. С ним сделалось что-то странное: его затрясло, хотя он совсем не замерз, и на минуту он почувствовал, что совсем не может дальше идти, ноги ослабели, стали ватными, он поскользнулся, оступился и едва не упал набок, в сугроб. Тут же его и затошнило, и он подумал, что, наверное, опять заболевает, расстроился еще больше, потому что болеть уже надоело, и, чтобы прийти в себя, стащил с головы шапку, что делать мать категориче-

ски запрещала. Холод тут же стиснул стриженую голову, и стало легче. Мишка постоял, надел шапку и решительно свернул в свой двор.

Во дворе снег лежал еще выше, стало уже совсем темно, и в синей тьме были видны только белый снег и черные контуры домов и сараев на фоне синего неба. Тем не менее Мишка сразу увидел, что возле подъезда его дома творится что-то странное — там толпились, двигались люди, человек десять, и оттуда шел негромкий шум голосов. Мишка побежал, оступился, провалился в снег, вылез и снова побежал.

Первого он увидел дядю Леву Нехамкина. Дядя Лева стоял у подъезда, обе двери в который были раскрыты, и держал в руках кобуру, обмотанную ремнем и портупеей, Мишка сразу узнал кобуру от отцовского «тэтэ» и увидел, что она пустая, а дядя Лева посмотрел на Мишку и не сразу его рассмотрел, а когда рассмотрел, то как-то странно улыбнулся, вернее, просто сморщился и сказал:

— Мать там... сейчас уже лучше... ты не ходи.

И Мишка никуда не пошел, а сел на заваленную снегом лавочку у подъезда и закрыл глаза, а когда открыл их, то увидел яркий свет над головой и понял, что он уже лежит дома, прямо в пальто на кровати. В комнате слышны были голоса, и он разобрал голос дяди Сени Квитковского, который отчетливо произнес:

— Какой, к черту, случай, когда в висок?

Мишка снова закрыл глаза, и свет погас.

Глава двенадцатая. Весна

Они с Киреевым сидели на бревнах и вяло, без счета, играли в ножички Мишкиным немецким серебристым ножиком. Лезвие глубоко входило в не высохшую еще землю.

— Поедешь в Москву, пойдешь в мавзолей, позыришь обоих, — в двадцатый раз как бы с завистью сказал Киреев.

Мишка ничего не ответил, вытащил из земли ножик, вытер об рукав куртки лезвие, сложил и сунул в карман.

Киреев отошел к краю бревен, расстегнул штаны, порылся, струя ударила в землю, размывая ее, потекла вбок ручейком.

Мишка достал из кармана кирпично-красную пачку «При-

мы», отцовскую зажигалку, ленд-лизковский стальной кирпич с откидывающейся, приятно звякая, крышкой, закурил.

— А где бензин авиационный стырил? — тоже в сотый раз спросил Киреев, и снова Мишка ничего не ответил, потому что уже сто раз рассказывал, что бензин еще остался в бутылочке, которую отец держал на верхней полке в кухне.

Вообще-то Киреев был молодец, все время ходил за Мишкой и старался развлекать его всякими дурацкими вопросами, но на вопросы Мишке отвечать не хотелось.

Вечерами Мишка, как всегда, гулял с Ниной. Теперь они уже не ходили по темным улицам, а шли прямо в клуб, стояли там в светлом освещенном вестибюле, пока лейтенанты с деревенскими девушками собирались на танцы. Мишка с Ниной на танцы не шли, все-таки было еще рано, но продолжали стоять, слушали музыку... Но и с Ниной Мишка разговаривал мало, правда, она и сама больше молчала, только держала Мишку за запястье, незаметно сунув свою руку в Мишкин рукав.

А Мишка все время думал. Мыслей у него было мало, но совсем избавиться от них он никак не мог, хотя постоянно пытался перестать думать. Но это никак не удавалось, даже на уроках ничего Мишку не отвлекало — тем более что учителя старались его не спрашивать, а пятерки ставили, поднимая дополнить кого-нибудь с места. Мишка дополнял, потому что учебники по привычке продолжал читать и все так же прочитанное запоминал на день-два целыми страницами...

Важность главной мысли, которая мучила теперь Мишку, даже Нина не понимала, только Киреев, похоже, понимал — во всяком случае, с ним говорить об этом было можно.

Мысль была о том, как теперь жить. С тех пор как майор Салтыков, находясь на дежурстве по штабу части, выстрелил себе в висок из именного пистолета, Мишка непрерывно пытался привыкнуть к жизни без отца и даже, в общем, привык. В первые недели в квартире толпились люди — приходили, разговаривали с матерью, с Мишкой, вздыхали. Приходили все те же дядя Сеня, дядя Лева с тетей Тоней, дядя Гриша с тетей Розой... Дядя Федя, как всегда, был в командировке, а дядю Леву через месяц вдруг перевели в Оренбург, за три дня они с тетей Тоней собрались и уехали, приходили про-

щаться, и мать с тетей Тоней плакали так, что пришлось звонить дяде Грише, он сделал матери укол, и она заснула.

Мишка как-то очень быстро все понял — и что отец зря застрелился, потому что то собрание отменили, и что если бы отец подождал до смерти товарища Сталина, то он и сам стреляться не стал бы, и что про космополитизм теперь уже никогда и не вспомнят, так что вообще все было зря.

Про это свое понимание Мишка никому не говорил, даже матери, и себе не мог толком объяснить, почему именно смерть Сталина сделала бессмысленным самоубийство отца, но не сомневался, что все именно так и есть, как не сомневался, что было именно самоубийство — он привык мысленно произносить это слово, хотя на похоронах генерал сказал «трагический случай».

Вообще жизнь в городке за эти полтора месяца сильно изменилась, будто вместе с оттаявшей и раскисшей землей оттаивали и раскисли все люди. Дядя Сеня Квитковский приходил чаще других, почти каждый вечер, вынимал из кармана бриджей бутылку «белой головки», мать быстро варила картошку, они садились вдвоем, Мишка пристраивался сбоку стола со своим ужином — котлетой с гречкой-размазней — и слушал, о чем они разговаривают, наливая водку и, не чокаясь, выпивая рюмку за рюмкой. Разговаривали они при Мишке свободно, может, еще и поэтому он стал все понимать.

Иногда приходили и дядя Гриша с тетей Розой. Дядя Гриша стал ходить в гражданском, в черном пальто с каракулевым воротником и синем костюме в полоску. Он уже оформлял увольнение из армии, хотя собирался остаться в госпитале, пока не найдет работу в Ленинграде, а жить они там будут у его сестры. Дядя Гриша и тетя Роза тоже приходили с бутылкой, бутылка была заткнута газетой, поверх которой обмотана черная изолента, — это был спирт. Спирт разводили холодной кипяченой водой из чайника, мать опять варила картошку, опять пили, не чокаясь, разговаривали о том, что врачей выпустили, но дядя Гриша не жалел, что уволился из армии.

Мишка сам удивлялся, как быстро ему стало все ясно в таких разговорах — будто отец, пока был жив, мешал Мишке понимать взрослую жизнь.

— Как деньги кончатся, мамаша твоя работать пойдет, — сказал Киреев, еще раз показав, что понимает Мишкины мысли. — Пусть в библиотеку идет или в бухгалтерию к строителям, там одни гражданские работают... Вот и деньги будут, не бздимо, Мишка, перезимуем!

Мишка опять промолчал. И Киреев умолк, глядя, как Мишка растирает подошвой по земле докуренную сигарету.

Посидели молча, потом Мишка так же молча встал, и Киреев встал, молча побрели к школе, откуда раздавались вопли — во второй смене была большая перемена, десятиклассники вышли во двор и гоняли в баскетбол, в который в этом году начали играть все старшие классы. Киреев был маленький, ему и думать нечего было о баскетболе, а Мишка сильно подрос за этот год и мог бы играть со старшими, но его не брали — водил плохо.

На школьном дворе немного посмотрели, как толкались, разлетаясь под кольцом, Славка Петренко и принятый к старшим Эдька Осовцов, как крутился по краю кольца и проваливался в рваную сетчатую корзину удачно брошенный Эдькой мяч... Смотреть со стороны стало скучно, тут и звонок загремел, перемена кончилась, все разошлись. Эдька, проходя, дал поджопник с поворотом Кирееву — ни с того ни с сего, просто так — и хотел засветить шелобан Мишке, но раздумал. Киреев безропотно отряхнул задницу, а Мишка совсем огорчился — уж если даже Осовцов его щадит, значит, действительно плохи его дела. Впрочем, это и так было ясно: в последнее время его даже никто не называл ненавистным женским прозвищем Салтычиха, а если обращались, то называли просто Мишкой, и такая снисходительность больше всего расстраивала Мишку — как будто он был больной или совсем хилый.

Постояли с Киреевым на углу, пиная еще не растаявший, пронизанный ледяными связями комок земли, и разошлись по домам — говорить было не о чем, что Киреев понимал, то он и так понимал, а что не мог понять, Мишка и объяснять не хотел.

По дороге домой Мишка остановился у забора, отвернувшись от улицы, снова закурил — его уже давно не тошнило от курения, слюна не бежала, и голова не кружилась — и пошел

дальше, завернув сигарету в рукав, затягиваясь на ходу и сплевывая табачные крошки.

На ходу он продолжал думать.

Деньги еще не кончились, и каждое воскресенье мать, взяв с собой Мишку, ходила, как все жены офицеров, в село на базар, покупала топленое масло и сардины в военторге, по утрам жарила картошку и котлеты, варила кашу и фасолевый суп... Но Мишка уже знал, что все это делается на те деньги, которые собрали офицеры и после похорон отдали матери, деньги эти когда-нибудь кончатся, и других не будет, потому что ни на какую работу мать не пойдет — она совсем ослепнет раньше.

Слепла мать быстро. Уже на второй день после похорон Мишка видел, как она по дороге на кухню налетела на открытую дверь ванной, ударилась плечом и остановилась, оглядываясь и щупая воздух вытянутыми вперед руками. Мишка было кинулся взять ее за руку и помочь, но вовремя сдержался, поняв, что мать скрывает свою слепоту. Вообще-то она почти все время ходила нормально, ничего не видела только в сумерках. Стала носить постоянно очки, отчего высокомерное и презрительное выражение лица сделалось заметнее, по улице шла, глядя на всех сверху вниз и на всякий случай всем кивая здороваясь. Женщины оглядывались ей вслед — Мишка видел, как однажды тетя Тамара Нечаева покрутила пальцем у виска, когда мать, столкнувшись с нею в очереди в военторге дважды, дважды и поздоровалась — и вздыхали, некоторые останавливали мать и подолгу расспрашивали о здоровье, но мать только говорила, что все хорошо, а Мишка, вот видите, очень вытянулся за последнее время и уже совсем становится мужчиной.

Мишка смотрел в сторону.

После того как врачей выпустили, тетя Тамара Нечаева приходила к матери извиняться. Мать слушала ее, стоя в прихожей, дослушала до конца, молча повернулась и ушла в комнату. Тетя Тамара потопталась и тоже ушла. И вот с нею мать два раза и поздоровалась...

Она уже почти ничего не читала, по вечерам сидела на кухне одна, не зажигая света, и Мишка понимал, что работать она не сможет, и скоро им совсем не на что станет жить. Кон-

чатся деньги, которые собрали офицеры, и придется у кого-нибудь просить, а просить было уже не у кого, кроме дяди Сени, потому что дядю Леву перевели, а дядя Гриша собирался уезжать в Ленинград через несколько дней, и тогда они с матерью останутся почти совсем одни.

Мишка подошел к дому, бросил и затоптал сигарету и начал подниматься по лестнице к себе на второй этаж. Недавно вымытая деревянная лестница скрипела.

Вдруг Мишке сделалось так грустно, что он остановился, чтобы вытереть покотившиеся неожиданно слезы, — после смерти отца он совсем перестал плакать и сейчас даже удивился. Пока он вытирал рукавом куртки лицо, наверху открылась дверь, он услышал, что мать вышла на площадку.

— Миша, — окликнула его мать, — ты где? И он понял, что она уже ослепла совсем и теперь, как он читал в «Острове сокровищ» про слепого, стала слышать лучше обычных людей. Он бросился наверх. Мать стояла в дверях квартиры, высокомерно и презрительно улыбаясь в пустоту и шаря рукой примерно на высоте Мишкиной головы.

Глава тринадцатая. Отъезд

После экзаменов стали собираться. Вещей получилось много: целый матрасник с постельным бельем и пальто; одежды большой чемодан в парусиновом чехле с белыми пуговицами, с привязанными двумя подушками; кастрюли и тарелки в чемодане поменьше, с металлическими уголками, с плохим замком и потому перетянутом брезентовыми ремнями с деревянной ручкой; и еще большая клеенчатая сумка, которую набили всем, что может понадобиться в дороге, а ручки связали бинтом. Мебель стояла голая, в глаза лезли овальные жестяные номерки на ней.

Вечером Мишка пошел прощаться с Ниной — с Киреевым попрощался неделю назад, когда того отправляли в лагерь. В это лето все разъезжались кто куда — дядя Гриша и тетя Роза Кац еще в июне уехали в Ленинград, от дяди Левы и тети Тони Нехамкиных пришло уже письмо из Оренбурга про то, как устроились, а Бурлакова никуда не перевели, но Нина мать все-таки решила уехать к бабке в Одессу, и они уже

тоже собирались. Оставался только дядя Сеня Квитковский, но он собирался вообще скоро увольняться из армии в отставку, потому что был уже старей, и уезжать на свою родину в Винницу, работать там в школе военруком.

В семь вечера еще было светло, как днем. Нина вышла в голубом сарафане, и Мишка, как обычно, отвел глаза — ему как-то неприятно было видеть Нинины голые руки и плечи. Нина загорала быстро, за несколько походов на речку Заячью, и теперь ее руки и плечи были уже ровного коричневого с красноватым оттенком цвета, на фоне которого золотились маленькие волоски между запястьем и локтем. А Мишка загорал плохо, только обгорал до пузырей несколько раз. На речку ходили и вдвоем, и в компании с Надькой и Киреевым, и всегда это была мука. От Нины в купальнике из черного сатина — в трусах пузырем и широким лифчике — Мишка не мог отвести глаза, но и смотреть на нее не мог тоже, поэтому сразу падал в воду и плыл, сильно брызгая во все стороны и глубоко зарываясь лицом в мутную, с песчаной взвесью воду.

Вообще отношения с Ниной стали для Мишки — и насколько он мог заметить, для Нины тоже — почти невыносимо тяжелыми. Один раз днем пошли просто в степь гулять, в степи как раз цвели тюльпаны, поэтому и решили пойти — нарвать по букету домой. Ушли далеко, сели просто в траву, начали целоваться, и Мишка даже сам не заметил, как Нина вдруг оказалась совсем голая. Она сидела на своей вывернутой наизнанку юбке под ярким дневным солнцем, следы от резинки трусов и от лямок лифчика краснели на ее незагорелой тогда еще коже, а Мишка сидел рядом, в одних трусах прямо на траве, среди полыни и скачущих кузнечиков, и старался не смотреть на Нину. Она взяла его за руку и, откинувшись на спину, потащила к себе, так что он оказался лежащим сверху. На носу Нины выступил мелкими каплями пот, она закрыла глаза, в которые било сверкающее солнце. А перед Мишкиными глазами оказалась севшая на полынный куст стрекоза с синим переборчатым, как бамбуковое удилище, штырьком хвоста и светло-голубыми парными крыльями, трепетавшими и сверкавшими на солнце. Мишка тоже закрыл глаза. Так, с закрытыми глазами, он лежал на Нине, опираясь на локти,

чтобы не сильно ее придавливать, и чувствовал, как она тащит одной рукой вниз его трусы. Он уже давно хорошо знал, что надо делать, когда мужчина лежит на женщине, и примерно представлял себе, как, но его начала бить дрожь, и он, напряженный и дрожащий, выскользнул из Нининой руки и ткнулся в ее живот. Давай, сказала Нина, давай сейчас, все равно скоро уедешь и я уеду, давай, но Мишка никак не мог ничего сделать. Он сполз по Нине вниз и попал между ее ног, и тут же затрясся еще сильнее, почувствовав, как липкое опять, как тогда у Вальки, полилось из него. Голову окатило жаром, судорога прошла по всему Мишкиному телу, и он, резко оттолкнувшись правой рукой от земли, скатился с Нины слева и упал рядом с нею на спину. Солнце ударило ему в глаза, и он зажмурился, но успел увидеть, как синяя стрекоза снялась с полыни и улетела к солнцу, сверкая голубыми крыльями.

И опять, как тогда, после ночи у Вальки, после этого похода в степь они несколько дней не виделись с Ниной. Как раз сдавали русский, писали изложение по «Бежину лугу», а после экзамена вечером пошли гулять, но просто ходили вокруг клуба, не целовались и разговаривали только про будущие отъезды.

Теперь же, прощаясь, они вообще почти не разговаривали. Мишке даже показалось, что Нина спешит, она все время смотрела на новые продолговатые, бочонком, дамские часы «Звезда», которые Бурлаков подарил ей после экзаменов, и как-то невнимательно оглядывалась по сторонам. Да и сам Мишка чувствовал, что ему хочется быстрее попрощаться, пойти домой, лечь спать, не раздеваясь, потому что постель уже была без простыни, а утром побыстрее поехать на вокзал.

Наконец решили прощаться. Было уже почти темно, в сливово-синих сумерках Нинины плечи и руки стали казаться совсем черными, а Мишкины руки, торчавшие из коротких рукавов отцовской вязкозной тенниски, — голубоватыми. Возле ее дома остановились за большой акацией рядом с подъездом.

Почему-то Мишка никак не мог посмотреть прямо на Нину. Так, отводя глаза и рассматривая то пыльные листья акации, то пустую улицу, Мишка и стоял, только время от времени притрагиваясь к Нининой руке. Оба молчали. Наконец

Мишка, хотя об этом уже давно поговорили, решил спросить, когда точно Нина с матерью уезжают, и проверить ее одесский адрес, который он уже помнил наизусть. Он заставил себя посмотреть Нине в лицо и увидел, что она плачет, слезы, блестя в свете висящей над подъездом лампы, ползут вниз по ее щекам светлыми дорожками.

— Ты чего? — Мишка тыльной стороной ладони попытался вытереть мокрую щеку, но Нина отодвинулась, отдернула голову с видимым раздражением. — Ну, чего? Мать обещала на следующее лето отпустить меня к вам в Одессу одного, в гости, будем на море ходить... Ну, не плачь...

— Я не из-за тебя. — Нина ответила неожиданно громко, с всхлипыванием, и ее голос разнесся в вечерней тишине. — Я не из-за тебя плачу, если не захочешь, не приезжай...

— Я же сказал, что приеду! — Мишка не мог понять, что с Ниной происходит, и сам стал раздражаться. — Я ж сказал...

— Не приезжай! — Нина вырвала руку, утерла слезы и шагнула к подъезду. — Я... я напишу тебе потом... я плачу, потому что... ты не понимаешь... не знаешь!..

Она снова заплакала. Мишка обнял ее и попытался поцеловать, но она вывернулась, мазнув Мишку по губам мокрым подбородком, потянула на себя входную дверь и шагнула в темноту подъезда.

Мишка остался на улице. Он мог бы пойти за ней в подъезд, он слышал, что там не открылась дверь, значит, Нина еще не вошла в квартиру, а стоит в темноте и плачет или успокаивается, чтобы не приходиться домой зареванной, но Мишка стоял на том месте, где она его оставила, и не мог двинуться. Он испытывал странное ощущение полной свободы и облегчение — вот и попрощались, вот и можно ехать, вот и все...

Он шел домой быстро и всю дорогу громко, как мог, свистел. В последние дни к нему привязалась песня, где были странные, совершенно непонятные ему слова — только их он и запомнил — «прощай вино в начале мая, а в октябре прощай любовь», и он все время или тихо ныл эту мелодию, либо высвистывал. Надо будет остальные слова разобрать, когда по радио передавать будут, думал Мишка, надо будет разобрать...

Рано утром приехал на дежурном открытом «газике» дядя Сеня. Присели на дорогу кто где — дядя Сеня на кровать, мать на стул посреди комнаты, Мишка на большой чемодан. Солдат-шофер погрузил вещи, мать еле поместилась рядом с ними, а Мишка с удовольствием пристроился на козухе над задним колесом, отмахнувшись от матери, которая боялась, что он вывалится. Дядя Сеня сел рядом с шофером, и поехали по пустому — было начало шестого — утреннему городку.

Тут Мишке вдруг, несмотря на мысли о предстоящей поездке, сделалось ужасно грустно. Ехали по пустым асфальтовым улицам, среди уже выгоревших к середине лета серо-зеленых акаций, среди зарослей веников, выплескивающих из дворов, среди двухэтажных зеленых восьми- и желтых двенадцатиквартирных домов, проехали уже достроенный до второго этажа Дом офицеров, старый клуб, школу, повернули на улицу, где жила Нина, но до ее дома не доехали, а сразу свернули к проходной...

Мишка в последнее время плакал редко, как-то ему стало стыдно плакать после похорон, но тут он почувствовал, что слезы уже подступают, и, чтобы сдержаться, судорожно вздохнул, почти всхлипнул.

А мать плакала всю дорогу, не глядя по сторонам — без очков она все равно ничего не видела, а очки сняла, чтобы вытирать слезы.

На станции, на длинном, выложенном бетонными плитами перроне было пусто, только в дощатом зеленом домике вокзала стоял, покачиваясь на каблуках и разглядывая расписание на стене, совсем молодой лейтенант в наглаженном кителе с инженерскими серебряными погонами, с маленьким чемоданчиком в руке, да возле стены спал человек в распахнутом, надетом на голое тело ватнике, и в его раскрывшемся во сне рту сверкали зубы — все стальные. Дядя Сеня ответил на небрежное приветствие лейтенанта, недовольно покосился на спящего, процедив сквозь зубы «амнистия... черт, расплодись по всей стране...», и прошел к кассе, вытаскивая на ходу билеты — компостировать. Мишка вышел на перрон. Бетонные плиты были уже теплые от раннего солнца, воробей старательно прыгал по ним, собирая невидимые крошки. Солнце слепило глаза, и было понятно, что часа через два настанет

обычная жара, поплывет дымкой воздух над рельсами. Вышли и дядя Сеня с матерью, солдат притащил вещи, сложил кучкой ближе к началу перрона, где должен был остановиться вагон, тут и показался мотовоз, который медленно тащил вагон — из Заячьей Пади ходил прицепной, который здесь и цепляли к проходящему Саратов — Москва.

Все засуетились. Дядя Сеня отдал проводнику билеты и принялся затаскивать в тамбур один за другим чемоданы. Подошедший лейтенант стал помогать. Потом долго перетаскивали вещи в глубь вагона, затащили, Мишка с матерью пошли следом. Вагонный пол был еще влажный после уборки, на полотняной дорожке, уложенной поверх ковровой, были мокрые пятна. Ведя правой рукой по прутьям, на которые были надеты кремовые занавески, Мишка прошел, стал в коридоре, пока дядя Сеня с лейтенантом забрасывали наматрасник наверх и распахивали чемоданы под нижнюю полку. У лейтенанта билет был в соседнее купе, ехал он тоже до Москвы, и дядя Сеня попросил его присматривать за матерью и Мишкой, а в Москве помочь с вещами и посадить в такси.

Стали прощаться. В тесноте купе дядя Сеня неловко обнял мать, прижал к шершавому боку кителя Мишкину голову, в который раз попросил мать быть поосторожней, потому что амнистия и чемоданы вытаскивают крючками через окно, и, задевая стены погонями, пошел к выходу. Мишка сел, отодвинул занавеску, стал смотреть на перрон. Вот появился перед окном и дядя Сеня, улыбнулся Мишке, снял фуражку, принялся вытирать пот со лба платком, и Мишка вдруг увидел, что он совершенно седой, все волосы белые, а недавно еще, вспомнил Мишка, чуб у него был черный. Заглянул в купе лейтенант, спросил, как устроились, встал в дверях, махнул дяде Сене — мол, будьте спокойны, товарищ полковник, довезу. Мотовоз истошно, почти человеческим криком взвыл, вагон дернулся, перрон с дядей Сеней и зеленый домик вокзала с белыми буквами «Заячья Падь ЮВжд» поехали назад...

И Мишка вдруг именно сейчас понял, что едут они с матерью вдвоем, потому что отца нет и никогда не будет, никогда они уже больше не поедут втроем, как ездили каждый год в отпуск.

А мать, щурясь под толстыми стеклами очков и выдавливая прищуром все новые слезинки, невидящими глазами смотрела в окно и все махала дяде Сене, которого уже давно не было видно, а ползла и струилась за окном серо-зеленая, местами выгоревшая до серо-желтой пыльная степь.

Из-за неплотно задвинутой рамы окна сыпалась мелкая черная гарь и проникал запах паровоза, но, к Мишкиному удивлению, его теперь не тошнило. Застелили влажные простыни, укрыли их шерстяными одеялами во влажных пододельниках, сели завтракать.

Пришел лейтенант Коля, принес кусок голландского сыра и два больших помидора, разломал каждый пополам, и на изломе выступил серебряный мороз. Мать достала из клеенчатой сумки жареную курицу, завернутую в кальку, крутые яйца, соль в спичечной коробке, большой белый хлеб. Проводник спросил, нести ли чай, и принес три стакана в подстаканниках из нержавеющей стали с выдавленными паровозами и надписью «Юго-Восточная железная дорога», ложечки болтались в стаканах, а маленькие аккуратные кусочки рафинада были упакованы по два в бумажные длинные кирпичики. Мишка достал серебристый складной ножик, Коля порезал им хлеб, вытер об газету и, уважительно рассмотрев, сложил и вернул Мишке. Мишка съел одно крутое яйцо и полпомидора, выпил полстакана чаю и пошел в коридор смотреть в окно.

В вагоне было пусто, пока ехали только они с матерью и Коля, еще пассажиры могли подсесть по дороге, хотя обычно «заячий» вагон заполнялся только теми, кто ехал прямо из Заячьей Пади. Мишка отодвинул занавеску и стал смотреть на степь, на пронсящие мимо маленькие станции с горами щебня вблизи путей и большие, сортировочные, с расходящимися и сходящимися, струящимися врозь и сливающимися в одно металлическими ручьями рельсов, на пролетающие пустые короткие перроны и опять на бесконечную степь.

Проводник включил трансляцию, и певец Бунчиков запел «а я гляжу в оконное вагонное стекло», и Мишке, как всегда от этой песни, сделалось тревожно и хорошо, песня будто ускоряла движение вагона, что-то в оркестре постукивало, вскрикивал будто бы паровоз, и Мишка летел вместе с мелодией.

Потом захотелось спать, потому что очень рано встали. Мишка пошел в купе и лег к стенке поверх одеяла, а мать сидела рядом и разговаривала с лейтенантом Колей. Он рассказывал ей о своих планах на отпуск: что будет жить у друга, которому повезло, послали после училища в Нахабино под Москву и сразу дали комнату, что собирается пойти в театр на «Свадьбу с приданым», где играет актер Доронин, на которого Коля, как говорят, очень похож, а еще обязательно, конечно, попадет в мавзолей, хотя туда теперь, рассказывали, стоят огромные очереди, и посмотрит на новый высотный университет на Ленинских горах... Еще он рассчитывал в Москве найти и купить не очень дорогой, тысячи за полторы, гражданский костюм, может быть, рижского или ленинградского пошива, хотелось бы, конечно, из ткани «метро» или «ударник», но боится, что в полторы тысячи не уложится...

Мишка заснул и сразу увидел сон.

Во сне он продирался сквозь заросли бамбука на заднем дворе военного санатория в Сочи. Все мальчишки и даже молодые лейтенанты, отдохавшие в санатории, лазили в бамбук, чтобы срезать несколько стволов и увезти эти прекрасные удилица домой — на память и чтобы рыбу ловить в своих речках дома. А начальник хозчасти санатория, маленький круглый капитан в белом полотняном кителе, которого все звали капитан Пузырь — может, это была его настоящая фамилия, — ловил браконьеров, мальчишек больно стегал по чем попало этим же срезанным бамбуком с острыми листьями, а лейтенантов долго стыдил и обещал выписать в часть с представлением на гауптвахту, но бамбук не отбирал. И вот теперь Мишка, царапая голые руки и ноги, пробирался сквозь бамбук с серебряным ножичком наготове, выбирая, какой ствол, не слишком толстый, срезать. Он уже весь исцарапался — и вдруг неожиданно выбрался на край зарослей и увидел, что там его ждет не Пузырь, а отец. Отец почему-то был в шинели и ушанке, и Мишка очень удивился тому, что отец в Сочи ходит в таком виде, а не в пижаме и белой пикейной панаме, как обычно, — сам-то Мишка был в майке, черных сатиновых трусах и тапочках с обернутыми два раза вокруг щиколоток шнурками. Отец крепко взял Мишку за руку, вытащил из нее ножик и молча повел с собой. Они вышли на дорогу, которая вела от проход-

ной городка на базар и дальше, через пустырь, в село. Отец шел быстро, и Мишка бежал рядом, задыхаясь. Они миновали совершенно почему-то пустой базар, и тут отец отпустил Мишкину руку, Мишка остановился перевести дух, а отец пошел дальше все так же быстро, удаляясь и унося серебряный ножик. Мишка оглянулся — он стоял один посреди глинистого, грязного, как бывает осенью и весной, пустыря. Отца уже не было видно. Мишке стало страшно, и он проснулся.

Он лежал, во сне раздетый матерью, под одеялом. В купе было совершенно темно, клеенчатая штора на окне была опущена и пристегнута внизу к раме, но сбоку, из-за ее края, мелькал и вспыхивал свет. Мишка потянулся, немного отодвинул край и увидел текущие вдоль дороги ленты огней, они взлетали вверх и опадали — недалеко была большая станция, и фонари освещали подъезды к ней.

И на завтра были большие станции, на одной из них поезд стоял почти час, Мишка с матерью вышли на перрон и пообедали за длинным столом, вынесенным из ресторана — поели горячее, борщ и биточки с макаронами. Лейтенант Коля сбежал в буфет, принес бутылку вина «Ркацители», они с матерью выпили из стаканов, вынутых для этого из подстаканников. Потом Мишка опять спал, и опять ему снился пустырь у края городка, но отец уже не снился.

Глава четырнадцатая. Москва

На Павелецком Коля выхватил из толпы носильщика, тот навьючил на лямку разом все вещи и пошел к площади так быстро, что Мишка с матерью и Коля почти бежали за ним, проталкиваясь среди солдат, теток со связанными платками и перекинутыми через плечо сумками и огромного количества одинаковых людей в ватниках, с острыми худыми лицами, толкавшихся без видимой цели. Мишка вспомнил слово «амнистия» и того человека с железными зубами, который спал в вокзальчике Заячьей Пади. Мать прижимала к груди свою маленькую сумку, держала Мишку за руку и беспомощно — выражение лица у нее было уже не презрительное, а жалобное — щурилась за очками, глядя вперед, туда, где мелькал носильщик с грудой их вещей.

Взяли такси, коричнево-кремовую «Победу» с лентой шашечек вдоль борта, разделяющей цвета. Попрощались с Колей, пожавшим по очереди руки матери и Мишке и сразу исчезнувшим в толпе, валящей к метро. Поехали.

Мишка смотрел в окно и вспоминал Москву, а город плыл и мелькал, пролетело мимо высотное здание, похожее на сталагмит из учебника, вокруг мчались другие машины, и Мишка долго оглядывался, вывернув шею, на свернувший направо серый открытый автомобиль, марки которого он не знал — таких больших открытых машин он еще не видел, но предположил, что это трофейный «хорьх»... Дома выстраивались в скалистые горные хребты, но некоторые высились среди пустырей одиноко, демонстрируя боковые глухие стены, на которых оставались отпечатки некогда пристроенных с этой стороны других домов либо были натянуты огромные полотнища с нарисованными розоволицыми мужчинами и женщинами и с написанными призывами пить натуральные соки и хранить деньги в сберегательной кассе, которые Мишка не успевал на ходу машины дочитывать до конца и угадывал смысл по первому слову. Милиционер-регулировщик в белой полотняной гимнастерке и фуражке в белом чехле поднял жезл, все машины остановились, а поперек поехали другие, среди которых Мишка углядел зеленую полуторку с солдатами в кузове и с прицепленной маленькой пушкой с задраным в небо стволом в брезентовом чехле. Постояли, поехали дальше, свернули направо, Мишка узнал улицу Горького, здесь застряли, пережидая, пока неповоротливый двухэтажный троллейбус отойдет от остановки, опять свернули направо и остановились. Шофер выгрузил из багажника чемоданы на тротуар, положил сверху наматрасник, мать достала из сумки небольшой газетный пакет, который — Мишка видел — дядя Сеня дал ей, прощаясь, осторожно развернула, дала шоферу деньги, и «Победа», развернувшись, уехала.

Мишка с матерью остались на тротуаре. Дом, где жили Малкины, смотрел на них блестящими под солнцем, переливающимися окнами. Мать присела на угол большого чемодана, задрав голову, посмотрела вверх, туда, где сверкали на пятом этаже невидимые ей три окна Малкиных.

— Сбегай наверх, — сказала мать Мишке, — позвони

в дверь, а я посижу с вещами. Если никого дома нет, сразу спускайся...

Мишка вошел в подъезд. В подъезде было темно и прохладно, от бетонных ступенек пахло сыростью, открытая дверь в подвал тихо скрипела, двигаясь от ветра, вылетавшего из подвальной тьмы. Мишка побежал вверх пешком, поскольку не был уверен, что справится с лифтом, кабина которого темнела за сеткой шахты. Задирая ноги, чтобы шагать через ступеньки, Мишка живо проскочил мимо коричневых, утыканных кнопками звонков и табличками дверей второго этажа, ловко, держась за перила, крутнулся на повороте на следующий лестничный марш, но на третьем этаже устал, немного задохнулся и пошел медленно. Шаги его гулко отдавались в пространстве лестничной клетки.

Он вспомнил, как однажды, давным-давно видел здесь рано утром двух милиционеров в толстых синих шинелях и с косыми кобурами наганов на ремнях, тащивших вниз огромную тетку в рваном тулупе и коротких, обрезанных валенках. Про эту тетку все знали, что она сумасшедшая и пьяница, живет на чердаке и когда-нибудь устроит там пожар, и вот милиционеры забрали ее. В то утро Мишка вышел гулять и увидел, что на углу, где всегда низким столбиком торчал на своей деревянной коляске с подшипниками, как у самоката, безрукий и безногий инвалид Вася, весь в орденах и медалях на вытертом добела офицерском кителе без погон, собиравший милостыню в лежавшую перед ним на асфальте летную фуражку, на этом углу никого нет. Мишка подумал, что, наверное, толстая глухонемая женщина, которая всегда привозила и увозила Васю, а днем приходила, забирала монеты, открывала шкалик «красной головки», вливала его содержимое Васе в рот, а потом кормила инвалида хлебом с маргарином, сегодня проспала. Но Вася не появился и днем, и на следующий день, а потом Мишка привык к тому, что безногих инвалидов на деревянных колясках вообще в Москве не стало, и забыл о них.

От этих воспоминаний Мишке стало так же нехорошо, как раньше становилось, когда он видел инвалидов или оборванцев, и он подумал, что сейчас подойдет к двери Малкиных, позвонит, тетя Ада откроет и окажется, что все хорошо, дядя Петя вернулся и на работе, Марта где-нибудь шляется, а они

с матерью начнут распаковывать вещи, и мать все время будет разговаривать с тетей Адой, присаживаясь среди вынутых из чемоданов вещей... Он встал перед малкинской дверью, отдышался, дотянулся до звонка, покрутил его, за дверью задрезжало, и наступила тишина.

И Мишка увидел, что к двери и косяку прилеплена бумажками веревочка, концы которой свисали из-под бумажек, а на бумажках синели смазанные круглые печатные оттиски.

Он механически крутнул звонок еще раз, снова дребезжанье раздалось в тихой пустоте за дверью. Потоптавшись на площадке, Мишка пошел вниз. На последнем пролете хотел было съехать по перилам, но раздумал.

Мать сидела там, где сидела.

— Никого нет, — сказал Мишка. — Никого и дверь... ну, это... опечатана... Мам?..

Мать сидела на чемодане, глядя прямо перед собой, и Мишка понял, что сейчас из-под очков потекут слезы. Надо было что-то говорить, пока мать не заплакала.

— Мам, давай я к Ахмеду схожу, к дворнику, — сказал Мишка, — узнаю у него, где все Малкины... Ладно, мам?

Мать молча кивнула. Мишка повернулся, побежал в подъезд. Там он прошел мимо черного провала двери в подвал, спустился по короткой лестнице к черному входу, сильно толкнул залипшую входную дверь, вышел во двор, повернул направо и остановился перед низкой дверью дворницкой квартиры. Звонка на двери не было, Мишка сильно постучал. В дворницкой слышались голоса, но никто не открыл. Тогда Мишка осторожно потянул на себя дверь, она подалась, и Мишка вошел.

В маленькой темной прихожей, сплошь завешенной какими-то тряпками, густо стоял ненавидимый Мишкой запах крестьянской шерсти, кислый и влажный. Из прихожей была видна вся большая, с выходящими на уровень уличного тротуара двумя низкими окнами, комната. Посреди комнаты стоял стол, рядом с ним висела на веревках, привязанных к крюку в потолке, большая корзина, из которой раздавался ленивый, негромкий, но не прекращавшийся ни на секунду детский плач. На столе помещались четвертная, в каких держат керосин, бутыл, наполовину налитая молочно-мутной жидкост-

тью, разломанная буханка черного хлеба и большие желто-зеленые соленые огурцы в эмалированной белой миске. За столом на табуретках сидели двое — Ахмед, которого Мишка, к своему удивлению, сразу узнал, сухой человек с темным лицом и жесткими черно-седыми волосами, торчавшими в разные стороны, в синей рубашке навыпуск, в черных, заправленных в смятые сапоги штанах, и второй, сидевший спиной, с короткой седой щетиной на голове, в таком же ватнике, в которых за последние дни Мишка видел многих мужчин на вокзалах, в серых бумажных штанах, в грубых ботинках, как у рабочего. Перед мужчинами стояли граненые зеленоватые стаканы, и как раз, когда Мишка вошел, Ахмед встал и начал, не поднимая со стола, наклонять бутылку, пытаясь налить из нее в стакан, стоявший перед человеком в ватнике.

— Дядя Ахмед! — негромко позвал Мишка. — Дядя Ахмед, это я, Мишка Салтыков из девятой квартиры...

Ахмед поднял голову и стал всматриваться в темноту прихожей. Мутная жидкость из бутылки полилась мимо стакана. А седой в ватнике обернулся, и Мишка сразу узнал дядю Петю — они с матерью были так похожи, что Мишке показалось, будто это она смотрит на него из-под седого ежика сквозь круглые, обмотанные на переносице белой ниткой очки.

Глава пятнадцатая. Конец лета

С этого дня жизнь так ускорилась, что Мишка не успевал воспринимать ее плавно, минута за минутой, а запоминал кусками, и уже на следующий день последовательность кусков разрушалась, картинки перемешивались, и было трудно разместить одну за другой.

Возвращается из магазина жена дяди Ахмеда тетя Фаина, прибегают со двора их дети, имена которых Мишка всегда путал, так их было много — Фарид, Бирюза, Колька, Руслан, Вахид, Мирка. «А этого... — Дядя Ахмед показывает на люльку. — Иосифом назвали».

Все сидят за столом, едят вареную картошку, взрослые пьют вонючий молочно-мутный самогон, и вдруг мать и тетя Фаина встанут, обнимаются над столом и начинают плакать так громко, что слышать это невыносимо, а мать вместе с те-

тей Фаиной еще что-то кричат сквозь слезы, и Мишка не может поверить, что это его мать так кричит.

Приходит знакомый милиционер, садится за стол, выпивает стакан самогона, потом долго курит с дядей Ахмедом и дядей Петей, а потом все вместе идут на пятый этаж, милиционер сдирает веревочку, дядя Ахмед и тетя Фаина долго старательно расписываются в бумажке, которую милиционер складывает и прячет в планшет, и все входят в квартиру, где на всем лежит густая пыль, а по полу разбросаны книги, белье и какие-то пуговицы.

Мишка рисует пальцем по пыли на пианино пистолет.

Тетя Фаина моет полы, а мать ходит за нею, натываясь на вещи, и уговаривает «Фаина, оставьте вы это, я сама прекрасно помою».

Дядя Петя отдирает хрупкие сухие бумажные полосы, которыми изнутри заклеены рамы, и открывает окна, и шум влетает в квартиру — гудят машины на улице Горького, а внизу, на тротуаре под окнами, точильщик кричит: «Нож-ж-ж, нож-ж-жниц точ-ч-ч!».

Ночь, Мишка лежит на шуршащей, гладкой простыне, а мать с дядей Петей сидят за круглым столом под мандаринового, желто-красного цвета абажуром, и дядя хриплым, булькающим голосом повторяет «тиф, в одну неделю обе, тиф, Машка, представляешь, а я узнал только через месяц, Ахмед, дай ему Бог здоровья», дядя качается на стуле, спина его держится, и вдруг мать отвечает ему не по-русски, и они начинают говорить на непонятном Мишке языке, и Мишка вспоминает, что иногда они так говорили и раньше, он просто забыл, а они всегда так говорили между собой, если хотели, чтобы Мишка и Марта не поняли, язык называется «идиш», и как же Мишка мог забыть об этом, это же и есть еврейский язык, и, значит, они действительно евреи, Мишкины мысли начинают путаться, и он засыпает.

Он просыпается, в окне бледный сиреневый свет, значит, скоро утро, Мишка лежит, глядя вверх, на далекий белый потолок, и вдруг вспоминает, что все умерли. Умер, выстрелив себе в висок из наградного никелированного «тэтэ» в ночь перед партсобранием, отец. Через неделю после этого умер товарищ Сталин. В апреле от брюшного тифа в Боткинской больнице

умерли тетя Ада и Марта, сначала тетя, а через три дня Марта. И теперь живы только слепая мать, старый дядя Петя, у которого не осталось ни одного зуба, все выпали за эту зиму, и он, Мишка, но и они все тоже умрут, потому что умирают все. Додумав до этого места, Мишка так громко вздохнул со взхлипом, что разбудил мать. Она встала с раскладушки, подошла к Мишке — он успел закрыть глаза и притвориться спящим — и, постояв над ним, пошла к окну. Окно было раскрыто, из него шел влажный утренний воздух. Мать стояла, опираясь на подоконник, и, наклонясь, глядела в окно, а Мишка смотрел на нее и думал, что мать хочет броситься в окно, как когда-то, когда они здесь жили с отцом, бросилась одна подружка Марты из соседнего дома. Мишка лежал, понимая, что нужно встать и оттащить мать от окна, но встать почему-то не мог и только старался дышать неслышно. Мать долго стояла у окна, а когда Мишка снова открыл глаза, мать сидела за столом в длинном голубом халате, и было слышно, как на кухне ходит и гремит чем-то дядя Петя.

Потом картинки начали совсем путаться.

Вот они куда-то идут с дядей Петей, только дядя Петя еще не седой, с зубами, в своем прекрасном серо-голубом костюме, как когда-то, а Мишка уже большой, как сейчас. «Мать скоро совсем ослепнет, Миша, — говорит дядя Петя, — надо думать, как будем жить».

Вот дядя Петя возвращается домой, как раньше, с портфелем и мороженым тортом, но он уже седой и без зубов, как сейчас. Все садятся ужинать, мать пытается разлить чай по чашкам и льет красно-коричневую заварку на скатерть, а Мишка и дядя Петя смотрят и почему-то ничего не делают.

Картинки путаются, складываются в мысль. Глядя на мать, неподвижно сидящую на стуле возле окна, Мишка думает о том, как они будут жить.

Дядя Петя уже снова работает заведующим, только теперь его мастерская не на Арбате, а на Солянке. По утрам дядя Петя надевает новый костюм, коричневый, в темно-красную полоску, новую соломенную шляпу с золотистой шелковой лентой и едет к знакомому врачу в Сокольники — он вставляет зубы, зубы из золота, и они говорят об этом с матерью шепотом.

Мать целыми днями сидит у окна, глядя прямо перед собой, на небо — так она видит свет. Мишка читает ей вслух книжку «Банда Таккера», как когда-то, еще до школы, она читала ему «Маленького лорда Фаунтлероя». Мать слушает и, не моргая, глядит в яркое летнее небо. На матери ее любимый голубой крепдешиновый длинный халат, застегнут он косо, так, что одна пола сделалась длиннее другой, но Мишке неловко сказать об этом матери.

Однажды дядя Петя приходит домой раньше обычного. Мать сидит у окна и глядит в небо, Мишка открывает дяде дверь, дядя приобнимает его за плечи, они проходят в большую комнату. Дядя ставит портфель на стол и вынимает из него ровные небольшие пакеты, как бы небольшие кирпичики, завернутые в газету, разворачивает один пакет, и Мишка видит ровную, толстую пачку денег, красные рисунчатые бумажки, перетянутые тонкими желтыми резинками. Вот, Миша, говорит дядя, это наша жизнь и наша надежда, понял? Запомни, когда будет плохо, только они помогут. Мишка смотрит на деньги, которые дядя снова заворачивает в газету, и думает о том, что раньше никогда не видел столько денег, и о том, что никто ему раньше не говорил такого о деньгах.

Поздно вечером слышен гул, Мишка понимает, что это танковые моторы, на улице ничего не видно, но гул слышен явственно, где-то не очень далеко идут танки, и даже стекла немного дрожат в окне.

Ранним следующим утром дядя, в одних пижамных штанах и босиком, влетает в комнату, где спят Мишка и мать, бежит к немецкому приемнику «Телефункен», который Мишка иногда крутит по вечерам и сквозь треск слушает музыку, похожую на музыку из фильма «Серенада Солнечной долины», включает приемник, и торжественный голос по имени Левитан наполняет комнату. Голос говорит «...арестован... британской разведки... советский народ... в исполнение...». Мать садится на раскладушке, прижимает к груди рубашку, и слезы текут из ее вечно прищуренных глаз. «Все снова, — повторяет она, — все начнется снова...» А дядя Петя машет на нее рукой, «молчи, Машка, ты ничего не понимаешь, теперь ничего не начнется, теперь все кончится, все, дай послушать!»

Мишка с матерью идут в булочную на Горького, Мишка ведет мать за руку, как будто это она его ведет.

Мишка думает про деньги, которые принес и спрятал где-то в кухне дядя. Он не может понять, почему, но ему кажется, что дядя сказал про деньги что-то очень важное, и это важное не дает Мишке покоя, он думает о деньгах все время, перед сном он даже начинает что-то понимать, но во сне забывает, а утром снова начинает думать.

Мишка с дядей пошли в зоопарк, Мишка даже не очень хотел, не маленький, но дядя решил, что надо погулять, потому что скоро в школу. В зоопарке, как Мишка и предполагал, оказалось скучно. На обезьян смотреть не хотелось, они противно кривлялись и были похожи на уродливых людей, а Мишка не любил смотреть на уродливых. Толстая грязная кожа слона шелушилась, от яка через решетку сильно пахло кислым, крестьянским. Но по дорожкам ходили пони, запряженные в тележки, в одном месте стояла маленькая очередь детей и родителей, там садились на продольные скамейки тележек, и пони отправлялся в очередной круг. Катались малыши, а управляли маленькими лошадьми мальчики и девочки примерно Мишкиного возраста, на них он смотрел с завистью. «Хочешь, — спросил дядя, — хочешь покататься?» Мишка пожал плечами: «Да там одна малышня...» — «Ничего, — сказал дядя, — сейчас договоримся». Встали в очередь, и как-то так получилось, что за ними никто не занял. Когда очередь подошла, дядя о чем-то быстро поговорил с женщиной в длинном фартуке, которая продавала билетки, и Мишка заметил, дал ей зеленую трехрублевку вместо положенных двадцати копеек. «Давай, — кивнул дядя Мишке, — залезай». Сильно стесняясь, Мишка залез на тележку, мальчик, управлявший пони, подвинулся, и Мишка сел рядом с ним, а не на продольную тележку для пассажиров, а больше никто не сел. Маленькая, головастая и мохноногая лошадь потрусилась, мальчишка сильно потянул одну вожжу, и тележка повернула, поехала в глубь зоопарка, где посетителей было совсем мало, — мимо клеток со спящими змеями, мимо каких-то пустых на вид деревянных домиков, вдоль глухого забора. «А почему тебе дают управлять, — спросил Мишка мальчика, — ты специально учился?» — «Я в кружок хо-

жу... — Мальчик ответил не сразу, а сначала довольно сильно шлепнул вожжами по спине лошадки. — Мы убираем за ними и кормим, а потом еще пишем отчеты за каждый день... — Он помолчал, покосился на Мишку и, снова шлепнув вожжами, спросил: — А у тебя отец богатый, да? Шахтер или профессор? За весь рейс заплатил...

Мишка ничего не успел ответить, потому что кучер еще раз натянул одну вожжу, они резко свернули и приехали туда, откуда уезжали. Дядя Петя стоял на прежнем месте и разговаривал с женщиной в фартуке, женщина смеялась, закрывая рукой рот. Мишка слез, за руку попрощался с мальчишкой-кучером. Народу в зоопарке было уже мало, скоро закрывались. Домой шли пешком, дядя с интересом, как будто приезжий, смотрел по сторонам. На Горького зашли в кафе-мороженое на углу недалеко от Маяковки. Мороженое в блестящих металлических вазочках быстро таяло, в нем расплзались ярко-красные ручейки варенья. Мишка быстро все перемешал, чтобы не видеть этих красных ручейков в белом снегу мороженого — почему-то видеть их было неприятно и даже страшно.

Днем Мишка гуляет сам. Переходить улицу Горького ему категорически запрещено, но во дворе делать совершенно нечего, все ребята на третьей смене в пионерлагерях, и Сафидуллины, все, кроме дяди Ахмеда, уехали до сентября в деревню. Мишка осторожно просачивается в ворота, мать, хоть и смотрит в окно, ничего не увидит, а дядя на работе. Ахмед сметает с тротуара желтые листья в валик, тянувшийся по всей улице вдоль края мостовой. Пока он не смотрит, Мишка быстро сворачивает за угол, во двор большого двухэтажного деревянного дома. В доме этом живут хулиганы братья Соловьевы, их четверо, они не дают проходу чужим, но сейчас, Мишка знает, их во дворе быть не должно, они ходят где-то по городу, скорей всего, поехали по своим хулиганским делам в Измайлово или Сокольники, играть в карты или в пристенок, в котором всегда жульничают. Пусто. Громко гулькают соловьевские сизари в большой голубятне, стоящей на столбах посреди заросшего лопухом и золотыми шарами двора. В холодном голубом небе не видно ни одного облака, солнце ярко светит на пустое пространство, но рядом с черными стенами сруба

лежит густая сырая тень. Из открытых окон подвала сильно пахнет кухней. Над дощатым столом на козлах, стоящим рядом с голубятней, почти незаметно раскачивается под слабым ветром жестяной конус лампы. Мишка пересекает двор по диагонали, выходит в другой, маленький проходной двор большого каменного дома, входит под арку, где всегда стоит лужа, и из нее попадает на Горького.

Здесь он некоторое время стоит осматриваясь. Он все еще не привык к большому городу и пялится на любую ерунду. Вот на мотоцикле с коляской проехал милиционер в синем кителе и фуражке с красным околышем, в блестящих сапогах с выпуклыми голенищами. Вот едет фургончик «Москвич», развозящий мороженое, кузов его обшит деревянными панелями, эта машина Мишке очень нравится. Вот, тяжело переваливаясь, поехал к «Динамо» двухэтажный троллейбус, в нем уже полно народу, хотя в дверях еще не висят — до матча почти два часа. Вот идет молодая женщина с короткой прической, которую в «Крокодиле» называют «я у мамы дурочка», в широкой юбке колоколом. Вот идет парень, похожий на Роберта Колотилина, в таком же клетчатом длинном и широком пиджаке, только без кепки, а блестящие и гладкие его черные волосы зачесаны надо лбом высоко вверх. А вот вышел из подъезда генерал в белом мундире и садится в черный, сияющий глубоким лаком «ЗИМ»...

Мишка осторожно переходит улицу, дождавшись, пока зажжется зеленым светофор на углу и поднимет жезл регулировщик, и идет сначала направо — посмотреть витрину игрушечного магазина, в которой стоит огромный терем, населенный входящими и выходящими из дверей, глядящими в окна куклами. Терем стоял всегда, еще когда Мишка был совсем маленьким и ходил в сторону Грузин только с матерью, и тогда Мишка привык подолгу рассматривать этот кукольный дом-мир, а теперь ходит сюда только один, стесняясь своего детского интереса, но не имея сил отказаться от этого никогда не надоедающего зрелища.

Постояв у витрины, погрузившись на несколько минут в кукольную жизнь, Мишка оглядывается — не обратил ли кто-нибудь внимания на здорового парня, рассматривающего кукол, — и идет обратно, к Маяковке. Навстречу по тротуа-

ру летит, грохоча подшипниками самоката, мальчишка лет десяти, в тубетейке, полосатой вытянутой вискозной тенниске и синих сатиновых шароварах на резинке. Мальчишка смотрит выпученными глазами на Мишку, которого едва не сбивает с ног, толкается что было сил об асфальт черным ботинком с вытертым и ободранным добела носком и несется дальше, в сторону Тишинки. Мишка глядит ему вслед и думает, какой же он взрослый по сравнению с этим счастливым мальчишкой. Три года назад, когда у Мишки еще не было велосипеда (теперь уже нет, оставили в Заячьей Пади, продали), а был вот точно такой же самокат, сделанный отцом из двух досок и отличных, принесенных с завода подшипников, Мишка тоже носился вот так, с грохотом, с выпученными глазами, лихорадочно пытаясь затормозить или повернуть перед препятствием, сжимая хорошо обструганную отцом и зачищенную мелкой шкуркой палку руля...

Постояв и поглядев вслед мальчишке, Мишка идет дальше, опять останавливается, разглядывая через дорогу афиши кукольного театра, потом, осторожно косясь на едущие с Горького машины, переходит площадь Маяковского и поворачивает направо, к саду «Аквариум». Здесь, перед входом в сад, ему встречается человек, которого он здесь видит почти всякий раз, когда ходит в «Аквариум». Это высокий старик с темным, будто сильно загорелым лицом, в кремовой соломенной шляпе, из-под которой свешиваются длинные седые волосы и торчит большой прямой нос, в чесучовом кремовом костюме, широкие брюки которого ложатся складками на летние кремовые туфли с дырочками, с толстой суковатой полированной палкой в руке. Как всегда, Мишка останавливается и долго глядит ему вслед — Мишка хотел бы немедленно стать старым и ходить в таком костюме, с такой палкой...

В «Аквариуме» еще пусто, народ приходит сюда перед началом спектаклей в театрах, прогуливается, поглядывая на часы и прислушиваясь к звонкам. У входа в сад стоят мороженщица с ящичком, в ящичке лежат бидон с мороженым и коробка с вафельными круглыми коржами, между которыми мороженое накладывается мокрой ложкой, и сатураторщица с тележкой, над которой мерцают зеленым, красным и желтым опрокинутые вершинами вниз стеклянные конусы с сиропами,

и торчит кран, откуда с шипением ударяет газировка в свежесмытый здесь же, в специальном круге на тележке, стакан.

Покупать мороженое Мишка не стал, хотя дядя утром дал пять рублей и со вчера у Мишки оставалось, но не очень хотелось. Он только выпил стакан воды с сиропом «крем-брюле» и стакан с «апельсиновым», и пошел в сад. Там, в самом углу, возле каменного забора, стояли друг напротив друга две скамейки — кто их так поставил, Мишка представить себе не мог, скамейки были неподъемно тяжелые, из толстых деревянных реек, с литыми чугунными боковинами, покрашенными, как и вся скамейка, толстым, с выпуклыми потеками, слюем голубовато-белой масляной краски.

Мишка сел на одну скамейку, на другую поставил ноги в сандалиях, из которых он вырос, так что пришлось пойти к сапожнику, который удлинил ремешок и вырезал дырку для большого пальца, чтобы Мишка доносил сандалии хотя бы до конца лета, до школы, а там уж наденет новые ботинки, красновато-коричневые с рантом, уже купленные в Марьинском мосторге. Усевшись, Мишка полез за пазуху, под отцовскую зефировую рубашку, которую он донашивал в это лето без манжет, с подвернутыми рукавами, не пристегивая воротника. Под рубашкой на животе болталась красно-золотая коробка дорогих папирос «Гвардейские», такие курил отец. Мишка открыл коробку, откинул папиросную бумагу, вытащил из-за пазухи спички, долго чиркал — коробка отсырела от пота — и, закурив, начал пускать дым кольцами. Кольца получались легко, Мишке быстро надоело, и он докурил, уже не отвлекаясь, держа папиросу большим и указательным пальцами в горсти. Уже несколько месяцев, как он окончательно привык курить, и курить иногда хотелось, как хочется есть, — сосало под ложечкой, так что приходилось что-нибудь выдумывать, чтобы выйти из дома и бежать за деревянный ларь помойки или за трансформаторную будку.

Мишка курил и думал, как он все время думал в последние месяцы, особенно после того, как уехали из Заячьей Пади.

В Москве, без Киреева и Нины, бродя в пустом дворе, сидя в квартире дяди Пети с матерью, которая почти не разговаривала, только сидела у окна, и, когда Мишка подходил к ней, он видел, что лицо у нее мокрое, глаза закрыты и из-под

век медленно ползут слезы — а ей никак нельзя было плакать, потому что врачи сказали, что она совсем ослепнет, не будет видеть даже очертания предметов и свет и тогда не сможет ходить по квартире и что-нибудь делать, Мишка читал ей «Правду», а когда поднимал глаза, видел, что она опять плачет, — в Москве за это длинное лето Мишка привык молча, в одиночестве думать.

Дядя Петя приходил с работы поздно, лицо у него было безразличное. Он переодевался в пижаму, надевал сверху цветастый фартук тети Ады и шел на кухню готовить ужин — хлопал дверцей недавно купленного электрического холодильника «Газоаппарат», варил сосиски и картошку или жарил микояновские котлеты и разогревал рожки, кое-как, с Мишкиной помощью — он зажигал плиту — сваренные днем матерью. Ужинали в большой комнате за круглым, застеленным клеенкой столом, почти не разговаривая. Потом дядя включал тоже недавно купленный «КВН-49», долго двигал наполненную водой, открытую — днем в нее иногда падали мухи — большую, на металлической подставке квадратную линзу, чтобы изображение стало четким, и все садились смотреть, мать ставила стул близко и придвигалась сбоку, стараясь не заслонять другим, к самой линзе. Передавали концерт из Большого театра, пел Рейзен, но ждали, когда появится красавица дикторша с одним, как каждому было известно, стеклянным глазом, — почему-то смотреть на нее было интереснее всего. Потом дядя шел в свою комнату, ложился в постель с толстой большой неудобной книгой, в которой были цветные, наклеенные только верхним краем на страницу и прикрытые папиросной бумагой картинки — какие-то вазы, статуэтки, тарелки. Дядя долго читал эту книгу, свет из-под его двери еще пробивался, когда Мишка, накрутившись «Телефункена» и наслушавшись сквозь треск, сквозь пение Александровича и Бунчикова с Нечаевым своей любимой музыки, услышав последние слова, произнесенные по-английски прекрасным баритоном их диктора «The Voice of America. Jazz Hour», ложился спать.

И ночью, перед сном, Мишка продолжал думать.

Новая мысль, возникшая как-то незаметно, не давала ему покоя. Он уже не мог вспомнить, когда она появилась, но те-

перь он почти все время думал об одном — о деньгах. Ему стало ясно, что вся жизнь устроена вокруг денег, и он перебирал все, что составляет жизнь, и убеждался, что деньги во всем.

Раньше он тоже думал о деньгах, но только иногда, а потом забывал, отвлекаясь на саму жизнь, на школу, разговоры с Киреевым, встречи с Ниной, уроки, вечернее катание на велосипеде, походы на реку Заячью и в степь, а теперь, проводя все лето в одиночестве да еще стараясь не думать об отце и матери, тете Аде и Марте, сразу, как только сбивался на мысли о них, заставлял себя прекратить, не думать вовсе, Мишка сосредоточился на деньгах.

До этого в его жизни был один случай, когда о деньгах он думал довольно долго. Позапрошлым летом, когда поехали с отцом и матерью на Рижское взморье, Мишка играл там на террасе большого санаторного корпуса со взрослыми в пинг-понг. Играл очень неплохо, обыграл даже нескольких молодых лейтенантов и одного толстого — но игравшего тоже очень неплохо — морского капитана из Ленинграда. И вот однажды на террасу пришел мальчишка, Мишкин ровесник на вид, занял очередь и последовательно обыграл всех с разгромным счетом, капитана не выпустил из десятки, Мишку тоже, а обоих лейтенантов, собравшихся и игравших в полную силу, все равно обыграл в сухую, до пятнадцати. Мишка сидел на длинной низкой скамейке, смотрел, как мальчишка расправляется с последним игроком непрерывными мощными ударами слева закрытой ракеткой, и завидовал. Но завидовал, как ни странно, не игре мальчишки — в принципе, если бы Мишка меньше боялся проиграть и бил уверенней, еще неизвестно, какой был бы счет, — а тому, как этот мальчишка был одет. На нем была шелковая белая тенниска в змеистую, извилистую синюю полосу, поверх которой странная вязаная шерстяная безрукавка с рисунком в бежево-голубой ромб, коричневые вельветовые брюки-гольф с манжетами, застегнутыми под коленом, и белые носки-гольфы с кисточками вверху по бокам. Вот эти носки поразили Мишку больше всего, и он не мог отвести от них глаз. Что-то было в них такое, что объясняло и прекрасную игру, и общую уверенность в себе, исходящую от мальчишки. Вопреки обыкновению Мишка по-

просил мать купить — он никогда ничего не просил, даже конструктор «Автомобили СССР», а тут попросил — и в воскресенье они поехали в Ригу покупать. Но носков не нашли, хотя были и на толкучем рынке за рекой, и в нескольких комиссионных магазинах спрашивали. Мишка расстроился и всю обратную дорогу в электричке смотрел в окно на сосны и молчал.

С мальчишкой познакомились, он оказался сыном санаторного зубного врача из вольнонаемных. Говорил по-русски с местным акцентом, но не важничал, а наоборот, охотно показал Мишке дом сзади санатория, где жил с отцом, матерью и маленькой сестрой, и в машину — серый «Москвич», стоявший перед домом, — залез сам и пустил Мишку посидеть за рулем. Звали его Генка, полное имя Гуннар. Было совершенно очевидно, что Генкин отец, хотя он был даже не офицером, а просто вольнонаемным зубным врачом по фамилии Круминь, денег получал много, гораздо больше, чем отец Мишки. И «Москвич», который стоил больше девяти тысяч, и Генкины носки, и его безрукавка, и очень красивый, с узким, прилегающим пиджаком и широкими брюками темно-синий костюм в полоску, в котором ходил его отец, и прекрасный немецкий дамский велосипед с плетеными из цветных ниток сечками, закрывавшими колеса, на котором ездила в магазин с корзинкой на багажнике Генкина мать, и ее серые брюки, короткие, до щиколотки брюки, в которых она проходила по санаторскому парку под взглядами офицерских жен, — все это, Мишка понимал, стоило очень дорого. Но тогда Мишка подумал об этом какое-то время и перестал — был отец, и было чувство, что если не сейчас, то когда-нибудь потом все появится, и «Москвич», и носки... Ничего не появилось, но Мишка просто забыл обо всем этом, брюки стал носить длинные, а собственных автомобилей ни у кого из офицеров в Заячьей Пади не было, и «Москвич» тоже выпал из размышлений.

Но теперь Мишка думал о деньгах постоянно, потому что отца не было и исчезло ощущение, что все возникнет как-нибудь, со временем, само, а то, что он видел в Москве, — все стоило денег, все где-нибудь продавалось, и Мишка понял, что жизнь и состоит только из того, что продается, значит,

чтобы жить, надо получать деньги, много денег, и получать их, кроме Мишки, некому, потому что мать вообще ничего не может, да еще и слепая, а дядя Петя, конечно, получает много денег, хватало и на «Газоаппарат», и на «КВН-49», которых не было ни у кого в доме, но дядя Петя уже старей, он сам все время говорит, что скоро не сможет работать, потому что нет сил и зрение не то.

Докурив, Мишка бросил окурок на землю, раздавил его и затолкал под скамейку. Никакого способа получать деньги он не придумал. И, поскольку мысли об этом стали сбиваться, толкать одна другую и сливаться в комок, Мишка нечаянно подумал о другом. Вторая главная мысль, которая мучила его все последнее время, была о том, кто же тогда написал или рассказал Носову о дяде Пете и матери и из-за кого, следовательно, в конце концов застрелился отец. Зачем Мишка об этом думал, он и сам понять не мог. Отца уже не было, из Заячьей Пади уехали, и ее тоже как бы не стало вместе со всеми, кто в ней жил. Ни от Киреева, ни от Нины писем не было, хотя Мишка написал и Кирееву в Заячью Падь, и Нине в Одессу, и постепенно их тоже как бы не стало, и Мишка даже почти перестал думать о них. Но о том, кто сообщил Носову, Мишка думал часто — и был неспособен что-нибудь придумать, потому что никто из тех, кто жил в Заячьей Пади и хорошо знал Салтыковых, такого сделать, Мишка был уверен, не мог, а кто Салтыковых не знал, не мог тем более.

Но кто-то это сделал, и сейчас, сидя на скамейке в жарком пустом саду «Аквариум», Мишка желал ему смерти.

Глава шестнадцатая. Новая школа

В классе было жарко, через стекла позднее сентябрьское солнце сильно грело, а открывать окна математик Михаил Борисович по прозвищу Миня не разрешал — уличный шум заглушал все.

Мишка, как новенький, сидел на передней, низкой и неудобной парте, вытянув из-под нее далеко вперед ноги, и математик, все время ходивший перед классом, вынужден был их огибать, при этом он каждый раз смотрел на препятствие с недоумением, будто видел в первый раз.

— Убери ноги... э-э... Салтыков, — наконец сказал он с раздражением, — или ты хочешь, чтобы я споткнулся?

Класс с готовностью заржал.

— Убери ноги в карман, Салтыков, — радостно заорал сзади Валерка Шебалин, наказание школы, третьегодник, кандидат в ремеслуху, — убери ходули, Салтычиха!

Класс заржал еще радостней. Мишка пока не привык к нравам мужской столичной школы, казавшимся после наивных и робких обычаев смешанной деревенской дикими и буйными, и с изумлением крутил головой, не понимая, как такое бесчинство может начаться по столь незначительному поводу.

Миша пошел по проходу усмирять Шебалина, а за его спиной начало твориться полное безобразие. Все принялись плевать жеваной промокашкой, а Олег Пивоваров мгновенно надел петельки из тонкой резинки на расставленные указательный и средний пальцы левой руки, приладил на эту рогатку согнутой уголком кусок алюминиевой проволоки, прицелился — и попал в лежавший под доской мел, розовая палочка рассыпалась на острые осколки. Миша оглянулся на шум, но ничего не понял, Олег сидел неподвижно, глядя перед собой, а осколки мела валялись на полу. За спиной Миши Валерка Шебалин заревел ослом, издавая «ий-яя!» закрытым ртом, а в другом ряду на последней парте Женька Маневич, резко двинувшись вбок, спихнул на пол зазевавшегося толстяка Сашку Колечицкого, и жирдяй громко шлепнулся задницей.

Миша вернулся за свой стол, сел, раскрыл журнал. Все мгновенно затихли. Миша немного подумал, потом макнул ручку в чернильницу, занес ее над страницей и негромко, будто сам себе, сказал:

— Шебалин — два за срыв урока...

Валерка Шебалин тут же занял «а чего мне, а чего срыв, а чего два, а чего я сделал», но Миша все так же, будто обращаясь сам к себе, продолжил:

— Значит, за четверть уже получается двойка, значит, второе полугодие Шебалин у нас встретит в ремесленном, вот так, теперь Пивоваров, два Пивоварову, срыв урока, дневник, Пивоваров, давай, напишу родителям о твоих успехах...

Тут Миша вдруг перестал бормотать, поднял глаза от журнала, и взгляд его неожиданно уперся не в Пивоварова, нехо-

тя вылезавшего из-за парты с дневником в руках, а в Мишку. Мишка напрягся. Сидевший рядом с ним Эдька Стеклов смотрел в крышку парты, как он смотрел всегда, что бы ни творилось в классе.

— Салтыков! — Миня издавал настоящее шипение, Мишка не мог понять, чем он так довел математика, а Миня вдруг перешел на визг: — Салтыков, вон из класса, иди к завучу, я тебя на мои уроки больше не допускаю!

Мишка с трудом вытащил из-под парты ноги, встал, пошел к дверям и услышал, как Миня прошипел ему в спину «с-скотина!». Мишка обернулся и посмотрел прямо в глаза маленькому худому человечку с распадающимися надо лбом двумя крыльями черных плоских волос. В глазах учителя была ненависть. «Сам скотина», — сказал Мишка совершенно неожиданно для себя, тихо, но внятно и вышел, грохнув дверь так, что зашуршала осыпавшаяся штукатурка.

На улице моросил дождь, холодный ветер налетал неожиданно и нес капли стеной. Мишка был без пальто, в старом сером форменном кителе, из рукавов которого сильно торчали руки, китель был распахнут, под ним дядипетина шерстяная полосатая безрукавка. Зато брюки на Мишке были шикарные, тоже дядипетины, темно-синие, сильно сужающиеся книзу, с широкими модными манжетами. Дядя Петя только что сшил костюм во мхатовском ателье, но через несколько дней испортил пиджак, прожег в мастерской полу на видном месте, и брюки достались Мишке, только талию приходилось сильно затягивать поясом. И красно-коричневые ботинки с рантом тоже выглядели неплохо. А пальто Мишка надевать не хотел, пока было не очень холодно, потому что пальто в московской школе почти никто не носил — некоторые мальчишки ходили в старых кожаных летних куртках, о какой Мишка не мог даже мечтать, другие — в основном те, кто жил в районе Тишинки и Грузин, — в драповых полупальто-«москвичках», к которым обязательно надевались белые шелковые шарфы, а Женька Белоцерковский из девятого «А», первый в школе пижон, вообще демонстрировал нечто несусветное, что можно было иногда увидеть только на дипломатах-иностранцах вечером возле Большого театра: светло-серый не то халат, не то макинтош из тонкой непромокаемой ма-

терии, с поясом, с отстающей на спине странной кокеткой и даже с какими-то совсем уж непонятными погонами на плечах. Называлась эта штука «плащ», а сам Женька — как ни странно, он однажды первым заговорил о чем-то с Мишкой и с тех пор они иногда трепались на переменах, к зависти остальных семиклассников, — называл этот плащ еще непонятнее: «тренч».

Мишка свернул в школьный двор, встал под навес, под которым держали школьную полуторку, в ее моторе десятиклассники все время копались под руководством военрука, однорукого капитана Федченко, и, укрывшись за кузовом машины от взглядов из школьных окон, закурил. Курил он теперь уже только сигареты «Прима», а папиросы бросил — все мальчишки курили сигареты.

Он курил и думал о новой школе.

С первого дня в ней начались неприятности. Учителя по всем предметам проверяли, как усвоен материал за прошлый год, Мишку спрашивали подробно, в результате он получил «твердую», как сказал Миня, тройку по алгебре, а по физике длинная, как жердь, Зинаида Игнатьевна (Оглобля) не поставила двойку только потому, что «для сельской школы не так плохо, как можно было предполагать», — и это при том, что за шестой Мишка привез отличный табель и похвальную грамоту. Правда, за первое сочинение «Мои каникулы» — Мишка описал дорогу в поезде до Москвы, особенно выделив историю о лейтенанте, который помогал им с матерью, и постаравшись описать получше бескрайние просторы за окном вагона, чтобы содержание отвечало эпиграфу «Я другой такой страны не знаю», — он получил две пятерки, и за русский, и за литературу, Римма Федоровна (почему-то имевшая прозвище Рукав) на уроке читала отрывки и заставляла других разбирать, почему в сочинении тема раскрыта полностью, хотя описаны не все каникулы, а только одна поездка, двое суток. Но другие учителя смотрели на Мишку, как на идиота, и ставили не выше четверки с натяжкой.

А с одноклассниками отношения складывались еще хуже. До драк не доходило, но Мишка предпочел бы настоящую драку, потому что чувствовать себя среди мальчишек просто человеком-невидимкой было невыносимо. С ним почти не

разговаривали, а если Мишка обращался к кому-нибудь первым, смотрели с усмешкой, отвечали издевательской шуткой, и за спиной, Мишка знал это, называли кличкой куда более обидной, чем привычная Салтычиха, — Колхозник.

Нравы в классе — всегда готовом сорваться на уроке в неудержимое безобразие, почти в исступление — его просто пугали, он не понимал причин постоянной войны, которая велась с учителями, грубости данных им прозвищ, его изумляла отчаянная смелость, проявлявшаяся мальчишками в этой войне: Шебалин однажды чуть не подрался с физкультурником Виктором Павловичем (Викасик).

Все ужасно ругались. Мишка, конечно, и сам давно знал все слова, и сам их произносил, но когда на перемене Пивоваров начинал рассказывать, как в прошлом году, когда ходили на Первое мая в соседнюю женскую школу, он повел одну девчонку в теплицу, становилось неловко, Мишка отворачивался и незаметно уходил.

Мишка вообще никак не мог привыкнуть к мужской школе, ему не хватало девчонок, он скучал не только по Нине, но и по прыщавой Надьке, и по Инке Оганян с ее черными грустными глазами...

Единственный человек во всей школе, с которым Мишка разговаривал по-человечески, был девятиклассник Женька Белоцерковский, и это здорово утешало. Когда Женька, в стильном своем бежевом, совершенно уже мужском коверкотовом костюме с широкими плечами длинного, почти до колен пиджака, с золотистым длинным галстуком, на широком конце которого была вышита черная роза, спускался в большую перемену со своего верхнего, старшекласного этажа и они с Мишкой полуприсаживались — чтобы Мишка успел вскочить, когда пойдет завуч, — на широкий мраморный подоконник, наступали прекрасные двадцать минут. Одноклассники смотрели на них с непроходящим удивлением — что нашел Белоцерковский, «стильный», в этом «колхознике» — и пытались прислушаться к разговору, но Женька говорил тихо, а Мишка только слушал, конечно.

Женька рассказывал, как с компанией друзей, студентов из полиграфического, ходил вчера вечером в коктейль-холл, пили «Шампань-Коблер», потом «Огни Москвы», все напи-

лись, познакомились со стильными девчонками, потом с этими кадрами поехали в «Шестигранник» в Цэпэкэо танцевать, потанцевали железно, атомным стилем, после поехали на хату к одному чуваку, и там был тако-ой процесс, что домой Женька пришел, только когда метро открылось, батя бурчал, конечно, но все равно сегодня удалось выпросить у него две сотни, а у Женьки у самого еще были деньги после удачного дела с трофейными пластинками, достал у одного жлоба сразу десять штук почти бесплатно и продал одному саксофонисту из ресторана «Аврора», поэтому сегодня Женька собирался сорваться с четвертого урока и пойти на Герцена, где в комиссии знакомый продавец Пал Матвееч отложил настоящие американские брюки с манжетами и двумя нажопными карманами, а домработницу можно будет упросить заузить их на машинке до двадцати двух сантиметров внизу, как положено по стилю...

Женькин батя, отец, работал в министерстве в Китайском проезде, возил его хмурый толстый шофер на серой «Победе», а жили Белоцерковские на Горького в большом новом доме с балконами и трехконными фонарями по всему фасаду, с первым этажом, облицованным гранитом. А мать Женькина сидела дома, каждый день играла в теннис на Петровке, а оттуда шла в Общесоюзный дом моделей на Кузнецкий, смотреть моды.

Мишка слушал Белоцерковского, носившего в своей компании и в классе красивое прозвище Белый, и у него перехватывало дыхание. Точных значений всех этих новых слов он, конечно, не знал, но по смыслу и Женькиной интонации более или менее угадывал, о чем рассказ. Он представлял себе этих девушек, которых Женька называл «кадрами» или ужасным словом «барухи», звучавшим, на Мишкин слух, как самое грубое ругательство, да и бывшее ругательством, судя по наличию в Женькиной речи слова «барать»; представлял эти американские брюки с невиданными никогда прежде двумя карманами сзади; представлял любимую, как из «Серенады», музыку в «Шестиграннике», которая, как ему уже было известно, называется джаз; представлял, хотя и не мог вообразить деталей, что такое «процесс на хате у одного чувака», — и его воображение уплывало, и он уже почти не слушал Женьку...

Тут гремел звонок, Женька хлопал его по плечу и незаметно вдоль перил слетал по лестнице и уходил по своим прекрасным делам на Герцена, а Мишка шел в класс и сидел на проклятой географии, мечтая о золотистом галстуке, длинном и широком пиджаке с коротеньким разрезом на заднице и о брюках, зауженных до двадцати двух сантиметров внизу...

Куря за полуторкой, Мишка разглядывал свое отражение в мутном стекле темной кабины. Волосы за лето в Москве у него сильно отросли, и перед первым сентября, имея в кармане выданные дядей Петей пять рублей, он пошел в парикмахерскую на Гашека, за углом от кафе-мороженого, и впервые подстригся не под полубокс, а попросил «канадскую» польку за два восемьдесят с одеколоном «В полет». Парикмахерша хмыкнула, но все сделала, как положено: на затылке подровняла волосы скобкой, по бокам укоротила и подбрила виски косо, щедро обрызгала голову одеколоном и мокрые волосы зачесала мелкой расческой назад, а надо лбом вверх, выложив чуб небольшим, но все же коком. Мишка шел домой, и ему казалось, что вся улица Горького смотрит на его прическу, почти «тарзан». Во дворе, завидев его, младшие сафидуллинские Руслан и Вахидка заорали «стильный пришел, папина победа!», но за папину победу Вахидке Мишка отпустил по затылку, а убежавшему Руслану успел дать поджопник. Мать почти ничего не заметила, только сказала, что наодеколонился слишком, и, погладив по волосам, так что сразу сломался кок, посоветовала в следующий раз попросить покороче, чтобы не ходить в парикмахерскую часто. А дядя Петя вечером и вообще ничего не сказал — в последнее время он приходил поздно, от него сильно пахло вином, он быстро готовил ужин, кормил мать и Мишку, а сам, ни к чему не притронувшись, уходил в свою комнату, и свет там горел почти до утра.

Теперь по утрам Мишка мочил волосы сладким чаем и причесывал материнной редкой расческой, и кок стоял прекрасно, к тому же блестел не хуже, чем у Белоцерковского, хотя бриолином, как Женька, волосы не мазал — один раз купил маленькую круглую баночку и попробовал, но ощущение жира, который, стоило немного вспотеть, тек по шее, было отвратительным, к тому же пачкались подушка и ворот рубашки. А от

сахара прическа получалась мировая и держалась весь день, если, конечно, не было физры.

Мишка докурил, затоптал окурок и носком ботинка затолкал его под колесо полуторки.

— Курить — здоровью вредить, — услышал он в этот момент и, не сообразив, откуда и чей голос, позорно трусливо дернулся, сунул руку в карман за сен-сеном, но тут понял, что это уже давно сломавшийся голос Белоцерковского, хороший насмешливый баритон. Мишка, стараясь не суетиться, вытащил пакетик сен-сена, положил в рот коричневую крошащуюся колбаску и сделал ироническое лицо.

Женька вышел из-за машины во всем своем великолепии — бежевый костюм, белый плащ нараспашку, белый шелковый длинный шарф висит, уголки крахмального воротника кремовой рубашки под золотистым галстуком сколоты большой медной английской булавкой...

— Ну, Мишаня, дай в зубы, чтобы дым пошел, — снисходительно пошутил Женька, и Мишка засуетился, вытаскивая пачку сигарет, пытаясь ловким щелчком выдвинуть одну. Закурили вдвоем, хотя Мишке курить уже не хотелось, помолчали, затягиваясь. Женька задумчиво смотрел в сторону, после каждой затяжки рассеянно стряхивал пепел, осторожно, чтобы не нарушить изумительного иссиня-черного сверкающего кока, высоко восходящего надо лбом и проборами по обе стороны головы, мизинцем почесывал то один, то другой висок, низко опускающиеся косо подбритые бачки. Наконец Женька принял какое-то решение. Он затоптал недокуренную сигарету и хлопнул Мишку по плечу.

— Пойдешь сегодня на Брод со мной? — Белоцерковский смотрел на Мишку с некоторым сомнением, как бы еще раздумывая, не отменить ли свое предложение. — С чуваками познакомлю с нашими, может, сам чувиху закадришь... Бросим кости по Броду, в коке посидим...

Миша не верил своим ушам. Пройтись по стометровке на Горького в компании взрослых ребят — да еще каких! Романтические изгои, те, кого рисуют в «Крокодиле», стилиаги, люди, говорящие на собственном, непонятном непосвященным, жлобам языке!.. И тут же одновременно со счастьем Мишка испытал отчаяние: идти было совершенно не в чем, а сказать

об этом Женьке он просто не мог, хотя тот, конечно, и сам все понимал.

Белоцерковский внимательно оглядел Мишку с головы до ног и хмыкнул.

— Да, гардеробчик не центральной... Колеса сойдут, — одобрил он Мишкины ботинки, — брючата тоже ничего, а вот верх... пионерский... Вот что, ну-ка, стань рядом. Ну, нормально. Рост почти мой. Пойдем, дам тебе надеть джакеток мой, знаешь, серый, в клетку? Настоящий, Пятая авеню, понял? Я его у одного штатского взял удачно, тот вышел из посольства, на Моховой, знаешь, повернул на Герцена, я за ним, возле консерватории догнал, так и так, мистер, ай вонт ту бай ёр джакет, ай лайк Америка, плис, — в общем, договорились на следующий день встретиться там же, так он пришел, представляешь, и еще целую кучу галстуков принес, и я у него все за пять сотен взял, понял? Пойдем, таёк тебе тоже подберем... Пошли, чувак.

И, уже улетающая в новую, невероятную жизнь, Мишка с достоинством кивнул: пошли, Белый, примерю, и они вышли из школьного двора, и зашагали по Тверской-Ямской, и Мишка уже шаркал небрежно подошвами, подволакивая немного ноги, как и полагалось стильному.

Глава семнадцатая. Новая жизнь

Мишка проснулся, перевернулся набок, натянул сбившееся одеяло и со своего тюфяка, постеленного на полу, так что ноги Мишкины лежали под круглым столом, глянул в щель под дверь дядипетиной комнаты. В щели был свет. В последнее время дядя вообще почти не спал, свет горел всю ночь, а утром дядя выходил из комнаты бледный, с красными глазами, а рядом с его кроватью на полу лежали кучей какие-то бумаги со скрепками, амбарные книги с наклейками на обложках и разграфленными на большие клетки страницами, сложенные гармошкой листы миллиметровки...

Мать с дивана окликнула Мишку, она всегда просыпалась раньше него, но лежала тихо и встать не пыталась — в ванную ее все равно надо было вести, а уж там она все находила на ощупь, хотя постоянно роняла то зубную щетку, то мыло

и долго их искала, поскольку ни дядя Петя, ни Мишка в ванную, естественно, войти не могли и помочь ей было некому.

Мишка закрыл глаза, и принялся вспоминать, что должно было сегодня произойти.

Вечером в женской школе новогодний вечер. Мишка был полностью к нему готов и ждал приключений. Приключение предполагалось с Олькой Красильщиковой из восьмого «Б», с которой уже танцевали однажды на каникулах после первой четверти и один раз даже ходили вместе в «Шестигранник», причем Женька Белоцерковский чувиху вполне одобрил и за ее спиной показал Мишке жестами, что надо продолжать кадрить. Вышли тогда с танцев в темноте, пошли в сторону Нескучного, потом свернули на совсем темную аллею, идущую к Калужской, там сели на лавочку, и Олька сразу позволила почти все, но Мишка сам испугался, потому что недалеко прошел милиционер, а кроме того, было уже поздно, и мать с дядей, наверное, волновались, хотя он отпросился в кино на восемь тридцать, в «Художественный», где шел «Вратарь», которого на самом деле он, конечно, уже сто раз видел, но все равно надо было спешить, тем более что Ольку еще предстояло провожать на Лесную.

А теперь Мишка мог официально прийти даже и позже двенадцати, потому что вечер новогодний, и он сразу сказал, что пойдет провожать знакомую — вечер-то в женской школе, — и можно будет «завалиться на хату» к Женьке Белоцерковскому, у которого родителей, как обычно, не будет, в Ленинград уехали на два дня, и уж там, у Женьки, можно будет с Олькой все делать, потому что будет полно времени. А сам Женька собирался привести настоящую чувиху с Брода, Ленку из Измайлова, совсем взрослую, стриженную под «венгерку» и известную тем, что никогда не «скручивает динамо», а если идет «на хату», то позволяет все.

Еще вчера Мишка с Женькой в складчину, поровну, чем Мишка очень гордился, купили бутылку ликера «Кофейный» и бутылку вина «Ркацителы», и Женька до отъезда родителей спрятал бутылки у себя дома за энциклопедией в шкафу, так что все уже было готово, а закусывать собирались конфетами, жирным печеньем «пти-фур» и вафлями, которые у Женьки дома всегда стояли в вазах на столе в большой комнате.

Вообще жизнь Мишкина за начало зимы совсем наладилась. Дядя Петя давал ему довольно много денег на кино и завтраки, так что Мишка с помощью Женьки смог купить почти все, что было необходимо настоящему чуваку.

У него теперь были носки в черно-желтый зигзаг, которые можно было носить без носочных подвязок, поскольку в их верх были уже вдернуты резинки. Мишка с удовольствием представил себе, как он вечером наденет эти носки, а потом, когда, сидя на стуле в спортзале женской школы, где будут танцы, положит ногу на ногу и поддернет брюки, чтобы не мялись, все увидят, что он не носит эти чертовы подвязки и кальсоны, хоть и зима, тоже больше не носит, а под брюками у него голая нога. Носки эти Мишка купил у одного Женькиного знакомого за пятьдесят рублей. Носки были упакованы в целлофановый пакет, на котором было крупно написано *made in USA*, так что Мишка, не задумываясь, заплатил такие сумасшедшие деньги. Пакет он аккуратно расклеил и сохранил, конечно.

Он купил удивительную рубашку, которая спереди растягивалась до конца, как женский халат, а в воротнике ее с нижней стороны были специальные кармашки, в которые вставлялись узкие костяные планочки, так что воротник делался твердым, как картон, и уголки его не загибались. Голубая в мельчайшую белую точку рубашка была, конечно, не новая, продал ее Мишке совсем недорого для такой вещи, за восемьдесят рублей, тот же самый Женькин знакомый Гриша, имевший, хотя был уже немолодой, лет двадцати пяти, прозвище — Грин. Приходившую раз в неделю стирать белье тетю Фаину Сафидуллину Мишка попросил эту рубашку обязательно крахмалить, так что воротник и без косточек делался жестким, а с косточками становился вообще «как фанера» — точно по определению из сатирических куплетов про стилияг, которые часто передавали по радио.

Удалось раздобыть и галстук, из китайского толстого шелка, синий, в золотых тканых драконах и вишневых ветках. Галстук сшила одна тетка, к которой вместе с Женькой ездили аж в Черкизово, зато сшила из своего материала и взяла недорого — вместе с шитьем тридцатку. Конечно, Женька назвал галстук презрительно «совпаршивом», но и сам зака-

зал такой же, только из зеленого шелка. А с обратной стороны галстуков, куда имели обыкновение при встречах на Броде заглядывать Женькины знакомые, портниха пришила споротые с чего-то этикеточки, Мишке белую, с мелко вышитой надписью *Paris fabrique*, а Женьке — *Harrods, London*. Галстуки получились мировые, как настоящие.

Главное же — Мишка откупил у Женьки серый, в клетку пиджак и уже отдал ему триста рублей, а осталось двести.

На пиджак, понятно, пришлось просить двести рублей у дяди Пети, ему и матери Мишка сказал, что вещь всего двести и стоит. Остальные же деньги — это и было, собственно, главным — Мишка заработал сам, скупая билеты в Большой театр и продавая их в полтора-два раза дороже перед началом спектаклей богатым парам — мужчина, торопливо откидывая полу кожаного реглана или ратинового тяжелого пальто, доставал толстый лопатник, почти не считая, придерживая под локоть даму в каракулевом жакетике или большой песцовой шубе, совал деньги и, довольный, выхватывал билеты, уже на ходу начиная рассматривать ярус. Научил этому делу Мишку все тот же Женька, который иногда, когда не шла перепродажа выискиваемых по комиссионкам шмоток, и сам промышлял билетами. Ребятам уже хорошо знали все, кто постоянно крутился у касс, с ними здоровались некоторые «лемешистки» и «козловские сыры». Из денег, вырученных за билеты, Мишка теперь и расплачивался с Женькой и был очень доволен, потому что настоящий американский пиджак всего за пятьсот — это было почти даром.

А пальто теперь Мишка носил старое дядипетино, из толстого темно-синего ратина, с огромными накладными карманами и поясом, сам же дядя Петя во мхатовском ателье сшил себе новое из букле, очень широкое в плечах, сильно сужающееся книзу, довольно короткое — по моде, которую на Броде пока не уважали.

Словом, у Мишки теперь было все в порядке. Его даже в комсомол приняли с некоторыми оговорками, а не как весь остальной класс перед Седьмым ноября — все двадцать семь человек за полтора часа. Мишке же комсорг школы Колька Шитько из десятого «А» строго указал, что со стилижыми штучками пора кончать и Белоцерковский — не компания для

молодого комсомольца, потому что Белоцерковский этот, того и гляди, сам из Вэлкаэсэм вылетит.

И сегодня вечером Мишке будет хорошо, это точно. Все мальчишки школы, кроме того же Кольки Шитько и еще нескольких жлобов, будут завидовать Мишкиному пиджаку, и галстуку, и тому, как он пойдет танцевать с Олькой Красильщиковой под вальс-бостон почти стилем, прижавшись, и будет держать руку над самой ее задницей, все ниже и ниже... да и жлобы будут тайно завидовать и обязательно на ближайшем комсомольском собрании устроят проработку, но сделать ничего не смогут, потому что Мишка уже приспособился к новым учителям и получал одни пятерки и за вторую четверть у него будет табель вообще без четверок... и потом, уйдя пораньше с вечера, пойдет к Женьке...

Мишка вылез из-под одеяла.

Мать лежала на спине, глаза ее были открыты, она как бы смотрела в потолок, но Мишка знал, что она уже и потолка не видит, а в мутно-сером пространстве, окружающем ее, сейчас просто больше белого.

— Сходи за газетами, — не меняя позы и пропустив «доброе утро», сказала мать.

В последнее время она вообще говорила мало, перестала сидеть у окна, и бывали дни, когда не вставала с постели, хотя вроде бы ничего у нее не болело. Газеты она требовала каждое утро, Мишка успевал до школы ей кое-что прочесть и, уходя, видел, как мать сидела, положив перед собой на стол развернутый газетный лист, и глядела в него широко раскрытыми темными глазами. Но сегодня уроков не было, уже начались каникулы, и Мишке предстояло читать матери вслух не меньше часа, во всяком случае, надо было обязательно прочесть фельетон Нариньяни, если он будет, — мать очень любила фельетоны, слушала их напряженно, никогда не смеялась и даже не улыбалась, а однажды, читая про американские происки против трудящихся восточной зоны Германии, Мишка расслышал, как мать прошептала «кошмар какой-то».

Мишка натянул старые лыжные байковые шаровары, в которых ходил дома, накинул на нижнюю отцову рубаху, в которой спал, пальто и выскочил на лестничную площадку, ссыпался по ступеням, прыгая через две и три, в ледяной подъезд,

вытащил из ящика «Правду» и «Комсомолку» и обнаружил за ними сразу три конверта. Раздумывая, почему письма пришли вместе, и не находя этому никакого объяснения, Мишка пошел по лестнице вверх, на ходу рассматривая обратные адреса. Тут он удивился еще больше: письма были от Нины из Одессы, от Киреева из Заячьей Пади — на конвертах так и было написано «Салтыкову М.Л.» — и от Нехамкиных из Оренбурга, адресованное, конечно, матери. Мишка уже почти забыл их, как забыл и вообще почти всю жизнь в Заячьей Пади, а в последние месяцы, когда он стал дружить с Белоцерковским и ходить на Брод, он забыл вообще про все, потому что начал жить совершенно по-новому, — и тут вдруг письма!

Мишка влетел в квартиру, уже приготовившись сообщить о письмах матери, но в последний момент что-то — он не успел понять, что именно — остановило его, он крикнул «после завтрака почитаем, мам!» и направился в уборную, чтобы, заперевшись там, сначала прочесть письма спокойно. Но в уборной уже был дядя Петя, это означало, что она будет занята минимум полчаса, и Мишка пошел в ванную, заперся там.

Письмо от Нины было короткое, меньше чем на тетрадную страницу в клетку, несколько слов в нем были густо зачеркнуты, так что нельзя было прочитать даже на просвет. Мишка прочитал письмо подряд три раза.

«Дорогой Миша! Я получила твое письмо (почти незаметно исправлено на «письма») и очень рада, что у тебя в Москве все хорошо в школе и вообще. У меня тоже все (далее зачеркнуты два слова) хорошо. Сначала было непривычно учиться в женской школе, и мне даже некогда было ответить на твои письма, но постепенно я привыкла, и теперь мне нравится, у меня есть подруга Света Панаидис, она гречанка, и мы с ней всюду ходим вместе. Недавно был вечер нашей школы вместе с мореходным училищем, все много танцевали, меня пригласил мальчик Витя Пинчук, он учится на моториста. И мы (зачеркнуты три слова) с ним гуляли после вечера, а потом я поняла, что по-настоящему люблю только тебя. Когда весной (зачеркнута сплошь целая строчка) случился ужасный случай с твоим папой, я не знала даже, что мне делать.

Потому что мне было стыдно, но я тебя не жалела, потому что у меня неродной отец, ты знаешь, и мне не было тебя жалко, а теперь я все время думаю о тебе, жалею тебя и очень люблю. Напиши мне, гуляешь ли ты в Москве с какой-нибудь девочкой, и если да, то я все равно не обижусь и буду тебя любить. Целую тебя. Нина Бурлакова».

Мишка вложил письмо в надорванный конверт и сунул в карман шаровар.

Потом он посмотрел на себя в зеркало, висевшее над раковиной. В зеркале он увидел Пиньчука, который учится на моториста, с которым, конечно, Нина не только гуляла, а наверняка целовалась, и он к ней лазил, и Мишка в зеркале видел все, но ничего не чувствовал.

Он попытался вспомнить, как Нина сидела голая в степи, и вспомнил, но в зеркале этого не увидел и уж совершенно ничего не почувствовал. Где-то в Одессе, в темноте, какая бывает ночью вблизи моря, какая-то девочка целовалась с каким-то мальчиком в морской форме, а в зеркале отражался Мишка с растрепанными волосами, напряженно вглядывающийся в свое лицо, — и больше ничего.

Он подумал, что почему-то всегда твердо знал, даже до того, как это письмо пришло, что Нина действительно его любит и они обязательно поженятся когда-нибудь потом, а Пиньчук в конце концов не получит ничего. Но лицо его и во время этой мысли оставалось спокойным, просто он разглядывал в зеркале разрушенную за ночь прическу — особенно пострадали виски, и над ушами волосы торчали в стороны.

Потом он все-таки увидел в зеркале ту Нину, которая когда-то, уже очень давно, жила в Заячьей Пади и с которой он гулял по вечернему морозу. Он представил себе зачеркнутую строчку письма и те слова, которые Нина не зачеркнула, — про то, как она радовалась, что теперь и у Мишки нет отца. В зеркале он увидел, как Нина приходит к нему в гости там, в Заячьей Пади, они вместе делают геометрию, потом она идет на кухню пить, там лежит еще не сожженное матерью письмо от Малкиных, Нина быстро, оглядываясь, его читает, а вечером у себя дома пишет Носову, вкладывает в конверт, по дороге в школу заскакивает в подъезд, где живут Носовы, и бросает конверт в их почтовый ящик.

Зеркало запотело посредине от Мишкиного дыхания, и картинка расплылась.

Нина могла донести, думал Мишка, могла, потому что завидовала, что у меня есть отец, а я все равно ее люблю, и Ольга Красильщикова тут ни при чем, я люблю Нину и буду любить, и Пиньчук ни при чем, потому что если я разлюблю Нину, то получится, что ничего не было, мы с ней не гуляли по морозу, не сидели у Вальки-технички, синий огонь в печи не прыгал, и ничего, ничего не было, и всей той жизни, которая уже прошла, не было, потому что если не будет Нины, то все в прошлом изменится.

И отца тоже не будет даже в прошлом.

Мишка протер зеркало полотенцем и распечатал письмо от Киреева. Письмо было длинное, на двух вырванных из середины тетради страницах, и бестолковое. Киреев писал, что теперь он сидит с Сарайкиным, что в школе скучно, что географичка опять пузатая, а директор пообещал исключить из школы Славку Петренко, который пришел в зауженных брюках, хотя Славка уже в десятом классе и идет на серебряную медаль, в связи с чем Киреев интересовался, все ли в Москве носят зауженные брюки и есть ли теперь такие у Мишки; с брюк Киреев перескочил на деньги и сообщил, что начал копить на взрослый велосипед, харьковский, и уже накопил восемьдесят три рубля, большую часть которых выиграл за осень в расшибалку у взрослых сельских ребят, потому что научился одному приемчику, а кроме того, учится играть в баскетбол по-настоящему, в школе теперь новый физкультурник, он приехал из Ленинграда и учит всех играть в баскетбол, это, оказывается, американская игра, в школе уже есть четыре команды, Киреев играет в третьей, потому что в первых двух играют самые длинные из десятых и девярых классов; дальше Киреев написал, что недавно был на катке за новым Домом офицеров, потом пошел провожать Инку Оганян и в подъезде ее сильно зажал и лазил в трусы; дальше написал, что сеструху из школы выгоняют за сплошные двойки, она, наверное, уедет к бабке в Камышин и там поступит в ремесленное на портниху; дальше снова шло про Славку Петренко, который собрал в школе ансамбль, играют песни Утесова и даже Поля Робсона, так что получается настоящий джаз — тут Мишка очень

удивился, что и Киреев уже знает это слово, — и можно танцевать, на новогоднем вечере ансамбль обязательно будет играть концерт и под танцы, а сам Киреев уже немного научился и по очереди с одним новым парнем из восьмого «Б», который приехал из Сталинграда, играет в ансамбле на большой балалайке, басовой, потому что нужен контрабас, но его нет, а балалайку дали из оркестра народных инструментов клуба строителей...

Мишка дочитал письмо до конца. Несмотря на бестолковость Киреева, читать все время было интересно, потому что в старой Мишкиной школе происходило, видимо, много нового.

А заканчивалось письмо так:

«На этом писать кончаю потому что пришел отец и мать зовет ужинать а я хотел тебе еще написать что тогда я не все слышал а просто отец принес то письмо дяде Коле Носову домой и я успел немного из него прочитать письмо было на миллиметровке, а с другой стороны был чертеж или выкройка с размерами и я успел прочитать про то как твоего дядьку забрали а остальное ночью слушал и рассказал тебе чтобы тебя не сдали в малолетнюю колонию а в письме было написано много теперь уже не помню ну покедова пиши жду ответа как привета Игорь».

Мишка засунул и это письмо в карман шароваров. В дверь ванной постучал дядя Петя и поторопил Мишку, потому что уже спешил на работу, а еще не побрился. Мишка напоследок глянул в зеркало и увидел там Киреева, стоящего на кухне в своем доме босиком у окна и при свете от луны и снега читающего письмо на обороте миллиметровки.

Киреев тогда знал, кто написал письмо, подумал Мишка, потому что письмо написала Нина, а Киреев узнал ее почерк, высокие узкие буквы с неправильным наклоном влево, но не сказал Мишке, потому что Киреев был настоящий друг, а Нина по-настоящему любила Мишку, а теперь ничего этого нет и не будет, отец умер, тетя Ада и Марта умерли, и все разъехались, и жизнь другая.

Он вышел из ванной и тут же быстро зашел в освобожденную дядей уборную и заперся там. В голове его поднялся крик, который раньше всегда начинался, когда он бывал один

в тишине, но в последние месяцы он этого крика не слышал, а теперь все началось снова.

Он сел на унитаз и распечатал письмо от Нехамкиных — все равно ему придется читать его матери вслух.

Писала тетя Тоня. Письмо было обычное взрослое: про две комнаты в офицерском бараке, которые им дали, про то, что до центра Оренбурга от военного городка далеко, а в военторге одни консервы, про то, что Леве должны были дать звездочку к 7 ноября, но не дали, потому что новое место и здесь своя очередь, так что, может, дадут к двадцать третьему февраля... А в конце были написаны вот какие слова:

«И еще, Машенька, хочу извиниться. Ты не знаешь, как я ревновала Левку к тебе, а я ревновала и тогда, когда случилось несчастье, заставила его сразу написать рапорт о переводе. Тебе было так тяжело, а я только о себе думала. Прости, ради бога, я дура, но плохого тебе ничего не сделала, честное слово. Твоя Тоня».

Мишка подумал, изорвал письмо на мелкие клочки и спустил в унитаз.

Вечером, нарядный, с прилизанными висками и насахаренным коком, без шапки, конечно, несмотря на мороз — шапку он прятал за шкаф в прихожей, чтобы дядя Петя и мать думали, что надел, — Мишка быстро шагал по левой стороне Горького на встречу с Женькой Белоцерковским. Ледяной воздух сжимал голову и драл уши, фары проезжавших машин мерцали, словно сквозь слез... Мишка снова вспоминал все, что случилось. Он уже понимал, что, когда читал письма, был безумен, что в зеркале отражалось его безумие, что Нина ни при чем, и Киреев ни при чем, и тетя Тоня Нехамкина ни в чем не виновата...

Вдруг он остановился. Шедшая сзади пара налетела на него, но он не пошевелился, так что мужчине пришлось выпустить руку дамы, они обошли Мишку с двух сторон и еще несколько раз оглянулись на него.

А он все стоял, пораженный страшной мыслью, которая впервые пришла ему в голову: вообще виноваты не те, кто пишет доносы, а те, кто их читает. Доносы пишут, думал Мишка, от страха, и зависти, и ревности, и злобы, и все это было самому Мишке знакомо, потому что он и боялся, и завидовал,

и даже злоба иногда приходила к нему... А те, кто читает доносы, и потом устраивают собрания, и забирают людей, и опечатывают их квартиры, делают это неизвестно почему и зачем, Мишка не мог их понять, и поэтому ненависть к ним охватила его. Мишка давно уже не верил в американских шпионов, потому что носил американский пиджак, и пиджак был реальностью, и ночной джаз сквозь хрип приемника был реальностью, и поэтому никаких шпионов не было и быть не могло, а если они были бы, то их никогда не поймали бы те, кто читает доносы.

Отец застрелился из-за них, и все происходит из-за них, и дядя Петя сидел в тюрьме из-за них, думал Мишка, и жить страшно, потому что есть майор Носов и другие майоры и капитаны, которым можно написать письмо, и человек застрелится или его заберут.

И Мишка снова, в который раз пожелал смерти тому, кто убил отца, но теперь он уже знал, кому именно, и понимал, почему не виноват никто, кроме тех, кто виноват.

А через полчаса он уже танцевал и не помнил ни о чем.

КНИГА ВТОРАЯ

Глава первая. Похмелье

Он проснулся оттого, что к его левой ноге приложили раскаленный утюг. Не открывая глаз, он подвинулся, насколько мог, вправо и почувствовал утюг на правом бедре. Веки слиплись, он приложил усилия, чтобы расклеить их, и это удалось, но усилие мгновенно включило дикую головную боль, так что он негромко охнул. Тут же к глазам придвинулось белое полотно потолка и немедленно взлетело высоко вверх. На самом краю поля зрения появился кусок лепнины — часть круглого плафона и сарделька ангельской ноги. Это ни о чем ему не говорило, он никогда прежде не просыпался под этим потолком.

Все так же лежа на спине и глядя прямо вверх, он собрался с силами и, резко согнув и разогнув ноги, спихнул одеяло, под которым накопился невыносимый жар.

Слева лежала полная девушка в ночной рубашке, собравшейся гармошкой над грудью. Правую свою ногу она закинула на его левую, ощущение приложенного утюга стало слабее, когда он сбросил одеяло, но не исчезло. Девушка была натуральной очень светлой блондинкой. Обнаружив это, он сразу вспомнил и все остальное: блондинка и была хозяйкой квартиры, где вчера собрались на большую гулю по поводу близяще-

гося Седьмого ноября. Таким образом, наступило предпраздничное утро, и других воспоминаний не требовалось — все объяснялось, включая и то, что справа лежала крашенная в рыжую брюнетка в короткой комбинации, и ее левое бедро жгло его правое.

Осторожно, стараясь не расплескать головную боль, чтобы она не залила все пространство, он приподнялся на левом локте, собираясь перелезть через хозяйку, и, подняв с пола свои плавки — он уже видел их, белая чайка из совсем недавно добытой тройной упаковки французских слипов лежала аккуратно расправленной на затоптанном ковре, — пойти на кухню хотя бы за водой. Но действия его были прерваны: хозяйка, не открывая глаз, промычала его имя, обхватила его руками и ногами, и он немедленно обнаружил, что боль, качающаяся в голове, вовсе никак не мешает другим органам делать свое дело — несмотря на общую натруженность и местную потертость. Движения он старался делать короткие и по возможности бесшумные, однако брюнетка — ее звали Лиля, конечно же Лиля, как же еще могли ее звать! — все же проснулась, пробормотала «ну, вы даете» и, повернувшись на левый бок, положила свою правую ногу на его спину. Тут его затрясло, и через секунду он уже сполз с разложенного в полную ширину дивана-кровати, на котором провел ночь среди огненных соседок, кое-как вытерся углом простыни, подхватил свои трусы и, попеременно стоя — не упал! — то на правой, то на левой ноге, из последних сил натянул их.

После этого он осмотрел всю сцену.

Их диван стоял у стены, а посреди большой и довольно пустой комнаты высилось огромное плюшевое кресло, сидя в котором, крепко спал одетый — в толстом зимнем провинциальном пальто, теплых чешских ботинках на молниях и нелепо профессорской цигейковой шапке пирожком — Киреев. Рядом с креслом стоял большой серый фибровый чемодан с черными уголками, и, увидев этот чемодан, он сразу обрел еще одно воспоминание: вчера Игорь в очередной раз окончательно расплевался с родителями и приехал из своего Одинцова в Москву, где ему уже была найдена комната — вот эта самая конечно же, вот все и сложилось! Событие отметили, тем бо-

лее что следующий день был свободный, на лекции не идти, и вот результат...

Тут он заметил Белого. В дальнем углу комнаты лежал тюфяк, с него сползала на пол простыня, а на тюфяке, укрытый до пояса большим клетчатым пледом, спал Женька. На его волосатой груди аккуратно лежала гнедая голова Вики, с которой Женька всюду ходил уже месяц и на которой вчера обещал жениться с последующей комсомольской свадьбой и отъездом в дальние края за туманом и за запахом тайги, что вызвало у Киреева неудержимый визгливый, со всхлипываниями смех.

Он вышел в коридор. Коридор был пуст, все соседи еще спали крепким сном выходного утра. В дальнем конце за открытой дверью кухни лилась вода. Он прошлепал босиком по серому, пыльному паркету и вошел в кухню. Упираясь в раковину и вывернув голову, Витька пил из-под крана, его семейные черные трусы облепили мощные безволосые ноги, жилы под коленями натянулись.

— Даже сухаря не осталось... — Отдуваясь и отплевываясь, Витька выпрямился. — Надо идти в овощной, он в восемь открывается...

Когда они вернулись в комнату, там уже все встали. Лиля и хозяйка Галя — воспоминания возвращались стремительно, наталкиваясь друг на друга, — уже были полностью одеты, только не причесаны, и заканчивали убирать постель, Киреев снял пальто, брал одну за другой со стола бутылки и смотрел сквозь них на свет, Белый стоял посреди комнаты уже в джинсах, которые он, по примеру иностранцев и пренебрегая морозом, носил даже зимой, но голый до пояса — он любил ходить голым до пояса, демонстрируя заросшие густым волосом действительно очень рельефные грудные мышцы бывшего гимнаста, — курил, стряхивая пепел в пустую пол-литровую банку, которую держал в руке, а Вики вообще не было видно — наверное, успела ускользнуть в уборную.

Он натянул, прыгая на одной ноге, обнаруженные под столом свои любимые американские брюки, успев привычно им порадоваться — таких, настоящих дакроновых *Brooks*

Brothers с узенькими манжетами, без складок у пояса и с правым задним карманом без пуговицы в Москве было по пальцам пересчитать. Надел рубашку, свою лучшую голубую *Arrow button-down pin-point*, вчера к вечеру выбирал самое лучшее, хотя ничего особенного не предполагалось, но так, на всякий случай. Пиджак и галстук висели за дверью, но он надел прямо на рубашку чешский длинный рыжий муттон с поясом и белым воротником мехом наружу — до овощного две минуты, замерзнуть не успеешь.

Начали собирать деньги, по трешнику, гордый Киреев — обиженный несправедливым распределением девочек, он ночью оделся, собрался возвращаться к старикам в Одинцово, но не успел, заснул, и теперь делал вид, что все нормально, а спал в пальто, потому что замерз, — дал пятерку и велел купить коньяк, Женька дал десятку, Витька отсчитал трояк смятыми в комки рублями.

Мороз стоял не по-ноябрьски злой, курился ледяной туман, на улице не было ни души. Он с трудом отодрал примерзшую дверцу кабинки автомата возле входа в магазин, сунул все еще непривычные две копейки в щель, начал крутить примерзший и медленно, с усилием возвращавшийся в исходное положение диск. Ответила мать, голос у нее был, как всегда, спокойный и невыразительный:

— Слушаю вас...

Он торопливо наврал про курсовую, Генкину дачу, сломанные автоматы и последнюю электричку. Мать помолчала, потом все тем же невыразительным и спокойным голосом перебила его:

— Мы звонили в Склифосовского, Нина полночи простояла на улице... Даю ей трубку.

Раздался шорох, потом он услышал далекое «не хочу, не буду с ним разговаривать, я уезжаю, я же сказала, Мария Ильинична» — и трубку повесили. Еле попав на рычаг оконечнейшей рукой, повесил трубку и он.

В магазине едва отогрелся, пока продавщица пересчитывала рубли и помогала ему запихать в авоську длинные бутылки болгарского сухого и узкие бутылки грузинского коньяка. А головная боль почти прошла.

Когда он вернулся, в комнате было уже прибрано и все си-

дели за столом в ожидании. Женька, как всегда, был свеж, пробор сиял, парижский галстук в «турецкий огурец» идеально повязан и чуть приспущен под расстегнутым воротом — лямочка воротника «пластрон» стильно свисала — удивительно чистой, будто только что надел, белой, в узкую синюю полоску рубашки; английский твидовый коричневый пиджак висел на спинке стула. И Вика выглядела так, будто только что собралась к вечеру: сверкающе белая, хоть и явно грузинская, нейлоновая водолазка, бежевый, из толстого шерстяного букле сарафан, сшитый сокольнической умелицей по карденовской картинке из польского журнала «Пшекруй», — трапеция, спереди расстегивающаяся до конца, чудом добытая молния с большим металлическим кольцом-поводком, космический стиль. Она уже начесалась, и гнедые ее волосы ровным высоким шлемом облегли маленькую круглую голову. Хозяйка Галя и Лиля принесли из кухни огромную, плюющую горячим жиром черную сковородку с яичницей, все засуетились в поисках подставки, выбрали наконец тяжелую фаянсовую тарелку, стоявшую на подоконнике под цветком, а горшок с цветком временно поставили на пол. Галя на правах хозяйки была в стеганом нейлоновом халатике в мелкий цветочек, с белыми оборками, а Лиля — в черной водолазке и абсолютно таком же карденовском сарафане, как у Вики, да и сшитом теми же руками, только из серого букле. Игорь продолжал дуться, но при виде авоськи с бутылками просветлел — ему было хуже всех, вчера, возмущенный несправедливостью, он перебрал сильнее других и теперь мучился жестоко, сглатывал слюну и время от времени сильно нажимал большими пальцами на виски, испытанным образом глуша головную боль. Пальто он наконец снял, чемодан куда-то убрали, и теперь Кирей сидел в вязаной китайской кофте цвета какао, вполне приличной, как все сделанные по американским еще лекалам китайские вещи, под которой на нем была китайская же кремовая рубашка со старомодным уже, закругленным твердым — с пропиткой — воротником. А Витька Головачев был уже вообще почему-то во всем параде: темно-серый, в мельчайшую белую крапинку английский костюм, пиджак с двумя разрезами, белая водолазка, настоящая, итальянская, из тонкой шерсти, короткие бачки аккуратнейшим обра-

зом скошены, будто только что подбриты, сидел он как бы отдельно ото всех, на стуле посреди комнаты, вытянув далеко вперед ноги в остроносых, с тенями, австрийских туфлях. Как бывало всегда, когда он задумывался, лицо его приобрело особое выражение — безразличия и жестокости одновременно, — полтора года зоны и год химии «за спекуляцию и паразитический образ жизни» даром не проходят.

Открыли две случайно сохранившиеся банки сардин, разложили по тарелкам яичницу, разлили. Он выпил коньяку, и голова совсем перестала болеть — разом, в одно мгновение.

И тут же пришли мысли о доме, о том кошмаре, который ожидает его на Тверской-Ямской, о Нине и матери, и настроение испортилось настолько, что возникло желание немедленно уйти, но уходить было пока неудобно. Выпили по второй и третьей, Галя зашла за дверь шкафа, переделалась и вышла в широкой длинной юбке старомодным колоколом, в косую черно-зеленую клетку, в узкой вязаной черной кофточке без рукавов, и он понял, что это для него, чтобы он не уезжал, когда все разъедутся, и твердо решил, что надо будет незаметно слинять, пока все будут еще сидеть за столом, потому что иначе все может кончиться черт его знает как. Он с раздражением в который уже раз подумал о своей судьбе — ну, почему все свободны, а он раб?! — и начал готовиться к уходу. Встав из-за стола, повязал перед зеркалом шифоньера настоящий оксфордский галстук, синий, в косую узкую красно-белую полоску, — впрочем, чешского производства, «Отаван». Снова сел, выпил коньяку, запил сухим. В голове все медленно поплыло, мысли набегали и уходили волнами. Кто-то — кажется, Игорь — собрал последние рубли со всех, у Белого вообще не оказалось, сам Кирей снова вложил пятерку, а он дал последний трояк, оставив два рубля на такси. Кирей же и сбегал, принес две бутылки коньяку и колбасы. Галя пошла на кухню резать и жарить колбасу, и он сумел сообразить, что лучшего времени, чтобы слинять, не будет. Выпил вместе со всеми, потом, в общем шуме и гаме, незамеченный, взял свой синий блейзер — вещи не было цены, привезена из Нью-Йорка, сам штатник надевал два раза, красная шелковая подкладка, пуговицы с вензелем *Ivy League* — и тихонько вышел в прихожую.

Там еле успел скрыться за пальто, громоздящимися на вешалке, от идущей из кухни Гали, вот уж чего не хотелось, так это прощаться, схватил свой муттон, выскочил на лестничную площадку, еле прикрыв за собою дверь...

В этой квартире я был в первый и последний раз, подумал он.

Пятый трамвай пришел промерзшим до звона, на полу грязная жижа застыла серо-рыжим льдом. Подмостив между мерзнувшей в дакроне задницей и обжигающе холодными рейками сиденья длинную цигейку в два слоя, он сел недалеко от кондуктора и стал думать о своей непохожести на нормальных людей — ну, вроде Белого, например.

Глава вторая. Обстоятельства

Лето пятьдесят седьмого года было сумасшедшим.

Начались выпускные экзамены. Он шел на серебряную медаль, предлагали пересдать географию, тогда речь могла бы идти о золотой, но он плюнул на все преимущества и получил таки серебро вместе с первым разрядом по баскетболу — успел поиграть в юношеском первенстве Москвы. А пересдавать ничего не стал, хорошо хоть, что не получал еще четверок на экзаменах, потому что было не до учебы: умирал дядя Петя.

Однажды дядька пришел с работы, не стал ужинать, сказал, что очень болит голова, настолько, что говорил с трудом, почти не разжимая губ, а утром не встал, отнялась вся правая половина, сипел неразборчиво, из угла рта тянулась тонкая бесконечная струйка слюны. Приезжала «скорая», но в Боткинскую не взяли, сказали, что нужен просто уход.

Стала по три раза в день приходиться Фаина Сафидулина, сама сильно состарившаяся, седая, иногда ей помогала Бирюза, работавшая уже нянкой в детсаду, иногда приходил еще и Фарид, после ремесленного тоже уже работавший, на «Серпе и молоте» в формовке, все вчетвером приподнимали дядю Петю и быстро перестилали простыни. Хозяйство полностью вела Фаина — варила, кормила дядю, помогала поесть матери, которая совсем уже не видела ничего, потом стирала и убирала. Платили из денег, которые дядя Петя принес в по-

следний раз, — их было много, почти полный портфель пачек.

И при этом надо было сдавать экзамены, и кончать без медали было никак нельзя: с характеристикой, которая ожидала главного в школе стилигу, имевшего уже и милицейский привод за приставания к иностранцам, даже наличие медали совсем не гарантировало поступление, а уж на общих основаниях поступить было совсем нереально, а он решительно собирался на мехмат, это было самым солидным после физтеха, но на физтех, собрание гениев, джазовых музыкантов и почти признанных поэтов, он даже не замахивался.

Сдал нормально, схитрил только один раз: тему сочинения взял свободную и переписал тренировочное предэкзаменационное, пронесенное под рубашкой, — «Изображение высшего дворянского общества в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина»: уже знал, что осуждение Анны Аркадьевны за супружескую неверность хоть и бездушному, но страдающему чиновнику и ее увлечение пустым и жестоким (сломанная спина Фру-Фру) офицериком сойдет, а знаки препинания зато были расставлены наверняка — и получил 5/5, и за раскрытие темы, и за русский.

Остальные экзамены проскочили вообще незаметно, на выпускном вечере, разбредясь по пустым классам, пили почти открыто с учителями, математик Миня напился, плакал, и его увели члены родительского комитета. Потом пошли на Красную площадь, там какой-то парень, наверное, из консерваторской школы, здорово играл на аккордеоне из репертуара Монтана, все танцевали вальс, девочки берегли от брусчатки белые туфли.

А когда он вернулся ранним утром, дядя умирал.

В комнате толпились все Сафидуллины, было еще несколько незнакомых мужчин из дядиной мастерской, врач складывал в баул металлические коробочки, собираясь уходить, в комнате витал едкий спиртовой запах. Мать сидела возле изголовья дядиной кровати на стуле, рука ее лежала на пожелтевшем, ставшем за несколько дней как бы костяным дядином лбу, глаза ее были широко раскрыты и смотрели в стену. Она не плакала.

На похоронах было много народу, незнакомые люди, пожилые дядьки в дорогих темных костюмах и толстые женщины

в шелковых черных шаях, покрывающих волосы, с большими белыми цветами в руках, с трудом втискивались в узкие дорожки между могильными оградами. Светило над Ваганьковом яркое солнце, плыли редкие, растрепанные, словно нащипанные из марли облака. Он поддерживал мать с одной стороны, с другой ее держал под руку худой мужчина, так сильно щурившийся от солнца, что у него приподнималась верхняя губа и обнажались сплошь стальные зубы. Ахмед, сильно сгорбившийся и оттого ставший еще кряжистей и крепче на вид, Фарид, Колька, сильно повзрослевший и ставший копией отца Руслан, тоненький и напрягавшийся изо всех сил, и еще несколько, сменяясь, несли странно маленький гроб. А Фаина с девочками осталась дома — готовить к поминкам стол.

Следующим утром он проснулся и не сразу вспомнил, что дядю похоронили, а когда вспомнил, заплакал — пожалуй, это были последние его детские слезы.

Потом он готовился к собеседованию и экзаменам — с серебряной сдавали только два, ходил в школу получать характеристику, из которой узнал, что склонен к индивидуализму и противопоставлению себя коллективу, но активен и упорен в учебе, стоял в очереди за справкой по форме двести восемьдесят шесть в поликлинике... И поступил — несмотря на характеристику, поскольку собеседовали с ним почему-то в основном о литературе, и он показал прекрасное, далеко выходящее за школьную программу знание творчества и Федора Гладкова, и Петра Павленко, и даже Веры Пановой, а оба экзамена сдал на пятерки.

И тут все совсем закружилось, потому что начался фестиваль, и некогда было даже толком порадоваться поступлению, а надо было носиться из конца в конец Москвы, чтобы увидеть все и успеть всюду. Он слушал джаз римских адвокатов и ансамбль каких-то смешных английских ребят, один из которых вместо контрабаса играл на бочке с натянутой струной, он познакомился с целой компанией польских девушек, от которых к вечеру осталась только Софья, Зошья, с нею пошли в Сокольники и там, среди каких-то деревенских домиков и лугов, она прижалась спиной к дереву, потом сползла, стекла вниз, и он впервые испытал мучительное, стягивающее все

тело к низу живота прикосновение женских губ, алчность рта и еле удержался, чтобы не упасть рядом с нею на теплую траву, не покатиться, выгибаясь и дергаясь. Назавтра она уехала со всей польской делегацией, он хотел прийти на Белорусский, но проспал, а потом встретился с Женькой Белоцерковским, и они вместе помчались на митинг за свободу Африки, там гремели тамтамы и трясли откляченными, обернутыми лилово-зелеными платками задницами самые недостижимые, коричнево-синие, за прикосновение к любой из них он все отдал бы.

А вечером достал из почтового ящика письмо от Нины и испытал такую оглушающую, невыносимую тоску, что сразу забыл и фестиваль, и негритянок, и жадную Зоцьку.

Нина так и жила в Одессе, отца ее перевели туда же, он послужил немного в морских строителях, в порту, а потом — неизвестно, как ему это удалось — из армии ушел и теперь преподавал в институте. Нинина мать все время болела, не было ничего серьезного, просто лежала в больнице, а в промежутках ездила на толкучий рынок, где покупала — офицерская пенсия Бурлакова, а он выслужил все двадцать пять лет, поскольку пришел в армию через среднее училище, и его же преподавательская зарплата позволяли тратить много — все самое модное, что привозили китобои. Когда флотилия «Слава» возвращалась с промысла, на толкучке можно было купить буквально все, и однажды Нина прислала ему в подарок две пары совершенно безразмерных, облепляющих ногу, как резина, носков.

Теперь Нина писала, что поступила в педагогический, как и собиралась, на романо-германский, пока отдыхает, живут по-прежнему на шестнадцатой станции Фонтана, только переехали в квартиру побольше, и он может приехать, отдохнуть до сентября, если хочет, конечно, ему уже нашли комнату в частном доме у знакомых, сможет снять недорого, будут вместе ходить на море и в парк на танцы, там играет ансамбль из кораблестроительного, она не очень понимает, но похоже на настоящий джаз, а один мальчик поет по-английски хрипло, как негр.

Он не спал полночи, придумывал, как оставить мать и съездить, как раз до начала занятий две недели с неболь-

шим. А утром все удалось решить: покормил мать завтраком, она с интересом слушала его рассказы о фестивале, но выражение широко раскрытых, глядящих в противоположную стену глаз не менялось, оно так навсегда и застыло презрительно удивленным. Убирая посуду, рассказал о Нинином письме и приглашении, и вместе вполне спокойно решили договориться с Фаиной, чтобы она приходила утром и вечером, а днем мать вполне сможет сама дойти до кухни и уборной. Главное — чтобы Фаина, уходя утром, не забыла включить радио, без которого мать действительно не могла жить, а вечером не забыла его выключить, но включить свет над постелью, без которого мать не могла спать, она чувствовала свет лицом.

Забегал к Сафидуллиным, Фаина согласилась без разговоров, встретился с Женькой, понеслись по делам.

А дела были важнейшие: Женька придумал план, а он, как лучше знающий английский, должен был этот план осуществить, и в случае удачи результат мог стать колоссальным. Это было самое модное слово — «колоссально». Все было колоссальным: и погода, и настроение, и перспектива поездки к Нине, и воспоминания о польских девушках, и Женькин план невероятного и мгновенного обогащения.

План был прост, но рискован, к тому же требовал первоначальных вложений, которые, если идея не осуществится, пропадут. В Пресненском мосторге накануне купили несколько пар черных, из грубого шевиота москвошвеевских брюк, столько же толстых пикейных белых рубашек и шелковых пионерских галстуков. Продавщицы не удивлялись, принимая объяснение относительно экипировки вожатых целого пионерлагеря. Ради пущей достоверности просили копии чеков. Деньги в сумме потратили немалые, он выложил все, что скопилось едва ли не за полгода от всяких мелких операций, и даже взял немного из хозяйственных, оставшихся от дяди, Женька дал еще больше.

Все купленное спрятали у него дома, просто положили в шкаф в дядькиной комнате, в который Фаина никогда не заглядывала.

И вот теперь наступал второй, наиболее ответственный этап дела. Поехали на Ленинские горы, пошли к университету — и повезло невероятно, почти сразу же обнаружили тро-

их негров, пляшущихся на высотку, задрал лоснящиеся лиловые лица. Неподалеку толклись двое вполне бригадмильского, а то и посерьезней вида, но он и Женька по одежде сами вполне могли сойти если не за настоящих иностранцев, то за демократов, двое прислушивались к его английскому, но он говорил негромко и очень быстро, собрав все, что знал, и двое успокоились, справедливо решив, что советский человек так по-иностранному шпарить не может.

Между тем негры оказались самыми что ни есть перво-сортными: штатниками из какой-то их организации вроде пионерской, в которой они действительно были вроде вожатых. Поняв это, Женька изобразил бурную — тем более убедительную, что для нее был реальный повод — радость. Представились коллегами-пионервожатыми, пригласили веселых жертв американского расизма в гости к белым представителям демократической молодежи, негры немедленно приглашение приняли.

Пока двое в штатском хлопали глазами и запоздало дергались, все уже произошло: Женька немедленно поймал такси, втиснулись, несмотря на протесты водителя, впятером, доехали до центра, там для конспирации пошли в метро, проехали две остановки. Негры охали и пытались фотографировать, но он успевал их остановить, придумав объяснение, что в СССР фотографировать под землей не принято — еще не хватало неприятностей с бдительными гражданами, и так все косились.

Возле дома и во дворе было пусто, как по заказу. Расположились на кухне, матери, сидевшей, как всегда, в комнате у окна, он сказал почти правду — познакомились с симпатичными ребятами из Африки (про Америку сказать не решился), вот хорошая практика в английском, все это проходит как первое поручение университетского комсомола.

Между тем Женька на кухне уже вскрыл шпроты, открыл бутылку водки и бутылку «Трех семерок» для надежности. Негры от шпротов потеряли всякое приличие, мгновенно слопали две банки, водку пили мелкими глотками, от портвейна кривились, но пили тоже, принимая всерьез утверждение, что советских хозяев можно насмерть обидеть, отказавшись пить до дна. Ду нот инсалт ми, твердил

он, подливая в стаканы липкое вино, ит ис анполайд, плис, дринк ту зе боттом.

Через час негры были готовы и переодеты. Женька научил их пионерскому салюту и словам «будь готов — всегда готов». В сумерках их удалось незаметно вывести на улицу, только одна старуха с пятого этажа, увидев в темноте подъезда пионервожатых, еле стоявших на ногах и без лиц, шарахнулась в ужасе. Женька опять легко поймал такси, дал шоферу сразу вдвое, и тот согласился отвезти уже начинавших трезветь чернокожих пионеров к университету. «Победа» развернулась и умчалась, мигая задними фонарями. «Песню дружбы запеваает молодежь», — задумчиво сказал Женька, и они пошли домой подсчитывать прибыль.

Рубашки и майки особой ценности не представляли, но джинсы *Lee*, в палец толщиной брезентовые штаны, с медными молниями в ширинках и заклепками по углам карманов, синие с лицевой и непонятным образом белые с внутренней стороны! Три пары таких штанов вместе тянули как минимум на тысячу рублей, и Женька знал парня, который всю одежду купил бы хоть сейчас, позвонить — и примчится с деньгами. Конечно, можно было бы оставить штаны себе, но у Женьки джинсы уже были, причем тоже *Lee*, что же до него, то он надеть такой вызов в институт не решился бы, на первом курсе выпендриваться еще не стоило. Да и, главное, деньги были нужны.

Им удалось проделать такое еще дважды: с парой итальянцев, от которых остались потрясающие летние пиджаки — он тогда впервые увидел пиджаки из толстого шелка — и с двумя датскими девушками, которые, хотя и были в дупель, все же в полном соответствии со своей датской сущностью очень удивились, что все ограничилось переодеванием — долго стояли посреди кухни в узких трусиках и лифчиках и хохотали, когда здоровые русские молодые люди помогали им побыстрее натянуть черные мужские штаны.

По Москве поползла легенда, и они прекратили деятельность — тем более что первоначальный план, ограниченный восьмью закупленными в Мосторге пионерскими комплектами, был практически выполнен. Фестиваль торжественно завершился. Непрестанно напевая «эту песню не задушишь,

не убьешь», Женька созванивался, в прихожей шли короткие переговоры, осматривался товар — и в результате к концу недели они получили деньги, которые, даже по Женькиным меркам, были фантастическими. Вся одежда — не стиранная, пахнувшая заграничным молодым потом — была раскуплена на корню, потом — как выяснилось во время случайных встреч — еще не раз сменила хозяев, а пока в их карманах оставила несколько тысяч.

Женька уехал в Коктебель, а он, еще раз обо всем договорившись с Фаиной, взял билет на самолет в Одессу и через четыре часа уже шел навстречу Нине, бежавшей к нему от огорды летного поля.

Был август пятьдесят седьмого года, черными приморскими ночами они вдавливались друг в друга на скамейках маленького парка на шестнадцатой станции, в ресторане неподалеку оркестр шпарил «Маленький цветок» и «Бабочку и пчелу», а он все не решался дойти до конца, потому что твердо знал, что уже скоро они поженятся и поэтому с нею нельзя, как с другими. Он искренне верил в это. Поздно ночью они приходили на маленький каменистый пляж, и там продолжались муки не доходившей до конца любви, они терзали друг друга, в кожу впивалась, впаивалась мелкая черная галька, утром ее приходилось отковыривать, она оставалась на простыне, он, таясь от хозяйки комнаты, хорошей знакомой и даже какой-то дальней родственницы Бурлаковых, стирал свои трусы, липкие, как в детстве, и надевал отжатыми, но еще мокрыми — досушивать на теле.

Так прошло лето пятьдесят седьмого, безумное, определившее всю его предстоящую жизнь. В пятьдесят девятом, во время американской выставки, они с Женькой провернули дело с уведенными со стендов — тащили специально нанятые мальчишки — книгами, это уже были десятки тысяч, и он, уже давно кормивший себя и мать мелкой торговлей, имел дела со всеми продавцами главных комиссионок, они придерживали для него фирменные шмотки, он сбывал своей клиентуре, в парке перед университетом мечтательные пижоны из богатых семей ждали его часами, в месяц набегало тысячи две — теперь он почувствовал себя действительно богатым.

Осенью шестидесятого они с Ниной поженились, она переехала в Ленинский пед, с трудностями, но не очень большими: во-первых, в Одессе она была отличницей с повышенной стипендией, во-вторых, помог отец одного из его клиентов, мелкокостного паренька с истфака, которому он нашел джинсы *Levi's* редкого, двадцать восьмого американского размера, к тому же редчайшую, на большого ценителя историческую модель 501 — на пуговицах, и парень не слез с бати, служившего в Моссовете, пока Нину не зачислили в Ленинский — с потерей курса, правда.

Он по-прежнему, как в школе, был глубоко убежден, что девчонки красивей Нины не бывает, но это не мешало ему совершенно без угрызений совести продолжать ночевки в общежитии и на хатах, он никак не связывал эти развлечения со своим отношением к Нине, спокойно придумывая всякие небылицы. А Нина, выше головы занятая учебой — в Ленинском поддерживать репутацию отличницы было куда тяжелее, чем в одесском пед — и уходом за Марией Ильиничной, как она с первого дня называла свекровь, то ли делала вид, что верит, то ли действительно верила, что он ночует у друзей, а вечерами зарабатывает деньги, то ли просто не придавала всей этой чепухе значения, как и он.

Когда же они проводили очередную ночь вместе, все остальное теряло значение и смысл — они вставали утром истерзанные, пустые и настолько перетекшие друг в друга, что весь остальной мир не существовал. Только на мать он старался не смотреть, хотя ночью они, чтобы Мария Ильинична не слышала, обычно тихонько перетаскивали матрац на кухню и там, на полу, мучались и задавленно рычали.

Впрочем, время от времени Нина как бы приходила в себя и начинала бунтовать — помимо всего прочего, ее бесил характер свекрови, целыми днями молчавшей и глядевшей на нее презрительно. Она понимала, что мать глядит в пустоту, но ничего не могла с собой поделать. Иногда, когда Мария Ильинична за сутки не говорила ей ни слова, а он сутками же где-то шаялся, Нина начинала собирать вещи — объявляла, что возвращается в Одессу. Но родителям не звонила, долго возилась с чемоданом, а к его приходу остывала, и дело исчерпывалось затрепачиванием — впрочем, несильной, скорее, это бы-

ла шутка, и ночью она начинала с того, что вылизывала его оскорбленную ударом щеку.

В его дела мать и Нина не вникали, а он старательно скрывал от них способ своего заработка — пожалуй, не менее старательно, чем свои похождения с девицами. Считалось, что он подрабатывает лаборантом на кафедре и грузчиком в овощном, время от времени репетиторствует, а иногда, отправляясь на очередное веселье, он брал с собой телогрейку и старые шаровары в чемоданчике — объявлял, что едет разгружать вагоны на товарную станцию. Наутро возвращался соответственно бледным и обессиленным.

А учился между делом, сессии старался сдать досрочно и сдавал всегда без троек — память была отличная, учебники и конспекты запоминал с одного прочтения целыми страницами — правда, на следующий день после экзаменов забывал все и навсегда.

Так прошло время до четвертого курса. Летом у Нины был выкидыш, она стала чаще раздражаться и грозить уходом. Мать по-прежнему сидела у окна, только все больше горбилась, будто сил сидеть прямо не стало, и ее широко открытые глаза презрительно глядели в подоконник. Женька, ни в каком институте подолгу не задерживаясь, всякую учебу наконец бросил и работал — отцов друг устроил — в дэка Зуева администратором. Армия ему не светила — с плоскостопием ему повезло таким, с которым даже в стройбат не брали, из-за этого у него были проблемы и с обувью — не мог носить ничего, кроме американских полуботинок, «с разговорами», на широкую миллионерскую ногу сделанных, с круглыми не по моде, но стильными носами, если набегал на такие, брал за любые деньги.

Там, в Зуева, на каком-то вечере и познакомился Белый с Витькой Головачевым, стильным, но очень странным парнем.

Во-первых, сразу после окончания центральной, знаменитой московской школы — где был звездой вечеров и проклятием учителей, а исключить его было нельзя, бабка его была старым большевиком, ее, естественно, реабилитировали и постоянно приглашали на торжественные мероприятия, — он получил срок. Бабка не сумела ни отвлечь внука от фарцовки,

которой он занялся одним из первых в Москве, еще совсем мальчишкой, ни уберечь от тюрьмы, в которую его привел размах деятельности: продал чего-то сыну прокурора, у того не хватило денег, попросил у отца — и закрутилось. А бабка как раз тут померла. И Витька поехал добывать «зеленое золото» для страны, а потом еще и оттянул два года «на химии» — на строительстве гигантского химкомбината, сдавал досрочно гордость пятилетки.

Во-вторых, вернувшись, он что-то быстро сообразил, поступил неведомым образом в специальное училище и стал зубным техником. Деньги начал зарабатывать почти сразу огромные и все их тратил на фирменные шмотки, в которых разбирался до тонкостей, лучше всех. Родителей у него не было, от бабки остались две большие комнаты в коммуналке на Чистых прудах. Комнаты были битком набиты костюмами и пальто, которые он хранил в развешанных на гвоздях по стенам полотняных мешках — в бабкиных шкафах не помещались. И больше не интересовался ничем, даже в джазе ничего не понимал, выпивал, как все, с девочками не связывался — только иногда, зайдя к нему неожиданно, можно было обнаружить досыпающую после ночи немолодую, всегда за тридцать, толстую, по виду — буфетчицу или продавщицу. Такой у Витьки был вкус, и он его, естественно, не афишировал и в компании ни с какой из своих дам никогда не появлялся.

В-третьих, в фарцовочных делах он никогда не участвовал с целью перепродажи, только скупал все стоящее, причем с друзьями долго торговался, но, сторговавшись, платил сразу все до копейки — никогда никому не бывал должен и в долг не давал. А над заработком Белого и приобретенных через него друзей посмеивался, называя их крохоборами и тряпичниками. И, судя по его образу жизни, имел для этого основания: деньги зарабатывал своим зубоделанием такие, какие ребятам и не снились, вероятно, сговорившись с парой хорошо знакомых зубных врачей, подпольно работал по золоту, не страшась новой статьи.

...Размышляя о своих друзьях и своей жизни, которая так сильно отличалась от жизни и Белого, и Витьки, и даже Киреева, только недавно — после переезда с родителями

в Одинцово, куда с большим повышением перевели дослуживать его отца — начавшего осваивать Москву и уже неплохо ее освоившего, он мерз в трамвае, дремал, просыпался и все думал, почему же он так зависим от Нины и от матери, почему ни в какой компании не может ни на минуту забыть о них начисто, а друзья вот живут как-то отдельно от своих семей, ничем и ни с кем вроде бы не связанные, и все у них хорошо, и не надо придумывать ложь и терпеть скандалы.

Глава третья. Семья

— Ты совершенно потерял совесть, — сказала мать. — Почему ты можешь развлекаться, пьянствовать со своим Белоцерковским, а мы с Ниной должны платить за твои удовольствия бессонными ночами?

Мать терпеть не могла Женьку и считала, что именно он оказывает дурное влияние на сына. Когда-то, в школьные времена, она считала, что дурно влияет Киреев, но теперь с ним примирилась и всю неприязнь перенесла на Женьку. Возможно, это объяснялось тем, что его она никогда не видела, а Киреев был знаком, остался в ее памяти вечно сопливым красноносым мальчишкой, и в его опасность она поверить не могла, а Женька был непонятен и потому вредоносен. Про Головачева он инстинктивно старался вообще никогда не упоминать дома, поэтому Витькино имя в скандалах не фигурировало.

Нина в разговоре не участвовала, сидела, закрывшись, в дядипетинной комнате. Это означало, что ей и без выяснения отношений все ясно и она просто стесняется при свекрови сказать правду.

— Мам, — он говорил убедительно, но большого старания не вкладывал, — мам, ну какое пьянство? Ну, выпили немного там, на Генкиной даче, если совсем не пить, околеть можно, потом засиделись с курсовой, в четверг сдавать, а у нас еще конь не валялся, а потом электрички...

Генкина дача уже не раз возникала в его легендах, и эти повторения, на его взгляд, придавали рассказам убедительности — ну, привыкли мальчишки заниматься на даче, где

спокойно и ничто не отвлекает... Дача Генки Александрова, профессорского сына и внука академика, серьезного отличника с уже очевидным научным будущим, действительно существовала, но он там был только однажды, на дне рождения со всей группой, а с самим Генкой не то чтобы не дружил, но и разговаривал-то редко — слишком разные были интересы. Поэтому он и был удобен для вранья — существовал, но вдалеке.

— Я больше не хочу с тобой разговаривать, — сказала мать. — В конце концов ты вполне взрослый, женатый человек, и тебя самого должны беспокоить твои отношения с Ниной. Что ты обо мне никогда не думаешь, мне уже давно ясно, и я надеюсь только на одно...

Он быстро встал, обнял мать и осторожно прикрыл ее рот рукой, чтобы не слышать то, что должно было последовать. Мать не отстранилась, но и не прижалась к нему, и не поцеловала едва ощутимо его ладонь, как бывало еще недавно. Она просто замолчала и сидела неподвижно, закрыв обычно широко раскрытые глаза, сгорбившись в своем кресле у окна.

В дядипетинной комнате, которая теперь была их с Ниной спальней, но по-прежнему называлась дядипетинной, он увидел наконец после двухдневной разлуки жену. Нина лежала в постели, повернувшись лицом к стене и накрывшись почти с головой толстым стеганым китайским одеялом в красивом, с прошивами пододеяльнике, подаренном на свадьбу Сафидуллиными. Когда он вошел, Нина не пошевелилась.

— Нинк, ну... Кончай, серьезно... — Он присел на край тахты и потянул угол одеяла, но она вцепилась, потянула к себе, сползла с подушки и зарылась под одеяло еще глубже. — Ну, перестань ты... Я, честное слово, не мог позвонить, там все автоматы сломаны...

— Оставь меня в покое, я не спала всю ночь, — неразборчиво сказала она из-под одеяла. — Иди, гуляй дальше, еще не всех московских проституток пере...

Он ударил кулаком по подушке рядом с ее головой, чтобы она замолчала. Он не переносил, когда она материлась, а в последнее время это случалось в скандалах все чаще.

Она отшвырнула одеяло и села. Он увидел, что она совершенно одета — в таком же, как у всех модных женщин, шерстяном сарафане на молнии с большим кольцом замка и в тонком свитере с высоким воротом. И сшит сарафан был у той же портнихи, в Сокольниках, где шили Вика и Лиля.

— Я нашла телефон Генки и позвонила ему, — сказала Нина, глядя ему прямо в глаза, и он, конечно, отвел взгляд. Лицо его жены опухло от слез, прекрасных ее светло-коричневых глаз почти не было видно за набрякшими, черными от размазанных теней веками. Ему стало жалко ее, но за то, что было минувшей ночью, он не стыдился, а просто жалел Нину, как жалел бы, если б она ушиблась или обожглась.

Нина вылезла из постели, и он увидел, что она в толстых шерстяных норвежских чулках, которые он купил ей в прошлом месяце у одной знакомой девчонки, которую постоянно можно было встретить в Столешниковом с сумкой женского барахла в руках. Нина стояла перед ним, чуть расставив ноги и сложив руки на груди, в скандальной позе она была очень похожа на свою мать. Она не надела тапочек, и вид ее маленьких ступней в темных чулках, выделяющихся на светлом паркете, совсем расстроил его.

— Я уезжаю в Одессу, — сказала Нина, и он тут же увидел ее большой чемодан, стоявший на столе, с которого были сброшены на пол книги и конспекты. Чемодан был раскрыт, в нем высокой кучей громоздились вещи, и было件нятно, что закрыть чемодан невозможно.

Он начал что-то плести о том, что на самом деле просто пили у Женьки, но он не хотел говорить об этом матери, которая Белого не переваривает, выпили, конечно, много, и он неожиданно заснул, а потом, когда проснулся, было уже поздно, а все продолжали пить, и он решил не звонить ночью, потому что тоже выпил еще и был уже пьяный, иначе бы обязательно позвонил, были только ребята, отмечали уход Киреева от родителей, он очень виноват...

С последними словами он потянулся к ней, все еще стоявшей перед ним в скандальной позе, чтобы обнять ее и потащить в постель, где все решилось бы просто, но она отскочила к столу, наклонилась, взяла с полу огромный том «Введения в теорию функций комплексного переменного» Федосее-

ва и изо всех сил запустила книгой в него. Кирпич просвистел мимо его виска, врезался в стену, порвав обои и вывернув из-под них старые газеты, и развалился на две части, теряя отдельные страницы. Страницы с конформными отображениями полетели по комнате. Он вскочил с тахты, подбежал к ней и обнял, прижав ее руки к телу. Она выворачивалась и шипела, она плюнула ему в лицо, и брызги слюны долетели, она заплакала и ослабела.

— Дура, — сказал он, — ты что, с ума сошла? Попала б в висок — убила бы...

— Я тебя все равно убью, — сказала она, — сволочь, бабник, блядун...

А он уже расстегивал на ней сарафан, стаскивал с себя одежду и при этом, не выпуская ее, двигался, будто в танце, к постели, в ее трусах лопнула резинка, и он стряхнул их на пол, сбросил на пол и одеяло и, не разжимая рук, повалился на простыню вместе с нею, она помогла ему, он застонал — ее волосок попал и резал — и, не обращая ни на что внимания, впился в нее до конца, до упора, приподнялся на руках, прогнув спину и упершись взглядом в порванные обои, но уже не видя их, и изо всех сил ударил ее бедрами и ударил снова, и она двинулась ему навстречу, словно пытаясь сбросить его, глаза ее были закрыты, веки в черно-зеленых разводах краски вздрагивали при каждом ударе, а он все колотил, словно взбесившаяся машина, потом он опустился, оперся на локти, подсунул ладони под ее поясницу и приподнял ее, так что проник еще глубже, она тихо завывала, вырвалась, соскользнула, перевернулась спиной вверх и встала на четвереньки, вытянув вперед руки, ухватившись за спинку тахты, прижавшись щекой к подушке, и он почти сразу попал снова, помогая себе одной рукой, и крепко ухватил ее за верх бедер, за те места, где тело резко расширялось от талии, и снова принялся колотиться об нее, толкая ее вперед, а она упиралась изо всех сил в спинку тахты и двигалась назад и вдруг, едва не искалечив его, снова перевернулась на спину, не дав ему выйти, он повалился на нее, придавил, продолжая проникать раз за разом все легче и быстрее, быстрее, быстрее, и, наконец, его подбросила судорога, он затрясся, провисел секунду в воздухе, опираясь

на полностью распрямленные руки, — и рухнул на нее, заплакав почти в голос.

Сколько прошло времени, они не знали. Он еле встал, прошлепал к столу, где оставил свой золоченый плоский «Полет», купленный наконец в прошлом месяце дефицит, — он успел снять часы, чтобы не оцарапать ее пряжкой ремешка. Оказалось, что время идет к ужину. Нина надела халат, пошла на кухню готовить, спустя несколько минут вышел в большую комнату и он. Мать сидела у окна, за которым было черное небо, чуть отсвечивающее золотом от столпившихся у нижнего края рамы городских огней, и смотрела в темноту. Когда он вышел, мать не обернулась.

— Пойдем ужинать, мам, — сказал он.

Мать молча встала и, перебирая руками по спинкам стульев и поверхности стола, потом нащупав в воздухе край приоткрытой двери, двинулась на кухню. Он взял ее за руку и повел.

— Ты рискуешь, — сказала мать, — молодость пройдет, а обида у Нины останется. Ты рискуешь сломать жизнь себе и ей. Ради чего?

Он промолчал.

Ужинали гречневой кашей, гречку Нина случайно купила — набежала, когда еще не было очереди, и стала первой — в каком-то малоизвестном продуктовом возле своего института, и готовыми котлетами по двенадцать копеек, микояновскими. А любимую матерью свежую докторскую колбасу теперь не всегда можно было застать даже в Елисейском. Потом пили чай с вареной сгущенкой, пять банок сгущенки принес недавно он, а ему помог достать один парень, работающий в «Диете» на Горького, которому он наконец принес давно этим пижонистым товароведом заказанную настоящую американскую махровую красную рубашку, такие теперь назывались батниками, а махровый батник был пределом желаний любого модника, даже и товароведа.

Говорили о нейтральном — о Кубе, о Кеннеди и его жене, о том, что никто почему-то не испугался войны, а ведь могло начаться, о Хрущеве, который, конечно, обделался, но молодец, что обделался вовремя. Мать понижала голос и то и дело смотрела невидящими глазами на дверь, но он успокаивал —

теперь и не такое говорят, да и нет же ведь никого в доме, а телефон далеко.

После ужина включили телевизор, «Рекорд» пошел голубыми волнами, потом появилась Гелена Великанова, но звука не было, потом появился и звук, но Великанову слушать осталась только мать, выключать телевизор она умела сама, на ощупь, а они снова пошли к себе, в дядипетину комнату, и не спали еще полночи, потом заснули, потом проснулись и снова не спали часа полтора, и у него наконец не стало сил, и окончательно проснулись они уже в одиннадцатом часу утра.

Глава четвертая. Одесса

С утра ребята приходили завтракать, приносили с собой рыночный творог и свежий хлеб, купленный по дороге в ларьке.

Завтракали в саду. Любовь Соломоновна, знакомая Бурлаковых, у которой они с Ниной поселились — несмотря на возражения и даже обиду Ниной матери, они настояли на своем, жить в бурлаковской двухкомнатной квартире, все время на глазах у родителей и Ниной младшей сестры Любки, вредной и надоедливой девчонки, не хотели, — ничего не имела против почти постоянного присутствия на участке большой молодой компании. А вечерами, если у ребят не было настроения идти гулять и располагались во дворе, она даже присаживалась вместе со всеми за длинный дощатый стол под сливой, пила сладкую «Лидию» и, когда начинали петь под киреевскую гитару, подтягивала то, что знала, или с удовольствием слушала.

После завтрака сразу шли на пляж. Белый ходил в американских военных шортах цвета хаки, вызывая сильное неодобрение местных и большой интерес располагавшейся неподалеку на пляже компании молодых грузин. Киреев, только минувшей зимой освоивший три аккорда, всюду таскал с собой гитару. Витька, на зависть грузин, даже в жару ходивший в отдающей голубым белой нейлоновой французской рубашке и спущенных низко на бедра серо-стальных дакроновых брюках — грузины сами так ходили, но откуда у москвича хорошие вещи, а? — шел, не выпуская из зубов шикарной англий-

ской трубки, которую стал курить недавно, по джазовой моде, хотя к джазу был равнодушен. А Нина не вылезала из мужской рубашки, связанной на животе по-кубински узлом, и коротких, узеньких женских — с застёжкой в левом кармане — джинсов, которые он ей купил за совершенно бешеные деньги, за тридцать пять рублей, перед самой поездкой. Продавала ненадеванными одна совершенно обнищавшая в общежитии на Ленгорах венесуэльская девушка — привезла, да как закрутилась между дешевым крымским портвейном и страстью к красавцу поляку, так и очулась в ожидании стипендии без копейки... А сам он носил сильно затертые и лоснившиеся спереди на ляжках, уже почти порвавшиеся в межножье *Super Rifle* с молниями на задних карманах и махровую желтую рубашку с короткими рукавами и короткой планочкой на груди, купленную уже здесь, на толчке.

На пляже располагались у большого камня, ели длинный зеленый виноград «пальчики», пили сладкое вино «Гратиешты», вяло играли в покер. Загорели все уже до синеватого отлива, только он немного отставал, потому что сгорел в первый же день, потом мазался простоквашей, страдал ночами и почти неделю сидел на пляже, укрыв плечи полотенцем. Белый и Витька выпендривались в нырянии с камней и плавании за горизонт перед несколькими местными девицами, сбегавшими на пляж с учительской практики, которую они проходили вожатными в соседнем пионерлагере, и перед почти не умеющими плавать волосатыми грузинами. Пели Визбора, Окуджаву и несколько блатных песен. Грузины и девушки подбирались поближе, слушали восхищенно, Киреев, довольно прилично, с хорошим, не чрезмерным надрывом солировавший в «Смоленской дороге», сиял от внимания всеми веснушками и красным даже сквозь загар носом. Иногда на пляже их находила Любка, гордо садилась рядом с Ниной, как бы член компании.

Обедали в шашлычной в парке, один короткий деревянный шампур шашлыка стоил там сорок копеек, порция плова — двадцать шесть, стакан разливного сухого — двадцать. Иногда к обеду брали в магазине бутылку самого дешевого коньяка за четыре двенадцать, три звездочки местного разлива, быстро выпивали компот, Нина сбрасывала раскисшие сухо-

фрукты из всех стаканов в стоявший у входа на веранду мусорный бак, а Витька под столом виртуозно, поровну до миллиметра, наполнял эти граненые стаканы едко желтой жидкостью, слегка отдававшей аптекой.

После обеда на пляж, как правило, не возвращались — солнце шпарило слишком мощно. Садись в открытый — с дачными перильцами вместо стен — трамвай и ехали с шестнадцатой станции в город гулять. На Дерibasовской пили турецкий кофе в микроскопическом фанерном буфетике, где над противнями с песком и медными джезвами медленно хлопотал бритоголовый огромный абхазец. Он уже знал компанию и приветствовал ее кивком. Заметили модных москвичей и местные молодые люди, толпившиеся с чашечками вокруг фанерной будки, Витька и Белый уже свели с некоторыми из них небесполезные знакомства — узнали, когда точно приходит флотилия «Слава», до какого упора есть смысл торговаться на толчке и что у кого там можно найти.

Падал вечер. В синем густом воздухе запахи, не смешиваясь, шли волнами — кофе, цветы, легкая морская гнильца, духи «Камелия» и «Красная Москва», чистый южный пот...

Возвращались в набитом битком трамвае, пропихивали внутрь Нину, а сами висели снаружи, держась за деревянные перильца, кондукторша возмущалась — «это ж хулиганы, а не люди» — и более никаких мер не принимала. Вокруг была чернота, в лицо дул еще полный закатного жара ветер, надо было уклоняться от веток, вывешивавшихся из-за заборов, за которыми чернели в окружающей черноте сады. Далеко впереди возникало сияние, оно приближалось, и встречный трамвай, таща за собой скрежет и звон, пронесся мимо, словно завершавшийся день.

Иногда ему казалось, что рядом с ним летит кто-то еще, кто видит все со стороны — трамвай, ветки, Нину в глубине вагонной толчеи, ребят — и смотрит на все это с завистью. Он понимал, что завидовать есть чему, что вместе с этим неостывшим ветром его обдувает счастьем, но еще не знал, как назвать того, кто наблюдает за его жизнью, и считал, что просто сам раздваивается во тьме.

На шестнадцатой станции ребята отправлялись на танцплощадку. В парке, рядом с шашлычной, распространявшей раз-

гульный дух горелого мяса, площадка уже гудела гомоном истомившейся в ожидании начала публики. Оркестр мореходки вступал сразу «Чаттанугой», Белый, Киреев и Витька ввинчивались в народ, ища вечерних радостей, а он и Нина шли в глубь парка к своей, спрятанной в кустах скамейке.

В комнате у Любви Соломоновны все было прекрасно, за исключением прорубленного для неведомых целей, выходящего в соседнюю комнату окошка, под которым как раз стояла их кровать, а через стену под ним же — кровать самой милой хозяйки. Так что в постели можно было только спать, через стенку проникал любой вздох, а панцирная сетка гремела и прогибалась почти до пола, когда он просто переворачивался со спины на бок. Перекладывание тюфяка на пол тоже пришлось исключить, поскольку однажды он заметил, как шевельнулись занавески, которыми было снабжено окошко со стороны Любви Соломоновны, но которых не было с их стороны. Так что дома можно было только поздним утром, когда хозяйка уезжала на Привоз, а в остальное время они искали более уединенных, как им казалось, мест и дошли так до ночного пляжа, где в тело снова и снова врезалась крупная галька и липли черные ракушки; до вечерней скамейки в парковых кустах, где ей приходилось просто садиться ему на колени, поэтому к вечеру она предусмотрительно снимала джинсы и надевала сшитый к лету цветастый сарафан с широкой юбкой; до какого-то пустыря на границе с пятнадцатой станцией, где росли лопухи ему по пояс и на уровне их глаз скакали кузнечики и присаживались на траву стрекозы и капустницы, а дневное солнце жгло тела; до комнаты, которую снимали у одинокого отставного китобоя ребята — они уходили втроем на пляж, а Нина и он по молчаливому согласию всех пятерых оставались на полчаса, а китобоя никогда не было дома, он сутками сидел в лодке в полукилометре от берега, ловил на перемет бычков, которые сушились потом, развешенные гирляндами вокруг всего его дома...

Силы не кончались. Лето проходило в легком головокружении и истоме, его пошатывало, когда поздней ночью они возвращались домой из парка или с пляжа после того, как им удалось четыре или пять раз за день спрятаться от людей. Загорелая, вся — волосы, глаза, кожа — отливавшая темным

золотом, Нина была красива, как никогда не была прежде, а он, бреясь у рукомойника в саду и глядя на себя в маленькое, повешенное на ветку зеркало, видел красноватое обгорелое лицо и глубоко запавшие, горевшие несколько болезненным блеском глаза, но чувствовал себя необычайно здоровым и понимал, что силы не кончатся никогда.

И при этом Нина все время устраивала ему сцены ревности. Девушки на бульваре в городе оглянулись на их компанию и засмеялись, пионервожатые на пляже слушали песни, открыв рты, какая-то ленинградка в воде заговорила с ним — все вызывало ее бешенство. И каждую минуту, стараясь, чтобы не услышали ребята, она говорила гадости, приблизив свое прелестное лицо вплотную к его лицу.

— Опять хвост распустил, — еле слышно шипела она на пляже, не переставая улыбаться и продолжая обнимать его, и он чувствовал, как ее ногти впиваются в спину, — опять готов с любой... Ты ведешь себя неприлично, — шептала она, прижимаясь к его плечу, когда компания брела вечером по Дерibasовской, — не крути головой за каждой задницей, перед ребятами неудобно...

Однажды прямо на пляже она ударила его, неловко заехала кулаком почти в глаз, он еле успел увернуться, а то ходил бы с фингалом. Ребята сделали вид, что ничего не заметили, а Нина подхватила одежду и ушла с пляжа прямо в своем шикарном шерстяном темно-красном купальнике — перед отъездом Белый добыл где-то всем шерстяные плавки с белыми пластмассовыми поясками, а Нине шерстяной же купальник необыкновенной красоты.

Но стоило им остаться вдвоем, как скандал кончился. Нина даже успевала извиниться наспех — и все исчезало, расплывалось, оставались только ее тело, сверкавшее ослепительной белизной в границах купальника, и его неутомимость, бешенство, иступление.

Забыв все свои московские похождения, он искренне недоумевал и возмущался — ни в каких его мыслях и желаниях не существовало никого, кроме Нины, и он свято верил, что так было и будет всегда. Представить себя с другой не мог.

Лето летело, дни под солнцем сливались в один, ночи томили не спадавшим даже к утру теплом.

Как-то в полдень он сидел в шашлычной один: у Нины начались месячные, и она не могла идти на пляж, осталась дома, ребята, придавив пулю камешками, резались с грузинами в преферанс, которого он не любил. Он прошелся по пустому парку, зашел в пустую забегаловку, взял стакан сухого. Совсем юный торговый морячок в белой мичманке блином и в белой форменке при черных, душных суконных штанах подсел к нему со своим стаканом.

— А я тебя с ребятами на пляже видел, — сказал морячок, они чокнулись и выпили свои стаканы до дна, и от горечи холодного молодого вина перехватило горло. — Стильные ребята. С Москвы?

— Из Москвы, — ответил он. — А ты?

— Я с Кировограда сам, здесь учусь в мореходном. Еще возьмем?

Взяли еще по стакану, выпили по половине.

— И девушка у тебя красивая, — продолжил морячок, — тоже с Москвы? Сразу видно по волосам. Здесь тоже красивых будь здоров, но все черные...

— Это не девушка, — ответил он, — это жена.

— Ну, ты даешь стране угля, мелкого, но много! — удивился морячок. — Ты чего ж женился такой молодой? А гулять?

— Я и так гуляю, — неожиданно откровенно ответил он, — как хочу...

— Это ты зря, — строго сказал морячок. — Во-первых, она у тебя красивая, а будешь ты гулять — и она начнет, это точно. Во-вторых, от жены вообще гулять не надо, нехорошо. А если принесешь ей подарок? Вон у нас в экипаже один подхватил на конец, уколы теперь ему ставят... Не, я рано не женюсь. Отгуляю свое, в море похожу, потом в порт переведусь, чтобы одну не оставлять, тогда и возьму, лет в тридцать пять...

— Разумный ты... — Он вздохнул. — Откуда только такие разумные берутся... А я, видно, так дураком и останусь.

— А я сирота... — Морячок ответил серьезно и со спокойным достоинством. — Детдомовский. Как у меня родных нет, так мне специальное разрешение давали в мореходное по-

ступать, с условием только на каботажа, на берегу-то никто не остается, какая может быть загранка... Сирота я, приходится умным быть, понял?

— Понял, — ответил он и вдруг неожиданно для себя предложил: — Посидишь здесь, я за коньяком схожу?

Морячок задумался, что-то прикинул, потом кивнул.

— Если нальешь, спасибо, я стакан выпью. Только у меня рубль всего.

Но он, на ходу махнув рукой, ладно, мол, с твоим рублем, уже соскочил с веранды.

Напились они ужасно. Вернее, морячок напился, но на ногах стоял, а вот он все время пытался лечь на пол шашлычной и оттуда продолжать беседу. Пол стремительно приближался, но морячок успевал подхватить и усадить падавшего нового друга на стул. Тогда он клал на стол голову и так продолжал говорить.

Они поговорили обо всем.

Морячок делился планами — как он в море заработает, получит от пароходства комнату, купит радиолу «Ригонда» и диван-кровать, женится, родит троих детей и получит от пароходства квартиру, станет одним из самых уважаемых в порту людей — лоцманом — и получит садовый участок, и там у него будет все свое, и картошка, и яблоки, и он станет жить правильно, по-человечески. Детдом и вообще свое сиротство морячок не вспоминал вовсе.

А он говорил только о прошлом — о дяде Пете, тете Аде и Марте, о смерти отца, о том, как ослепла мать, о школе и Нине, и Кирееве, и о переезде в Москву, и о своем знакомстве с Белым, а о будущем говорил только одно — что деньги будут, потому что у него должны быть деньги, так он решил. Морячок неодобрительно качал головой, «какие ж деньги, если ты будешь инженером, в порту инженерá меньше такелажника зарабатывают», наливал себе и ему понемногу вина — после коньяка они опять перешли на вино — и опять качал головой.

Как он добрался домой, осталось неизвестно ему и всем остальным, а морячок пропал — вроде бы довел до калитки, а может, и раньше ушел. Но счастье ведет пьяных — он доб-

рался, ввалился в сад, его долго рвало, и Нина вытирала его мокрым полотенцем, а ребята предлагали налить ему еще стакан, чтобы он наконец угомонился и уснул, но Нина не дала.

Перед отъездом дважды подряд смотались на толчок, набили, так что крышки закрывали втроем, два больших чемодана, специально привезенных из Москвы пустыми.

Больше всего взяли безразмерных носков — красных, золотисто-бежевых, голубых, со звездами и зигзагами на боках, с темными, укрепленными пятками и носками, итальянских и неведомого происхождения, продавцы говорили, что греческих. Брели еще белые махровые, стремительно входившие в моду. Носки забирали у продавцов целыми партиями — в Москве их достать было почти невозможно, за гэдэеровскими выстраивались страшные очереди.

Взяли несколько упаковок трусов, которые, как уже было известно, называются слипами — белых хлопчатобумажных плавков треугольником, с ширинкой. Трусы были египетские, по слухам, проникшие на толчок не прямо из-за границы, а со склада закрытого портового распределителя, но это дела не меняло. Брели и себе, и на продажу — снимая штаны, обнаруживать семейные длинные сатиновые трусы уважающему себя человеку было уже неприлично. Некоторые, только чтобы избежать такого позора, зимой и летом носили под брюками обычные плавки с пуговицами или завязками на боку, но это было и неудобно, и не стильно.

Взяли несколько рубашек — с пяток обычных нейлоновых, которые предстояло просто сдать в комиссионку, и они в Москве улетят вдвое дороже и из-под прилавка, и для себя по одной голубой, в крапинку, оксфордской, полотняной, с пристегивающимися уголками воротничка, с петелькой-вешалкой на спине под кокеткой. Без такой в приличной компании тоже показаться нельзя, и у всех уже были, но они очень быстро состирывались до бахромы на манжетах и сгибе воротника.

Джинсы покупать не стали, было дорого, за такие деньги в Москве любые найдешь, зато накупили брюк — полотняных летних брюк, вроде китайских, светло-бежевых и серовато-белых, американского покроя — без складок у пояса, с прямыми карманами в боковых швах и с правым задним кар-

маном без пуговицы. Киреев возражал, и Витька, хотя себе купил, не советовал брать на продажу — зима идет, да и кто вообще эти штаны отличит от китайских по семь пятьдесят? Но Белый и он настояли, брюки были очень стильные и такие очевидно штатские, что понимающие люди и осенью с руками оторвут — в запас.

Там же, на барахолке, во вторую поездку познакомились с одной молодой теткой, женой китобоя, которая, увидев масштабы интересов москвичей, осторожно дала свой адрес и предложила приехать к ней назавтра, закупить все на месте.

Долго искали дом в районе Пушкинской улицы, потом стояли посреди двора, озираясь среди разнокалиберных балконов и деревянных галерей, между которым были натянуты веревки и сушились простыни и вывернутые наизнанку моряцкие штаны, пытались найти нужный вход. Наконец дамочка наша сама: легла грудью на перила одной из галерей, молча поманила рукой. Под взглядами старух, сидевших рядом с водопроводной колонкой на резной чугунной скамейке, невесть как сюда попавшей, они вошли в темный, пропахший жареной рыбой и синенькими коридор, поднялись по косой деревянной лестнице, где из-под ног шарахались кошки, вышли на галерею и оттуда уже попали в комнату.

В комнате, очевидно, была и какая-то другая мебель, но они заметили прежде всего стулья. На стульях было навалено барахло, бумажные ярлыки на витых нитках свешивались, самих стульев нельзя было разглядеть под тряпками. Комната вмещала белья и одежды не меньше, чем какой-нибудь средней руки промтоварный магазин, только одежда была другая — фирма, ничего, кроме фирмы.

Лишь один стул в комнате не был занят вещами: на нем перед небольшим квадратным столом, застеленным цветастой клеенкой нездешней красоты, сидя спал крепкий мужчина в безрукавном тельнике, длинных синих трусах и шлепанцах. А на столе стояли почти допитая бутылка водки, тонкий стакан и глубокая миска с жареной рыбой и вареной картошкой. Еще одна — пустая — бутылка стояла на полу рядом с ножкой стола.

— Отдыхают с похода, — мельком объяснила дамочка состояние мужа, и начался торг.

Они ушли от китобойши под вечер с тремя большими, тщательно укомплектованными мешками, оставив себе денег только на три дня прокорма и обратные билеты в общем вагоне. В мешках были рубашки джерси и ангорские свитера под горло, тончайшие нейлоновые водолазки и бюстгальтеры на поролоне, с мерцающими кружевами, два невесомых мужских костюма из терилена, которые не мялись, как их ни сворачивай, носки, чулки и даже колготки, которых в Москве еще толком и не видывали, но уже придумали шутку «ни дать, ни взять», ослепительно белые мужские майки с короткими рукавами, которые можно было — и самый класс! — носить с джинсами без рубашки, тряпочные туфли, похожие на полукеды, только гладкие синие и на резинках вместо шнуровки, тоже очень подходящие к джинсам, и еще французские духи, две пары японских часов, три настоящие, в мелкую клетку английские кепки, спереди пристегивающиеся к козырьку кнопкой, десяток галстуков всех цветов в косую шлагбаумную полосу...

Мешки дала хозяйка тоже необыкновенные — огромные, из тонкого пластика сумки с напечатанными на боках цветными картинками, на которых была прелестная блондинка, вроде бы когда-то виденная еще в трофейном кино, она стояла над сливной уличной решеткой, и дувший снизу ветер задирал ее юбку. Когда с этими мешками они ехали в трамвае, пялились даже привыкшие к привозимым «Славой» чудесам одеситы.

Нина в отборе принимала деятельнейшее и заинтересованное участие, кое-что отобрала для себя, но, несмотря на разговоры «почем уйдет и кто возьмет», делала вид, что не понимает, для чего это все предназначено и откуда взялись деньги — собранные, кстати, в Москве перед отъездом специально «для толчка» с большими трудами, пришлось занимать у всех подряд, кто мог дать до осени.

Перед отъездом — поезд уходил в шесть вечера — пошли на пляж пораньше. По дороге, пересчитав мелочь, завернули выпить по стакану сухого в уже дымившую шашлычную. Там встретили знакомых грузин, с утра открывавших шампанское. Чокнулись за окончание сезона, собрались идти дальше, особенно спешила поймать последнее солнце Нина. Витька мах-

нул рукой, мол, подтянусь попозже — он о чем-то тихо, но очень оживленно говорил со старшим из грузин, лысоватым и полным молодым человеком, неожиданно синие глаза которого всегда сияли теплым ласковым светом. Друзья называли его Анзори.

На пляже собирали красивую гальку, которую потом, конечно, забыли, Белый опять нырял с камней, Киреев лежал пузом кверху, закрыв глаза и шевеля губами — считал, сколько можно будет получить за барахло. Минут через сорок появился и Витька. Выглядел он еще серьезней обычного, в лице проступила холодная жесткость, которая бывала заметна в такие минуты, когда он переставал себя контролировать. Еще даже не раздевшись, Витька немедленно извлек из воды криками и размахиванием руками Белого и, вежливо, но довольно сухо извинившись перед Ниной, увел ребят за камень на краю пляжа — совещаться. За камнем он произнес речь.

— Чувачки, — сказал Витька, — вы ловите на мизере. Точнее, на говне. Вы припрете два неподъемных чемодана шмоток и будете мудохаться с ними целую зиму, пока все уйдет, и вы возьмете на этом максимум тысячу и будете довольны до усрачки. А я за полчаса договорился о деле на десять тысяч, самое меньшее, и ничего не надо таскать, и никакого риска — все оторвут с руками, и это такой верняк, что я готов участвовать. Слушайте, что Витек скажет, и все будет клево...

Все время, пока Витька излагал свой план, Белый морщился, но Киреев сразу зажегся и слушал с восторгом. План состоял в следующем: синеглазый Анзори берется обеспечить доставку в Москву грузинских, сделанных в артелях и вроде бы в каких-то подпольных цехах из левого трикотажа водолазок. Нейлон, конечно, грубый, и сшиты так себе, но в принципе вполне сойдут за дешевую фирму. Ребята находят устойчивые каналы сбыта — через знакомую фарцу, через своих коммиссионщиков. Товар будут привозить проводники, с ними же предстоит расплачиваться из расчета десятки за штуку, грузину хватит. А уходить водолазки будут самое меньшее по двадцатке, за зиму можно продать их многие сотни, подсчитать навар нетрудно.

Пришла Нина, но он обнял ее, поцеловал и ласково отослал купаться — дело, он чувствовал, выгорает очень серьезное, надо было все как следует обдумать, прежде чем договариваться с грузином. Цена могла сильно упасть, если в Москве появятся сотни водолазок, но, с другой стороны, товар был очень ходовой, за тонкими нейлоновыми свитерочками с высокими воротами под горло гонялись даже те, кто не знал, что правильно предмет называется по-французски «коль руллан», то есть «завернутый ворот», особенно велик спрос был на белые, черные и темно-красные. Двадцать пять рублей в конце весны были ценой минимальной, по двадцать будут улетать... Белый все морщился, ему было противно возиться с подделками, Киреев уже, по обыкновению, шевелил губами, подсчитывая будущую прибыль, голоса разделились, и все ждали, что скажет он. Он кивнул и молча показал Витьке большой палец.

Наскоро окунулись, просохли, стоя на солнце, и пошли к грузинам в шашлычную. Те допивали уже восьмую бутылку шампанского — денег не считали. За полчаса обо всем окончательно договорились, обмыли уговор, обменялись телефонами и адресами — решили связываться через него, потому что Витька жил в коммуналке, Киреев вернулся к родителям и ездил в свою «Керосинку» из Одинцова, а Белый опасался, что трубку может взять отец, которого грузинский акцент настрожит. А у него к телефону могла подойти только Нина — мать трубку не снимала.

Вернулись на пляж, воодушевленные блестящими перспективами, сразу, на ходу раздеваясь, кинулись в воду, устроили такой бой брызгами, что многие купавшиеся полезли на берег, ругая великовозрастных дураков. Потом он учил Нину правильно плавать кролем, она сопротивлялась, наглоталась воды, вылезла и долго отплеывалась, сердилась.

Наконец собрались уходить. Киреев долго кривлялся, целуя на прощание камни, Белый нежно прощался с полненькой пионервожатой, даже дал свой телефон на случай ее приезда в Москву — о чем, впрочем, сразу после ухода с пляжа пожалел, да поздно было, и над ним еще долго шутили, описывая, как зимой раздастся звонок и он будет вынужден всюду ходить с этой очаровательной трамбовочкой.

После пляжа зашли на рынок, купили в дорогу помидоров, копченого сала, домашнего сыра, в ларьке взяли пяток местного вина «Лиманское».

В вагоне было, конечно, невыносимо душно, пахло людьми, но они удачно заняли отсек, Витька добровольно лег на боковую полку, так что получилось как бы купе. Нина за простыней, которую он держал, растянув, переделалась в халатик, и тут же сели ужинать.

Наутро за окном уже было хмуро, мелкие капли дождя ко-со ползли по стеклу, поезд шел в осень. В середине дня на узловой станции, название которой не успели заметить, Белый выскочил и на последний червонец — оставили уже только на такси — купил три бутылки водки и пирожков с картошкой. Когда разлили по вынутым из железнодорожных подстаканников тонким стаканам, окончательно запахло Москвой, зимой, заботами, все погрустнели, Киреев вяло перебирал струны и тихо поднывал про кожаные куртки, брошенные в угол, а Нина неотрывно смотрела в мокрое оконное стекло. И даже плюю неохота было расписывать.

Глава пятая. Осенние заботы

С утра в воскресенье по телевизору двое — один похожий на Гагарина, другой — на Станиславского, только более вислоносый — веселили всю страну, представляли эстрадных певцов. Смотрели с Ниной, вяло завтракая, мать не вставала, в последнее время она подолгу лежала в постели, слушая утренние передачи, иногда, если ей казалось, что в комнате никого нет, тихо подпевала — ей нравились почти все шлягеры. А разговаривала мало и только по необходимости, просила что-нибудь подать или помочь дойти до кухни, если вдруг теряла ориентацию. Он привык, Нина же время от времени начинала выяснять отношения — вы обиделись, Мария Ильинична, почему вы молчите, я что-то сделала не так, что-то случилось? — и никогда не получала ответа, мать просто пожимала плечами.

После завтрака, хотя был выходной, он стал собираться в университет, решил посидеть в читалке, пора было подбирать литературу для диплома. Защищался он по кафедре те-

ормеха, методом начальных параметров предстояло посчитать на прочность некую сложную раму с точечными нагрузками, подвергающуюся нелинейно растущему ускорению. Еще один дипломник считал эту же раму, но на негармонические колебания, третий — на боковой удар. Логично решили, что заказ получен по НИСу, а преподаватели, чтобы не упираться самим с мелкими расчетами, переложили их на дипломников, это было разумно — и дипломы будут оригинальные, и оплатой, которую перечислит заказчик в научно-исследовательский сектор, со студентами делиться не надо. Третий, тот, что считал раму на удар, успел до университета год поработать младшим техником в закрытом самолетном кабэ и теперь шепотом утверждал, что рама предназначена для крепления приборов беспилотного разведчика — во всяком случае очень похожа на те, что он видел в чертежах.

В читалке он собирался просидеть до самого вечера, подобрать все по методу начальных параметров и даже начать понемногу разбираться, в чем же этот загадочный метод состоит, — может, его и учили по теоремеху или даже еще по сопромату, но никаких воспоминаний не осталось. А вечером договорились встретиться с Белым, пойти к одной девчонке, где предполагалась небольшая выпивка с очень хорошим джазом — у девочки были стереорадиола «Симфония» на раскоряченных ножках, магнитофон «Грюндиг» в сером, в белую крапинку корпусе и вообще много всего интересного, поскольку отсутствовавшие ее родители отсутствовали не просто так, а то в Конго, то в Египте, то и в Женеве. А пластинки и пленки должен был принести один парень, лабух, знаменитый саксофонист из кафе «Молодежное», герой джем-сейшенов и разогнанных милицией концертов.

Поэтому одевался тщательно, терпя неодобрительный взгляд Нины. Ее он с собой не звал, но не потому, что кому-то надо было остаться с матерью, мать могла вечер спокойно провести и одна, а просто собиралась чисто мужская, если не считать хозяйки, компания, будут пить водку и слушать джаз, говорить о джазе, а к нему Нина равнодушна, и ей будет неинтересно. Так он объяснил Нине, и она промолчала.

— Ты придешь поздно? — не к месту спросила мать.

— Да нет, мам, часов в одиннадцать. — Он отвечал со всей возможной небрежностью, но ничего все равно не вышло, Нина, не дослушав его, вышла из комнаты и хлопнула дверью. — Ты не жди, мам, ложись спать...

— Почему бы тебе не позвать с собой Нину? — Мать, если начинала такие разговоры, шла до конца. — Я прекрасно проведу вечер одна, послушаю телевизор, я его прекрасно включаю и выключаю, потом лягу пораньше...

— Мам, ну ей там будет неинтересно, ей-богу, там одни джазовые люди будут и весь разговор будет только о джазе, какого года запись да кто на басы играет, она злиться начнет, испортит вечер и себе, и всем...

Мать на этот раз промолчала — услышала, как Нина прошла из дядипетиной комнаты на кухню, и заставила себя не продолжать неприятный разговор при невестке. А он пошел одеваться.

В эту осень все перестали носить синтетику — все, на кого вообще стоило смотреть. К счастью, он успел сбить свои только немного ношенные брюки из дакрона, а в «комке» на Арбате надыбал потрясающие серые фланелевые, английские, которые к его несравненному вечному клубнику подходили идеально.

Через полчаса, бросив «пока» выглянувшей из кухни Нине, кажется, заплаканной — но он не видел, не видел! — и на ходу поцеловав мать, он уже мчался к метро, огибая лужи, чтобы не намочить свои венгерские, но сделанные под английские, «с разговорами», туфли и не забрызгать брюки. У входа в метро толпился народ, из дверей дуло жаром, он протиснулся, и, стоя на эскалаторе, уже ни о чем не думал, только наслаждался своей легкостью и готовностью ко всему.

В читалке носился легкий запах плесени от страниц, стояла странная, противоестественная тишина, какая бывает в помещении, где собрались несколько десятков человек, но все вынужденно молчат. Он начал рыться в каталоге, ловя на себе взгляды первокурсниц и их завистливых ровесников, заметил также, как поднял глаза из-за стопки уже давно отобранных для диплома книг и неодобрительно осмотрел блейзер старо-

ста их курса и член университетского комитета комсомола Ванька Глушко, отличник из пришедших после армии взрослых мужиков, которые стилиг не переваривали.

Нашел пяток названий, но у стойки выяснилось, что две книги на руках, а другие две можно заказать из хранилища только на завтра. Взял для очистки совести ту одну, которую принесли сразу, академическую монографию, посидел, понял, что разобраться невозможно, надо начинать с простого, то есть завтра приходиться пораньше и сидеть весь день. Снова подошел к стойке, тихонько пококетничал с молодой библиотечкашей, и она дала журнал с последней аксеновской повестью.

Он раскрыл, начал читать и очнулся, только нечаянно глянув на часы и обнаружив, что пора бежать, потому что еще надо доехать до Котельнической набережной, а времени уже половина седьмого.

Крутили сначала пластинки, Майлса Дэвиса, потом Сонни Роллинса. Все сидели с умными лицами, потягивали водку, не закусывая, курили до одури, покачивали головами, поймав сложный ритм... Он потихоньку рассматривал хозяйку Таню, некрасивую, нелепо крашенную в рыжину очевидную брюнетку с плосковатым, немного монгольским лицом, губастую, с темными, без зрачков, небольшими, но очень живыми глазами, — и заметил вдруг, что Таня потихоньку рассматривает его. Он улыбнулся, она беззвучно — радиоло была выведена, как водится у джазовых любителей, на почти полную громкость, чтобы слышать все инструменты, — засмеялась в ответ. Все стало ясно сразу, но он отогнал мысли, думать ни о чем не хотелось, хотелось слушать музыку и плыть вместе с саксофонным пением...

Потом поставили пленку, диксиленд Бобби Хаккета и Джека Тигардена. Саксофонист Леша набил и закурил очередную трубку, окутался клубами дыма и принялся тихонько рассуждать о бопе и авангарде с Белым, а Таня пошла танцевать триумфально вернувшийся через сорок лет в моду чарльстон с каким-то парнем, про которого было известно только, что он из второго меда и страшный ходок, не пропускает ни одной. Выкидывая ноги в стороны, пара осторожно передвигалась по комнате, довольно просторной, но все же маловатой

для танцев, стараясь не врезаться в звенящую хрусталем хельгу у одной стены и не споткнуться о свернутый ковер — у другой.

Он налил, выпил, налил еще и выпил снова — водки принесли много, никто не обращал на него внимания. Воздух в комнате был переложен слоями дыма, дым плыл, и казалось, что комната движется, вся целиком колеблется в такт чарльстону, как огромная одурманенная башка закайфовавшего джазмена.

Незаметно поменялась пленка, и Чабби Чэкер заорал свое никогда не надоедающее «Давай снова твист, как прошлым летом!». Таня с медиком уже крутили задницами, приседая, и он вышел третьим, показал класс, приседая и твистуя на одной ноге, другая поджата, медик отвалился, упал в кресло, вытирая пот, а они с Таней все крутились, потом сладко запел Нэл Сидака, они обнялись и стали еле заметно двигаться почти на месте, потом танцы кончились и наступила кульминация вечера — Леша поставил новейшую пластинку Колтрэйна, и все погрузились в авангардное наслаждение, а он, стараясь не звякать, чтобы не мешать людям слушать музыку, налил себе и Тане по трети фужера, и она выпила до дна, наравне с ним, и через некоторое время музыка кончилась, все исчезли, а они оказались в спальне, тихонько бормотал и похрипывал ласковым баритоном Виллиса Коновера на волне «Голоса» приемник «Спидола», горела лампа рядом с широкой, явно родительской кроватью, а Таня тянула через голову узкое, как чулок, платье джерси.

Как и следовало ожидать, она оказалась бешеной и бешено ласковой одновременно. С полчаса он ничего не соображал, потом стал трезветь, но уже было поздно — на него накатило, как бывало иногда прежде, но всегда быстро проходило: он полюбил Таню и, ползая по мятой простыне, думал о будущем, хотел ее навсегда, какие-то глупые планы строил, мелькала мысль о Нине, но эта мысль вызывала только раздражение, он успевал стыдиться, но ничего не мог с собой поделать и думал о Нине как о помехе будущему счастью. Так продолжалось еще какое-то время, потом он опомнился — в одну секунду и окончательно — и посмотрел на часы. Стрелки беспощадно показали четверть первого. Он кинулся одеваться,

потерял, кажется, лицо, но это уже не имело значения, он был совершенно, мучительно трезв, собирался быстро, но внимательно, чтобы ничего не забыть и одеться аккуратно. Впрочем, Таня, было похоже, не придавала значения его спешке, она лежала на животе, уткнув лицо в подушку, кажется, просто начинала дремать, и только прижалась к его губам плечом, когда он сказал «пока» и, наклонившись уже в плаще, поцеловал ее.

Когда он без щелчка открыл входную дверь, разделся в темноте и лег, Нина повернулась спиной и, уже лежа лицом к стене, прошептала «сволочь, какая же сволочь!». Он заставил себя промолчать, повернулся в другую сторону и проложил между собою и женой одеяло. Заснул он только под утро, через час проснулся, быстро натянул джинсы и свитер и уехал в университет, не позавтракав.

Возле дверей читалки он увидел Таню. Чем-то трудно уловимым она, инязовка, выделялась в толпе университетских, спешивших пораньше занять столы и заказать книги, — не одеждой, вполне скромной для дочери дипломата, а неким совершенно не местным спокойствием. С любопытством посетителя зоопарка она разглядывала всклокоченных гуманитариев, не проспавшихся с перепоею и после преферанса математиков и физиков, высокомерных дипломников и угрюмо озабоченных первокурсников. Выглядела она так, будто прекрасно выспалась и провела по крайней мере час перед зеркалом, впрочем, некрасивость никуда не делась, а азиатское в лице стало даже заметней.

— Как же тебя пустили? — спросил он, даже не поздоровавшись.

— А я свой студенческий показала, и сошло. — Она тоже не поздоровалась, будто они и не расставались. — Слушай, я не буду мешать, ты занимайся своими делами, а я просто посижу рядом, почитаю, ладно?

Он не нашелся, что ответить. Занял удачный стол в углу, набрал кучу книг и выпросил для Тани журнал с Аксеновым, который читал накануне, они сели рядом, он начал читать, выписывая в тетрадь формулы, перерисовывая схемы, на которых короткие стрелочки векторов показывали направление нагрузок, — и отвлекся, забыл о ней. Таня сидела тихо, вро-

де бы тоже читала, но, когда он прервался, чтобы пойти в курилку, обнаружилось, что она — уже, видимо, давно — журнал закрыла и, откинувшись на спинку стула, сбоку смотрит на него.

— Ты чего? — спросил он шепотом.

— Ничего, — шепотом ответила она, — люблю тебя.

Он оглянулся, потому что ему показалось, что вся читалка услышала ее шепот. Но никто не поднял головы, а смутно знакомый третьекурсник, сидевший сзади, не открыл глаз — сидя необыкновенно прямо, парень спал над раскрытым томом «Теории вероятностей», Вентцель Е.С.

Роман с Таней начался с безумия и развивался как бы в тумане, которым окуталось все. Скандалы с Ниной стали непрерывными, причем начинал их он сам, придравшись к какой-нибудь ерунде, — Нина же как-то притихла, да и поводов у нее особых не было: несмотря на полную утрату ощущения реальности, он вел себя необыкновенно осторожно. С Таней встречался только днем, она прогуливала занятия, постоянно добывая себе больничные, а он совершенно забросил диплом, домой возвращался рано, садился на кухне с книгами и тетрадью, в которой уже давно ничего не появлялось после первых графиков, накуривался до медного вкуса во рту, сидел ночами, бессмысленно глядя в пустоту.

Выхода не было. Он понимал, что никогда не сможет развестись с Ниной, сразу таким образом разрушив, уничтожив всю свою прошлую жизнь, все, что было в Заячьей Пади, в Одессе, здесь, на дядипетиной тахте... Он не сможет жить, если она уедет, он никогда не сможет сказать об этом матери, а если он все же решится, то ничего хорошего уже никогда не получится ни с Таней, ни с кем бы то ни было другим. И бросить Таню он уже тоже не мог, не мог представить себе дня без встречи с нею, без ее квартиры, в которой он уже чувствовал себя лучше, уверенней, чем дома, без ее бесчинств в постели, без ее узких черных глаз без зрачков, которых она не отводила от его лица ни на минуту, пока они бывали вдвоем.

Он сидел на кухне в трусах, курил, мерз и пил ледяной кефир, чтобы смыть мерзкий вкус, думал о Тане, Нине, матери, о своей вдруг изломавшейся жизни, жалел всех, но ничего не мог поделать — сильнее всех жалел себя. Иногда среди ночи

выходила Нина, звала спать — он, совсем не желая того, срывался, с необъяснимой злобой что-то шипел о дипломе, о том, что ей наплевать на его заботы, а у него защита скоро и ничего не готово, шепотом, чтобы не разбудить мать, гнал Нину из кухни, не выбирая слов. Она сразу начинала плакать, что не мешало ей поносить его последними словами за грубость и равнодушие ко всем, он бесился еще больше, скандалили шепотом иногда до утра.

Ребята все знали и относились к происходившему по-разному. Киреев любил бывать у Тани — время от времени у нее собирались выпить и послушать музыку — и несколько раз дал понять, что Таня ему гораздо больше нравится, чем Нина, казалось, что он ничего не помнит про школу, про Заячью Падь, про все, что связывало их троих. Белый, похоже, даже немного завидовал приятелю, но к роману относился несерьезно — девок много, будут и новые — и, встречаясь иногда с Ниной, был с нею по-прежнему и даже немного более дружелюбен. Витька же ситуацию категорически не одобрял, говорил об этом прямо — «одно дело отодрать кого-никого случайно, другое дело вторую жену заводить, позором кончится» — и к Тани ходить перестал, а встретив где-нибудь парочку случайно, девушке только кивал.

Так прошел октябрь, а в ноябре свалились новые заботы. Пришли подряд первые три партии водолазок от Анзори, ездили встречать поезда на Курский вокзал, добывали оборотные деньги, чтобы рассчитываться с проводниками. Витька развил, что было на него непохоже, бурную коммерческую активность: товар сбывал через кого-то из своих зубных клиентов, шестьдесят штук улетели в одну неделю, удалось рассчитаться с долгами и осталось на новую партию. А водолазки все шли и шли, на Курский ездили по очереди, чтобы не примелькаться вокзальной милиции, потом стали приезжать к парку отстоя, проводники с сумками выходили за территорию — так было спокойней. Обратные средства появились в избытке, уже один раз делили и прибыль. Сбывал теперь не только Витька, но и Белый через одного лабуха, репетировавшего со своим составом в дэка Зуева, и даже Киреев понемногу сдавал в своей «Керосинке» и знакомым одинцовским пижонам.

Всю эту деятельность Нина, казалось, не замечала во все — ей было не до этого, каждый вечер возникали большие или меньшие конфликты, она плакала, догадываясь, что у него появилось что-то серьезное, хотя о Тане ничего точно знать не могла. А он зверел, обстоятельства загоняли в угол — надо было уже всерьез заниматься дипломом, надо было искать знакомых, через которых могли уйти водолазки, и надо, необходимо было видеться с Таней, жить без свиданий с которой он уже просто не мог.

Он привык прибегать к ней среди дня, устраивать себе передышку между дневными потными хлопотами и вечерней домашней беспросветностью. Валился на диван, она быстро — и очень вкусно, Нина ничего похожего не умела — готовила обед, он лежа ел, запивая чешским пивом, которое у нее не переводилось, она сидела рядом и смотрела, как мать, кормящая мальчишку-сына, потом он ставил тарелку и стакан на пол, а она ложилась к нему, устраивалась сбоку, клала голову на его закинутую под затылок руку или на грудь. Так они лежали с полчаса, не раздеваясь, тихо обсуждая его обстоятельства. Таня о Нине говорила сдержанно и с явным сочувствием, он от этого раздражался, потому что считал лицемерием, но дело никогда не доходило до ссоры, страсть понемногу вытесняла из него все остальное, они переходили в спальню, чтобы не оставить следов на диване. Любовь изматывала его окончательно, Таня совершенно не знала удержу, и минут через сорок он внезапно засыпал на полуслове и полудвижении, как убитый, а она лежала рядом и тихо гладила его спину, грудь, ноги... Потом наступал вечер, он просыпался и сразу вскакивал, начинал спешить в надежде сегодня избежать домашних неприятностей. Таня ловко и без малейших проявлений недовольства помогала ему собраться, и иногда это кончалось тем, что он оставался еще на час, бормоча «ну почему я должен уходить оттуда, где мне хорошо».

Ноябрь шел к концу, холодный ветер гнал по улицам грязную воду, и казалось, что с неба вода падала такая же грязная. Темнело все раньше, и все меньше времени оставалось днем на дела, он задыхался, но выхода не было.

С ребятами днем виделись редко и только по делу, а вечером Киреев и Белый иногда заходили в Тане, сидели вчетве-

ром, пили сухое или, реже, водку, Таня подавала закуску, потом, услышав, что речь зашла о делах — от нее вроде бы не скрывались, — сама выходила на кухню, садилась там, прикрыв дверь, с книгой. Киреев брал гитару, вяло брэнчал, негромко и неплохо пел Визбора, Городницкого, Окуджаву, продолжая принимать участие и в разговоре. Тогда и Таня возвращалась из кухни, серьезный разговор прекращался, еще часок все просто выпивали и пели. Белый шутил: «Если полиция — у нас свадьба. Тебе, Кирей, надо на гармошке научиться. Ну, все вместе, тихонько «Вихри враждебные веют над нами...». Шутка была привычная, Белый повторял ее каждый раз.

С Витькой теперь удавалось поговорить только по телефону, да иногда, если партия из Тбилиси приходила большая, встречались у Курского. Витька брал свою часть и исчезал, звонил дней через пять — все ушло, надо встретиться, разбросать по карманам выручку. Садись в шашлычной «Эльбрус» на Тверском бульваре у Пушкинской, пока официантка несла карские и бутылку армянского коньяка, Витька соединял под столом принесенные деньги, виртуозно быстро пересчитывал и делил на четверых. Потом выпивали, закусывали черемшой и жареным сулугуни, погружались в шашлыки. За соседними столами студенты Литинститута выясняли, кто из них точно гений, а кто нет. Иногда они встречали среди них знакомого, высокого блондина, поэта, с которым пересекались время от времени в коммисионках, а однажды он даже купил у Белого пиджак, «джакеток», как он сам выразился. Поэт был похож на финна и косил под финика, выискивая на Герцена и Арбате все финское. Нередко споры о гениальности кончались небольшой дракой на бульваре, поэт посмеивался — ему спорить было не о чем, его еще на первом курсе заметили мастера, а стихотворение, которое он прочел на похоронах в Переделкине и за которое чуть не вылетел из института, знала вся Москва...

Из «Эльбруса» расходились к вечеру. Он шел домой, чувствуя приятное давление на грудь внутреннего кармана с пачкой денег, и думал о том, как все было бы хорошо, если бы жизнь не раздваивалась, если бы дома Нина встречала его таким же счастливым вздохом — «Пришел, наконец, род-

ной...» — каким встречает Таня, и тогда дом был бы один, и женщина одна, и это конечно же была бы Нина, потому что он, как и десять лет назад, был уверен, что красивей женщины, чем она, не существует. Жизнь шла, конечно, суетная, но, оставаясь один и задумываясь, он быстро находил в этой жизни главное и безусловное достоинство: им с матерью и Ниной вполне хватает денег. Он сумел сделать то, в чем поклялся себе еще после смерти отца, — он кормит семью, домашние не знают нужды, а большую часть однокурсников ведь до сих пор кормят родители. В последнее время даже получалось откладывать, и он уже посматривал на «Запорожцы», особенно красные, а если все пойдет дальше хорошо, к лету можно будет подумать об этой очаровательной, содранной с «Фиата» машинке всерьез.

И только соединить расколовшуюся жизнь никак не получалось. Он уже не один раз задумывался о том, чтобы оставить Таню, бывало, что не приходил к ней дня три-четыре, но она сама разыскивала его, звонила Белому или просто приезжала к университету, ловила, когда шел на кафедру консультироваться по диплому. Она не плакала, только смотрела в упор своими раскосыми глазами без зрачков и тихо спрашивала, окончательно ли он ее бросил. Он, конечно, начинал сразу плести о делах, о том, что из дому никак не мог позвонить, и она сразу успокаивалась, как будто верила ему, и все продолжалось.

Между тем дел было действительно невпроворот, и они шли своим чередом. Проводники регулярно привозили пахнущие керосином стопки свитерочков, диплом медленно, но подвигался, Нина стала молчаливой и целыми днями просиживала в читалке своего института, готовилась к госэкзаменам, мать все больше лежала, все меньше ела, только слушала телевизор или радио, которое не выключалось с раннего утра до вечера.

Вдруг прошел слух, что защита дипломов математиками, механиками и физиками для ребят будет перенесена с лета на середину следующей зимы, а сейчас всех соберет военная кафедра на дополнительные лекции с целью переквалификации из артиллеристов в ракетчики, летом же опять поедут на сборы в военные лагеря, после чего получают инженер-лейтенантов

запаса. При том, что девочки будут защищаться, как и намечалось раньше, в июне. Вскоре слухи подтвердились, для военки он постригся покороче, убрал волосы над ушами и короткие бачки, которые было начал отпускать по моде, и вовсе забросил диплом — времени до защиты теперь получалось еще черт знает сколько.

Посидев пару лекций по новой военке — почти дипломированным университетским математикам и физикам давали теорию полета ракеты на уровне школы, но прогуливать было никак нельзя, присутствие отмечали строго, а в секретный класс, где должны были знакомить с конкретным вооружением, хоть и устаревшим, еще не водили, ждали оформления допусков, — он отправлялся бродить по городу в одиночестве. Занятие это теперь, в пору неожиданно наступившего безделья, он очень любил, ходил часами, не уставая, и только к вечеру замечал, что ноги гудят. На углу Неглинной и Кузнецкого ел жареные пирожки с повидлом и снова шел куда глаза глядят. От Сретенки спускался переулками к Трубной, долго преодолевал бульвары, на Пушкинской рассматривал новый, современной архитектуры гигантский кинотеатр, заходил еще раз перекусить в кафе-молочную, открывшуюся на месте пивной, потом плелся дальше по Тверскому, выходил к проспекту Калинина, мостовая на котором была еще разрыта, а он весь перегорожен, но уже было видно, что это прямо Нью-Йорк, и он радовался тому, что вот становится как у нормальных людей, потом поворачивал на Каменный мост, стоял на нем под ветром, смотрел на Кремль, иногда подходил милиционер, останавливался неподалеку, но, так и не сумев определить, наш ли это злоумышленник выбирает прицел или просто интуист глазеет, отходил, а он двигался дальше, через тупики и проходные двory Замоскворечья, среди черных подгнивавших срубов, беленых двухэтажных особнячков с обвалившейся лепкой и вылезшей дранкой, церковей без куполов, выходил к Серпуховке, поворачивал по грохочущему грузовиками кольцу к Павелецкой и там, вдруг почувствовав полное изнеможение, сползал в метро, ехал домой и вылезал на Маяковке уже в серо-синих сумерках.

Снег лег плотно с самого начала декабря, но морозы стояли небольшие, градусов десять — пятнадцать. Он совсем не

мерз в своем уже сильно поношенном мутоне, который теперь называли дубленкой, и в зимней шапке-ушанке особого канадского фасона, гораздо меньшей по размеру, чем русская ушанка, с клетчатым верхом и белой овчинкой — шапку сшил один гений, старый еврей кепочник, перевезенный из Вильнюса мосфильмовским начальством специально ради непрерывного изготовления киверов для историко-героических гусар.

У Тани стал бывать гораздо реже, как-то само получилось, и Таня тоже перестала разыскивать; когда приходил, встречала, как и раньше, счастливая, но звонками и подкарауливаниями донимать перестала, однако отношения с Ниной от этого не стали лучше. Он как будто застыл и не мог заставить себя сказать жене просто доброе слово, целовал ее редко, а ночью все делал механически, и она отвечала тем же. Впрочем, скандалы почти прекратились, потому что вечерами он сидел дома, слушал джаз на новом магнитофоне «Яуза», целиком содранным с «Грюндика», даже корпус был такой же пестренький, хороший был магнитофон. Иногда садился перед телевизором и тихо, чтобы не мешать звуку, короткими фразами описывал матери изображение. Мать с началом настоящей зимы почувствовала себя лучше, чаще вставала, сама ходила на кухню и довольно легко брала еду, только разогреть не могла без помощи.

Вдруг в одну неделю от круппозного воспаления легких — осложнения после гриппа — умерла Фаина. Хоронить пошел весь двор, приехали и родственники из-под Казани, но гроб почему-то несли сами сафидуллинские мужчины — совсем скрючившийся, с белым ежиком Ахмед пытался подставить плечо, передними шли ставшие уже немолодыми на вид мужиками Фарид и Руслан, за гробом, не плача, шел десятилетний Ёська.

Нина и он вели под руки все время оступавшуюся, закутанную в два платка мать, ее привезли по ее решительному требованию к Ваганькову на такси. Мать — стало видно, насколько она сгорбилась — смотрела широко раскрытыми глазами в землю, и слезы не текли по ее щекам, а падали прямо под ноги. На минуту ему показалось, что не прошло десяти лет и они сейчас хоронят дядю Петю, он задумался об этих

десяти годах, о жизни, которая была прожита за это время, и думал уже только об этом, когда заколачивали последние гвозди в крышку, опускали на веревках гроб в мелкую зимнюю могилу и забрасывали ее землей из желтевшей на снегу кучи, постепенно уменьшавшейся, пока не осталось только пятно, напоминавшее о весне. Он подумал о том, что скоро придется хоронить мать, начал гнать эту мысль, но от этого представившаяся картина стала только ярче, он стал думать о том, как пройдут следующие десять лет, и о том, кто будет когда-нибудь хоронить его, и вдруг не то что понял, а просто почувствовал, что и до этого осталось не так уж много, увидел себя старым, больным... Нина в этом видении не присутствовала.

На поминках он выпил подряд два стакана водки, сразу опьянел, и Нина еле увела его домой.

Глава шестая. Зима

В декабре сначала неделю шел снег, потом по-настоящему взялся мороз, тридцать и больше. Все застыло, ночью от снега было светло, звезды дрожали в черном ледяном небе. Народ бежал к метро, прикрывая носы и щеки надышанными в инее варежками.

Застыла в морозы и жизнь, светло становилось к десяти, в четыре темнело, за день ничего не успевало произойти. Поток посылок из Грузии прервался, будто замерз ручеек, не осталось никакого дела, кроме двух пар военки в день. Дома наступил мир, Нина много занималась, к госам она готовилась серьезно, страх перед столичным институтом не прошел до сих пор, день она проводила в читалке, вечером, накормив семью ужином, прибирала на кухне и садилась с книгами и конспектами там. Мать, в шерстяных носках, теплой китайской кофте — он достал для нее летом, подарил на день рождения — и накинутом на плечи старом платке, сидела перед телевизором, он устраивался рядом, тихонько рассказывал матери, что сейчас на экране. Но мать скоро уставала, ложилась, он укрывал ее пледом поверх одеяла, оставлял бормочущим радио — все равно в час ночи оно споет «Союз нерушимый» с новыми словами, без Сталина, и замолчит до шести — и ма-

ленький свет возле материной тахты. В дядипетиной комнате он включал старьй, изумительно работавший, с прекрасным звуком — никакое стерео не сравнится — «Телефункен», слушал «Music USA», иногда вылавливал в треске и шипении Би-би-си, пожилой, видимо, дядечка с прекрасными мхатовскими интонациями и выговором объяснял, что происходит на самом деле. Под треск и доверительный шепот он начинал дремать, но когда часу во втором ночи приходила Нина, сразу просыпался. Между ними все наладилось, все было, как тысячу раз до этого и в Одессе, и на этой же кровати, и не надоедало, он не уставал, и она, целый день просидев над книгами, накормив семью и убрав квартиру — днем приходила Бирюза, но ничего не делала, только спешно кормила мать, составляла посуду в раковину и возвращалась в свой детсад, — тоже не уставала, а потом они лежали, она прижималась спиной к его животу, зеленый глазок приемника сужался и расширялся, как кошачий, они начинали засыпать, и перед тем, как все мысли отлетали, он думал, как хорошо жить в тепле.

Таня исчезла, и он не жалел об этом, даже почти не вспоминал ее.

С Белым встречались чаще всего днем у него дома, работал он в своем клубе в основном по вечерам, днем бродил по дому в пижаме и тапочках, отец его пошел на повышение и пропал на работе допоздна, мать носилась по портнихам и парикмахершам, хотя была уже очень старой. Вдвоем садились на кухне, он обычно приносил коньяк или бутылку крымского портвейна из недорогих, Белый доставал из большого зилковского холодильника остатки салата или варил шпикачки из «пражской» кулинарии. Сидели, трепались обо всем — о джазе, о модных поэтах, о книге Эренбурга. Белый о сталинском времени высказывался в том смысле, что, конечно, кошмар, но тогда, возможно, и нельзя было по-другому, потому что готовились к войне, потом воевали, потом проигрывали американцам по атомной бомбе. А его от таких слов начинало трясти, он кричал, что войну из-за Сталина чуть не проиграли, потому что перебил всех маршалов и с Гитлером дружил, что в лагерях убил больше, чем немцы убили, что евреев едва не успел в концлагеря загнать, — словом, пересказывал,

только немного преувеличивая, доклад на последнем съезде. Белый сразу смутился и замолчал, поскольку знал и о дяде Пете, и о том, из-за чего застрелился отец, ослепла мать и вообще обо всем. Замолкали, наливали по рюмке, молча выпивали...

А Киреев на правах школьного друга приходил без звонка домой, здоровался с матерью, она расспрашивала его о родителях, об учебе в «Керосинке», не собирается ли жениться, — он отвечал всегда одинаково: «Кто ж за такого пойдет, тетя Маша!» Нина кормила Киреева на кухне, потом он тихонько включал магнитофон, слушал Брубeka, брал какую-нибудь книгу, заваливался с нею в материнo кресло, а мать укладывалась дремать, Нина занималась — никто гостя не развлекал, да он уже не был и гостем, вроде приходящий член семьи. Иногда уходил, не дождавшись друга, оставлял записку: «Мишка кончай шалиться надо встретиться», — писал он по-прежнему без знаков препинания.

С Витькой же отношения постепенно установились чисто деловые. Перезванивались, когда из Тбилиси сообщали, что надо встретить товар, съезжались к Курскому с сумками — Витька приезжал с большим кожаным чешским чемоданом, выглядел элегантным путешественником, а не спекулянтoм — и в следующий раз уже сходились только в «Эльбрусе» делить деньги. Однажды Витька подъехал к шашлычной на новеньком двухцветном «Москвиче», равнодушно выслушал удивленные возгласы приятелей, посоветовал: «И вы купите что-нибудь стоящее, а то так все башли и просрете». Он жил теперь совсем отдельной жизнью и даже никогда не выпивал с друзьями, кроме как в шашлычной по поводу очередного дела выручки. Да и при этом в разговорах почти не участвовал, студенческие заботы и рассказы Белого об очередной чувихе, которую он склеил на вечере в Зуева, Витьке были очевидно скучны, он смотрел в сторону, иногда улыбался откровенно насмешливо.

Зима тянулась, мороз жег лицо, новый снег падал поверх утоптанного на скользкие дорожки. От скуки он начал снова бродить по комиссиям, выискивая интересные тряпки себе и Нине, — другого применения деньгам найти не мог, копить на «Запорожец» почему-то расхотелось. Поиски были удач-

ными, летом «комки» переживали мертвый сезон, а зимой всегда начиналось оживление. На Герцена наскокил на новенькое американское пальто, мягкая бежевая верблюжья шерсть, разрез сзади на пуговичку застегивается, под воротником петелька, рукава спереди реглан, а сзади вшитые — в общем, настоящее «айви лиг». На подкладке под внутренним карманом лейбл *made in Philadelphia*, вышито красным по черному, а в кармане еще один, белая тряпочка с маленькой, напечатанной черным швейной машинкой, — в общем, все настоящее. И всего заплатил сто тридцать рублей да продавцу, который вынул из-под прилавка, дал червонец. Оказалось очень кстати: муттон уже сильно истерся, да и носить дубленки начали жлобы — появились болгарские и румынские в «Березке», продавали на бесполовые чеки... От нечего делать поехал в не самый лучший комок на проспекте Мира, и как знал: там на самом виду, только вчера сдали, висел твидовый пиджак, не новый, но хороший — с двумя разрезами, серо-коричневый в «рыбью кость», с футбольными пуговицами. А стоил вообще смешно: тридцать пять. Тут же смотался на Мосфильмовскую, отдал знакомому портному — сменить за четвертной изношенную подкладку, строго наказал на то же самое место пришить лейбл *made in Britain*. Портной, молодой толковый парень, зарабатывавший в каком-то НИИ сто десять, но живший и кормивший семью исключительно шитьем брюк по фирменным лекалам, непрофильную работу по дружбе взял — и сделал отлично, не подкопаешься. К еще новым фланелевым штанам пиджак подошел идеально.

Когда весь в новом, в шапке-канадке шел по Горького, возле Театра Ермоловой подошел парень, на плохом английском предложил купить икону, он с мягкой улыбкой покачал головой — ну, сэнкс — и пошел дальше, в кафе «Националь», съесть антрекот и выпить рюмку коньяку.

А на Арбате купил Нине костюмчик-двойку жемчужно-серого, пушистого ангорского джерси, свитерок под горло и кофту-распашонку, надевающуюся сверху. Нина была в полном восторге, вещь пришлось точно по размеру, она побежала в «Ткани» напротив Телеграфа, нашла там подходящую материю в черно-белую клетку «куриная лапка», заказала в Сокольниках юбку.

Забрел однажды он даже на Тишинку, где были не комиссионные, а скупки, и торговали в них каким-то уже совершенно немислимым тряпьем — довоенными кожаными регланами, полусъеденными молью манто, макинтошами десятилетнего возраста... Но и тут судьба ему улыбнулась: брезгливо, не снимая перчаток, он перебирал плотно висевшее барахло и вдруг глазам своим не поверил — на вешалке обнаружилась выглядевшая абсолютно новой американская кожаная куртка летного образца, он помнил в таких летчиков, получивших их, когда пошел ленд-лиз, и донашивавших долго после войны. Но эта была абсолютно новая, будто все годы она пролежала в каком-нибудь сундуке, да так, скорей всего, и было: во внутреннем кармане он обнаружил даже толстую картонную бирку, сообщавшую, что данное изделие изготовлено по заказу Военно-воздушных сил США. Куртка была то, что называется «ненадеванная», прекрасная коричневая, с легким оттенком в рыжину куртка с погончиками, толстой медной молнией, двойными карманами на животе и складками на спине, за плечами, для свободы движения рук. Такую куртку носил с джинсами сам Джеймс Дин. Стоила она недешево, по тишинским меркам, сто шестьдесят, но надо было, конечно, брать. С собой у него столько не было, пришлось договариваться с татаринном, который торговал в этой будке старьем, татарин, разглядев куртку, заломил за то, чтобы отложить на час, двадцатку, но согласился за пятнадцать, он сбегал домой, взял деньги, и уже вечером куртку с изумлением разглядывал заскочивший на часок — прошел сразу на кухню, чтобы не раздражать мать — Белый, недоверчиво слушал историю ее обретения.

Так, в тихих радостях, шла зима. Поток грузинского товара стал мелеть, но не иссякал, и при всей расточительности в конфетной коробке накопилась уже изрядная сумма.

В доме был мир, мать передвигалась бодро и несколько раз даже заговаривала о какой-то операции, которую будто бы делают в больнице Гельмгольца и буквально слепые начинают немного видеть.

Нина зубрила, а по ночам бесновалась, он изумлялся — раньше такого не было, она сама придумывала новое, ее губы и язык терзали его.

В университете своим чередом шли занятия, на военной кафедре им оформили допуски, и теперь они ходили в спецкласс — в большой, с высоченным потолком ангар на далеких университетских задворках, посередине которого стояла на стальной опоре толстая блестящая сигара под названием «изделие 8Ж34». В спецклассе получали техническое описание, изучали матчасть самых современных войск, являющихся грозой НАТО и гарантом мира на земле.

Когда он засыпал под утро, прижавшись к Нининой спине, эта матчасть снилась ему совершенно не в качестве оружия — ракета росла из него, его охватывали ужас и восторг, он понимал, что эта штука никак не поместится в Нине, но ракета вздымалась к потолку, и его распирало странное счастье.

И тут объявилась Таня.

Она позвонила Белому и спросила, что случилось с ним, с Салтыковым, — так и назвала по фамилии, что Белого поразило почему-то больше всего. Белый сказал, что ничего не случилось, просто военка, нет времени, ну, мать, как всегда, — словом, стал чего-то плести, но Таня перебила и попросила передать Салтыкову, что она просит его позвонить хотя бы, если уж он так занят, что месяц зайти не может. И положила трубку. Белый и передал.

Он растерялся. Он был уверен, что с Таней все закончилось, и был совершенно удовлетворен таким финалом, без объяснений. А там, глядишь, когда-нибудь можно и встретиться, если случай будет, поговорить спокойно, чтобы сохранить приятельские отношения — он не любил конфликтных обстоятельств и ни с кем, кроме домашних, не ссорился еще со времен, пожалуй, мальчишеских драк, да и их в его детстве было необыкновенно мало. Особенно не любил выяснять отношения с женщинами, чувствуя себя перед каждой из них как бы немного виноватым, поскольку всех ставил не то что ниже Нины, но вообще помещал в совершенно другое пространство, где не было никакой любви, только развлечение.

Но с Таней — после звонка Белого он разом вспомнил все, что с нею было, — с самого начала получилось по-другому, чем со всеми до нее, и потому он был особенно рад, когда все так спокойно кончилось, судьба уберегла от беды. Оказалось же — нет, не уберегла.

Звонить он не стал, а сразу поехал к ней, в ее дом на Котельниках, рядом с высоткой.

Таня выглядела ужасно. Она сильно похудела, встретила его не накрашенной, серовато-бледной, в каком-то жутком халате. Не поцеловала, открыв дверь, а молча отступила в глубь темной прихожей, пропуская его к вешалке. Он сбросил пальто, ощущая себя рядом с ней нелепо нарядным в своем новом пиджаке и слишком здоровым — пришел с мороза румяным, крепким, сильным. Таня ушла в спальню, он зачем-то пошел за ней. Выйди, сказала она, я хочу переодеться. Он растерянно топтался на месте. Выйди, повторила она, мне не просто надо одеться, мне надо кое-что сделать. Он пошел на кухню, успев заметить, что спальня со смятой, давно не перестиланной постелью выглядит так, будто в ней давно лежит больной.

На кухне он встал у окна — сесть за стол, на котором не оставалось места среди тарелок с засохшими остатками еды и чашек с коричневыми кругами от заварки и кофе на дне, было невозможно. За окном по мосту над замерзшей до самой середины рекой неслись двумя лентами машины, в сумерках одна лента сияла красным, а встречная — белым огнем.

Она вошла, он, не поворачиваясь, услышал, как она открыла холодильник.

— Выпить хочешь? — спросила Таня.

— Давай выпьем, — обрадовался он и приврал зачем-то: — А то никак после улицы не согреюсь.

Не глядя на него, она составила грязную посуду в раковину, без старания протерла стол несвежим кухонным полотенцем. На столе уже стояли две бутылки хорошей водки, «Столичной» с винтом, из «Березки», в одной оставалось на донышке, другая была непчатой, и какая-то явно готовая, из кулинарии, закуска — салат, паштет...

— Откуда водка такая? — поинтересовался он, чтобы не молчать.

— Отец приезжал, — односложно ответила Таня.

Он разлил по большим стопкам, которые она принесла из гостиной, и она, даже не чокнувшись, выпила, зацепила, роняя, вилок салат из общей тарелки, прожевала и тут же стала закуривать, вытащив «Кент» из кармана старого шерстя-

ного сарафана, в котором она вышла из спальни, — этот сарафан он на ней видел один раз осенью и тогда подумал, что и она наверняка, как и Нина, как вся Москва, шила его у сокольнической мастерицы.

Таня молча курила, он не знал, с чего начать разговор, и потянулся за новой бутылкой, скрутил пробку, налил себе — ей обычно хватало одной рюмки.

— Налей мне тоже, — сказала она.

Сидели почти в темноте, за окном серое быстро перетекало в синее. Узкие темные Танины глаза странно мерцали, он прищелкнул и понял, что она плачет.

— Я сделала аборт, — сказала Таня.

И с этих ее слов все снова закрутилось. Он вернулся к ней, он почти не выходил из ее квартиры, только на военку, а домой хоть и старался возвращаться не поздно, но и раньше одиннадцати не получалось. Несколько раз он договаривался с Белым и не ездил встречать поезд, ребята забирали его долю товара и распределяли между собой, но деньги делили на всех по-прежнему — он сопротивлялся, но вяло, потому что деньги были нужны Тане, она ходила к частному полуподпольному гинекологу, который и операцию делал, но теперь опасался осложнений. В постели ей нельзя было почти ничего, он терпел, иногда они вообще не заходили в спальню, сидели на кухне, разговаривали обо всем, он рассказывал ей про Заячью Падь, она про свое детство, которое прошло в Восточной Германии, за окном ложились сумерки. Несмотря на предостережения врача, Таня теперь много пила, за вечер они, наливая поровну, приканчивали бутылку «Столичной», которая в доме не переводилась — Танин отец оставил чеки для «Березки», она тратила их на водку и сигареты, совершенно перестав интересоваться тряпками. Так и сидели, пока в кухне не становилось совсем темно, свет не включали, потом он собирался домой, а она, не провожая его, шла в спальню и, кое-как раздевшись, валилась в постель и засыпала, как убитая, а он уходил, захлопнув дверь.

Дома, конечно, опять начался ад. Нина все поняла, но теперь уже громких скандалов не было, она только плакала по ночам, отворачиваясь от него, отталкивая его руки, но потом сдавалась и лежала, повернув в сторону мокрое лицо, как

мертвая. И мать тоже что-то почувствовала, сникла, снова стала проводить целые дни в постели, несколько раз пробовала начать с ним серьезный разговор, но он сразу прерывал — «мам, ну, я тебя умоляю, от разговоров только всем хуже!» — и она замолкала.

Так наступил Новый год. Впервые за последние годы они с Ниной никуда не пошли, сидели с матерью дома. Смотрели «Голубой огонек», выпили по глотку шампанского, мать сидела в постели, укрыв плечи платком — она все время мерзла. После двенадцати позвонили Белый и Киреев, они были вместе в большой компании, собирались еще идти в ВТО, где у Белого были знакомые, так что шанс прорваться на окончание капустника был велик. Звали, конечно, и его с Ниной, но он решительно отказался. Позвонил и Витька, против обыкновения нетрезвый, долго нес что-то о дружбе, «которая всегда пригодится, ты меня понял?» — и вдруг повесил трубку, не попрощавшись. Около часа, когда уже собирались ложиться спать, раздался еще один звонок. В трубке немного помолчали, потом Таня тихо сказала «с Новым годом, любимый», и заняли короткие гудки. Повесив трубку, он вернулся к столу и натолкнулся на Нинин взгляд, она смотрела на него в упор долго, потом, ничего не сказав, встала и ушла. Он отнес посуду на кухню, спрятал в холодильник торт, а когда вошел в их дядипетину комнату, Нина уже выключила свет. В темноте он разделся, лег и обнаружил, что она завернулась в одеяло, как в кокон, и ему пришлось встать и брать плед, чтобы укрыться.

С этой ночи жизнь совсем разладилась. Таня часто плакала, никак не могла ему простить, что была на Новый год одна. Никакие его аргументы не действовали, она твердила, что совсем не хочет ломать ему жизнь и разводить с женой, но и не может больше чувствовать себя лишней, и потому им надо просто расстаться. А на него что-то нашло, и вместо того чтобы согласиться, он уговаривал ее, успокаивал, они шли в спальню, где продолжали мучить друг друга, потому что ей по-прежнему было ничего нельзя, и он уходил измочаленный, ехал домой.

Однажды, выйдя от Тани засветло, он заметил на набережной нарядную и очень красивую молодую женщину. Она сто-

яла у парапета и смотрела на окна Таниного дома, золотистые ее волосы выбились из-под косынки. Он не сразу узнал Нину, но она его, к счастью, не заметила — или сделала вид, что не заметила. Он встал за деревом, стоял там минут пять, перестав что-либо соображать от ужаса, а когда выглянул, Нины на прежнем месте уже не было, ее фигура мелькала вроде бы где-то около моста. Домой он приехал раньше ее, она пришла почти ночью и поставила себе раскладушку в комнате матери.

Он не спал всю ночь, мучился, пытаясь понять, как Нина могла узнать про Таню, видела ли она его или просто смотрела на ненавистный дом. Ничего, конечно, не понял. Дать Нине какие-нибудь точные сведения о Тане мог только кто-нибудь из ребят, но это было невозможно допустить, а других общих знакомых не существовало... Он встал, готовый к любому объяснению, хотя совершенно не представлял себе, что ответит на прямой вопрос.

Но Нина молчала. Она подала матери завтрак в постель и сидела на кухне, пила чай одна. Он вошел, налил себе чаю, сел напротив. Глядя в сторону, Нина сказала, что сдала последнюю перед госами сессию досрочно и уезжает сегодня к родителям в Одессу, пробудет там по крайней мере до конца каникул, а может, и дольше, если там достанет больничный. Билет она уже взяла. С Бирюзой она договорилась, та будет приходить к Марии Ильиничне не только днем, но и утром. Он не нашел, что ответить, кроме «как хочешь». Поезд, он знал, уходит в шесть вечера, он сказал, что будет дома в четыре и проводит, конечно, но тут Нина перебила его, провожать не надо, вещей она почти не берет, один маленький чемодан, вызовет такси и спокойно уедет сама. Не выдержав, она посмотрела на него в упор, и он заметил, что ее карие глаза стали совсем светло-желтыми.

— Зачем же ты будешь ломать себе день, — сказала Нина, — ты же ведь занят...

Он испугался, что сейчас начнется, и молча вышел из кухни. А когда он в начале шестого вернулся домой — к Тане не ходил, после университета долго бессмысленно болтался по улицам, — Нины уже, конечно, не было. Он походил по квартире, померил температуру почувствовавшей простуду

матери, температура была нормальной, но он сделал ей чай с малиновым венгерским конфитюром, снова походил по квартире, позвонил Белому... Женька сидел дома с сильной ангиной, предложил приехать, но ему не хотелось выходить из дому, трепались с Белым просто по телефону, пока у того горло не устало. Мать задремала, в квартире было так тихо, что у него, как, бывало, в детстве, когда наступала такая тишина, в голове поднялись суета, какой-то крик и звон. Он включил тихонько магнитофон, Синатру, взял свежий «Крокодил» — журнал выписывали по привычке еще с времен дяди Пети, который его обязательно весь не только просматривал, но и прочитывал. Стал читать фельетон про абстракционистов и других, «с позволения сказать, художников», пачкающих холсты всякой дрянью и откровенным шарлатанством, вместо того чтобы пытаться в меру таланта — тут-то и обнаружилось бы, что его нет! — изобразить своего современника, советского человека, покоровшего космос, смело разведывающего недра в тайге и в пустыне, меняющего лицо земли. А как же выглядят герои-геологи на полотне одного из участников недавно закрывшейся и справедливо критикованной выставки? Унылые лица, унылые позы, уныние в каждом мазке... Так, видимо, автор пытается следовать традициям великого отечественного изобразительного искусства, традициям передвижников. А на самом деле уныние — признак бездарности, вот и все.

Он дочитал фельетон, совсем не смешной и похожий на обыкновенную статью, некоторое время рассматривал карикатуру. На ней был изображен молодой человек в явно художнических берете и свитере. Молодой человек стоял возле мольберта и смотрел в окно. За окном громоздились краны и поднимались новостройки, а молодой человек клал на холст мазок за мазком черную краску, уже закрасив сплошным черным почти всю будущую картину. Под карикатурой был стихок, в котором «от злобы слеп» рифмовалось с «народный хлеб», а «чистый лист» — с «такой он «реалист».

Он бросил журнал — глупость какая-то — и лег, не раздеваясь, поверх покрывала их с Ниной постели. В голове было пусто, он не мог думать ни о жене, ни о Тане, ни о делах. Толь-

ко одна странная мысль все время возвращалась: он, не понимая толком, что сам имеет в виду, задавал и задавал себе вопрос «Кто же я такой?» — и ничего не мог ответить.

Глава седьмая. Свобода

Еще в декабре он отдал свой «Полет» Нине — женщины стали носить мужские часы — и теперь ходил со старой, еще школьной «Победой», которую когда-то подарил отец. А в последних числах января позвонил Белый и сказал, что можно взять всего за двести пятьдесят настоящие швейцарские, Tissot, с позолоченным циферблатом, сверхплоские, сдает один парень, которому только что привезли из Франции предки-дипломаты, а он после их отъезда здорово прогулялся и вот сдает.

Встретились на Пресне, у входа в зоосад. Парень пришел с непокрытой головой, в короткой дубленке, из-под дубленки, несмотря на зиму, джинсы — так ходили только иностранцы. Вид у него был рассеянный, что добавляло сходства с интуристом, но, если присмотреться, можно было понять, что парень просто с сильного перепоя. Явственно дрожавшей правой рукой он сдернул часы с левого запястья, дал посмотреть. Часы, что и говорить, были прекрасные: плоские, сплошь золотистые, без цифр, только с черточками на циферблате, они были похожи на золотую монету. Растягивающийся металлический браслет из узких, проволочной ширины звеньев был тоже позолочен.

Деньги парень, задрав дубленку, сунул комком в задний карман джинсов.

— Ну, носи, — сказал он с красивой улыбкой, зубы были один к одному, и добавил не совсем понятно: — Кто купить ищет, а кто продать... Ладно, пойду в «Казбек», поправлюсь.

И он побежал через дорогу к подъезжающему троллейбусу, чтобы ехать в шашлычную у Никитских.

А они с Белым пошли в гастроном в высотке, Белый сразу встал в очередь за сыром, а он купил бутылку грузинского коньяка. Потом двинулись к метро — решили ехать обмывать попку к нему домой, попозже собирался зайти и Киреев.

Дома стояла полная тишина. Бирюза, видимо, только что ушла, на кухне было прибрано, мать дремала после обеда. Они тихонько прошли на кухню, порезали сыр, открыли коньяк, разлили по рюмке, еще раз полюбовались часами. У Белого была довольно старенькая, небольшая и выпуклая *Omega*, сравнили — получилось, что двести пятьдесят за новую и модную вещь совсем даром, Белый свои часы фарцанул у какого-то старого бундеса полтора года назад тоже за двести пятьдесят, но сравнение было не в их пользу.

— От себя оторвал, — сказал Белый, они чокнулись и выпили. На самом деле Белый, конечно, просто пожалел денег, он твердо решил весной купить «Запорожец», не новый, понятно, потому что на новый надо стоять в очереди сто лет или ждать распределения на предприятии, а через комиссионку, но обязательно красный и мало езженный.

— Тебе, Солт, вообще везет, — продолжал Белый, жуя сыр без хлеба. — Танька в тебя влюблена до смерти, жена красивая, башли не переводятся...

Солт стало его прозвищем в Москве, и ему нравилось это английское звучание после Салтычихи, от которой он на стенку лез в Заячьей Пади.

— Никому такого везения не пожелаю, — пожал он плечами. — С Таней, ты же знаешь, Белый, добром не кончится, а с Ниной вообще кошмар... И мать...

Он махнул рукой, они снова выпили. Странно, но было похоже, что Белый, который действительно все знал, ему тем не менее и вправду завидовал: погрустнел, задумался, снова взял кусок сыра и жевал механически, глядя в дальний угол кухни.

— Все равно ты счастливчик, — ответил Белый наконец. — Вот увидишь, еще вспоминать будешь, как тебе клево жилось, когда ты между Котельниками и домом разрывался... А у меня — ни дома никто не ждет, ни на Котельниках...

Проснулась мать, позвала из комнаты, он пошел.

— Кто там у тебя? — спросила мать, лежа на спине и глядя широко раскрытыми глазами в потолок.

— Ребята зашли. — Он не соврал, но и не сказал правды, чтобы не раздражать ее именем Белого. — Сейчас еще Игорь придет, просто посидим...

И тут в дверь действительно позвонили.

— Не пейте много, — успела сказать мать ему в спину, когда он выходил в прихожую.

Киреев покупки не одобрил. Выставляя на стол самую дешевую водку, по два восемьдесят семь, и выкладывая любительскую колбасу, он сразу сказал, что платить такие огромные деньги за котлы глупо.

— Наши настоящие золотые дешевле стоят, — сказал он, недоверчиво разглядывая часы. — Носил бы свою «Победу», тем более что тебе ее батя подарил...

Это напоминание кольнуло, но он про себя решил надевать «Победу» на счастье в ответственные дни и успокоился.

Допили коньяк, разлили киреевскую водку. За окнами сиял ясный январский закат. Говорили о всякой ерунде — о сборах, которые предстоят ему летом, о том, что из-за свистопляски с дипломом он окончит почти одновременно с Киреевым и Ниной, которые потеряли по году, о перспективах торговли — спрос на водолазки не то чтобы упал, но стало труднее находить каналы сбыта, знакомые уже исчерпывались.

Киреев, быстро, как всегда, опьянев, принялся рассказывать о своей новой любви, у него постоянно появлялась новая любовь. На этот раз ею была замужняя женщина тридцати лет, жившая в Одинцове в соседнем доме. Муж ее, подполковник, не вылезал из командировок на какие-то секретные полигоны, и Киреев теперь существовал, как в анекдоте, готовый каждую минуту схватить одежду и бежать через окно — благо возлюбленная жила на первом этаже и окна ее выходили в высокие кусты. При этом Игорь к своему роману относился вполне серьезно и рассматривал возможность ухода соседки от мужа и своего соединения с нею на законной основе. Его, конечно, несколько смущала большая разница в возрасте, но он утверждал, что никакой разницы не чувствуется, и с тридцатилетней даже лучше, чем с глупыми и самовлюбленными ровесницами.

Впрочем, все его мечты о женитьбе на соседке разбивались, стоило ему вспомнить о родителях и представить их реакцию. Если не убьет отец, уныло повторял Киреев и наливал себе еще водки, предварительно положив невероятной толщины ломоть колбасы на хлеб, то из дома выгонит точно, и где тогда жить?

А Белый все ездил к какой-то ленинградской юной поэтессе, где-то он ее выкопал, когда впервые отвозил партию товара в Ленинград, но говорить о ней не любил, а от вопросов отмахивался — ну, девчонка как девчонка, только выпивает крепко, так они, ленинградские, вообще крепче выпивают...

О его же ситуации не говорили вовсе, Нину и Таню не упоминали совсем, хотя ему хотелось продолжить жалобы на жизнь. Но при Белом беседовать об этом почему-то казалось неловким, при том, что Женька морали никогда не читал и вообще относился к роману с Таней даже более спокойно, чем Игорь. Просто существование Нины как члена компании, который никогда никуда не денется, для Белого было настолько само собой разумеющимся, что говорить с ним даже о теоретической возможности развода представлялось нелепым, не понял бы.

Поэтому он просто слушал друзей, пил водку, курил, и только какой-то человек внутри, настойчивый идиот, все упорнее по мере того, как он пьянел, повторял: «Что делать, что же делать?!»

Так просидели до темноты, зажгли свет и стали решать, кто пойдет за еще одной бутылкой, но тут, словно почувствовав, что все собрались, позвонил Головачев. Звонил он редко и исключительно по делу, но на этот раз дела у него никакого не оказалось. Только поинтересовался, не было ли звонка из Тбилиси об очередной партии, и, узнав, что ребята выпивают, вдруг сказал, что тоже сейчас придет, спросил, что взять. Все обрадовались, что не надо бежать за выпивкой, велели Витьке привезти побольше водки и стали ждать.

Он пошел поглядеть на мать, убедился, что она дремлет, выйдя, прикрыл дверь в комнату, чтобы не разбудить ее разговорами, и вдруг, делая несколько шагов до кухни, испытал мгновенное ощущение счастья — в комнате спит мать, на кухне сидят друзья, и ничего больше не надо, можно жить и без Нины, и без Тани, свободно, как живут ребята.

Витька принес полный чешский кожаный портфель всего — три бутылки «Столичной», большой пакет нарезанной тонкими ломтями языковой, давно исчезнувшей из магазинов колбасы, половину небольшого окорока, кусок швейцарского сыра с дырками, свежего хлеба, — заехал к одному из своих

зубных клиентов в Елисейевский, зашел со служебного. Убрали со стола, выложили принесенную еду на тарелки, он тихонько взял в комнате еще один стул, сели по новой. Киреев протрезвел и начал пить вместе со всеми. На Белого напал жор, он нарезал окорок большими рваными кусками и принялся его уничтожать, даже забывая выпить. А Витька сидел почему-то грустный, пил, почти не закусывая, молчал и даже не улыбался, как обычно, снисходительно.

Постепенно разговор возобновился, но о женщинах уже не продолжали, а принялись обсуждать то, о чем говорили все в последнее время — о разгоне «абстракционистов», о книге Эренбурга, о стихах Есенина-Вольпина... Никаких абстракционистов никто никогда не видел, и это бесило больше всего: предлагается осудить то, что никто не видел! Эренбурга читали, ему понравилось, Белому не очень, Игорь считал, что скучновато и слишком много рассказывается о людях, которых уже никто не помнит, а Витька пожал плечами — лучше бы старый жополиз написал честно, почему самого не посадили... Про Есенина-Вольпина никто вообще ничего не знал и стихов его — кроме приводившихся в газетах отрывков — не читал. Только он вспомнил, что эта фамилия ему знакома по переводу классического курса математической логики с английского, вряд ли бывают такие однофамильцы, но, с другой стороны, при чем стихи, если он матлогику переводил?.. Витька махнул рукой, да ну их к черту, бесятся с жиру писатели, хватит об этом. И все согласились, стали рассказывать анекдоты — о кукурузе и армянское радио. И всю Витькину водку допили, и сбежал все-таки Белый еще за двумя, схватил прямо перед закрытием маленького гастронома на углу Тверской и Фучика.

Как ребята разъезжались, он уже помнил плохо, а утром еле встал, похмелье было, конечно, нечем. Напился холодной воды так, что раздуло живот, кое-как прибрал на кухне, покормил мать, сделал из остатков вчерашнего бутерброды, выполз на улицу, купил две бутылки пива, вернувшись, выпил — и тут же заснул, и спал до сумерек, и проснулся от телефонного звонка совершенно здоровым и даже бодрым.

Звонила Таня. Он быстро собрался, хотел еще раз покормить мать, можно было сварить пельмени из пачки, но оказа-

лось, что, пока он спал, приходила Бирюза, сделала обед, и мать больше есть не хочет. Он спешил, одеваясь, носился по квартире, натыкался на мебель, и мать следила за ним невидящими глазами.

За то время, что Нина была в Одессе, его отношения с Таней стали совсем привычными. Почти все время, которое оставалось от университета, он проводил у нее. Утром кормил мать, помогал ей, как мог, привести себя в порядок и уходил на весь день. Несколько раз договаривался с Бирюзой, что она зайдет не только днем, но и вечером, и, предупредив мать, что едет за город, оставался у Тани на всю ночь, возвращался с первым метро не выспавшийся, опустошенный, плохо соображавший, переодевался и потом целый день дремал на военке, ронял голову.

У них с Таней появились общие дела, точнее, она теперь участвовала в его делах. К сбыту водолазок он ее приставить не решился и вообще в эту часть своей жизни не допускал, хотя, видимо, она о многом догадывалась, но многие мелкие дела вообще переложил на нее. Например, она сама захотела стирать его рубашки, и постепенно они перекочевали на Котельники, к его приходу всегда была готова стопочка выстиранных и поглаженных. Она затеяла сшить ему брюки из толстого сукна, такие стали носить этой зимой. Он хотел заказать у портного с Мосфильмовской, но она настояла, что все сделает сама, и действительно — купила сукно почти пальтовой толщины, достала где-то лекала и сшила за пару дней очень прилично, даже с модным хлястиком на заднице, для которого отодрала сине-вороненую пряжку-крокодилчика со старых отцовских брюк. Шила на ручной зингеровской машинке, оставшейся от бабки, а он лежал на диване, оперши голову на ладонь согнутой в локте руки, и смотрел, как она тащит длинный шов вдоль штанины, высунув от старания в уголок рта кончик языка.

Они теперь никогда не спешили в спальню, потому что времени хватало, ему не надо было рано уходить. И в постели она не спешила — медленно, будто в полусне, ползала вдоль его длинного тела, медленно целовала, рассматривала, ложилась головой на живот и так засыпала на несколько минут, а потом снова начинала двигаться, перетекать рядом с ним и на нем.

Из спальни шли на кухню. Он надевал трусы, а она шла голый, поражая его своей естественностью, будто не замечая, что на ней ничего нет. Так, голая, она готовила какую-нибудь еду — точнее, подогревала уже приготовленное до его прихода — и садилась за стол. Пили немного и только купленную ею в «Березке» хорошую водку. Он смотрел на нее и не представлял, как можно жить иначе, без таких голых ужинов в сумерках, и главное — зачем и почему нужно жить иначе. К концу ужина они начинали спешить и, чаще всего оставив недоеденное и недопитое, бросались в спальню.

Иногда звонили и являлись Белый или Киреев, иногда — оба. Тогда приходилось быстро одеваться, Таня шла на кухню готовить закуску, ребята приносили пару бутылок портвейна или водки, сидели долго, пели под киреевскую гитару, о делах не говорили никогда. И опять у него возникало чувство, что это и есть его дом, появлялась обида неизвестно на кого — почему он должен уходить отсюда, где ему так хорошо?

И иногда, еще с утра чувствуя тягу в этот свой не настоящий, но уже обжитой дом, он договаривался с Бирюзой, что она зайдет вечером, и уходил на сутки.

Мать молчала. Она опять почти перестала подниматься с постели, а если вставала, то сразу садилась за стол лицом к телевизору и слушала подряд все, что передавали, — и концерты, и известия, и кино. Несколько раз она поинтересовалась, когда придет Нина, но он и сам не знал — жена не звонила, а ему смертельно не хотелось звонить и говорить сначала с тестем или тещей, которые наверняка уже все знали, потом слушать натянутые, холодные ответы Нины и знать, что тещь с тещей слушают тоже, и он не звонил.

Когда он, заканчивая сборы, в последний раз пробежал мимо, мать успела нащупать в воздухе его руку и задержать.

— Сядь, — сказала она, — послушай меня минуту.

Он сел, не отнимая руки.

— Я скоро умру, — сказала мать.

Он собрался было перебить ее и возразить, но она раздраженно дернула его за руку, и он промолчал, так что получилось, будто согласился.

— Я скоро умру, — повторила мать и продолжила: — Месяцем раньше, месяцем позже... И я не хочу оставлять те-

бя в таком положении. Я не знаю, где ты бываешь ночами, но понимаю, что так не может продолжаться вечно. Поэтому послушай моего совета и постарайся понять, что у тебя есть только два выхода: или разведись с Ниной как можно быстрее и начинай все сначала, или немедленно прекращай все там, потому что потом поздно будет...

Тут он все-таки перебил мать.

— Мам, — привычно, ноющим голосом возразил он, — ну, где там, что ты такое говоришь? Я просто ездил к Генке, а один раз был у Женьки, ну, выпивали...

— Меня не интересует, где именно ты бываешь, — прервала мать, — и я не спрашиваю. И не подумай, что я забочусь о себе, мне даже лучше быть целый день одной, спокойнее. Но я прекрасно понимаю, что происходит, и ты меня не переубедишь, сколько бы ни врал, и я тебе говорю — или разведись, или брось любовницу.

Он молчал. Конечно, он не поверил, что матери действительно нравится быть целый день одной, и почувствовал обиду в ее словах. Но гораздо более сильное впечатление произвело на него слово «любовница», так просто произнесенное матерью, и он не знал, что ответить.

— Наверное, ты думаешь, что я совсем не знаю, о чем говорю, поскольку никогда не была в таком положении, — продолжала мать. — Да, не была... А знаешь, почему? Жизнь почти всех заставляет принимать такие решения, но у меня хватало ума поступать правильно и вовремя.

Он продолжал молчать. Он вспомнил письмо от тети Тони Нехамкиной и понял, о чем говорит мать, и изумился, что она заговорила об этом. Между тем мать замолчала, скользнула рукой по его руке вверх и положила ладонь на его лицо. Он закрыл глаза и представил, как мать живет во тьме, и у него зашло сердце, стало пусто в груди.

— Нина — замкнутый и холодный человек, — сказала мать, — жить с нею неудобно. Я понимаю тебя... Но она будет всегда верна тебе, запомни, это оборотная сторона ее тяжелого характера, и ты это еще оценишь, такое встречается редко...

Ему показалось, будто он на какое-то мгновение понял, что мать имела в виду, и острая тоска охватила его, он захотел все

вернуть, захотел, чтобы Нина оказалась немедленно дома, захотел сказать ей, что он все понял и все изменится теперь, но в эту же минуту понимание ускользнуло от него, и он мучительно захотел только одного: выйти из дому и помчаться к Тане.

— Я понимаю, мам, — сказал он, — я все понимаю... И я все сделаю, как ты сказала... Не волнуйся...

— Я не сказала, что ты должен сделать, — возразила мать, — я только попросила тебя подумать.

Но руку она уже убрала с его лица и сидела теперь в постели в обычной своей позе — подмостив под спину подушки, сгорбившись и глядя широко открытыми глазами в свои колени.

По дороге к Тане он думал, конечно, о разговоре с матерью, но чем более сосредоточенно он думал, тем труднее ему было собрать мысли и выбрать из них хотя бы одну ясную — он просто мучился ощущением безвыходности, которое и раньше время от времени приходило, а после разговора стало невыносимым. Но, как все невыносимое, оно как-то само собой прошло, мысли разбежались и, переезжая в троллейбусе через мост, он уже чувствовал одно только нетерпение, встал, пробился заранее к передней двери и от остановки до Таниного дома почти бежал.

А Тани дома не оказалось. Он ничего не мог понять, звонил, стучал — дверь не открывалась. После их телефонного разговора прошло чуть больше часа, ничего не могло измениться, но за дверью была тишина, и он сходил с ума, начисто забыв и о предостережениях матери, и обо всем на свете — он хотел только, чтобы дверь открылась и на пороге стояла Таня в своем старом халате.

Наконец загудел лифт, остановился на площадке, и Таня появилась — в распахнутой шубке и с набитой авоськой в руке. Она решила, что до его прихода успеет сбегать в гастроном в высотке, но у кассы была очередь, и она задержалась.

— Балда, — сказал он, — ты зачем меня пугаешь?

— А ты испугался, что я тебя бросила и сбежала из собственной квартиры? — Таня, не раздевшись, пошла на кухню выкладывать продукты в холодильник, он, тоже в пальто, пошел за нею. В кухне было темно, светилося только нутро хо-

лодильника. Он постоял, потом в пальто, как был, присел за стол. Таня выпрямилась, посмотрела на него и, тоже не раздеваясь, села напротив. Молчали долго, потом Таня спросила, что случилось, но он не ответил.

— Что случилось, — повторила Таня и почти догадалась: — Что-нибудь с Марией Ильиничной?

Он схватился за подсказку.

— Да, нехорошо что-то. — Он пожал плечами, хотя в темноте Таня не могла этого увидеть, и совершенно неожиданно для себя закончил: — Я обещал быстро вернуться...

— Чего же по телефону не сказал? — В Танином голосе не было обиды, только удивление. — Сказал бы, что не можешь сегодня, и не ехал бы через полгорода.

— Хотел тебя увидеть, — сказал он правду, но именно эти слова Тане почему-то не понравились.

— Хотел, а теперь не хочешь? — спросила она и, не дожидаясь ответа, встала. — Ну, езжай домой, идем, я закрою за тобой.

Он еще бормотал какие-то объяснения, но уже оказался за дверью, уже сбежал по лестнице, не вызывая лифта, уже вылетел на набережную, уже перешел мост, как обычно, опасливо косясь на темный силуэт церкви справа под мостом и темные, низкие, с темными окнами дома Хитровки, уже пошел по Солянке — и вошел в полную пара и кислого запаха еды и мокрой одежды маленькую закусную на углу, взял графинчик водки и два бутерброда с зельцем и сел в углу.

Тут же к нему подсел парень, на вид таких же лет или совсем немного старше, со своей водкой в стакане. Парень был одет не просто плохо, а так, как в Москве вообще уже давно не одевался никто: в жуткой телогрейке, рваной, с торчащими клочками ваты, в кирзовых сапогах с низко примятыми голенищами, в грязно-серой ушанке из искусственной цигейки. Не скрываясь, он рассмотрел пальто и шапку-канадку, но во взгляде его не было раздражения, только любопытство, потом поднял стакан, двинул им в воздухе, предлагая чокнуться.

Пили недолго, но он успел сильно напиться. Парень сразу стал рассказывать о себе, непонятным образом проникнувшись доверием к московскому пижону — как в пятьдесят шестом их полк пошел в Венгрию, он был механиком-водителем,

как однажды проехал по команде приданного от дивизионного политотдела майора прямо сквозь дом на окраине Будапешта и потом стряхивал какие-то тряпки и деревянные обломки с брони, как демобилизовался, вернулся в свой Курск и пошел работать в автоколонну, а жениться не стал, хотел погулять и догулялся, по пьяни разбил груженный «Урал-ЗИС», пока то да се, половина груза, конфеты в коробках, пропала, пришили все сразу, даже хищение, и намотали по полной, четыре года, оттянул до звонка, а на работу не берут, еле устроился на стройку в Орле, на бортовой «ГАЗ», пятьдесят первый, и вот погнали в Москву порожняком, здесь взять две катушки кабеля, а кабеля этого приходится ждать уже третий день, поставил машину во дворе у армейского кореша в Перове, а сам вот ходит по Москве, ничего не боится, потому что документы в полном порядке, в паспорте новом даже судимости нет, и уже видел Кремль и был в ГУМе...

За время рассказа он взял еще один графинчик, уже поплотней, налил парню, думал о том, насколько же счастливей, чем у этого, всего шестью годами старшего человека, сложилась его жизнь. А ведь тоже все могло быть, с каждым может быть все. Он попытался рассказать парню об отце и матери, о Нине и Тане, но парень не слушал, перебивал, вставлял дурацкие шуточки.

Потом парень вдруг исчез, на его месте оказался пожилой толстый дядька в теплом толстом пальто с каракулевым воротником. Выпили и с дядькой, взяли еще один графинчик на двоих, платили вместе. Потом и дядька ушел, он посмотрел на часы — было уже около десяти, тоже стал собираться, но никак не мог найти свою шапку, которую, хорошо помнил, положил на стул сзади себя и практически на ней сидел, куда ж она могла деться? За соседним столиком теснились человек пять совсем молодых, лет по семнадцать, пили портвейн, кто-то из них спросил, чего чувак ищет. Он ответил в необъяснимом раздражении довольно резко, что им, может, видней, чего он потерял...

В следующий раз он ясно осознал, где находится, уже возле своего дома. Он стоял на быстро набирающем силу к ночи морозе без шапки, болели правая щека и подглазье, сильно саднила нижняя губа и шатался нижний передний зуб, во рту

был соленый привкус крови. Голова плыла, но он быстро трезвел.

Он поднялся на свой этаж, тихо открыл дверь — часы были на месте и показывали четверть двенадцатого — и сразу прошел в ванную. Зеркало показало багровое пятно под глазом, расплывающееся на правую скулу, треснувшую и быстро распухающую губу, залитые кровью десны. Сплюнув, он быстро снял пальто и внимательно осмотрел его. Сзади пальто было испачкано грязным снегом, а спереди, так и есть, на самом видном месте, рядом с застежкой, было небольшое темное пятно от крови. Он аккуратно счистил снег, замыл холодной водой кровь, повесил пальто на плечики, пристроил на вешалке в прихожей сушиться и, не зажигая света, попытался пройти в дядипетину комнату, но мать не спала и окликнула его, спросила, сколько времени.

— Двенадцатый час, — ответил он, с трудом шевеля разбитой губой, но стараясь говорить разборчиво, — Спи, мам, я тоже ложусь.

Мать промолчала. Он быстро разделся и залез в постель, но сна не было. Хмель прошел, болели ушибы, он вертелся до самого утра, в шесть встал, пошел посмотреть в зеркало. Вид был страшный, он представил себе, как явится на военку, и ужаснулся, но делать было нечего, он нашел остатки Нининой пудры в старой картонной коробочке, попытался запудрить фингал, еще покрутился перед зеркалом, со стоном пытаясь поджать нижнюю губу, понял, что скрыть следы вечернего приключения не удастся, и стал, постанывая, искать кепку — собираться в университет.

Глава восьмая. Новости

Нина показалась в тамбуре, он, растолкав выходящих, поднялся к ней, поцеловал в щеку, взял чемодан, вылез и подал ей руку. Когда она спустилась по скользким железным ступенькам и оказалась на сером утреннем свете, он заметил ее бледность. Перехватив его взгляд, она сказала, что намучилась ночью, совершенно не спала, в вагоне было невыносимо жарко, проводница топила, как сумасшедшая.

Встали в очередь на такси. Нина смотрела в сторону, мол-

чала, он молчал тоже и думал, что чем дольше молчание, тем труднее будет заговорить. Но в такси Нина, неловко мостясь в толстой цигейковой шубе, которую ей подарили родители, повернулась к нему и что-то тихо сказала. Он не расслышал и переспросил, она наклонилась к его уху и повторила, но он все не мог понять, поскольку никак не ожидал это услышать.

— Я беременна, — повторила Нина, — и делать аборт нельзя. Мама водила меня к хорошему врачу, он сказал, что, если сейчас сделать, детей никогда не будет.

Он откинулся на спинку сиденья и смотрел прямо перед собой, не имея сил повернуться к Нине. Вот и все, думал он, вот все и решилось. Позвонить Тане в последний раз, ни в коем случае не заходить, сказать все по телефону — и конец. И вообще всему конец, начинается совсем другая жизнь, совсем другая. В машине было так тихо, будто он ехал один. Он покосился на Нину и увидел, что она молча плачет, бледные щеки совершенно мокрые, и она не вытирает их. Ему стало невыносимо жалко жену, он вспомнил, как ей было плохо в позапрошлом году, после выкидыша, и понял, как ей плохо и страшно сейчас, он почувствовал ее отчаяние и молча положил свою ладонь на ее руку в варежке, ее рука дернулась, он сжал шершавую варежку крепче и придвинулся плечом к Нининому плечу.

Когда возле дома она вылезла из машины, он обнял ее и долго целовал высохшие слезы на ее щеках. Такси уехало, а они стояли на тротуаре, в левой руке он держал чемодан, а правой неловко обнимал Нину, нелепо толстую в шубе.

В тот день Тане он не позвонил, на следующий день тоже, не позвонил и через неделю, а дней через десять она позвонила сама и, не слушая его, быстро сказав, что она просит его больше никогда не приходить и не звонить, повесила трубку. Некоторое время он смотрел на телефон, держа в руке трубку, в которой надрывались короткие гудки, потом положил ее — и в тот же миг забыл Таню, будто и не было ее в его жизни.

Нина переносила беременность легко, ее не тошнило, она говорила, что вообще ничего не чувствует, только бледность не уходила с ее лица, и есть она стала больше. В доме опять, как уже было, когда он бросал Таню, установился покой, толь-

ко на этот раз они не могли позволить себе изнурительных бессонных ночей, надо было соблюдать осторожность и ограничиваться не утомляющими Нину движениями, но им этого хватало.

Наконец решились сказать матери. Она, к их удивлению, приняла известие спокойно, без особенной радости, сразу сказала, что надо будет заранее договориться с Бирюзой о дополнительной помощи или, если Бирюза откажется, приискать какую-нибудь женщину, чтобы помогала стирать и могла посидеть с ребенком, когда Нине нужно будет уйти. Он удивился материнной предусмотрительности, действительно, помощь понадобится — роды предстояли примерно через полтора месяца после госэкзаменов, а осенью Нине надо было выходить на работу в школу, в которую ее уже распределили, ездить в Измайлово, в ясли же, конечно, сразу не попадешь, да и невозможно сразу отдать в ясли.

Вдруг среди разговора мать заплакала, вытирая пальцами широко открытые глаза. Нина подошла к ней, осторожно, почти не касаясь, погладила по ставшим за последний год совсем белыми, истончившимся и поредевшим волосам.

— Леня, — сказала мать, — Леня...

И замолчала, прижавшись головой к Нинину животу.

Он стоял рядом, не зная, что делать. В последнее время он тоже часто вспоминал отца, эти воспоминания были тревожными, иногда ему казалось, что они снова в Заячьей Пади, отец жив, но вот-вот что-то случится, и он чувствовал себя напуганным мальчишкой.

Появились основания и для реальной тревоги: уже почти месяц не приходил товар из Тбилиси и не звонили от Анзори. С ребятами обсудили ситуацию и решили пока сами не звонить, подождать еще по крайней мере неделю. Но он уже представлял себе, что будет, если дело с водолазками кончится, — придумывать другой заработок, снова заниматься случайными тряпками... Доход неминуемо уменьшится, а именно сейчас деньги будут нужны, как никогда прежде. После университета светила работа в секретном подмосковном кабэ, сто десять рублей и полтора часа езды в одну сторону, и это был еще лучший вариант, а в худшем — школа или техникум, преподавание математики

и физики за восемьдесят или девяносто. Белый однажды заикнулся о валюте, но на него замахал руками Киреев и даже Витька высказался резко неодобрительно, расстрел Рокотова и Файбишенко напугал всех, притихла даже обычная фарца.

Словом, перспективы замаячили невеселые, он считал и пересчитывал накопленное и прикидывал, на сколько времени этого хватит, когда родится ребенок. Сумма уже была приличная, но когда он начинал складывать все будущие траты, получалось, что хватит только на несколько первых месяцев, а потом придется добывать на текущую жизнь неведомым пока способом. Профессиональная карьера, даже если она удастся, не обещала настоящего благополучия: в лучшем случае через пару лет можно получить старшего инженера и сто сорок, еще года через три защитить диссертацию, стать кандидатом, вступить в партию — а на это очереди можно ждать и пять лет — и сделаться начальником группы, еще лет через пять сектора... Годам к тридцати пяти, если все будет идти идеально, можно получать рублей триста — триста пятьдесят, начать писать докторскую... От такого будущего его пробиравал озноб, а другого, он понимал, быть не может, вечно фарцевать не удастся, даже если поток водолазок снова потечет, это не будет продолжаться долго.

Он ощущал бессилие и безнадежность. Обсудить положение было не с кем, с Ниной он никогда не говорил о делах, и уж конечно с ней невозможно было говорить о таких вещах теперь, с матерью — тем более, а с ребятами говорить было бессмысленно, все уже было сказано. Общее дело замерло, они стали совсем редко встречаться. Иногда под вечер заезжал Киреев, привозил бутылку водки, Нина ставила на стол в кухне еду и уходила — ей было трудно подолгу сидеть и выносить сигаретный дым. А они ужинали, почти все время молчали, молча чокались, если же начинали разговор, то о не имеющем отношения к делам и деньгам. Белый звонил почти каждый день просто так — узнать, как Нина, как мать, как дела в университете, в общем, отметитья. Он ожесточеннее всех думал о том, как выкрутиться из нового положения, но не придумал ничего, кроме предложения позвонить Анзори и узнать, в чем дело.

Но звонить Анзори не хотелось, звонок этот оттягивался.

А Витька вообще исчез, не отвечал по телефону и сам не обнаруживался — видимо, полностью погрузился в свои зубные дела, чтобы компенсировать перерыв в торговле.

Шел к концу короткий февраль, сверкал снег, и ясное высокое небо временами казалось совсем весенним.

Однажды днем он сидел дома, военки не было, и он без дела валялся, листал «Юность», дремал, думал все о том же и не мог ничего придумать... В другой комнате мать слушала радио, оно орало на всю квартиру, и он с трудом расслышал телефонный звонок. Звонила Таня.

— Ну, значит, все? — спросила она, не здороваясь.

Он молчал. Он не ждал этого звонка, хотя понимал, что рано или поздно она снова возникнет, но оказался не готов к разговору и молчал в трубку.

— Ты вообще ничего не скажешь? — спросила Таня.

В ее голосе он не услышал слез и обрадовался. Голос был спокойный, и он подумал, что Таня просто решила подвести итог. Он не мог представить, что она испытывает сейчас, разговаривая с ним, куда-то ушло то понимание, которое ее чувства делало его чувствами раньше, когда он ощущал ее боль.

— А что я могу сказать? — тихо ответил он.

Теперь с ее стороны в трубке возникло молчание.

— Таня, — окликнул он. — Таня, ты что?

Молчание превратилось в пустоту, и он представил себе, как она стоит возле телефонного столика, положив трубку рядом с аппаратом, и смотрит в темноту прихожей.

— Таня, — повторил он, — Таня, алё...

Никто не отвечал, пустота шуршала в проводах. Он осторожно положил свою трубку на рычаги, пошел в ванную и долго смотрел на себя в зеркало. Из зеркала напряженно, изучающе смотрел круглолицый, начинающий еле заметно лысеть со лба молодой человек. Теперь уж с Таней все конечно, подумал он.

Была оттепель, снег стремительно исчезал, кое-где темнели асфальтовые пятна, у тротуаров стояли глубокие серые лужи, полные мелких ледяных осколков.

Он вышел на Маяковку к Театру кукол, перешел дорогу к «Современнику», постоял перед афишей, двинулся дальше,

к «Пекину», и побрел по Садовой к планетарию, точнее, к комку рядом с планетарием, торговавшему фотоаппаратами, приемниками и магнитофонами. Он подумывал заняться фото- и радиоаппаратурой, хотя видел проблему, которую пока не знал, как разрешить, — нужны были выездные люди, которые привозили бы эту аппаратуру.

Еще издали он увидел маячившую перед комиссионкой значимую фигуру, это был поэт, которого часто встречали в «Эльбрусе». Поэт тоже заметил его, приветственно поднял руку. Поговорить отошли ко входу в планетарий, подальше от магазина, чтобы зря лишний раз не светиться. Разговор сразу пошел интересный, будто поэт угадал его мысли: у поэта был человек, который привозил технику, отец одной знакомой девочки, он отдавал привезенное поэту по хорошим ценам, но дальше возникали трудности. Во-первых, поэт, как и положено гуманитария, в технике ничего не понимал, не мог сделать поставщику грамотный заказ перед его отъездом, не знал, что лучше уходит, и был неспособен толком запомнить даже названия самых ходовых моделей магнитофонов и транзисторных приемников. Во-вторых, он опасался сдавать вещи в комиссионку по своему паспорту — ему хватало неприятностей со стихами, в любой момент можно было вылететь из Литинститута и загреметь в армию, рисковать из-за фарцовки он не хотел, некоторое вольнодумство его преподаватели могли простить, художник все-таки, но спекуляцию не простили бы никак.

Идея начинала вырисовываться. Поэт мог брать приемники и магнитофоны у своего поставщика под заказы, которые можно было бы получать из Тбилиси от Анзори и его друзей. В Грузии техника уходила бы вдвое дороже, чем в московской комиссионке. Все были бы при деле и довольны, проводники ездили бы из Москвы с толком, а со временем дело можно было бы расширить, если бы удалось привлечь высокими грузинскими ценами и коллег поставщика.

Идею решили отметить. Взяли в гастрономе в высотке на Восстания бутылку украинского, самого дешевого портвейна с этикеткой «біле міцне», зашли в пельменную возле зоопарка, разлили под высоким мраморным столиком в стаканы от предварительно выпитого компота, проглотили по паре быстро остывающих пельменей... Матери, заходившие покормить

детей после похода в зоопарк, косились на двоих, одетых, как иностранцы, но закусывавших бормотуху недоваренными пельменями. Поэт легко опьянел и уже рассказывал о себе. Жил он с матерью в полуразвалившейся деревянной халупе возле платформы Северянин, отец не вернулся с фронта, мать работала подпольной портнихой, всю жизнь боялась фининспектора и участкового. Сам поэт еще с начальных классов ездил в литкружок в Дом пионеров в переулке Стопани, в Литинститут поступил легко и с блеском. Сейчас учеба шла к концу, надо было подумать о том, чем жить дальше, — десяток стихотворений, которые можно в лучшем случае опубликовать за год в разных журналах, не прокормили бы, а на сборник даже в мечтах можно рассчитывать лет через пять — семь, хотя в «Совпесе» к нему отнеслись очень хорошо и сданную весной рукопись уже поставили в очередь на издание. Значит, надо было искать работу, и он уже закинул удочку в одну небольшую ведомственную газету, там есть знакомый мальи́й, и, если дело выгорит, можно будет сесть литсотрудником на сто сорок плюс гонорары, а это уже что-то...

Допив бутылку липкого, сильно отдающего горелым сахаром вина, они вышли из забегаловки. Долго прощались, обменивались телефонами — у поэта в развалюхе на Северянине телефона не было, и он дал номер девочки, через которую все можно передать. Потом поэт своей колеблющейся, развинченной походкой высокого, но неспортивного человека побрел на Воровского в надежде, что какой-нибудь знакомый член Союза писателей проведет в писательский ресторан, в ЦДЛ, а он, позвонив Белому из автомата — диск еще не оттаял и еле проворачивался, — пошел к метро, договорились встретиться у Белого и обсудить новую идею, по телефону он только сказал, что есть дело.

У Белого просидел до вечера, а когда вернулся домой, все заботы разом забылись — Нина вернулась из института раньше обычного, плохо себя чувствовала, тянуло низ живота, испугались, что повторится позапрошлогднее, но она не хотела вызывать врача. К ночи стало полегче, часов в двенадцать она уснула, а он пошел на кухню, курил, стоя в темноте у окна, смотрел на отблеск огней Горького и Маяковки, думал о будущем и опять не мог придумать ничего хорошего — будущее виделось тоскливым.

Утром перед началом военки в группу пришел Ванька Глушко и сообщил, что в четыре комсомольское собрание курса в большой амфитеатровой аудитории, присутствовать всем обязательно, будет приниматься резолюция с осуждением оторвавшихся от народа и угрожающих американцам художников, поэтов и писателей. Стояли на легком морозе раздетыми, курили вокруг урны возле спецкласса.

В его планы никак не входило сегодня задерживаться, вечером собирались встретиться с ребятами у Белого, обсудить подробно новую идею относительно радиотехники, должен был прийти Киреев, который в приемниках и магнитофонах хорошо разбирался, и даже Витька обещал подтянуться. Он протиснулся к Ваньке и тихо сказал, что никак не сможет быть, беременная жена плохо себя чувствует, а мать вообще давно не встает, и ему надо обязательно быть дома как можно раньше.

Глушко стоял под легким снегом в одной ковбойке, демонстрируя здоровье. Светло-серыми без блеска глазами он уперся прямо в глаза отпрашивавшегося и некоторое время молчал. Потом достал из нагрудного кармана мятую пачку «Севера», медленно вытряс папиросу, смял двумя вмятинами мундштук, медленно прикурил, особым хитрым образом пряча спичку в ладонях, и только тогда ответил.

— Придется жене потерпеть, Салтыков, — сказал он, тягуче сплюнул на снег, затянулся и, медленно выпустив дым, продолжал: — Ты ж с ней рожать все равно не пойдешь, пусть привыкает. А на собрании надо быть. Каждый должен от себя сказать. Вот ты, к примеру, что думаешь про абстракционизм?

— Да ничего я не думаю... — Он не успел сообразить, что надо отвечать, и теперь слова вылетали из него сами, он чувствовал, что его несет, и уже ненавидел Ваньку, и ничего не мог с собой поделаться. — Насрать мне на них, я их картин не видел и видеть не хочу, чего я о них могу сказать? Ну, считай, что я проголосовал, как большинство...

— Сам не видел, — усмехнулся Глушко, — а партийной оценке, которая была дана, ты, значит, не доверяешь... Ну, ладно. Не в абстракционистах дело. Ты вот скажи, ты Илью вашего читал?

— Какого нашего Илью, — не понял он, — какого еще Илью?

— Эренбурга, какого ж еще. — Ванька неотрывно смотрел в лицо, не в глаза, а почему-то на подбородок. — Мемуары Ильи Григорьевича Эренбурга. Неужели не читал? Все читали...

— А почему Эренбург «наш»? — Он все еще не понимал. — Чей это «наш»?

— Ну, Салтыков, ты не придуривайся... — Ванька снова усмехнулся, но на этот раз усмешка была откровенно злобная. — Чей Эренбург, это всем понятно. Твоей матери отчество как? Ильинична, правильно? И он Илья. Не родственники?

Снег пошел гуще. Группа потянулась в спецкласс вслед за офицером-преподавателем, а он все стоял под снегом и думал, что делать. Глушко он ничего не ответил, не нашелся, и тот, спокойно докурив, ушел, а он остался стоять возле урны, глядя на свои трясущиеся после разговора руки. Все снова, думал он, все снова, и так будет всегда.

На собрание он не пошел, сразу после военки поехал к Белому, рассказал ему, пока не пришли ребята, о разговоре с Глушко. Белый расстроился.

— Надо было идти на это блядское собрание, — сказал Белый. — Неприятности будут. Сейчас везде собрания, все осуждают. У нас в дэка тоже было, мне выступать пришлось. Сказал, что Эренбург принизил подвиг советского народа в войне...

Незаметно разговор сделался серьезным. Слухи о том, что Хрущев на выставке нес художников матом, статьи в «Правде» и «Комсомолке», собрания наводили Белого на мысль, что дело идет вообще к закручиванию гаек. То, что с Солженицыным продолжали носиться, Белого никак не утешало, он считал, что, во-первых, Солженицына жизнь интеллигенции не волнует, и даже если ему дадут Ленинскую премию, абстракционистов и прочих американских подражателей это не помешает давить, и, во-вторых, рано или поздно самого Солженицына придавят.

— Ты, Солт, не понимаешь... — Белый, одеваясь, бегал по комнате и яростно натягивал штаны, влезал в рубашку, за-

стегивался, путая пуговицы. — Не понимаешь, что все связано. Прижмут поэтов, возьмутся за джаз, покончат с джазом — доберутся до стилияг, начнут фарцу сажать всерьез... Дело врачей новое устроят, и сами не заметим, как на Колыме окажемся! Лажа, Солт, большая лажа начинается, вот увидишь...

Белый за последнее время полностью поменял свои взгляды, уже не считал, что в сталинских репрессиях была объективная необходимость, в разговорах ругал даже и Ленина за красный террор, а уж кукурузника Хрущева иначе, как «жопа с ушами», не называл. Впрочем, понижал, конечно, голос, а диск телефона проворачивал и закреплял карандашом — считалось, что это мешает им прослушивать.

Он думал над словами Белого и не находил, что возразить, хотя возразить очень хотелось, страшные перспективы делали жизнь, и без того в последнее время становившуюся все тяжелее, невыносимой. Он чувствовал, что страх обволакивает его, было такое ощущение, будто бежишь в воде. И никакого выхода он найти не мог, не существовало возможности изменить жизнь — Нина, мать, осенью появится ребенок, дело с водолазками, видимо, накрылось, придется снова носиться по городу за тряпками, налаживать сбыт техники и все время бороться и знать, что впереди все то же самое — навсегда.

Пришел Киреев, и почти сразу за ним — Витька. Поговорили еще немного, настроение у всех было паршивое, решили не просто выпить, а погудеть в тесном кругу. Он решил позвонить Нине — сказал, чтобы приезжала, если хорошо себя чувствует. Киреев расстался с соседкой навсегда, ее загрызла вина перед мужем, поэтому Кирееву даже теоретически никому было звонить, он был одинок. Белый вызвонил поэтессу, которая как раз приехала из Ленинграда и жила у своей тетки на Беговой, поскольку родители Белого, хоть и проводили все время на даче, могли появиться в любую минуту. Витька, конечно, никому звонить не стал — он женщин с друзьями по-прежнему не знакомил. Кинули на пальцах, кто пойдет за выпивкой, Киреев отчаянно спорил: «Солт после счета палец разогнул, вот он пусть и идет!» Белый дал денег — он как раз продал несколько последних водолазок, и общей выручки должно было хватить на коньяк и сухое.

Он вышел в сумерки. В сизом воздухе растекалась автомобильная гарь, улица оглушала гудками, скрипом тормозов, звоном осаживавшего у остановки трамвая. Перед гастрономом снег был растоптан в черную кашу. Он встал в очередь, которая через весь зал тянулась к кассе, и, пока медленно, шаг за шагом, продвигался, продолжал думать о жизни. Постепенно настроение необъяснимо изменялось, ушло отчаяние, и он, топчась на грязном кафеле магазинного пола, ощутил вдруг прилив умиротворенности — его ждут друзья, сейчас придет жена, все хорошо, все наладится, хватит сил все устроить... Набрал две тяжеленные, режущие руки авоськи, горлышки бутылок высывались в ячейки. На обратной дороге поскользнулся и едва не брякнулся со всем бьющимся грузом, но, балансируя авоськами, удержался на ногах и пришел в еще лучшее состояние души — ему везет и будет везти.

У Белого просидели до середины ночи. Позвонили поэту Стасу, с которым все за последние дни познакомились и даже подружились, он приехал с очаровательной актрисой ТЮЗа, коротко стриженной травести с детским голосом, привез много вина. Выпили все до капли, Киреев бегал на улицу, ловил таксиста и брал у него еще пару бутылок водки, все были веселые, но не очень пьяные. Белый танцевал со своей поэтессой и с Ниной, держа ее далеко от себя, хотя ее живот почти не был заметен, Киреев изобразил нечто вроде шейка с актрисой. Витька благожелательно смотрел на веселье, но сам не танцевал, тихо разговаривал с поэтом о предстоящих делах.

А он смотрел на друзей и радовался миру в душе, и повторял про себя «все будет хорошо, все будет хорошо», и когда собрались с Ниной уходить, поцеловал ее в прихожей — подал шубу, прижался сзади и поцеловал в щеку рядом с ухом, в выбившийся из прически золотистый завиток. Никто, кажется, не заметил их ухода — в гостиной гремела музыка, а из кухни доносилось монотонное, с подвывами, бормотание, это ленинградка читала Стасу, казавшемуся ей московской знаменитостью, свои стихи.

Глава девятая. Новые неприятности

По четвергам собственно военки не было, но в этот день полагалось сидеть в спецклассе с секретными описаниями и изучать их самостоятельно. Он посидел часок, полистал

прошнурованный альбом со схематическими изображениями и тактико-техническими данными устаревшей ракеты, едва не заснул, сдал описание секретчику и тихо вышел из холодного ангара. Домой идти не хотелось, Нина пошла в женскую консультацию, а оттуда собиралась ехать в институт, мать наверняка спала, она теперь спала или лежала в полусне, повернувшись лицом к стенке, почти весь день, он представил тоскливую тишину в квартире и пошел бродить по городу.

Дул весенний ледяной ветер, светило солнце, тротуары были залиты серой грязью. Он спустился в метро, поехал в центр, бездумно рассматривая пассажиров. Народ был одет еще по-зимнему, под землей парился, молодые люди снимали ушанки, женщины расстегивали пальто и от этого становились еще толще, еле протискивались в вагонном проходе. Ему удалось занять место в торце, возле двери, в окне которой был виден соседний вагон. Повернувшись к окружающим спиной, он рассматривал таких же пассажиров, ехавших в другой железной коробке, смотреть на них было почему-то интересней — возможно, потому, что не был слышен стоявший в вагоне гул, их вопросы «выходите на следующей?», их дыхание и тихие разговоры. Он смотрел в этот аквариум, ни о чем не думая, и постепенно перестал видеть то, что происходило там, за двумя стеклами, тени мелькали, но он уже не замечал их движения, погруженный в безмыслие...

И вдруг он увидел Таню.

Она протискивалась к двери, собираясь, видимо, на следующей выйти. Сначала он не узнал ее, отметил про себя только, что вот на девушке шуба, как у Тани, точнее, короткий, сильно расширяющийся книзу каракулевый жакет, который ей достался от матери, а потом понял, что это Таня и есть.

Первым его желанием было — отвернуться как можно скорей, чтобы она не почувствовала его взгляда и не посмотрела сама. Но ему стало почему-то стыдно от этой мысли, и он продолжал смотреть, а Таня ничего не почувствовала, теперь она стояла спиной к нему в гуще толпы и все пыталась продвинуться ближе к выходу. Поезд тормозил, люди пытались удержать равновесие, делая шаг-два вперед по ходу, его при-

тиснули к окну. Таня исчезла за спинами, двери зашипели и открылись, толпа повалила, и он уже не мог разглядеть ее.

Было непонятно, что она делала в учебное время в этом районе.

Он поднялся из метро на «Проспекте Маркса», побрел по Горького вверх, свернул в арку на Станкевича, миновал церковь и Чернышевские бани, направляясь к Герцена мимо студии звукозаписи в краснокирпичном здании бывшего англиканского, кажется, храма, мимо длинной двухэтажной типографии, — и вышел как раз к комиссионке. Без цели рассматривая очевидное барахло, громоздившееся на вешалках позади знакомого продавца, сразу давшего знак, что сегодня ловить нечего, он все думал о Тане. Никаких чувств встреча не оживила, он не испытывал сожалений из-за того, что все кончилось, но не было и удовлетворения по этому поводу — просто ему почему-то было необходимо понять, как она оказалась в метро в такое время, откуда ехала и зачем вышла на «Фрунзенской», не доехав до «Парка культуры», где ее институт...

Кто-то сзади положил руку на его плечо, он дернулся и обернулся — это был Стас. Бывают такие дни, когда всех встречаешь, а уж встретить Стаса в «комке» на Герцена было неудивительно.

Стас был явно с сильного похмелья и даже покачивался.

— Гуляю, — сказал Стас, поймав удивление во взгляде. — Гуляю, Солт, третий день. Все прогулял, понимаешь? У тебя деньги есть, Солт? Налей...

Он колебался только полминуты, отказать Стасу было неловко, да и повода не было — каждый может оказаться в таком положении. Они вышли из магазина, пересекли улицу и вошли в шашлычную «Казбек», разделись, сели за столик, застеленный скатертью — свежей, но с не отстиранными пятнами. Стас попросил водки, по поводу закуски только махнул рукой, мол, все равно, есть ему не хотелось. Заметно трясущейся рукой поднял первую рюмку, проглотил — кадык его судорожно дернулся — и через минуту порозовел, пришел в себя, взгляд стал осмысленным и даже оживленным.

— Стих я написал, Солт. — Стас наклонился через стол и говорил тихо, но в пустом зальчике слышно было каждое слово, хорошо, что, кроме них, в шашлычной никого не было

утром, в разгар рабочего дня. — Хороший стих... Знаешь, сколько у меня хороших стихов? Восемь. А у Евтуха, знаешь, сколько? Пять. Я считаю...

— Прочти, — предложил он.

— Сейчас не буду... — Стас откинулся на спинку стула и оглянулся. — Не люблю в кабаках читать, есенинщина... Ты мне так поверь, хороший стих, я разбираюсь. Я его в книгу поставлю, в конце...

— А выйдет книга-то? — Он верил, что стихотворение хорошее, ему вообще нравились стихи Стаса, он поэту искренне сочувствовал, сочувствовал его смешному пижонству, маскировке под финика, фарцовочной суете... «Русский поэт хочет выглядеть чухонцем, — с усмешкой говорил сам Стас, — насмешка жизни...»

— В «Совписе» обещают через год поставить в план, — сказал Стас и потянулся налить из графинчика, — там тоже не дураки сидят, они видят, где стихи, а где фуфло.

— А чего ж фуфло издают?

Они чокнулись и выпили, Стас прикусил и медленно жевал веточку кинзы, было видно, что он отвлекся и думает о другом. Вошла большая компания приезжих в пыжиковых шапках и пальто с каракулевыми воротниками, официантка принялась сдвигать столики и переставлять стулья.

— Хочешь, объясню? — Стас опять перегнулся через стол и говорил шепотом. — Они и не должны только хорошие стихи издавать, понимаешь? Если издавать только хорошие, поэзия умрет, кончится. И если все подряд издавать — тоже. Они сейчас все правильно делают, десять блатных, один настоящий поэт, и все видно, где стихи, а где Грибачев... Понимаешь?

Стас быстро пьянел на старые дрожжи, говорил все громче, из компании командированных на него уже оглядывались. Подозвали официантку, расплатились, вышли на улицу. Поэт постоял, подышал свежим воздухом и, махнув рукой, свернул за угол, пошел, колеблясь на длинных тонких ногах, к Домжур — там у него было не меньше приятелей, чем в цэдээле.

А он, совсем расстроившись после этого, вроде бы не важного разговора, двинулся по Тверскому в противоположную сторону, к дому. На бульваре гуляли матери с колясками, в ко-

лясках, укрытые толстыми одеялами, спали невидимые дети. Он подумал о Нине и расстроился еще больше, жизнь навалилась, впереди были тяжелые хлопоты, и больше ничего.

Дома было тихо, серый свет входил в окна столбами, в столбах плясали пылинки. Мать лежала на спине, глядя широко раскрытыми, как всегда, глазами в потолок.

— Погреть обед, мам? — спросил он, проходя в дядипетину комнату.

Мать что-то ответила, он не расслышал и переспросил.

— Приходила Бирюза, покормила меня, — повторила мать чуть громче и добавила что-то, чего он опять не разобрал.

— Что будет на следующей неделе, мам? — крикнул он, снимая пиджак и убирая его на вешалку в шкаф.

Раздевшись, он подошел к материной постели и стоял, ожидая ответа. Мать молчала, и теперь он заметил, что из ее невидящих глаз ползут слезы.

— Что случилось? — Он сел рядом с постелью, придвинув стул. — Ты чего плачешь, мам?

— На следующей неделе Бирюза выходит замуж. — В голосе матери было такое абсолютное отчаяние, что он вздрогнул. — Она сказала, что выходит замуж и будет жить в Измайлове, оттуда она не сможет ездить...

Отчаяние мгновенно охватило и его, он не знал, что сказать. Как Нина будет справляться с ребенком и с матерью, представить невозможно. А пока Нина вообще мало бывала дома, приближались госэкзамены, она целыми днями, мучаясь из-за затекающей поясницы, сидела в читалке, вечерами он выводил ее пройтись — врач велел обязательно гулять хотя бы полчаса. Думать о том, что наступит через несколько месяцев, было невыносимо, придумать ничего не удавалось, а теперь еще обрушилась эта новость о Бирюзе... Он сидел на стуле рядом с материной постелью и молчал, мать тихо плакала.

— Ну, перестань, мам, — наконец выдал он, — что-нибудь придумаем... Нина...

— После родов Нине надо уезжать в Одессу, — перебила его мать, и стало понятно, что она давно ищет выход и все обдумала, — там ей будет полегче, Леля и Николай помогут. Они получили новую квартиру, поместятся...

Он не сразу понял, кто такие Лея и Николай, потом сообразил, что это Нинины родители.

— А откуда ты знаешь, что Бурлаковы получили новую квартиру? — спросил он мать удивленно, сам он ничего про это не слышал.

— Нина рассказала... — Мать вздохнула. — Ты же никогда не интересуешься, что они пишут... Люба уже подросла, тоже может помочь...

Он еще больше удивился — про существование младшей сестры жены он вообще никогда не вспоминал, а вот мать помнит даже, сколько ей лет.

— А обо мне не волнуйся, все устроится, — продолжала мать, вытирая своим обычным жестом, кончиками пальцев, глаза. — Все устроится...

Она замолчала, и слезы опять поползли по ее щекам. Он наклонился, поцеловал ее, прижался головой — что еще делать, он не знал.

На следующий день приехал Киреев, привез с собой клеенчатую сумку с инструментами, пошли к заднему крыльцу гастронома, набрали сломанных деревянных ящиков, долго пилили и строгали на лестничной площадке. Поздно вечером закончили сооружение грубых перил, которые шли от материнной кровати к кухне и дальше к уборной и ванной. Опоры перил установили на крестовины, как елки, а крестовины пришлось прибить прямо к паркету. Мать сидела на постели и слушала стук, глядя перед собой в пустоту. Закончили все уже к ночи, но мать, конечно, не спала и захотела попробовать, что получилось. Она нащупала ногами тапочки, встала с постели в распахивающемся халате поверх ночной рубашки и, ведя рукой по перилам, довольно уверенно добралась до кухни, там нашла стол, двигаясь вдоль стены, потом дошла до уборной и даже продемонстрировала, что может сама, на ощупь, открыть двери в ванную и уборную, найти раковину и унитаз. Нина шла на всякий случай рядом с матерью, но ее помощь не понадобилась.

Настроение у матери заметно улучшилось, она оживленно разговаривала с Киреевым, благодарила его за помощь, потом легла и сразу заснула, а они втроем сидели на кухне, ужинали, пили чай, хвалили Игоря, которому пришла в голо-

ву гениальная идея. Решили, что на день будут оставлять матери еду, которую не надо греть, а утром и вечером кормить ее горячим, мыться же мать умела сама. Сидели допоздна, говорили о всякой ерунде — Игорь отпустил по новой моде длинные волосы и стал похож на Гоголя, в институте уже начались неприятности, обещали не допускать на военку, — наконец поставили гостью раскладушку на кухне и легли почти успокоенные.

Нине уже мешал живот, и они были осторожны. Она изгибалась, поворачивала к нему лицо, и при отражавшемся от снега свете уличного фонаря он видел ее обтянувшиеся скулы и темные губы, что-то шептавшие беззвучно. Он привычно, почти ничего не чувствуя, двигался, ощущал ее руки на своем теле и думал о том, что будет с ними со всеми скоро, через несколько месяцев.

Утром по дороге в университет, проезжая «Парк культуры», он вспомнил, как вчера увидел Таню в соседнем вагоне, и опять ничего не испытал, все чувства исчезли, осталось только равнодушное ожидание будущего.

Он решил до военки зайти на кафедру, отметить у руководителя диплома, наврать и попробовать зафиксировать пятьдесят процентов готовности работы. В длинном, темном и пустом коридоре он издали, на фоне торцевого окна, увидел темный силуэт приземистой человеческой фигуры. Фигура двигалась навстречу. Шагов за десять до обитой черным дерматином двери кафедры он разглядел человека, который явно ждал в коридоре именно его, непонятно каким образом вычислив, что он именно сегодня здесь появится. Человек был Ванькой Глушко.

— Здорово, Салтыков, — сказал Глушко и пожал руку. Ладонь у него была крепкая, но влажная, а вытереть незаметно свою руку было невозможно. — Куда идешь, на кафедру?

Он молча кивнул и пожал плечами, изобразив, что не хочется, конечно, но надо — почему-то перед Глушко приходилось постоянно оправдываться, даже если оправдываться было не в чем.

— Диплом небось хочешь отметить, пятьдесят процентов? — В полутьме было видно, что Глушко усмехается, белели зубы. — Молодец, учеба на первом плане... Только на тво-

ем месте я бы сейчас в комитет комсомола сначала зашел. Не все на кафедре можно решить, понимаешь, Салтыков? Или, как тебя твои дружки называют, Солт, да? Солт?

Ответить было невозможно. В Ванькиных словах была такая откровенная злоба, необычная даже для Глушко, что он растерялся.

— А зачем в комитет? — сразу охрипнув, выдавил он. — Чего случилось?

— Да в комитете ничего не случилось, — Ванька усмехнулся еще шире, просто оскалился. — Это, может, у тебя что-то случилось, почему ты на собрании не был. На нем все были, дискуссия получилась интересная о чуждом нам искусстве, о влияниях... Даже у филологов дискуссии не было, проголосовали — и все, а у нас спорили, философски обосновывали, понял? И удалось кое-кого переубедить... А ты, значит, решил не нарываться, оставить свое мнение при себе? Думаешь так и прожить молчком, а?

— Да у меня мать... — Он запнулся, уж больно не хотелось опять говорить этому жлобу о матери, Нине, о горькой своей растерянности, но Глушко сам перебил.

— Матери у всех. — Ванька достал папиросы, принялся разминать «Север», поглядывая в сторону курилки на лестничной площадке. — Все из одного места вылезли... У тебя спички есть?

Он достал ленд-лизовскую отцовскую зажигалку, с которой не расставался, откинул звякнувшую крышку, чиркнул. Глушко наклонился, прикурил, выпустил, не разгибаясь, струю дыма и только после этого выпрямился, глянул в полумраке, близко придвинувшись, в глаза.

— Американская зажигалочка? — Усмешка все не исчезала с Ванькиного лица, будто у него свело рот. — Почему? А может, у тебя и газовая есть? Я б купил, если недорого, уступишь по дружбе?

Не дожидаясь ответа, Глушко повернулся, открыл дверь на лестницу, потянуло накуренным.

— А в комитет приходи... — Глушко встал в дверном проеме и снова превратился в темный силуэт на фоне лестничного окна. — В два. Советую...

— Так у меня ж военка, — начал он, но Глушко уже отпу-

стил дверь, и она, притянутая мощной пружиной, с грохотом закрылась.

На кафедре не было никого, кроме лаборантки Валечки, посмотревшей на него, как ему показалось, с испугом. Когда будет доцент Шиманский, Валечка не знала, посоветовала снова заглянуть вечером. Он побежал на военку, едва не опоздал, некоторое время пытался сосредоточиться на принципах работы приборов управления полетом, но скоро отвлекся, действие гироскопа ему и так было понятно, а подробности майор излагал невнятно. Он автоматически перерисовывал с доски формулы и векторные схемы, думая о том, как там мать учится ходить, держась за перила. О разговоре с Глушко он вспомнил уже в метро, по дороге домой, глянул на часы — была уже половина четвертого.

Вечером позвонил Белый, поинтересовался, нет ли новостей из Тбилиси. Новостей не было давно. Женька сказал, что через час приедет обсудить положение дел. Это было совсем некстати, ему сейчас было не до Женьки и не до водолазок — он застал мать лежащей лицом к стене, а на кухне обнаружил, что она ничего не ела. Он сел на стул рядом с ее постелью, положил руку ей на плечо. Мать с усилием перевернулась на спину. Люстра резко освещала ее лицо, и он вздрогнул, заметив, как она изменилась за последнее время — кожа на лбу пожелтела, нос заострился и даже стал крючковатым, губы в ярком свете были синие, широко раскрытые глаза подернулись матово-серым.

— Не хочется есть, — сказала мать тихо, — совсем не хочется...

— Надо поесть, мам... — Он говорил настойчиво, живо бодрим голосом. — Мало ли, что не хочется... Ты, может, ходить боишься? Ты ж пробовала. Держись за перила, и все. Боишься?

— Не боюсь. — Мать лежала на спине неподвижно, голос ее был еле слышен, затухал. — Просто не хочется... Ничего не хочу... Мешать вам не хочу. У вас... У вас без меня забот много... Нина...

Она замолчала. Он сидел и тоже молчал. Он заметил, что в последнее время вообще стал больше молчать, не находя, что ответить Нине, матери, Глушко, Кирееву... Мать прикры-

ла глаза и, кажется, задремала, а он все сидел рядом с нею, в голове его бродили обрывки мыслей о какой-то ерунде — например, он вспомнил, что так и не смыл рукопожатие Глушко, — и оцепенение овладевало им. Совсем стемнело, оконный проем превратился из сизого в черный, а он все сидел, облокотившись на колени и положив голову в ладони. Что же делать, повторял в нем какой-то другой человек, не он, что же делать, что делать... Надо было бы встать, разогреть еду, разбудить мать и попытаться ее накормить, а он не мог заставить себя двинуться с места.

Так он и сидел, пока не позвонил Белый. Он разговаривал по телефону, когда пришла Нина, стала суетиться, мать проснулась и даже что-то, поданное в постель Ниной, поела, потом приехал Женька, заказали междугородний и стали ждать, пока дадут Тбилиси. Нина устала, ушла в комнату и легла, а они сидели на кухне, понемногу тянули принесенный Женькой коньяк, ждали. Телефон в Тбилиси не отвечал, они перенесли заказ на час позже.

Женька тоже был невесел, его тянуло на философию. Глядя на телефон, говорил о невнятном, трудно формулирующемся.

— В сущности, никаких доказательств нашего существования придумать нельзя, — говорил Женька, тараща глаза, было видно, что эта мысль только что пришла ему в голову. — Безусловно только то, что есть некоторая сумма впечатлений, которая составляет наш внутренний мир, нашу душу, если угодно. Но сами эти впечатления субъективны, правильно? Значит, вполне возможно, что ничего внешнего не существует, ни этой комнаты, ни вот этой моей руки, ничего... А существует только душа, а душа эта — не я, а часть чего-то общего, Бога, если угодно. Ну, Солт, чего ты молчишь?

Рассуждения Белого в другое время могли вызвать его на ожесточенный спор, но сейчас ни спорить, ни даже думать о таких вещах не хотелось. В большой комнате тихо, с болезненными тонкими всхлипами похрапывала спящая мать, в дядиПетиной было тихо, Нина погасила свет, но, наверное, лежала без сна, думала, как и он, о будущем. Внешняя жизнь была несомненна и ужасна, и он вяло возразил Женьке, просто чтобы не молчать, ожидая, пока дадут Тбилиси.

— А может, души нет, Женька? — Он налил коньяку се-

бе и Белому, чокнулись, выпили. — Прислушайся к себе, там же пусто... Просто что-нибудь дергает тебя, и ты реагируешь. Элементарно: захотелось есть — добыл еды, поел, захотелось выпить — выпил...

Тут же он почувствовал отвращение к сказанной глупости, не стал продолжать и махнул рукой. Женька смотрел на него с изумлением и даже некоторым испугом, но не возражал. Зазвонил телефон, междугородняя сказала, что номер в Тбилиси опять не отвечает, и они сняли заказ — в Грузии был уже второй час ночи, продолжать дозваниваться было бессмысленно. Женька ночевать отказался, пошел ловить такси.

Мать спала на спине, свет падал прямо на ее лицо, и он снова ужаснулся тому, как она выглядит. Он щелкнул выключателем, в окно вошел голубой снежный свет. Лицо матери ушло во тьму, показалось, что ее вообще нет на постели, белели пододеяльник и подушка, казавшаяся пустой.

В их комнате была тьма, Нина задернула шторы. Он чувствовал, что она не спит, осторожно, стараясь не налететь на что-нибудь, прошел к постели, сел, не раздеваясь, на край, протянул руку. Как он и ожидал, лицо Нины было мокрым от слез.

— Что случилось? — Он вытирал ее щеки ладонью, но она отворачивалась. — Ну, что такое? Плохо себя чувствуешь?

Нина шептала еле слышно, голос ее пропадал:

— Все ужасно, Мишенька... — Она редко называла его уменьшительным именем, его раздражала ее дурацкая школьная манера называть всех по фамилии. — Все рушится... Я думала, что, когда родится ребенок, все будет хорошо, будет настоящая семья... Я с шестого класса хотела, чтобы у нас была семья... Знаешь, мне всегда было тяжело из-за того, что отец не родной... Не могу тебе объяснить... Думала, вот родится ребенок, все наладится, ты перестанешь... ну, будешь нормальным, взрослым мужчиной, вечерами будем все вместе... А теперь я боюсь, я не хочу ребенка, Мишенька, слышишь, не хочу!

Ответить ему было нечего. Уже полжизни они были с Ниной вместе, уже давно им не нужно было ничего обсуждать, они чувствовали одинаково, и никакие его похождения ничего

не меняли, и сейчас он чувствовал то же, что она, — страх и отчаяние. Незаметно в последние два-три месяца кончилась веселая, бездумная, молодая жизнь, наступила тоска, и он понимал, что веселье уже никогда не вернется, а тоска и будет жизнью, ничего, кроме тоски. Глаза привыкли к темноте, он теперь видел, что Нина лежит на спине, сбросив одеяло — в комнате было жарко, к батареям нельзя было притронуться. Живот жены возвышался под ночной рубашкой круглым холмом, мокрое лицо блестело. Надо терпеть, подумал он, мгновенно представил, сколько еще всего придется вытерпеть, подавил ужас и повторил про себя «надо терпеть, надо терпеть», и вдруг понял, что терпеть он не будет, а будет сопротивляться этому кошмару, будет сопротивляться всю жизнь, сопротивление и будет жизнью, он не сдастся, зря Нина боится — он выживет, и все, кто будет с ним, семья и друзья, выживут тоже.

— Нинка, не плачь, — сказал он, — не плачь. С тринадцати лет я живу без отца. Ты видишь? Мы выжили. Мы выживем. Я тебе говорю, мы выживем. Я знаю...

Нина, конечно, не перестала плакать, наоборот, стала всхлипывать громко, а он, наклонившись к ее уху, повторял шепотом «я обещаю, я обещаю» и обнимал ее располневшие плечи.

Глава десятая. Комитет

На доске объявлений был приколот слегка вспухший посреди лист ватмана. Текст был написан безукоризненным чертежным шрифтом. Он вспомнил, какое сегодня число, получилось, что собрание уже завтра. «... в 15 часов комсомольское собрание пятого курса математиков и механиков. Повестка дня: персональное дело комсомольца Салтыкова М.А. За явку отвечают комсорги групп».

Он сделал над собой усилие, чтобы оторваться от объявления, пока никто не увидел, что он его читает, но не успел — его окликнула сбежавшая по лестнице Ленка Сивашова из группы прикладных математиков, огромная белобрысая девица, игравшая в волейбол за университет, а в остальное время собиравшая взносы то профсоюзные, то досаафовские и пото-

му известная всему факультету. У нее были круглое курносое лицо, короткие косички, скрученные над ушами в кольца, и вообще она была похожа на девочку лет пяти, раздавшуюся до чудовищных размеров.

— Салтыков! — Она крепко взяла его за рукав, будто он пытался убежать. — Прочел? Значит, так: до собрания на комитет в час, в комнату комитета. Объяснишь, комитет проголосует, потом будем предлагать решение собранию...

— А что вообще случилось-то? — Он пытался говорить спокойно, но почувствовал, что голос дрожит, попробовал улыбнуться, улыбка вышла кривая. — Какое персональное дело? Что я сделал персонально?

— Не придуривайся, Салтыков. — Ленка говорила, оглядываясь по сторонам, вероятно, ей надо было еще кого-то выловить в вестибюле. — Все ты отлично знаешь... Тебя Иван Глушко лично предупреждал, чтобы ты явился на собрание, когда абстракционистов обсуждали? Предупреждал. Ты не явился... Со всех факультетов таких, не явившихся, только семь человек. По каждому уже принял решение университетский комитет. Философов исключили, физика одного... А тебя передали на факультет, чтобы пока сами решали. Никто, конечно, дипломника исключать не хочет, тем более тобой на кафедре довольны... Но строгий получишь точно, это я тебе обещаю. Придешь на комитет, послушаешь, что о тебе комсомол думает... На собрании выступишь, как положено... А к защите, может, снимут выговор, чтобы на предприятие хвост не тащил...

Недоговорив, она отпустила его рукав и бросилась к какому-то парню, кажется, механику с третьего курса, который, миновав проходную, направился к лестнице. Парень тащил огромный лист фанеры, на котором были приклеены большие фотографии, Ленка подхватила фанеру за свободный угол, и они с парнем понесли стенд по лестнице вдвоем.

Он побрел на кафедру, хотя делать там сегодня было нечего, но до военки оставался еще почти час, и он не знал, куда бы забиться, чтобы никого не встретить. Но дверь кафедры была заперта, он бессмысленно потоптался в коридоре и вышел курить на лестничную площадку. Возле заваленной с верхом окурками урны никто, вопреки обыкновению, не стоял.

Он присел на подоконник, прислонился спиной к холодному стеклу. От урны отвратительно пахло, но деваться было некуда. Он достал сигареты — в последнее время перешел ради экономии с «Кента» на «Шипку» — и раскрыл белую корбочку. Руки дрожали.

Ему везло с комсомолом все пять лет учебы. Отлично сданные сессии и игра в баскетбол за факультет отвлекали от него внимание активистов, и он умудрялся без всяких сложностей избегать общественных поручений. Правда, на третьем курсе он был старостой группы, но эта должность больших усилий и комсомольского энтузиазма не требовала, он по мере сил покрывал сачков, как делали это практически все старосты, напоминал о семинарах и коллоквиумах, договаривался с преподавателями о зачетах — и группа была им довольна, и замдкана по учебной работе, который следил за работой старост и вообще за дисциплиной, претензий не предъявлял. Но на четвертом курсе его старостой почему-то уже не выбрали, и он совсем затих, и его никто не трогал...

Теперь он испугался — он почувствовал, что столкнулся с чем-то очень опасным, что он нарушил закон, по которому идет главная жизнь, прежде почти не касавшаяся его и потому неизвестная. Он дожил до двадцати одного года и оказался вдруг на чужой территории, хотя должен был эту территорию давно освоить.

Отсиживая две пары военки, бессмысленно перерисовывая в секретную тетрадь с доски формулы и горбы траекторий, он пытался обдумать ситуацию, но страх разгонял мысли. Надо было бы заготовить выступление на комитете, но он не знал, что там следует сказать. Как вести себя на собрании, он не мог даже представить, встать и говорить что-то залу казалось физически невозможным, он знал, что не произнесет ни слова. И при этом он понимал, что отмолчаться не удастся, что, если он не найдет правильных, полагающихся в таких случаях фраз, может наступить катастрофа. Исключат из комсомола. Автоматически исключат из университета. Армия... Мать. Нина. Ребенок.

У него закружилась голова, все поплыло вокруг самым настоящим образом, он испугался, что сейчас свалится со стула. Жизнь кончалась, у него отнимали жизнь.

Все это время он, конечно, вспоминал отца. Они истребляют нас собраниями, думал он, собрание нельзя пережить.

После военки он позвонил домой, застал Нину, сказал, что задержится, надо встретиться с ребятами, есть дела, и без звонка поехал к Женьке. Ему казалось, что Белый сможет что-нибудь придумать, а если не сможет, надо разыскать Киреева, Витьку, и уж вместе они обязательно найдут выход, как находили всегда, и все устроится, мелких неприятностей не избежать, но страшного не случится.

В метро было полно народу, хотя рабочий день еще не кончился. Все больше народу с каждым днем, подумал он, это все из новостроек едут. И все они знают, как жить, устраиваются в своих пятиэтажках, ездят на работу через весь город, носят ужасную одежду, ходят на собрания и не боятся, что завтра все рухнет, кончится мир.

Ничего не придумает Женька, вдруг понял он, и Киреев ничего не придумает, и незачем искать давно не объявлявшегося Витьку, потому что он ничего не придумает тоже, и ничего сделать нельзя.

Он вышел на «Парке культуры», перешел на кольцевую, доехал до Таганки и пошел вниз, мимо церкви, мимо больницы, вышел на набережную и свернул к Таниному дому.

Она встретила его, будто ничего не изменилось, будто он был у нее вчера. Отступила в глубину прихожей, смотрела, как он снимает пальто. Он поцеловал ее, она ответила еле ощутимым движением губ, обняла, погладила по затылку. Пошли на кухню, сели, выпили по рюмке, закурили.

— У меня неприятности, — сказал он и удивился: вдруг оказалось, что ему не хочется ничего рассказывать, он почувствовал, что не может пересказать разговор с Ленкой Сивашовой, не может описать кошмар, который надвигается, потому что и разговор, и кошмар как-то расплылись, перестали казаться реальными, и он неопределенно закончил: — Не знаю, что делать...

Она молчала, ее лица против света не было видно, и он тоже молчал. Когда шел от метро, представлял, как признается ей в своем страхе, но теперь и страх куда-то делся, он ничего не чувствовал. Таня встала, выходя из кухни, потянула его за рукав, он вспомнил, как несколько часов назад его держала за

рукав активистка, но и это воспоминание здесь, в знакомой полутьме запущенной квартиры — в кухонной раковине, как всегда, громоздилась грязная посуда, — не вернуло ему ощущения близящейся катастрофы.

Они пошли в спальню, там уже было почти совсем темно, белела незастеленная постель, одна подушка валялась на полу. Таня начала молча раздеваться, он, застревая в рукавах и штанинах, тоже стягивал с себя одежду. Ничего не забылось, они привычно двигались, он скалился и скрипел зубами, она стонала, мотая из стороны в сторону головой, и волосы ее ползали по подушке тонкими темными змеями, потом он рушился рядом с нею, прятал лицо, а она перекатывалась на бок, клала руку на его спину и тихонько похлопывала, будто успокаивала ребенка.

— Расскажи о неприятностях, — тихо предложила она, когда он лег на спину и потянул на себя одеяло, в комнате было не жарко. — Что-то не так с делами? С грузинами?

Он мельком удивился — оказывается, она знает о грузинах, запомнила разговоры с ребятами, хотя вроде бы никогда не прислушивалась.

— С делами тоже так себе. — Он сел в постели, подмостил подушку под спину, говорил, закрыв глаза, услышал, как она чиркнула спичкой, и почувствовал сигаретный дым. — Из Тбилиси уже месяц ничего нет, телефон не отвечает... Да это черт с ним, прояснится как-нибудь. А вот из комсомола меня попереть могут, представляешь? Тогда все — и из университета исключат. Армия, представляешь? А у меня Нинка беременная...

Он сообразил сразу и прикусил язык. Таня молчала, он стал быстро болтать, рассказал о назначенной на завтра комсомольской экзекуции, даже начал репетировать свою оправдательную речь, придумывая всякие тонкие шутки, которые будет говорить на комитете, — такие, чтобы комсомольцы не поняли, а он сам чтобы сохранил лицо, и чтобы покаяние не получилось слишком унижительным... Вдруг Таня все так же молча легла на спину, потянула его на себя, и он замолчал тоже, и полчаса они в тишине мучили друг друга, у него ничего не получалось, потому что он думал о другом, но постепенно мысли спутались и ушли, остались только ощущения — влаж-

ная женская кожа, складки простыни, прикосновение холодного воздуха к потной спине — и неудержимое желание.

Когда он снова перевернулся на спину и открыл глаза, Таня стояла посреди комнаты уже одетая.

— Оденься, — сказала она, — здесь холодно, простудишься.

Он торопился, кое-как завязывал шнурки ботинок, понимая, что теперь уж точно все кончилось и больше он никогда не вернется в эту квартиру, в которой прожил целую отдельную жизнь. Таня вышла из спальни, было слышно, как она в кухне открывает и закрывает холодильник, гремит посудой. Он, уже в пальто, неловко протискиваясь в коридоре, держа в руке кепку, тоже пошел на кухню. Таня сидела за столом спиной к двери, как обычно садился он, перед нею стояла полная рюмка, в пепельнице дымилась сигарета, а она, подперев подбородок ладонью, смотрела прямо перед собой в окно, за которым уже почти стемнело.

— Давай выпьем, — сказала она, — выпей... на дорогу.

Он, не садясь, налил себе, потянулся чокнуться с нею, но она уже проглотила, сильно закинув голову, водку одним глотком, неловко поставила рюмку — рюмка упала, покатилась по столу и едва удержалась на краю — и быстро ушла в глубь квартиры, не сказав больше ни слова. Он поставил свою рюмку, не выпив, и вышел, осторожно притворив за собой дверь и прижав ее, чтобы щелкнул замок.

Через пятнадцать минут, когда уже ехал в троллейбусе по Солянке, он думал только о завтрашнем дне. К тому времени, как добрался домой, так ничего и не придумал.

Нина покормила мать, потом они сели вдвоем на кухне ужинать. Ему невыносимо захотелось рассказать все жене, долго жаловаться ей, потом лечь и слушать ее утешения, но он чувствовал, что не сможет сделать это, и даже не потому, что жалеет Нину и не хочет ее волновать, а потому, что после разговора с Таней рассказывать все еще кому-нибудь стало невозможно. Нина, не замечая его почти истерического состояния — он вскакивал, ходил по кухне, курил в форточку, вздыхал, хрустел пальцами, — очень оживленно рассказывала о своих делах в институте, о девочках, спешащих выйти замуж, чтобы не ехать по распределению, о том, как они ей за-

видуют. Он слушал и думал о том, как завтра к вечеру изменится и ее жизнь.

Наутро он встал поздно — спал на удивление крепко и даже не слышал, как Нина собралась и уехала в институт. Есть не хотелось, мать от завтрака тоже отказалась, пожаловавшись на тошноту и тяжесть в желудке, и снова задремала, она лежала на спине, рот ее приоткрылся, дышала она громко, всхлипывая. Он постоял рядом с ее постелью, глядя сверху на белое бескровное лицо, темные запекшиеся губы, вздрагивающие прозрачные веки. Очертания ее уменьшившейся почти до детских размеров фигуры были почти не видны под одеялом.

Он смотрел и удивлялся — он ничего не чувствовал, жальность кончилась, исчерпалась за эти годы, и он не мог представить, что будет чувствовать мать, когда проснется и будет лежать в своей вечной темноте и тишине пустой квартиры.

Внутри нас пустота, подумал он, если бы мы не были пустыми внутри, мать не смогла бы пережить отца, а я бы не смог жить в свое удовольствие, когда она ослепла, и я бы чувствовал тот ужас перед будущим, который чувствует Нина, а Нина понимала бы, как я боюсь крушения, бедности, которые могут наступить в любую минуту, но мы все пустые и ничего на самом деле не чувствуем, и живем, не думая об этой пустоте, которая поглощает и в конце концов поглотит каждого из нас.

От этой мысли он похолодел, даже передернул плечами, как от озноба. Но тут же стало и легче, потому что он понял, что пустота спасет и его, и всех, что бы ни случилось, все как-нибудь устроится, нет ничего такого страшного, из-за чего наступили бы настоящие страдания, потому что пустота не может страдать, пустота сливается с пустотой, и остается только пустота.

Он натянул старый свитер, сшитые Таней толстые брюки, постарался увидеть себя в зеркале со стороны — вид все равно был не такой, в каком, по его представлениям, надо было бы идти на комитет комсомола, но более неприметной одежды у него не было.

Пустота, думал он, стоя на эскалаторе метро и глядя в лица едущих на встречном эскалаторе, пустота, каждый пуст и знает это про себя, а про других не знает, и они кажутся ему

живыми, настоящими, а на самом деле все пустые, и это спасение, потому что иначе жизнь была бы невыносимой.

Никогда прежде он не думал о таких вещах и теперь не мог отогнать мысль, впервые поразившую его своей важностью для жизни вообще, а не для этой минуты. И до самого университета он доехал, совсем не думая о том, что его ждет в ближайшие часы.

В комнате комитета комсомола было душно, пахло старым табачным дымом, хотя никто не курил. На стенах висели древние фотомонтажи, среди них был даже выпущенный еще по случаю полета Гагарина. Члены комитета садились за длинный, покрытый темно-красной суконной скатертью стол, ему указали на стул в торце, а в противоположном торце сел Глушко. Было похоже, что собрались все равные, и он один из них, и сейчас начнется какое-нибудь совещание по итогам шефской работы или о подготовке к факультетскому вечеру отдыха. Обращались друг к другу по фамилиям, и его называли так же, и каждый входящий пожимал всем руки, в том числе и ему.

Глушко доложил суть персонального дела — ставит себя выше коллектива, общественной работы не ведет, пренебрегает политическими мероприятиями, что особенно ярко проявилось в неявке на собрание, посвященное обсуждению последних партийных решений и выступления Никиты Сергеевича перед творческой интеллигенцией, на уме только тряпки и меццанские заботы о собственных личных делах. При словах о тряпках все сидевшие за столом обернулись и внимательно осмотрели старый растянутый свитер крупной вязки, и он, увидев себя их глазами, пожалел, что не надел дядин ветхий костюм, сшитый по моде пятидесятых годов, висящий в кладовке, но тут же отогнал эту мысль — что ни надень, им уже не угодишь.

После Ваньки говорила какая-то девочка, которую он не знал даже в лицо, очевидно, она была с какого-то из младших курсов. Он был уверен, что никогда прежде с нею не сталкивался, а она знала про него все. Нельзя постоянно объяснять свое нежелание участвовать в жизни организации, говорила девочка, домашними обстоятельствами, у нас есть и другие семейные среди студентов и особенно аспиран-

тов, и они живут в более тяжелых условиях, в общежитии, например, и у некоторых есть даже дети, но они не уходят в свою скорлупу, а, наоборот, ищут поддержки у товарищей. Вот, например, общественные организации помогли одной аспирантской семье получить место в детских яслях... А Салтыков никогда не придет, не поделится своими трудностями, не попросит помощи, не спросит, что он сам мог бы сделать для комсомольской организации. Конечно, у него больная мать, но это не мешает ему водить компанию со своими друзьями, среди которых не только студенты других вузов, нефтехима, например, но и люди вообще случайные, есть даже с сомнительным прошлым, и что Салтыкова с ними объединяет? Какие общие интересы? Сидят в пивных и кафе в центре, шатаются по комиссионным магазинам, выискивая американские тряпки, собираются по домам слушать джаз, пьют... И семейная жизнь у Салтыкова, как известно, не такая уж благополучная, так что можно посочувствовать его жене, которая сейчас ухаживает за его матерью, хотя готовится к госэкзаменам и ждет ребенка...

Он слушал и не верил своим ушам. Откуда они могут все это знать? Его жизнь выворачивали наизнанку, он чувствовал себя абсолютно незащищенным, положение оказалось гораздо хуже, чем он думал. Вполне вероятно, что им известно и про Таню, подумал он, и сейчас кто-нибудь скажет...

Но Глушко попросил выступающих не отвлекаться, речь идет о конкретном поступке, Салтыков проявил свое отношение к политике партии, не явившись на собрание, посвященное важнейшему вопросу, и говорить надо прежде всего об этом. Если комсомольцу что-нибудь непонятно в происходящих событиях, он должен прийти к товарищам, прямо выступить, сказать о своих сомнениях и выслушать общее мнение, задуматься о своей позиции. А Салтыков предпочитает увиливать. Вот, например, он ушел от разговора о книге «Люди, годы, жизнь» писателя Ильи Эренбурга. Известно, что в этой книге много ошибочного, поверхностного, искажающего историю партии и Советского Союза, преувеличивающего допущенные ошибки. Но когда сам Глушко заговорил об этом с Салтыковым, тот отмахнулся, заявив, что его это не интересует. Весь народ интересуется, а Салтыкову неинтересно.

И сейчас комитет должен не просто осудить поведение комсомольца Салтыкова, а выяснить, в чем корни его позиции.

Ванька вытащил пачку «Севера», достал папиросу, но не закурил, а только размял мундштук и крепко прикусил его. При этом он посмотрел через весь длинный стол прямо в глаза подсудимого, и даже на этом расстоянии в его взгляде читалась такая ясная ненависть, что стало понятно — кончится все плохо.

Тех, кто выступал после этого, он уже почти не слушал, все бубнили про политическую незрелость и безразличие к общественной жизни. Очнулся он, когда очередь дошла до Ленки Сивашовой, — она предложила закончить обсуждение, дать слово самому Салтыкову и, не дожидаясь, что скажет на это Глушко, пробормотала что-то относительно «влепить строгача в учетную, чтобы знал, и все дела»... Тут, наконец, пот окатил его, почти отлегло — после такого обсуждения отделаться строгим выговором, даже с занесением в учетную карточку, было бы счастьем. Через полгода, к защите, выговор, как Ленка и обещала, снимут, и все забудется, и жизнь как-нибудь продолжится...

Но Глушко прервал Ленку. С ума, что ли, ты сошла, Сивашова, сказал он, во-первых, обсуждение нельзя заканчивать, пока все ясно не оценили поведение Салтыкова, во-вторых, его надо, конечно, выслушать, а ты уже с предложениями лезешь... Может, мы ему ни строгого выговора и никакого взыскания не дадим, может, у человека убедительные объяснения будут. А может, и наоборот... Вот я, к примеру, считаю, что одно объяснение точно есть: у Салтыкова, если кто не знает, отец, офицер Советской Армии, военный инженер, покончил с собой, застрелился как раз перед партсобранием. Салтыков тогда был ребенком, учился в шестом классе, но, конечно, психологически это можно понять, сохранил к общественно-политической жизни неприязнь. И тут уж выговором не поможешь...

В комнате стало тихо. Члены комитета смотрели в стол, только Ленка уставилась на Глушко, даже рот приоткрыла.

Вот и все, подумал он, вот все и кончилось.

Он встал, не отодвинув стула, и стул за его спиной упал.

— Ты куда это собрался, Салтыков? — спросил Глушко. — Тебя никто не отпускал.

Он уже стоял у двери, спиной ко всем сидящим в комнате, и пытался открыть дверь, но дверь не открывалась, он толкал и толкал ручку. За спиной была тишина. Наконец он сообразил: кто-то запер дверь изнутри на ключ, чтобы посторонние не врывались на заседание комитета, и ключ торчал в скважине, его достаточно было повернуть, чтобы вырваться.

— Вернись, Салтыков, не осложняй, — сказал за спиной Глушко.

Ключ повернулся с тихим щелчком, он вышел и осторожно прикрыл дверь за собой.

В вестибюле было пусто. Он взял в гардеробе пальто, долго застегивал его, глядя в зеркало и ничего не видя. Потом подошел к доске объявлений, вытащил из-под кнопок ватман с объявлением о собрании, свернул в трубку, трубку переломил, сложил вдвое и сунул в урну.

Дул невыносимо холодный весенний ветер, под ногами раступалась жидкая грязь. Он закурил и пошел к метро. Навстречу бежали первокурсники, в руках у них были обернутые газетами трубки ватмана с заданиями по начерталке.

Глава одиннадцатая. Исключение

Страшное, произойдя, оказалось, как обычно, гораздо менее страшным, чем ожидалось.

Нина, конечно, расстроилась, но ненадолго, то, что происходило в ней самой, отвлекало ее почти полностью от внешних событий. Ее раздавшееся в скулах лицо почти все время сохраняло выражение, какое бывает у человека, прислушивающегося к слабым, идущим издалека звукам. Несмотря на то что он был против, позвонили в Одессу, тесть вроде бы пообещал связаться со знакомым полковником, который вроде бы служил в Москве не то в горвоенкомате, не то в управлении министерства, командующем военкоматами, и мог помочь с отсрочкой. Главное — надо было избежать страшного весеннего дополнительного призыва, о котором ходили слухи, а к осени как-нибудь удастся восстановиться на курс младше, потому что кафедра наверняка поможет почти отличнику, а заодно что-нибудь решится и с комсомолом, в конце концов,

кроме Глушко есть райком, и туда надо написать покаянное заявление прямо сейчас...

Ему не нравилось, что в дело вмешался Бурлаков, теще с тещей давно не участвовали в его жизни, и уж теперь, в таком положении, он меньше всего хотел их участия. К тому же было понятно, что ничего не получится — даже если будет отсрочка, никто не решится восстанавливать в университете исключенного из комсомола по идейной причине. Надежда на райком, правда, могла быть: все-таки там не Ванька Глушко сидит, там поймут, что исключение дипломника — это чпэп, оно ухудшает всю картину работы со студенческой молодежью. Но как писать заявление в райком и в чем каяться, он совершенно не представлял, а потому откладывал. Дни шли, ничего не происходило, райком стал расплываться, и даже университет как-то потускнел, уже представлялся прошлым. И Нина отвлеклась, будто забыла, что произошло, по утрам привычно кормила и приводила в порядок мать и уезжала в институт, потом в женскую консультацию, а вечером кое-как ужинала и валилась, засыпала мертвым сном — уставала.

Матери говорить ничего не стали, конечно, а она сама не заметила, что сын стал почти все время проводить дома, — она целыми днями лежала на спине, укрывшись до подбородка одеялом, и слушала телевизор или дремала, почти не разговаривала, и было похоже, что вообще не совсем помнит, с кем живет.

С ребятами ситуацию обсудили не один раз и выхода не нашли. Сидели у Женьки, курили, пили дешевое сухое — дела шли так, что приходилось экономить — и часами крутились вокруг одного и того же без всякой пользы. Женька все время возвращался к причинам, страшно ругал за легкомыслие и обычную глупость. Хочешь, чтоб тебя не трогали, живи, как полагается, ходи на собрания, голосуй, молчи, когда можно, а когда требуют — говори, как все, и никакой комсомол не придерется. Скажи спасибо, что они тебе твои американские тряпки прощали! А ты, дурак, в принципы стал играть, абстракционисты тебя касаются, до Эренбурга тебе дело... Конечно, Глушко ваш — сволочь и антисемит, а ты раньше этого не знал? Вот, довыступался... Надо было на комитете все вытерпеть, даже про отца, поныл бы, получил бы выговор и жил бы себе дальше спокойно.

Он и Киреев возмущались, прерывали Белого — ну, какой теперь смысл говорить о том, что уже произошло? Да и противно было слушать, хотя Женька, конечно, был совершенно прав, но, если всегда вести себя, как он говорил, можно было самому превратиться в Глушко. Киреев бурлил — надо жаловаться в Цэка комсомола, надо добиваться, чтобы оставили в университете, даже если исключат из комсомола, где это видано, чтобы дипломника и почти отличника исключали? В конце концов, где записано, что у нас в вузах только комсомольцы могут учиться?

Он пожимал плечами, не возражал, но и не соглашался. За несколько дней, прошедших после заседания комитета, он — сам удивлялся, как быстро — очень изменился. Тот человек, который еще недавно жил энергичной, не очень осмысленной, но зато имевшей конкретные повседневные цели жизнью Михаила Салтыкова, исчез, а вместо него появилось вялое существо, ни о чем подолгу не думающее, не способное ни огорчаться сильно, ни радоваться, находящееся все время как бы в полусне. Делать что-либо в таком состоянии он не то что не хотел, но и не мог — принимался обдумывать, тут же отвлекался, начинал что-нибудь бессмысленно рассматривать или перекидывать с места на место, выходил из дому и шел без цели, забрызгивая сзади брюки и пальто весенней грязью, не получая никакого удовольствия от блуждания по городу, которое раньше так любил, возвращался, раздевшись, старательно, ни о чем не думая, чистил одежду и среди дня ложился в постель, укрывался одеялом, засыпал без снов. Нина, вернувшись вечером, не могла поднять его, он отказывался ужинать и спал всю ночь, не слыша, как ходит жена, не чувствуя, как она осторожно укладывает рядом свое громоздкое тело.

Постепенно разговоры с ребятами стали все более редкими, они перестали его убеждать в необходимости каких-то действий, его безразличие передалось им, все будто чего-то ждали, что должно было произойти само собою.

Семья жила на скопленные за зиму на водолазках деньги, пачка в ящичке кухонного стола, лежавшая за лотком с ножами и вилками, становилась все тоньше, но и это не могло заставить его очнуться.

Однажды позвонил Киреев, без всякого вступления спросил, не читал ли он сегодня «Известий». Он, конечно, не читал. Киреев сказал, что сейчас приедет, и повесил трубку, ничего не объяснив, а через полчаса явился. Молча, криво улыбаясь, он развернул и положил на стол газету, ткнул в маленькую заметку в нижнем углу страницы. Заметка называлась «Дельцы разоблачены», речь в ней шла о подпольных производителях «трикотажа на потребу тем, еще встречающимся в нашем обществе горе-модникам, кто не брезгует услугами спекулянтов». Дельцы, обосновавшиеся в ГССР, использовали ворованное с государственных предприятий сырье и государственные производственные мощности. Сеть сбыта готовых изделий сомнительного качества они раскинули на всю страну, на них работали десятки людей, жаждавших легкой наживы. Органы внутренних дел разоблачили группу так называемых цеховиков, и на днях эти враги социалистической системы хозяйствования предстали перед судом. Среди перечисленных пятерых главных осужденных Киреев ногтем подчеркнул Иванидзе А.К. — это был Анзори. Двоих суд приговорил за хищение социалистической собственности в особо крупных размерах к высшей мере наказания — фамилии не указывались.

Долго сидели над газетой, курили. Разговаривать было не о чем. Он и сейчас не смог сильно испугаться, смотрел искоса на Киреева, все так же криво улыбавшегося, и чувствовал, что не в состоянии заставить себя думать о происшедшем. Все уже не имело значения, что бы теперь ни случилось, ему было все равно.

Позвонили Белому, он приехал, прочел газету, стал твердить, что ничего не случится, но губы его тряслись. В конце концов, таких, как мы, было полно, твердил Женька, всех сажать не будут, да и как всех найдут? Пробыв полчаса, Белый заспешил на работу, что-то у него там было срочное, стал собираться и Киреев. Договорились, что завтра во что бы то ни стало разыщут Витьку, который все не объявлялся и по телефону не отвечал, Киреев сказал, что съездит к нему домой и будет ждать у дверей хоть до ночи.

Оставшись один, он смял газету, сунул ее в помойное ведро и принялся, не зажигая света, в голубых мартовских сумер-

ках бродить по квартире. Постоял над спящей, как обычно, матерью. Ее дыхания сейчас почти не было слышно.

Нина уедет в Одессу, подумал он совершенно спокойно, Бурлаковы ее заберут, а мать все равно скоро умрет. Вот и все, и нечего волноваться, я свободен. Что-то прорвалось в нем, и после дней безмыслия он сейчас размышлял ясно и просто. Надо было давно понять, что жить не дадут, думал он. Отец это тогда понял, а я — просто пустоголовый дурак, жил, как мальчишка, как Белый, которого родители прокормят, как Киреев, которому все кажется, что мы в штабе сидим, в войну играем. Вот и дождался. Теперь уже поздно, ничего не поделаешь, пусть все идет, как идет.

Он надел пальто и вышел пройтись, дойти до Елисейевского — вдруг обнаружил, что дома совершенно нечего есть, и решил к Нининому приходу принести котлет из кулинарии, хлеба, консервов каких-нибудь. Повесил на плечо сумку с надписью «KLM», подаренную в прошлом году случайным знакомым немцем, зажег в прихожей свет, привычно глянул в темное высокое зеркало в черной резной раме, уходящее под самый потолок. В зеркале он увидел высокого молодого человека, которого можно было принять за кого угодно, только не за исключенного студента и разыскиваемого милицией спекулянта. Выражение лица у молодого человека было напряженное, как у всякого рассматривающего себя в зеркале, но уверенное, одет он был прекрасно — ничего советского. Скоро все это кончится, подумал он, стану тем, кто я есть.

На Маяковке было полно народу, сырость клубилась в свете фонарей и театральных подъездов. Косынки еле сходились под подбородками девушек, начесавших к вечеру бабетты полуметровой высоты, на непокрытых волосах молодых людей блестели мелкие капли воды. Возле кукольного и «Современника» стояли толпы, у него несколько раз спросили лишний билетик, а мальчишка лет четырнадцати, в стареньком пальто на вате и без шапки, сверкающий шикарным модным пробором, громким шепотом по-английски сам предложил ему билеты на вери интересинг плэй эбаут рашен революшен. Полжизни прошло с тех пор, как он сам здесь так же бегал, только некому было тогда предлагать билеты по-английски.

Когда он вернулся из магазина, Нины еще не было. Он выложил продукты и сел на кухне, не зажигая света. Безразличие не возвращалось к нему, он думал сосредоточенно и не отвлекаясь, последовательно делая выводы, будто зачеркивая выполненные пункты давно составленного плана.

Про комсомол и университет надо забыть. То, что ушел с комитета, не явился на собрание, прогулял уже восемь дней военки, не может кончиться ничем, кроме исключения. И никакой райком не поможет, если бы дипломника исключили за пьянку, было бы другое дело, Глушко не дали бы проявить власть, но исключили за политику, тут райком, наоборот, должен проявить бдительность и принципиальность, и если даже кафедра захочет вступиться — хотя, конечно, из одышливого, с вечно горестным лицом доцента Шиманского какой заступник? — никто кафедре слушать не будет. Значит, исключение и армия... Только бы не угодить в этот проклятый весенний призыв. Нине надо добиться открепления — не может оставаться одна с ребенком, муж в армию уходит — и сразу после госов уехать в Одессу. Там Бурлаковы что-нибудь придумают. Вполне может быть, что уговорят ее развестись, что ж, правильно. С ним уже все равно все ясно. К осени решится с матерью... И — армия, а потом найти какую-нибудь работу, вроде Женькиной, поглупей и полегче, и жить. Одному. Никогда ни с кем больше не планировать будущее, не надеяться. Жить, как Витька. Иначе нельзя — все отберут. Он вспомнил Таню и не испытал ничего, кроме сожаления, что отравил последние спокойные месяцы Нине и сам тратил время на какие-то выдуманные страдания. А до осени пристроиться куда-нибудь грузчиком или экспедитором, в книжный магазин, например, напротив Моссовета, там парень знакомый. Если, конечно, все обойдется и не найдут из-за водолазок. Но вряд ли найдут, неужели по всей стране будут таких искать, которые сотню-другую продали?..

Зазвонил телефон. Он кинулся в темноте в прихожую, с трудом нащупал трубку.

— Стас умер, — сказал Белый. — Представляешь, я его стал разыскивать, надо ж решить с нашими делами, а то теперь... ну, понимаешь? Позвонил той девочке, актрисе, по-

мнишь? А она плачет. Три дня назад ехал в метро, пьяный, заснул... А на конечной стали будить, а он мертвый. Алло, ты чего молчишь?

— Я понял, — сказал он. — Стас умер, я понял. Ну, пока.

Он повесил трубку, зачем-то пошел в большую комнату, налетел на перила, которые они с Киреевым сделали для матери и которыми она уже давно не пользовалась, вернулся на кухню, зажег свет, отразился в черном окне. Сел, закрыл глаза, увидел высокую колеблющуюся фигуру, на длинных ногах удаляющуюся в сторону Герцена.

Пришла Нина, он помог ей приготовить ужин, сам есть не стал, но помыл посуду. Нина смотрела на него с удивлением, однако ни о чем не спрашивала — похоже было, что она уже не хочет узнавать новости.

— Ложись, — сказал он, — у меня просто здорово болит голова, пойду пройдуся на часок, ладно? Не волнуйся, я максимум на часок.

Еле успел до закрытия гастронома, купил бутылку водки и сразу вернулся, осторожно открыл дверь. Нина уже спала, в квартире было темно, тихо и по-особому тепло, как бывает в квартирах, в которых вся семья спит.

Он прошел на кухню, выпил водку в три приема, запивая водой из-под крана. Онемело горло, стены сдвинулись с мест и уплыли далеко, и тут же вернулись, сжав мир вокруг до размеров чулана, и снова начали уплывать. Он сел на пол, привалился к поехавшей под спиной табуретке.

Думал он не о Стасе, а об отце.

Потом он повалился на бок и заснул на полу.

Глава двенадцатая. Кошмары

Голос в телефонной трубке был незнакомый, девушка робко попросила Мишу Салтыкова.

— Слушаю, — сказал он хриплым шепотом, прокашлялся и повторил: — Слушаю, вам кого?

— Миша, это Сивашова Лена звонит, я из деканата звоню. — Он удивился, что Сивашова знает его телефон, и повторил «слушаю», пытаясь вспомнить, что могло произойти за

последнее время, из-за чего могла позвонить эта Сивашова. — Слушай, у тебя больничный есть?

— Какой больничный? — Он посмотрел на часы, было двадцать минут десятого, но он не мог понять, вечера или утра. — Я не болен...

— Да при чем здесь болен! — Робкий голос в трубке набрал энергию. — Ты же две недели военки пропустил. Или даже больше... Значит, смотри: сделай себе больничный и выходи на занятия, понял? Комитет решил ограничиться строгим выговором, ты слушаешь? Ну, дипломник и все такое... Без собрания. Но ты же пропал! Тебя же никто найти не мог! Теперь так: выходишь на занятия, и все. Только больничный возьми, потому что военная кафедра требует. И все. Будет тебе урок. Ты же в принципе неплохой парень, Глушко сам голосовал за выговор, мы считаем, что ты сможешь осознать. Теперь так: завтра выходи на занятия, как будто все в порядке, только больничный принеси. Ты слушаешь?

— Слушаю. — Он посмотрел в окно, за окном был серый утренний свет. Значит, сейчас день, подумал он, ужас какой-то... — Я понял... Лена, я понял. Ты... Спасибо, что позвонила, я понял.

— Ну, все, — сказала трубка и замолчала на долгую минуту, потом он услышал тихий вздох и тот же робкий голос, который начал разговор, произнес еле слышно: — Дурак ты, Салтыков... Просто дурак настоящий... Ладно, пока.

Через пару часов он окончательно пришел в себя. Нины, естественно, не было, ушла в институт. Мать слушала старое кино по телевизору, выглядела она сегодня неплохо, сидела, укрытая до пояса одеялом, в кресле, когда он попытался заговорить с ней, махнула рукой — не мешай слушать. Он вскипятил воду, заварил крепкий чай — больше похмелиться было нечем. От горячего сильно повело, он еле удержал тошноту. Голова кружилась, но соображать стало легче.

Значит, с комсомолом и университетом решилось... Больничный можно будет добыть через Бирюзу... Она теперь в регистратуре в поликлинике... Правда, в Измайлове, но, может, сойдет... После обеда заняться... И все совсем не так плохо, как было еще вчера... Эта Сивашова...

Он попытался вспомнить лицо комсомольской активистки, но не смог, выплывали только косички бубликами и гигантская фигура каменной спортсменки.

Телефон, обычно молчавший днем, зазвонил снова, он снял трубку и после полуминутной паузы — алле, повторял он, алле, вас не слышно — услышал мужской голос:

— Салтыков Михаил Леонидович? — Он глупо кивнул, потом сообразил, с вопросительной интонацией сказал «да», уже чувствуя, что от телефона сегодня можно ждать всего. — Это из отделения милиции беспокоят. Следователь Васильев. Вам вчера почтой повестка была доставлена, но дома никого не было, пришлось опустить в почтовый ящик. Так я вам лично довожу: вы приглашаетесь на беседу сегодня в шестнадцать. Адрес знаете? Правильно, второй дом от вашего по Тверской-Ямской, во дворе. Комната четырнадцать. Прошу быть, в случае неявки можем доставить приводом. Пожелаю всего доброго.

Он оцепенел. Понятно, что речь могла пойти только об Анзори и водолазках, но как они нашли? Через пятнадцать минут, отдышавшись, он позвонил Белому, ничего по телефону, конечно, рассказывать не стал, просто договорился приехать на Лесную — Женька спешил на работу, предложил встретиться в своем дэка.

За то время, что он пробирался по залитым талой жижей переулкам на Лесную, мысли пришли в порядок. Мельком он даже удивился — куда же за последние два дня делись тупость и апатия, как он пришел в себя? Резко кольнуло в сердце — умер Стас, но он отодвинул сразу накинувшиеся бессилие и растерянность, потом, потом, Стас умер, и ничего не поделаешь, сейчас надо думать о другом.

Да, познакомился прошлым летом с грузином, знаю только имя, из Грузии присылали водолазки, он продавал приятелям, всем нужно, просто оказывал услугу. Что, разве нельзя продать приятелю тряпку? Нельзя? Ну, не знал...

Получалась глупость. Так со следователем не поговоришь. Следователь... Это не привод за детское хулиганство, за футбол на мостовой... Что же делать?

Откуда они узнали? И что именно они знают? Так уже было... Письмо, кто мог тогда написать письмо Носову? Что

сейчас об этом думать, что толку... Но все повторяется, все повторяется...

На Лесной возле депо толпились троллейбусы, раскачиваясь и грохоча прошел в сторону Каляевки трамвай. В Доме культуры было пусто и полутемно, он поднялся по лестнице на второй этаж, с трудом разыскал еще одну, узкую железную лестницу и открыл дверь в кабинетик Женьки. Женька сидел за столом бледный, жестом показал закрыть дверь плотнее, было件нятно, что он испуган всерьез. Говорили тихо, телефон при этом Белый прикрыл горкой смятого пальто.

Было очевидно, что скоро займется и Женькой, и Киреевым, поэтому прежде всего необходимо договориться, что отрицать, а с чем соглашаться. Но тут возникала большая проблема, потому что неизвестно, что они уже знали. Женька исходил из того, что знали все. Поэтому следовало и признаваться во всем, но напирать на непонимание собственных действий и отсутствие в них умысла обогащения — просто помогали знакомым достать дефицит. Губы Женьки искривились, когда он вроде бы спокойно сказал «ну, дадут года два».

От такого спокойствия стало действительно страшно. Главное — никак нельзя было предугадать, что будет, что скажет следователь Васильев и как все пойдет дальше.

Когда он снова вышел на Лесную, было уже около двух. Шел оголтелый мартовский снег, народ валил со стороны Горького к Каляевской, будто какая-то команда была — двигаться всем в этом направлении. Куда девать два часа, он придумать не мог, медленно побрел переулками вокруг Миуссов.

Снова и снова крутилось в голове — откуда они могли узнать? И вдруг мелькнуло и сразу же окрепло, увеличилось, выплыло на первый план: Таня. Если бы информация пришла со стороны Грузии, начали бы таскать всех сразу — и Белого, и Киреева, и Витьке, конечно, не дали бы исчезнуть. Зря когда-то связались с Витькой, совсем другой он человек, чужой... Таня. Она могла от ревности, от обиды...

Тут же понял, что не могла. Такого не может никто, она же хорошая, нормальная девка, не могла она...

А кто написал письмо Носову?

И, как всегда бывает, выплыло совершенно другое и сразу перечеркнуло все остальное: умер Стас. Он даже остановил-

ся, идущие по узкой тропинке сзади стали наткаться на него, бормоча ругательства.

Стас! Ужас. Сидел в метро, закинув голову, раскрыв рот, уже холодный, уже мертвый, а поезд вез его в депо, и милиционеры осторожно тыкали тело модного молодого парня, такие не умирают внезапно от сердца, и медсестра в белом халате поверх пальто, с чемоданчиком шла по вагону...

Смерть — и сразу меняется жизнь, подумал он. Кто бы мог предположить, что именно Стас умрет, что его смерть разделит время еще поправимых бед от кошмара, с которым уже ничего не поделать!

Он кругами бродил по целине маленькой заснеженной площади, и его следы темнели на свежем снегу. Пора было в милицию, он, остановившись и отворачиваясь от ветра, выкурил еще одну сигарету и решительно пошел к отделению, готовый сдать, соглашаться со всем, просить милости. Пусть посадят, только пусть все кончится и не надо будет ни о чем думать, решать, бояться.

В темном коридоре с покрашенными в густой зеленый цвет стенами он нашел дверь с бумажкой, на которой было написано «Васильев Н.И. комната 14», и постучал. Веселый громкий голос из-за двери разрешил «входите!». В комнате стояли маленький письменный стол, большой, до потолка, крашенный той же зеленой масляной краской сейф с тонкими колоннами по бокам дверцы и залитыми краской завитками, венчающими колонны, старый кожаный диван с рваными боковыми валиками и косою полочкой над спинкой, перед столом пустовала обычная кухонная табуретка — тоже зеленая, конечно. А за столом лицом к двери сидел молодой человек в синем узком пиджаке, в сером, с косыми синими полосками галстук, аккуратно повязанном под узеньким, с острыми краями воротником белой рубашки. На лацкане пиджака сиял белой и синей эмалью поплавок пединститута. У молодого человека была черная, необыкновенно пышная, разваливающаяся посередине на два крыла шевелюра, в остальном же он, насколько можно рассмотреть против света — окно было за спиной молодого человека, — удивительно походил на Белого, и даже выражение лица было похожее, недоверчиво насмешливое.

— Присаживайтесь, — сказал молодой человек. — Курите? Тогда курите...

И достал из ящика стола чистую мраморную пепельницу.

Даже не спросил, кто такой, подумал он, садясь на табуретку и неловко, из-под пальто вытаскивая пачку сигарет. Тут же молодой человек улыбнулся — зубы у него были плохие, редкие и темные — и уточнил:

— Курите, Михаил Леонидович. А станет жарко, пальто на диван можно положить, у меня, к сожалению, вешалки нет...

— Спасибо, товарищ Васильев, — услышал он свой голос и тут же подумал, что это бред какой-то, почему он называет этого человека «товарищем Васильевым», за что благодарит?

Но уже через несколько минут ощущение бреда исчезло, а вместо него появилось чувство необыкновенной легкости общения, будто говорил со старым, очень умным и потому многое не договаривающим знакомым, и этот тон взаимного понимания, это пропускание как бы известных обоим и потому ненужных слов сохранялись до тех самых пор, пока он не обнаружил себя уже снова на улице, под летящим еще гуще снегом, и Васильев расплылся, исчез, а вместо него остались ясность и легкость — вот и все, ни о чем больше волноваться не надо, конец.

Ну, вы ведь, конечно, понимаете, говорил Васильев и улыбался во все свои темные зубы, что я не из милиции, просто мы вас вызвали в милицию, потому что так удобнее, вы же понимаете, и он кивал и тоже почти улыбался, как будто понимал, например, почему в милицию вызывать удобнее, чем в... куда? он тоже как будто понимал, и кивал и улыбался, так вот, у нас к вам претензий нет, а если бы и были, то мы не мелочимся, а если есть у милиции, ну, совсем небольшие, то это решаемый вопрос, его можно решить, мы ж понимаем, мать на руках, жена, ну, вот, мы ж понимаем, что в таком положении деньги нужны, у нас по этому вопросу претензий нет, но в целом есть, некоторые знакомые случайные, у вас ведь есть случайные знакомые? допустим, те, кому вы... как это говорится у молодежи, толкали, да, толкали эти самые водолазки или что там еще, это ж довольно широкий круг знакомых, и вот в этом кругу все может быть, ребята не выдержанные, могут по глупости чего-нибудь просто так сказать, а это будет ис-

толковано, обязательно будет истолковано, и наш с вами долг предупредить молодежь от ошибок, потому что борьба идет, что я вам буду говорить, вы лучше меня знаете, что она идет, — и ему казалось, что он и это знает, и он кивал понимающе, — и от этого нам никуда не деться, значит, надо родине помогать, и вы сейчас идите, подумайте, вот телефончик запишите, можете даже фамилию не записывать, у меня фамилия простая, так что запишите лучше имя-отчество, Николай Иванович, и позвоните, денек-другой подумайте и позвоните, и встретимся в свободное от ваших занятий время, занятия — это тоже важно, вы ведь там не абы чего делаете, а к оборонной тематике готовитесь, а народ всякий, молодежь, мало ли, так что звоните, или я сам вам позвоню на следующей неделе, чтобы уж окончательно со всем прояснить, если что вспомните об этом Иванидзе, то хорошо, но главное, надеюсь, мы с вами будем вообще совместно работать в правильном направлении, так что пожелаю всего доброго, только вы не переживайте, с кем не бывает, вы даже представить не можете, как много к нам народу идет, и у каждого своя проблема, и с каждым мы разбираемся индивидуально, еще раз пожелаю...

Только один раз он выполз из-под этих душных, налипавших со всех сторон слов, очнулся и спросил:

— А откуда... — Он запнулся, ничего не придумал и ляпнул просто: — А кто вам сказал?

Последовала полуминутная пауза, в течение которой Васильев, не отрываясь смотрел ему в глаза, слегка перегнувшись через стол, так что этот близкий взгляд совершенно невыразительных темных, как бы без зрачков глаз поглотил постепенно все окружающее и он уже ничего не видел и как бы забыл, о чем спрашивал. Спустя полминуты Васильев откинулся на спинку своего шаткого, плохо склеенного канцелярского стула и негромко, но в голос засмеялся.

Вы прямо удивляете меня, сказал следовательно, мы же с вами не в пустыне живем, кругом друзья, подруги, знакомые, ведь людей-то вокруг полно, и каждый понимает, как важно предупредить, если что, потому что потом поздно будет, буквально каждый, я вас уверяю, у нас люди в целом хорошие, очень хорошие, так что каждый, понимаете, и он опять кивал,

как будто понимает, и не спросил про Таню, а встал, пожал протянутую ему через стол руку — Васильев не встал и вообще на последних словах сделался суховат и даже высокомерен — и вышел под густой снег.

Он стоял, чувствуя, как снег падает на лицо и тут же тает, и вода течет из-под волос по лбу. Ресницы стали мокрыми, и серый свет ранних сумерек мерцал сквозь капли. Вся непреодолимая чертовщина, которая сковала его в четырнадцатой комнате и заставила кивать и улыбаться этому проклятому Васильеву, исчезла, ясность и легкость пали на него, словно снег, и вместо страха, одолевавшего его все последнее время, появилось то, чего он и хотел: отчаяние, спокойное ощущение конца.

У отца тогда было так же, подумал он, невозможно было дальше ждать, стало ясно, что конец пришел, и бояться больше нечего, потому что все уже произошло.

Спешить больше тоже было некуда, он вышел на Горького, перешел улицу по новому подземному переходу, свернул в сторону Тишинки, обошел рынок и позади детской больницы направился к зоопарку. От снега он был уже весь мокрый. Слева высунулась из-за домов высотка, он повернул направо и переулками достиг набережной. По реке плыл серый мелкий лед, от воды задувал ветер, на другом берегу лезла скалами в небо «Украина».

Во дворе большого, занимающего целый квартал дома вокруг детской площадки стояли засыпанные снегом скамейки. Он стряхнул снег со спинки одной из них, залез ногами на сиденье и сел на спинку, сразу почувствовав, как промокает насквозь пальто, как сырость проходит через брюки. Но вставать не хотелось, он почему-то ужасно устал, было такое чувство, что назад, к дому, не дойдет, ноги подломятся. Достал сигарету, на нее, как и следовало ожидать, сразу упала и расплылась крупная снежная капля, он выбросил испорченную и достал новую, раскурил, спрятав в ладони. Медленно, глубоко затягиваясь, он заставил себя вспомнить слово за словом разговор со следователем.

Было ощущение, что он может вспомнить не все, как будто отдельные фразы куда-то провалились, какой-то туман затянул их.

Следователь вроде бы намекнул, что стукнул кто-то из друзей... Но как, в каких словах он намекнул? Вроде бы не было никакого намека. Во всяком случае, он не сказал ничего о Тане. И почему вообще пришла мысль о Тани? Какая-то глупость... Ни Белый, ни Киреев не фигурировали... Вообще о чем шла речь?

Он понял, что ответить на этот вопрос внятно не может. Сырость уже пробрала его насквозь, он слез со скамейки, дворами пошел обратно, к Горького.

Ни слова не было о ребятах, ни слова об университете... Минутку! Почему же об университете ничего не говорилось? Комсомол, аполитичное поведение, угроза исключения... Ничего.

Да они просто ничего не знают об этом!

От неожиданности этой мысли он даже вслух тихо выкрикнул «ничего» и испуганно оглянулся — не принял ли кто за сумасшедшего. В переулке, выходящем на Красина, не было ни души, быстро темнело, снег валил все гуще.

Ничего не знают, кроме водолазок! И ни про кого не знают, даже про ближайших друзей — только про шляние по коммиссионкам и про водолазки. Значит... Значит, не Таня, конечно, значит... Значит, либо в коммиссионках засекали, либо...

Либо телефон, вот что. Там, в Грузии, начали следить за Анзори, слушали все его звонки, зафиксировали несколько звонков в Москву, теперь дошла очередь до его телефона, и его просто проверяют, проверка на вшивость, так это называли в детстве.

Но тогда... тогда же ничего страшного, можно отказаться как-нибудь осторожно...

Нет, отказаться нельзя. Теперь уж они вцепились, откажешься — понемногу раскрутят все и всех, и Женю с Киреевым, и Таню, и до Нины доберутся, это проще всего... Но главное — теперь понятно, что пока они ничего толком не знают и даже не интересуются, просто поймали на телефонном звонке Анзори и решили попробовать. И ничего не сделали дополнительно, даже из университета характеристику не попросили. Они просто все делают кое-как, вот что! Был звонок, поручили этому Васильеву вызвать и поговорить, а тот даже не поинтересовался ничем, только посмотрел, кто

в квартире прописан. Даже про Нинину беременность не упомянул, а ведь если б знал, обязательно сказал бы, проявил бы понимание...

Все сходилось, но он никак не мог поверить, что они работают настолько лениво, так формально. Ведь ничего не стоило позвонить в университет, другие его телефонные звонки засечь — Белому каждый день, Кирееву. И про Таню узнать могли просто, если бы захотели.

А они и вообще здесь телефон не слушали, это там, в Тбилиси засекли, сообразил он.

Неужели они такие... дураки просто какие-то?

Получалось, что ленивые дураки, но это никак не сходилось со всем, что он привык о них думать. Не так уж, правда, и много он о них думал, пару раз говорили с Белым, уйдя на кухню, подальше от телефона, но представление было, его не требовалось формулировать словами, и это представление было такое: могут все.

Могут, да только ленятся, усмехнулся он и сам себе изумился — чего-то быстро осмелел. И тут же вспомнил: отец боялся так, что предпочел... Но, даже вспомнив отца, не испугался, страх не вернулся, и уверенность, что теперь никуда не денешься, что это конец, тоже не вернулась.

Что-нибудь придумаю, повторял он про себя, что-нибудь придумаю.

Вдруг невыносимо захотелось пойти к Тане. А ведь не вспоминал в последнее время о ней вообще, да и не хотелось ничего. Все желания отбили, суки, неожиданно внятно подумал он. Нина стала совсем отдельной, берегла живот, спала на спине и во сне отодвигала его руки. Он представил себе Таню, ее узкие глаза, сужавшиеся в постели до темных, поблескивавших щелок, ее невнятный шепот. Позвонить?..

И тут же решительно запретил себе об этом думать. Не хватало только еще и этих неприятностей, разделался — и слава Богу, и никогда больше.

Но зуд желания не исчезал. Он глянул на часы. До прихода Нины из института оставалось еще часа три. На углу хлопала под ветром дверцей будка телефона-автомата. Он зашел, притянул за собой дверь с выбитым стеклом, достал записную книжку.

Вот, например, какая-то Галя, кто это? Судя по номеру, живет где-то в Сокольниках... Неловко звонить, если не помнишь, как познакомились... Галя... Ага. Это же, скорее всего, хозяйка той комнаты, которую хотели снять для Киреева! Точно, и телефон того района... Он вспомнил в деталях ночь накануне Седьмого ноября, его окатило жаром. Точно, ей и надо позвонить в нынешнем настроении, как раз то, что нужно. Был один раз, ничего общего не осталось. Обязательств никаких нет, ну, будет второй раз, если все получится... Раздумывать дальше он не мог, его уже начало потрясывать от возбуждения.

Как всегда бывает в таких случаях, сразу повезло — или не повезло, это станет ясно потом. Телефон ответил голосом, который он, к своему удивлению, сразу узнал. Галя, это Миша, сказал он с придыханием, — такая манера появлялась, когда требовалось, сама собой, он не старался — помните меня? Ну, Миша, Женья, Игорь из Одинцова — мы были у вас... Помните меня, Галя?

Через минуту он уже выскочил из будки и замахал леваку — Сокольники, шеф, трояк, поехали...

В коридоре было темно, Галя, не дав ему раздеться, взяла за рукав, повела, и они вошли в совсем другую комнату, не ту, которую он довольно детально вспоминал по дороге, а маленькую и тесно заставленную. Уходил к потолку резной черный буфет с антресолями, перекрывал пространство гардероб с зеленоватым зеркалом, ограненным широкими фасками, наискось стояла застеленная клетчатый платком раскладушка, весь угол занимал круглый стол под протертой по сгибу клеенкой. Далеко под потолком горела маленькая лампочка в абажуре из всяких длинных стеклянных трубочек.

— А мы же не здесь были, — почему-то сразу сообразив, что нельзя шуметь, шепотом сказал он, — тогда...

— Я ту комнату сдала потом, — тоже шепотом ответила она, — муж и жена из Воронежа, он ее лечиться привез в Бурденко...

После этого они не разговаривали.

Он бросил пальто на стол, больше было некуда, а она уже стащила на пол с раскладушки тюфяк. Всю остальную одежду он навалил поверх пальто, а она аккуратно положила сверху знакомый нейлоновый халатик в цветах.

Под халатиком на ней не было ничего, тело отсвечивало прозрачно желтым, как оплывший кусок сливочного масла. Она прошлепала босиком к двери, щелкнула выключателем. Сразу исчезла комната, остался только колеблющийся столб света от фонаря, висевшего за окном, столб косо пересекал темноту и упирался в обнаружившийся теперь комод, укрытый вязаной салфеткой. На салфетке стояла горка тарелок, на верхней из которых лежали вилки и ножи с кремовыми костяными ручками в заклепках, рядом с тарелками возвышался небольшой белый бюст бородатого человека — не то Чехова, не то Чайковского. В свете фонаря все это выглядело, как фотография, сделанная для практики начинающим любителем, — резкий, но плохо скадрированный снимок.

Ее уже не было видно, и он догадался, что она легла на тюфяк. Он наклонился, осторожно пошарил в темноте, нащупал ее колени — она уже лежала на спине, согнув ноги, — и осторожно опустил сверху. Он не поместился на тюфяке, пальцы ног упирались в холодный и усыпанный какими-то крошками пол. Ее руки уже сделали свое дело, он коротко вздохнул — и рухнул на нее, согнув руки в локтях. Со стороны буфета раздалось тонкое дребезжание, и он догадался, что это звенят тарелки, задеваемые качающимся Чайковским или Чеховым, дребезжание было ровным и нескончаемым, и через полминуты он перестал его слышать. Галя дышала ровно и спокойно, только все громче, потом она тихо охнула, завозилась под ним, вытянулась, будто потягиваясь со сна, и обмякла, а через минуту он крепко схватил ее за плечи и упал на нее, на разошедшуюся в стороны грудь, и не услышал, а догадался, что она выдохнула «можно, можно», и вдавился изо всех сил в ее мягкий живот.

Через полчаса, кое-как натянув штаны и сунув ноги в ботинки, он уже собрался уходить, но решил зайти до этого в сортир. Расположение сортира, как ему казалось, он помнил с прошлого раза — в торце коридора, противоположном входной двери, то есть, очевидно, от этой комнаты налево. Галя лежала на тюфяке молча. Привыкнув уже к темноте, он рассмотрел, что она прикрыла лицо согнутой в локте рукой, будто заслоняясь от солнца, и, кажется, заснула.

Почти бесшумно он дошел до двери комнаты, открыл ее и оставил открытой, чтобы в коридор проникал хоть какой-нибудь свет, и двинулся влево, слегка расставив руки на случай встречи с препятствием. Шагов через пять он почувствовал, что перед ним стена, протянул руки вперед и нащупал, как и полагал, дверь. Дверь открылась бесшумно, он оказался в довольно большом помещении, освещенном круглым, прорубленным под самым потолком окошком. И за этим окном качался и вздрагивал фонарь... Здесь были ванна, заваленная всяким барахлом, среди которого он рассмотрел несколько связок книг, огромная, косо висящая газовая колонка и унитаз, коричневый изнутри, что было видно даже при свете из окошка. Широко на всякий случай расставив ноги, он встал к унитазу, напрягся на секунду, с наслаждением тихо охнул — и едва не упал, колени ослабели и задрожали, струйка поползла по ноге: за его спиной вспыхнул яркий свет и раздались громкие звуки, скрип и постукивание, будто кто-то там начал крутить швейную машинку. В груди от страха стало пусто. Не подтянув толком мокрых штанов, вобрав голову в плечи, он повернулся и увидел длинный, ярко освещенный коридор, по которому к нему ехало инвалидное кресло на больших велосипедных колесах. В кресле сидела очень бледная и очень красивая молодая женщина в голубой ночной рубашке. Женщина улыбалась, кресло скрипело и постукивало, приближаясь к нему. Он подхватил штаны, вылетел в коридор и через секунду оказался в полутемной, нагретой комнате. Галя спала. Он потрогал ее за плечо, она села и уставилась на него, ничего не понимая, потом обняла теплыми руками, молча стала валиться на спину.

— Там, в коляске... — Он разжал ее руки, потряс за плечи. — Женщина в коридоре... Что это?

— Я ж сказала, жиличка, — пробормотала Галя и снова попыталась обнять его. — Артистка из Воронежа, парализовало ее...

В такси он вспомнил скрип и постукивание и уже спокойно усмехнулся — жизнь понемногу превращается в страшный сон, вот покажется в окошке следователь Васильев и попросит поднять ему веки...

Глава тринадцатая. Парк Горького

В середине обычного четверга в парке было совершенно пусто, издали бросались в глаза одинокие фигуры с чемоданчиками — это командированные, выписанные с утра из гостиниц, коротали на свежем воздухе время до обратного поезда. За два последних очень теплых дня успел сойти весь снег, главные аллеи почти просохли до асфальта, но между деревьями еще лежали маленькие грязные сугробы. Солнце светило со всею мартовской силой, но ветер дул холодный, и они подняли воротники, замотались шарфами — до пивной идти было минут десять. Трое решительно шагавших молодых людей со стороны, должно быть, выглядели значительно.

— Три товарища, — сказал Киреев, — Эрих Мариевич Ремарк...

— Не в том дело, что три товарища, — усмехнулся Белый, — а в том, что один, того и гляди, черным обелиском станет...

Он шутки не поддержал, ему было не до шуток. Он попросил ребят все бросить и приехать для серьезного разговора, уже совсем отчаявшись что-нибудь придумать в одиночку. Все планы и замыслы рушились, Васильев мог позвонить в любую минуту, достать бюллетень для университета не удавалось, Бирюза обещала попробовать только на следующей неделе, когда выйдет из отпуска ее знакомая врачиха, между тем тянуть время уже было невозможно, потому что с каждым днем, он это понимал, майоры и подполковники военной кафедры набираются раздражения и добьются в таком настроении исключения любого дипломника, будь он даже ленинским стипендиатом... Ясность и бесстрашие, было овладевшие им несколько дней назад, исчезли, но и страх не вернулся, а снова охватила апатия, безразличие, и он понимал, что, если немедленно не придумать и не начать выполнять какой-нибудь план, то бессилие станет непреодолимым, и, соответственно, из всего возможного начнет происходить самое худшее. Ребята встретиться согласились, не отнекиваясь и не ссылаясь на дела, но ему показалось, что при этом оба, и Игорь, и Женька, испытали некоторое подсознательное раздражение, и он

на них нисколько не обиделся. Давно, с тех пор как полностью ослепла мать, он понял, что, если с человеком постоянно что-нибудь не в порядке, это неизбежно начинает обременять даже самых близких, и их нельзя за это судить, а если при этом они все же помогают, то большего от людей и ждать нельзя.

В огромном прокуренном сарае они удачно заняли стол в самом дальнем углу — по воскресеньям у входа стояла очередь, но сейчас народу было совсем мало — и взяли темного пива «Сенатор», которое бывало только здесь, и шпекачек с капустой, которые тоже подавали только в этом храме советско-чехословацкой пивной дружбы да еще в стоячем кафетерии при «Праге», на углу нового проспекта Калинина.

Выпив по первой кружке и съев жирные толстые шпекачки, каждая из которых была крестообразно рассечена на концах, закурили, налили по второй кружке, и он начал описывать расклад — как выразился Киреев, «ну, Кутузов, рассказывай, где французы, где наши, где запасной полк».

С университетом было более или менее понятно. Все считали, что, раз с комсомолом обошлось, остальное тоже уладится. Бирюза достанет больничный, и даже если на военной кафедре упрутся, можно будет их уболтать. Зачеты по военке и все экзамены за прошлые годы у него были в полном порядке, в крайнем случае можно было бить на жалость, поскольку начальник кафедры полковник Мажеев был, говорят, мужик не злой, воевал от финской до японской, планки орденские до пояса не умещались, и к сыну офицера, ухаживающему за больной матерью, должен был отнестись с сочувствием. Только перед тем, как идти к нему, надо сбрить модные баки и костюм надеть дядькин, доисторический. В крайнем случае даже можно доверительно признаться, что больничный липовый, а на самом деле с матерью сидел, — это подействует. Последнее придумал Киреев, кривой усмешкой как бы извинившись за цинизм.

В общем, получалось, что в университете все должно устроиться, ну, не будут они исключать дипломника, не нужно им такое чэпэ.

А вот разговор со следователем Васильевым, оказавшимся не следователем и не из милиции, всех напугал по-настоящему. На вопрос, почему не дернули Женьку и Игоря, ответа по-прежнему не было. Предположим, что Белым не заинтересовались потому, что сочли его круг общения в дэка Зуева неинтересным. Но почему не стали вербовать — Белый, наклонившись, шепотом и с некоторой натугой произнес это слово, и все замолчали на мгновение, оглядываясь, но в зале было шумно, народу прибавилось, ничего нельзя было услышать даже из-за соседнего стола, — почему не стали вербовать Киреева? Что, разве разговоры в «Керосинке» менее интересны им, чем в университете? Ну, ладно, не стали вербовать — тогда почему Белого и Киреева не вызвали хотя бы действительно в милицию? Напугать всех троих — подействовало бы на каждого, и сам Солт стал бы сговорчивей...

Вообще все было непонятно. Предположим, что действительно засекли телефонные разговоры с Тбилиси, почему же тогда действуют так мягко? Ведь могли забрать, поддержать в камере, а потом, когда он стал бы готовеньким, предложить — или доводим до суда, или сотрудничаешь...

Все эти рассуждения вел Белый, было такое ощущение, что он даже получает удовольствие от темы — он поминутно оглядывался, переходил на еле слышный шепот, рисовал, подкрепляя логику, пальцем на столе круги и треугольники. Киреев молчал, смотрел в сторону, потом заговорил, чуть понизив голос, но внятно, будто не опасался, что его могут услышать посторонние.

— Ты извини, Солт, я думаю, тут дело вообще не в водолазках. — Игорь сделал паузу, закуривая, но было заметно, что ему не хочется продолжать. — Тут дело... Не было бы водолазок, они бы что-нибудь другое придумали. И нас не трогают именно потому, что по водолазкам у них покрупнее народ проходит, что мы им с нашими сотнями... ну, пусть тысячами, когда в заметке было написано, помнишь, «Миллионы рублей ущерба социалистическому народному хозяйству...», понял? Ты извини, Мишка, но я думаю... они к тебе давно присматривались, а теперь нашли повод...

Все молчали. Он почувствовал, что покраснел. Киреев прав, подумал он, прав, прав, я сам это знаю!

Белый хлопнул по столу ладонью и открыл рот вовсю, но опомнился, опять оглянулся и прошептал «ну, Киреев... ты даешь... это доказывать надо... ты соображаешь вообще?» Киреев вздохнул, раздавил бычок в тарелке с застывшим жиром от шпекачек.

— Я бы не говорил, но мы же понять должны... Смотри, Солт: Белый живет нормально, отец начальник, родители деньги дают, так что в принципе он и без фарцовки тряпки покупать может, да еще в свой Зуева-хуева ходит — в общем, нормальный человек. Я вообще деревенский, езжу Одинцово — «Керосинка», «Керосинка» — Одинцово, отец служит, одеваюсь я, сами знаете, не на что глянуть... А ты, Мишка, давно живешь не как все... Ну, извини, та история с отцом... Извини, я просто это к тому, что они такие вещи тоже учитывают... И фарцевал ты больше меня и даже Женьки, семью на эти деньги кормил, жена — дочь профессора, а ты от тестя с тещей копейки не берешь. И всегда ты по комиссиям шлялся больше нашего, а там всех секут, и с фирмой по-английски трепался на улицах, и в «Метрополь» проходил под иностранца... И тут еще Стас...

— А Стас-то при чем? — не выдержав, заорал Белый и запоздало оглянулся, но никто на его непонятный крик не обратил внимания.

— А при том... — Киреев опять закурил, посидел молча и закончил решительно: — Что Стас, я думаю, у них давно на крючке был, а когда он... в общем, стали они по его записной книжке всех проверять, а там твой телефон, и он сошелся с зафиксированным по звонкам из Тбилиси, они и обрадовались... Я уверен, они и все остальное про тебя уже собрали, и про университет, и про девок твоих... про Таню, может, тоже. Так что они с разных сторон еще заходить будут, а тебя дожмут. И в университете тоже не все так просто будет, они и там все устроят, как им надо...

Опять посидели молча. Наконец Белый встряхнул головой, демонстрируя, что хочет вытрясти весь этот бред, и сформулировал причину своего недоверия:

— А почему ты... — Белый забылся и уже не шептал, а говорил нормальным голосом, только чуть тише обычного. — Почему ты... откуда у тебя уверенность такая? Ты что,

сталкивался сам с ними, что ли? А не сталкивался, так и не говори...

— Сам не сталкивался... — Киреев потянулся, глянул в сторону официантки. — А возьмем еще пива по одной? И по рюмке? Для просветления умов... Не сталкивался. Но Солт это знает: я чувствую... Помнишь, Мишка?

— Помню... — Он сидел, огуленный очевидностью выводов Киреева. — Помню. Правильно, давайте еще пива возьмем и водки по пятьдесят.

Расходились в четвертом часу, порядочно нетрезвые, не выработав настоящей стратегии. Решили только, что бюллетень надо добыть обязательно, и как можно скорее, тут же идти в университет, а Васильеву не звонить, если же он сам позвонит, на встречу идти и тянуть резину — мол, с фарцовкой решил завязать, со старыми знакомыми общаться не буду, а в университете и вовсе ни с кем не общаюсь, сами понимаете, какое у дипломников общение, я и группу свою вижу только на военке... Но решительно от сотрудничества не отказываться, а канючить, рассказывать о домашних обстоятельствах и всячески тянуть...

— По Швейку, понял? — учил его Белый. — Осмелюсь доложить, я идиот... И все. Пока ему не надоест.

Когда они выходили из парка, Киреев слегка придержал его за рукав под аркой, так что Женька прошел вперед и слышать не мог.

— Ты с ними особенно не выебывайся, — сказал Киреев тихо. — Они тебе покажут Швейка... Пока можешь — отказывайся. А прижмут — соглашайся. Не ты первый...

Он глянул на Игоря сбоку. Киреев смотрел прямо перед собой, большой его нос, всегда красноватый, на весеннем холоде стал сизым, из светло-голубых глаз к вискам ползли выдуваемые ветром слезинки.

— Только ты не думай... — Киреев продолжал, глядя перед собой. — Я их, сук, ненавижу, может, больше, чем ты... Я от отца много слышал... И слышу... Ты отца помнишь моего? Ну, вот. Я бы их... Только их не победишь. И не обдуришь, не думай. О матери думай, о Нинке. А от твоего стука ничего не изменится.

На Крымском мосту ветер был совсем невыносимый. Он

шел крайним к перилам. Немного замедлив шаги, отстал и глянул вниз. Льда уже почти не было, мелкие черные осколки неслись по течению, крутясь и сталкиваясь. Он зажмурился, постоял еще секунду и поспешил за ребятами.

Предпринять что-нибудь и даже обдумать в деталях план первоочередных действий он не успел: назавтра в девять утра позвонил Васильев. Нина ушла рано, он в это время кормил мать завтраком, сидел возле ее постели и автоматически уговаривал ее доесть пюре. Он пошел в прихожую, поставив тарелку на свой стул, снял трубку и сразу узнал голос.

— Михал Леонидыч, — быстрым, уже совершенно неофициальным говорком сказала трубка, — Васильев беспокоит. Приветствую. Вот, решил позвонить, неделя-то кончается. Заглянете сегодня? — Он не успел ответить и даже попытаться придумать что-нибудь, а голос продолжил: — Значит, жду, если удобно, в четырнадцать, а лучше в тринадцать, чтобы пораньше освободиться. Как говорится, раньше начнем, раньше кончим... Ну, пожелаю.

Голос коротко хохотнул, и в трубке установилась тишина, коротких гудков, которые раздаются обычно после окончания разговора, не было, будто на другом конце провода не повесили трубку, а просто замолчали.

— Алле, — сказал он и вспомнил: — Николай... Иванович... алле!

Трубка молчала, потом в ней что-то скрипнуло, и наконец пошли короткие гудки.

Когда он вернулся в комнату, мать сидела в постели, спустив на пол из-под одеяла ноги в шерстяных носках, лицо ее было повернуто в сторону прихожей. И ему показалось на мгновение, что мать смотрит на него широко открытыми глазами.

— Кто звонил? — спросила она.

— А, с кафедры, лаборантка, — небрежно ответил он. — На консультацию по диплому сегодня надо идти...

Мать промолчала, потом подобрала ноги и легла на спину, натянув, по обыкновению, одеяло до подбородка. Доедать завтрак и даже пить чай она отказалась решительно. Он унес в кухню посуду, поставил тарелку и чашку в раковину и присел на табуретку у окна — покурить.

Сосредоточиться он не мог, его просто трясло от страха. Он сделал усилие, чтобы начать просчет вариантов — математическое образование, никогда не увлекавшее его всерьез, все пятерки получал только благодаря памяти и быстрой восприимчивости, в таких случаях выручало, включался навык построения логических схем.

Значит, первый вариант: Васильев поведет разговор жестко и сумеет дожать. Придется поступить, как Игорь советует... В этом случае все остальные проблемы, очевидно, решатся сами собой, дадут закончить университет, история с водолазками будет забыта, и даже на фарцовку — а как жить без нее, на какие деньги? — будут впредь смотреть сквозь пальцы...

Так, все ясно, отбрасываем.

Вторая возможность: удастся отбиться. Тогда остается неясным, что будет в университете...

Ладно, допустим, будет больничный, полковник Мажеев простит пропуски...

Но все равно главная проблема не решается — Васильев отдаст его настоящей милиции, начнется следствие... Даже если не посадят, то уж в университет сообщат обязательно, и тогда, вдобавок-то к прогулам, письмо из милиции положит всему конец, такого ни один деканат не выдержит...

В общем, или сдаваться, или — в самом лучшем случае — вылетать из университета. Вот и все варианты.

Хорошо. Предположим, исключили. Армия. Тоже возможны разные развития.

Допустим, знакомый тестя, тот полковник из министерства, сделает отсрочку. Кажется, даже есть такое правило — если маленький ребенок или беременная жена, отсрочка положена. Ну, положена не положена — лучше, конечно, если этот полковник действительно поможет. Ладно, отсрочка.

Тогда осенью можно будет восстановиться на последний курс... Ага, только черта с два восстановят. Если бы исключили за неуспеваемость, а то... Комсомольский выговор за идеологическую незрелость, злостная фарцовка, нахождение под следствием...

Хорошо, можно восстанавливаться через полтора года, полтора года прокрутиться так, поработать где-нибудь...

А что изменится? Только за это время точно посадят, потому что без фарцовки не проживешь, а за ним уже будут следить и обязательно посадят. И может ли быть отсрочка на полтора года?

Следовательно, армия. Так, что получается в этом случае. Ну, с Ниной все ясно, открепится от распределения, маленький ребенок, никто цепляться не будет, и уедет в Одессу. Там теща посидит с ребенком, а Нина найдет работу, не обязательно в школе...

А он уйдет в армию. Ужас... Три года. Нина, конечно, разведется с ним, и правильно сделает. Выйдет в Одессе с его ребенком замуж за какого-нибудь моряка или за аспиранта из кораблестроительного, там кавээнщики, юмористы, найдется кто-нибудь — с ребенком, зато красавица... И получится у нее семья точно, как у ее матери, и у ребенка будет отчим, как у нее...

А, идиот! Какая армия? А мать? Кто будет с матерью?

Он даже негромко охнул вслух, когда вспомнил о матери. Размышляя, называется, — все только о себе, скотина, какая же ты скотина!..

Мать. Может, есть правило, по которому не берут в армию, если надо ухаживать за инвалидом, у которого нет других родственников? И считается ли Нина родственником матери? Надо узнать... Киреев все может узнать, надо ему позвонить вечером, чтобы обязательно узнал...

Обдумывая варианты, он даже рисовал коротеньким сто-ченным красным карандашом на старой газете — то и другое валялось на подоконнике — кружочки и квадратики, вписывал в них «м.» и «Н.», соединял прямыми, закрашивал... Глянул на часы и пришел в ужас — пора было собираться к Васильеву. Все логические схемы вылетели из головы, вернулся страх, от которого сделалось пусто в животе, остановилось и лихорадочно заколотилось сердце, вспотели ладони. Он механически, не задумываясь, кое-как оделся — такого с ним не бывало, одевался он в любом случае старательно — и побрел переулками к милиции.

Васильев сидел за столом в том же синем костюмчике, в том же галстуке, даже рубашка была вроде бы та же самая, будто так и просидел в этой комнате неделю. На столе перед

следователем — или кто он там был — лежала раскрытая папка из тонкого зеленого картона, картон пружинил, поэтому верхняя сторона папки стояла почти вертикально и белая тесемка болталась в воздухе.

— Присаживайтесь, — сказал Васильев небрежно, продолжая читать написанное на единственной страничке, вложенной в папку. Он сел на табуретку, на расстегивая пальто. — Можете курить...

Тон был сухой, будто это другой человек несколько часов назад говорил по телефону.

— Ну, товарищ Салтыков... — Васильев чуть нажал на «товарищ» и захлопнул наконец папку, и он с ужасом, хотя ожидал ведь этого, увидел на белой наклейке посередине папки крупно написанную канцелярским почерком свою фамилию. — Ну, товарищ Салтыков, будем решать наш вопрос или как? Или опять побежите в пивную с друзьями советоваться?

Глава четырнадцатая. Мать

Весь вечер и все следующее утро он опять вспоминал разговор с Васильевым и опять не мог вспомнить, как и в первый раз. Выплывали отдельные фразы, и вроде бы более или менее точно складывался итог, но восстановить всю последовательность не получалось. «Противопоставили себя комсомольской организации, всему студенческому коллективу... Вы что же, не понимаете, что искусство мы империалистам не отдадим?.. За американские тряпки готовы душу продать... Вы их друзьями считаете, а настоящие друзья вас предостеречь должны были... Надо решать, Салтыков, на чьей вы стороне, это не игрушки...»

Они знали все. Васильев так и сказал: «Это наша работа — знать о вас больше, чем, может, вы о себе знаете, это нам государство и поручило...»

Он не отвечал на вопросы, что он мог ответить, только пожимал плечами, но Васильев, похоже, ответов и не ждал. И придумать ничего уже было, конечно, нельзя, надо было или соглашаться, или прямо говорить «нет». Неожиданно сам Васильев предложил приемлемый выход, будто понял, что сейчас может услышать отказ.

— В общем, думаю, мы так поступим... — Васильев завязал белые тесемки папки, сбросил ее в средний ящик стола и ящик со стуком задвинул. — Будем считать, что предварительно мы с вами обо всем договорились. Идите, а через некоторое время мы вас снова вызовем. Если поймете, что действительно в ваших интересах, а что вам же во вред, поговорим, расскажем, как это время провели, поможете нам кое в чем... Тогда окончательно и будем делать вывод, можете вы принести пользу органам и государству или нам придется перестать вами заниматься — пусть вами комсомол серьезно займется, милиция и все, кому положено... Ну, идите пока, товарищ Салтыков, вам позвонят.

И теперь, когда он вспоминал вчерашний разговор, слово «органы» возникало прежде всего, и тут же все воспоминания путались, сбивались, и оставалось только это невыносимое слово.

Он сидел в дядипетиной комнате за маленьким письменным столом и тупо смотрел в черновик диплома, дописанного в общей тетради большого формата почти до половины. Он давно не открывал эту тетрадь и теперь уже плохо понимал текст, сокращения, стрелки, указывающие на формулы, сами формулы, переползающие со строчки на строчку, и небрежно нарисованные эпюры. Закрыв тетрадь, он сунул ее под стопку книг, лежавших на краю стола, глянул на обложку верхней. «Теория упругости»...

Из большой комнаты его окликнула мать — Нина уехала с утра в институт, потом собиралась зайти поболтать к подруге-однокурснице, родившей летом и сейчас сидевшей с ребенком в академическом. Он решил, что матери нужно дойти до уборной, перилами она так и не научилась толком пользоваться. Но мать сидела в кровати, высоко сдвинув подушки, и не собиралась вставать.

— Что, мам? — Он остановился возле кровати, мать протянула руку и пошевелила в воздухе пальцами, он подошел поближе и взял ее маленькую и до сих пор пухлую ладонь. — Ты встать хочешь?

— Нет. — Мать повернула к нему лицо, словно могла увидеть его. — Нет... Ты скоро уходишь?

— Пока не собираюсь, а что? — Он подвинул стул, сел рядом с кроватью. — Я до ухода тебя свожу...

— Не надо пока. — Мать замолчала, потом коротко вздохнула, вытащила свою ладонь из его руки. — Не надо... Я хочу поговорить с тобой, Мишенька... Скажи, кто тебе звонил вчера? Это ж никакая не лаборантка была, ты же сказал «Николай Иванович»... Не ври мне. Я хочу знать. Куда ты ходил? Что происходит? Почему ты целыми днями дома, почему не ходишь на лекции? Я же знаю, ты зря думаешь, что я ничего не знаю, потому что не вижу. Что случилось, Миша?

Он молчал. До этого ему и в голову не приходило рассказать все матери, всего не знала и Нина, он давно привык не посвящать домашних в свои дела.

— Ты думаешь, что бережешь мои нервы, но я ведь чувствую, знаю, что происходит что-то, лучше скажи... Я умру... — Он попытался перебить ее, возразить, но она подняла руку ладонью к его лицу, словно хотела закрыть ему рот. — Я умру очень скоро, и тогда будет поздно, лучше расскажи мне сейчас, я прожила жизнь и могу помочь тебе, и никто больше тебе не поможет, ты надеешься на своих друзей, но вы все мальчишки, вы одинаковые, вы еще не все поняли про эту жизнь, а у меня было много времени, чтобы думать... Когда Нина читает мне газеты...

— Нина тебе читает?! — изумился он. — Я не знал...

— Ты многого не знаешь. — Мать улыбнулась. — Ты многого не знаешь о наших отношениях с Ниной, вообще о моей жизни... Только не думай, я не обижаюсь, я же понимаю, у тебя дела, я же всегда помню, что уже много лет ты глава семьи, ты зарабатываешь на жизнь... А ты еще очень молодой... И теперь что-то случилось. Расскажи... Я догадываюсь, но я хочу знать точно, это нужно...

Он механически сунул руку в карман за сигаретами, спохватился, но мать почувствовала.

— Кури, — сказала она, — кури, если хочешь. А если ты действительно мне сочувствуешь, дай закурить и мне. Мне уже ничего не повредит, ты это и сам отлично понимаешь, а все эти годы, что я не курю, мне страшно хочется... Десять лет хочу курить. И не снится больше ничего, только как мы сидим с тобой и Леной в ресторане в Юрмале, помнишь этот ресторан, и я курю, курю, затягиваюсь и выпускаю дым, а потом этот дым заслоняет Леню, потом тебя, и я просыпаюсь...

Он раскурил сигарету для нее, поставил на одеяло тяжелую пепельницу синего стекла с выдавленным на дне оленем, и когда приходило время стряхнуть пепел, он брал ее руку с сигаретой и вел к пепельнице, и постукивал своим пальцем по ее, держащим сигарету. Чтобы рассказать матери все, хватило, как ему показалось, минут десяти, не больше. Мать, выкурив одну сигарету, попросила убрать пепельницу — тяжелая — и теперь, закрыв глаза, полусидела, опираясь на подушки. Решив, что она задремала, он замолчал. В комнате стояла тишина, в батареях журчала вода — зима кончилась, наверное, скоро перестанут топить.

— Примерно так я и думала, — сказала наконец мать. — Следовало ожидать... Дай мне еще сигарету и выслушай меня внимательно, мне будет трудно повторять. Ты очень напуган, Мишенька, это самое главное. Перестань бояться. Отец...

Он не мог поверить, что это говорит его мать, уже годы не выходящая из дома, слепая, почти не встающая с постели.

Сейчас другое время, говорила она, они могут испортить тебе жизнь, но не уничтожат, поверь мне. У отца было больше оснований бояться, но и он сделал ошибку, бояться не надо никогда, они все могут только потому, что мы боимся.

Отца она вспоминала спокойно, голос ее ни разу не дрогнул.

Выход есть, говорила она, ты перестанешь бояться и сам найдешь его, я уверена. И все устроится, не волнуйся ни о Нине, ни обо мне, если бы отец тогда думал о себе, он тоже нашел бы выход, а он думал о нас. Думай только о себе, и им нечем будет тебя напугать, понимаешь?

Не бойся, повторила мать и замолчала.

Он не знал, что ответить.

— Опустит подушки, я хочу лечь, — сказала мать, — силы кончились.

Она лежала в своей обычной позе, на спине, укрытая до подбородка одеялом, и смотрела невидящими глазами в потолок.

— Кто же... кто мог им... стукнуть? — Голос у него сел, он прокашлялся и повторил. — Кто мог им все рассказать обо мне?

Мать молчала. Когда она наконец заговорила, ему показалось, что она бредит — между словами были длинные паузы,

говорила она тихо, проглатывая окончания, будто засыпала, глаза ее закрылись.

— Мир за твоей спиной... другой мир... когда ты отворачиваешься, он меняется... никогда не увидишь то, что за спиной... не думай об этом...

Он решился:

— И ты... ты так до сих пор и не поняла, кто тогда написал Носову?

— Мир за твоей спиной, — повторила мать, — другой, понимаешь?

Она перекатила голову по подушке, открыла глаза, и он опять подумал, что, может быть, она его видит.

— Близкие могут предать, — сказала мать, — но их нельзя судить за это. Они предают, но они все равно любят. Ты понимаешь меня?

На мгновение ему показалось, что понимает, и он кивнул. Мать, не дожидаясь ответа, отвернулась.

— Не уходи пока никуда, пожалуйста, — сказала она, — я хочу, чтобы сегодня ты побыл со мной.

Сидеть неподвижно на стуле было утомительно, но он так и сидел, широко расставив ноги, опершись локтями на колени и подперев ладонями подбородок, прошел час, полтора, мать дышала во сне тихо и ровно, он слушал ее дыхание и, закрыв глаза, видел деревянный ресторан в Юрмале, старого официанта в вытертом черном костюме, с белым галстуком-бабочкой, обратившегося к матери «мадам», отчего он, Мишка, чуть не свалился со стула, отца в вязаной тенниске, обтягивавшей его широкую грудь, — отдохавшие офицеры предпочитали из санатория выходить в гражданском, и мать в голубом крепдешиновом платье — по голубому фону вились серебристые ветки с мелкими розовыми цветами, мать достает из большой черной лакированной сумки черную лакированную, с мелким многоцветным рисунком на крышке коробку папирос, закуривает, и дым отделяет ее от отца, от Мишки, от всего мира...

Сейчас мы смотрим один сон, подумал он.

— Я не сплю, — услышал он голос матери, — я думала... Они могут начать дело, придут... Телефон...

Он открыл глаза, увидел, что мать протянула руку в сторо-

ну прихожей, и сообразил — пошел к телефону, не снимая трубки, провернул диск и закрепил его карандашом, потом вернулся в комнату и плотно закрыл за собой дверь. Мать сидела на постели в ночной рубашке, спустив ноги на пол и пытаясь ступнями нащупать домашние туфли.

— В уборную, мам? — Он подвинул шлепанцы и помог ей попасть в них. — Пойдем...

— Я не хочу в уборную! — Мать раздраженно мотнула головой. — Я хочу сесть в кресло, помоги, сядь рядом и слушай...

Он усадил ее в кресло, накрыл ноги старым клетчатым черно-зеленым платком. Мать перевела дух и заговорила так тихо, что он, сидя рядом на стуле, ничего не услышал, ему пришлось пересесть на ручку кресла и придвинуть ухо почти вплотную к ее губам.

— Они могут прийти с обыском, — шептала мать, — им же нужны деньги, это будет доказательством твоей вины... Поэтому я думаю, что пора... Переверни мою кровать...

Он в изумлении отодвинулся и, забыв о телефоне, едва не переспросил во весь голос, но мать успела удивительно ловко для слепой прикрыть рукой его рот.

— Перевернуть кровать?! — прошипел он. — Зачем? Ты что, мам?

— Переверни кровать, — повторила мать еле слышно, — и отвинти колесо под той ножкой в изголовье, которая ближе к стене...

— Но зачем? — Он уже начинал догадываться, но не мог поверить в эту догадку. — Зачем, мам? Ты уверена?..

— Переверни кровать, — повторила мать, — отвинти колесо...

Кровать была железная, неподъемная, и он еле справился с нею, еле удержал, чтобы она не грохнула по полу, когда колесики поехали, кровать начала заваливаться набок, и постель сползла на пол у стены. Ось колеса была закреплена в стержне, ввинченном в трубу ножки, стержень никак не вывинчивался — снаружи все было залито слоями масляной краски, а внутри резьба, вероятно, проржавела. Он принес из прихожей сумку с инструментами, оставленную Киреевым, когда они строили перила для матери, отыскал в сумке плоскогубцы,

попробовал выкрутить стержень ими — не удалось. Содрав краску, он попытался расшатать стержень, потом намотал на ручки плоскогубцев край одеяла, чтобы не резало ладони, навалился изо всех сил — и, наконец, стержень начал проворачиваться, потом пошел легко и вывернулся. Он сунул два пальца внутрь ножки, ничего не нащупал и оглянулся на мать. Она сидела, ее широко раскрытые глаза были обращены в его сторону, и в который раз ему показалось, что она видит.

— Там ничего нет, — сказал он.

— Это там, — ответила мать, и он понял слова только по движениям губ, так тихо она говорила, — ищи... И не шуми.

Едва не отдавив себе пальцы, он снова перевернул кровать, поставил ее на ножки.

И увидел, как из той ножки, которая стала как бы увечной, короткой, показался тупой конец серой холщовой колбаски, потом, сгибаясь, колбаска выскользнула вся — в ней было сантиметров пятнадцать в длину — и с тихим стуком легла на пол.

— Они почти ничего не нашли, когда взяли Петю. — Мать уже не шептала даже, а выдыхала слова, он, скорее, догадывался, чем слышал. — Петя успел тогда все передать одной женщине... Ада не знала... Потом, когда его выпустили, он все забрал и спрятал здесь... Эта женщина... Она дождалась его и отдала, но он не женился на ней... Из-за нас... Он не хотел, чтобы ты... Ты был маленький... Она умерла, и он умер после этого... Никого нет, Мишенька, никого нет, Лени нет и Пети, никого... Мы все умерли. Это еще от деда, Петя сохранил... Теперь это твое. Спрячь так, чтобы они не нашли никогда, понимаешь? Может, когда-нибудь это спасет тебя или твоего ребенка, когда-нибудь... Спрячь, лучше не дома... Если даже пропадет, то ты не страдаешь и они не получат ничего...

На коленях у матери в клетчатом черно-зеленом платке ледяным синим огнем пылали камни. Мать осторожно положила на них руки, но огонь не погас — он будто просвечивал сквозь маленькие пухлые ладони.

Ему казалось, что он никак не может отдышаться после мучений с кроватью, но потом он понял, что просто задыхается, в комнате мало воздуха. Он глубоко, судорожно вдохнул, взял

холщовый мешочек и, осторожно приподняв материны руки, стал сбрасывать в него камни один за другим, стараясь не смотреть на синий огонь.

— Спрячь их получше, — шепотом повторяла мать, — спрячь...

Он бросил последний камень в мешочек и завязал его разлохмаченным обрывком шпагата, которым он и был завязан. Спрячь, повторяла мать беззвучно, спрячь...

Он уложил мать в постель и бессмысленно шатался по квартире, зажав в руке тяжелый мешочек, в конце концов сунул его во внутренний карман своего пальто — он ничего не мог придумать, мысли путались, его знобило. За последние полчаса жизнь совершенно изменилась, нужно было все обдумать заново, но он был не в состоянии успокоиться.

Мать крепко спала, даже похрапывала. Он надел пальто, один лацкан которого заметно перекосялся под тяжестью мешочка, и, не подумав, чем он рискует, вышел из дома. Белый не отвечал ни по домашнему, ни по рабочему телефону, с Киреевым связь вообще была односторонняя, он обычно после занятий сам звонил из автомата. Звонить Нининой подруге, чтобы Нина вернулась пораньше, он не стал — он еще не решил даже, что сказать Нине.

Он шел по Горького в густой толпе ранних сумерек, народ валил с работы, сигналили, не смолкая, машины. Вдруг он почувствовал комизм ситуации, отдающей «Двенадцатью стульями», — в кармане бриллиантов на неведомую сумму, может, на миллион, а он едва по привычке не свернул на Станкевича, чтобы дойти до комиссионки на Герцена: утром продавец позвонил, что сдали совершенно новую болонью, итальянскую, синюю, в мешочке-конвертике на кнопке. За болонью поставили семьдесят, а толкнуть ее, у него даже был готовый клиент, можно было за верных девяносто, а то и сто. И уже ноги сами несли его за тридцаткой навару, но он вовремя опомнился, пошел назад — домой.

Раздевшись, он сунул мешочек с камнями тут же, в прихожей, в шкаф со старыми вещами, в носок дяйдетиной галоши, и постарался заставить себя забыть обо всем.

А мать утром не проснулась. Нина пошла ее будить, кормить завтраком, и едва не потеряла сознание, прикоснувшись

к ледяной уже руке. И на несколько дней, пока хлопотали с похоронами и поминками, он действительно обо всем забыл.

Глава пятнадцатая. Бегство

Он лежал на третьей полке, уже совершенно пьяный, и, свесив голову, ждал, когда ребята внизу разольют новую бутылку принесенного сержантом «плодово-ягодного» и подадут ему стакан. Интересно, подумал он, после этого стакана меня вырвет или нет.

Мысли были простые и приходили одна за другой, не смешиваясь.

Надо бы слезть, подумал он, а то вырвет сверху прямо на всех.

Тут же он и начал слезать, но слезть не удалось, и он просто упал вниз головой, но почему-то не разбился насмерть, а спокойно встал носками на грязный пол, пошатнулся и сел на колени Юрке с Красной Пресни, причем Юрка успел отвести в сторону руку с полным стаканом.

— Боец, — сказал Юрка, подражая сержантскому обычаю называть всех бойцами, — сдристнул с колен, боец!

— Есть, — ответил он, прикладывая ладонь к виску и безуспешно пытаясь пересесть с Юркиных колен на свободный кусок нижней полки, — есть сдристнуть...

— К пустой голове, — радостно заржал весь отсек общего вагона, вмещавший их отделение, — к пустой голове грязную руку не прикладывают!

Эшелон шел уже вторые сутки. Куда везут, салагам сержанты не говорили, конечно, но было ясно, что на восток, и ходил слух, что в Казахстан, на ракетный полигон, а служить будут в ротах охраны. На вопрос, правда ли, что они будут охранять ракеты, старший по их вагону сержант Горбунов отвечал кратко — впрочем, точно так же он отвечал и на любые другие вопросы.

— Заебетесь пыль глотать и песок выплевывать, — говорил сержант, проходя в купе проводников. Там со старшиной-сверхсрочником, по-армейски говоря, как уже было известно салагам, «куском» по фамилии Приймак они пили отобранную у салаг водку и непрерывно ели отобранные у салаг кол-

басу, сыр, ветчину и прочую, по выражению Приймака, «московскую травилочку». А с салагами сержант поступал гуманно: собирал с них деньги перед каждой станцией и покупал на все «плодово-ягодного» по рубль двадцать две, себе же брал за работу пятерку. При этом шел на некоторый риск, потому что салаг за выпивкой могли заловить лейтенанты и старлеи, время от времени обходившие вагоны, а то и сам начальник эшелона майор Гурьяновский, но риск небольшой: когда начинался обход, об этом немедленно становилось известно во всех вагонах, и сержант лично заглядывал в каждый отсек, сам засовывал бутылки под матрацы и в рюкзаки, что же касается майора, то он не показывался никогда и, как говорили, тоже кочегарил у себя в купейном, где ехали офицеры, не просыхая. Да и обход бывал не слишком внимательный, для порядка.

И повальное пьянство в полутемных вагонах, везших московский, случившийся все же весенний призыв, шло мирно уже сутки с лишним, только время от времени кто-нибудь выскакивал на площадку между вагонами и, стоя на съезжающих и разъезжающихся квадратных стальных листах с пупырчатой поверхностью, блевал в зияющую между ними гремящую пустоту.

Он проснулся поздно ночью. Вокруг стоял храп, тяжелая вонь наплывала волнами, а между этими волнами пронеслась холодная струя чистого ночного воздуха — дверь в тамбур, в котором было выбито стекло в окне, была открыта и хлопала. Он чувствовал себя почти трезвым, опьянение от жуткого вина было тяжелым, но проходило быстро, сейчас его даже не тошнило — кажется, вечером все же ходил блевать... Теперь до утра уж не заснуть...

На заваленном обрывками газет и огрызками хлеба столике покачивалась темная бутылка, на дне ее плескался глоток, он вылил, подавив рвотный позыв, сладкую мерзость в себя.

Прижавшись в углу возле окна, подобрав на полку ноги, он вспоминал.

Врачиха, оформлявшая свидетельство о смерти, глядя в паспорт, удивилась: «Надо же, сорока девяти не было, а физическое состояние на семьдесят!» — и с подозрением посмотрела на него и Нину...

На кладбище кто-то нечаянно толкнул маленький пестро-

серый обелиск на могиле дяди Пети, и камень покосился, потом, в автобусе, Ахмед тихо сказал ему: «Если денег нет, я сам памятник укреплять буду, а надпись новую закажу мужикам, шубу ее продай — и отдашь».

Утром после поминок он встал и решил сам покормить мать, Нину не будить, вышел в большую комнату, увидел голую кровать, ржавые пружины сетки, свернутый к спинке в головах тюфяк, все вспомнил — и наконец заплакал, утирая ладонями сразу ставшее мокрым лицо...

Вечером, уже около десяти, зазвонил телефон, он снял трубку и услышал голос Васильева. «Мы вам соболезнуем, Михаил, большое, конечно, человеческое горе. Если помощь какая...» Он повесил трубку, недослушав, и в это же мгновение понял, что надо делать...

— Не понимаю я тебя, Салтыков, — сказал полковник Мажеев и пожал плечами, отчего погоны его встали почти вертикально. — Сын офицера, ну... не важно, все равно не понимаю. Доучись, получи звание, потом делай, что хочешь... А на действительную... Это, конечно, долг и все такое, только знаешь, что про армию говорят? Великая школа, но кончать ее лучше заочно, понял? Ну, шутка, конечно, однако...

— Личные обстоятельства, товарищ полковник. — Он смотрел в стол и заставлял себя повторять: — Личные обстоятельства, сложное положение. Жена скоро рожать будет, а кто ей здесь поможет? Мы решили, что она уедет к ее родителям, у нее отец подполковник в отставке, в Одессе, я вам говорил, товарищ полковник. А я с моим характером, если один останусь, совсем свихнусь, понимаете, товарищ полковник? Лучше я три года отдам и вернусь человеком, честное слово, я вас очень прошу, товарищ полковник, я все обдумал, пожалуйста, ставьте вопрос о моем исключении, только про этот разговор не рассказывайте, у меня же и так полтора месяца прогулов, вы все основания имеете...

Мажеев смотрел задумчиво, крутил в руках красно-синий карандаш «Тактика»...

— Что-то крутишь ты, Салтыков, — вздохнул наконец полковник, — ну, ладно... В конце концов ты не на курорт собрался, а на действительную. Мало тебе неприятностей, что

ли, досталось? Отец... офицер был... вот исключительно по-этому... Ладно, иди...

Они пошли в дорожную шашлычную «Риони» на Арбате — никогда раньше в ней не бывали и надеялись, что Васильев здесь их не засечет. Но говорили все равно о самом невинном — о полученной им повестке и скором отъезде, о новом романе Киреева — на этот раз с кондукторшей автобуса, которым он иногда ездил из Одинцова, о входящих в моду брюках-клеш и длинных волосах... Когда вышли на улицу, он сказал: «Все, ребята, больше прощаться не будем. Пьянку перед отъездом устраивать не стану, нечего отмечать — вы сами понимаете, отчего я в армию бегу. Все, увидимся через три года...» Они стояли, перегородив узкий тротуар, не зная, что делать дальше, их толкали бегущие к троллейбусной остановке. Наконец Белый неловко хлопнул его по плечу и, ничего не сказав, повернулся, пошел к Смоленской. Киреев все топтался, растягивал губы в кривой улыбке, бормотал что-то о том, что три года — не тридцать. «Иди, Игорь, — сказал он, — прощай. Буду жив, напишу». Киреев сунул руку для пожатия и двинулся к «Художественному». Толпа сомкнулась, друг, с которым прошла вся жизнь, исчез. Вот и конец, подумал он, как будто нас и не было...

Нина стояла в дверях вагона. Протиснувшись мимо заслонявшей ее проводницы, он вскочил в тамбур, осторожно обнял жену, изогнувшись над выпирающим из-под расстегнутого пальто животом. Губы Нины были сухие, сморщенные, как у старухи, она перестала краситься. «Мишка, — прошептала она рядом с его ухом, — что же это такое? Опять расстаемся... Я люблю тебя...» Он поцеловал ее в оба моргнувших глаза, почувствовав, как шевельнулись мокрые ресницы, отодвинулся и тихо, но внятно сказал: «Дождись, и потом все будет хорошо. Поняла? Больше никогда не будет, как было раньше, будет по-человечески. Дождись». — «Та вылезайте ж, молодой человек, — вмешалась проводница, — вылезайте уже, сколько ж можно провожаться! Не переживайте, доставимо вашу красавицу вместе с ее пузиком у полном порядке до самой Одессы, она вам телеграмму отобьет...» Далеко впереди коротко вякнул тепловоз, он спрыгнул на перрон. Нина выглядывала из-за толстого ши-

нельного плеча проводницы, лицо ее не выражало ни горя, ни любви — только испуг...

Вдвоем с Ахмедом они осторожно положили камень, на котором светлели новые гравированные строчки, на бок, и Ахмед пошел к воротам кладбища покупать у ханыг раствор и брать в аренду инструмент. А он присел на корточки, быстро, забивая мокрую землю под ногти, начал разгребать еще рыхлый слой руками и уже через пару минут увидел потемневшую доску гробовой крышки. Сдерживая из последних сил дрожь и тошноту, он вытащил из-за пазухи кожаной куртки узкую пол-литровую банку из-под лечо, закатанную новой крышкой. Внутри банки, словно червь-экспонат в биологическом музее, свернулась тугая полотняная колбаска. Он сунул клад под угол гроба, сделал над собой последнее усилие и протолкнул банку поглубже. А когда Ахмед вернулся, он уже стоял, опершись на железную, в завитках ограду могилы и заканчивал выковыривать перочинным ножом грязь из-под ногтей. Земля на том месте, где стоял камень, была плотно утоптана, и на ней выделялся квадратный след, который он успел выдавить почти точно по размерам основания памятника. «Забетонируем, — сказал Ахмед, — забетонируем кругом, Мишка, оно никогда не просядет, еще тебя дождетя». — «Только ты навещай без меня, дядя Ахмед, — попросил он, — если что, поправь...» — «Подопрем, если что, — согласился Ахмед, — не переживай, Мишка...» Он промолчал, продолжая выковыривать землю из-под ногтей узким сточенным лезвием отцовского ножика с серебристой, как рыбка, ручкой. Руки не дрожали...

Ночью зазвонил телефон. Он вскочил, ничего не понимая, решив, что это уже будильник, пора в военкомат, потом сообразил и, не зажигая света, босиком прошлепал по холодному и пыльному паркету в прихожую. «Тебе плохо, — услышал он в трубке Танин голос, — тебе плохо? Хочешь, приезжай. Я знаю, она в Одессе...» Он не испытал ничего, даже удивления, даже досады. Хотелось только скорее вернуться в постель, закрыть глаза, не думать, заснуть. «Приезжай, тебе станет легче, ты же помнишь, тебе всегда становилось легче у меня... — Она помолчала, дожидаясь его от-

вета, но он молчал тоже. — Ты слушаешь? Алле!..» — «Нет, — сказал он. — Нет, я не приеду. Все, Таня, прощай. Завтра я уезжаю». — «Я знаю и это», — сказала она и повесила трубку...

Он проснулся. В вагоне перед утром стало холодно. По проходу бродили похмельные тени, тащили где-то добытые лишние тюфяки — укрываться. Со стороны тамбура доносились кашель и тоскливое бормотание проснувшихся окончательно и вышедших покурить с утра. С грохотом отъехала дверь проводнического купе, заорал сержант:

— Рота, подъем! — Сержантские сапоги четко стучали по коридору, стук приближался. — Подъем, салаги! Постель скатать, разместиться по отсекам! Перекур заканчивать! Поверка, рота!

Сержант заглянул в отсек, ухмыльнулся, встретившись с ним взглядом.

— Салтыков — фамилия? Так, Салтыков, вопрос молодому бойцу: как ты называешься?

— Рядовой Салтыков, — неуверенно ответил он, уже привычно вставая, пытаясь попасть ногами в расшнурованные и валявшиеся на полу старые, еще школьные ботинки.

— Тебе до рядового еще пердеть-срать-недосрать, — обрадовался сержант. — Ты теперь называешься чмо, понял? Пойдем дальше: почему чмо? Отвечай по уставу, салабон. Ну?

— Никак нет, товарищ Горбунов... товарищ сержант, — исправился он, — не знаю...

Так будет три года, думал он, три года, ничего сделать нельзя, и не надо ничего пытаться делать, надо терпеть, а как?

— Объясняю для всех, запомнить и знать. — Голос сержанта разносился на весь вагон. — Призыв ваш называется чмо, вы все чмо и будете чмо, пока не начнете курс молодого бойца, а тогда станете настоящими салагами. А пока вы чмо, это сокращенно обозначает «человек Московской области»! Кто не понял?

— Ну, я не понял, — отозвался со второй полки сумевший забраться туда на ночь Юрка с Красной Пресни, хулиганского пошиба парень, с которым он как-то сразу сошелся, по городским меркам, жили почти рядом. — Чего это я чмо?

— А не понял... — Сержантский голос звучал уже с угрозой. — Так поймешь. Фамилия?

— Ну, Фролов — фамилия... — Юрка сидел, свесив ноги. — А чего?

— А того, что чмо Фролов идет в наряд по уборке расположения! Ведро, тряпку возьмешь в моем купе. А ты, Салтыков, будешь старшим по наряду, понял? Старшему тряпка положена побольше. Вопросы есть? Приступить к влажной уборке. Через полчаса проверю чистоту лично. Засекаю...

Передвигаясь на корточках, он возил грязной тряпкой по грязному полу, понемногу сгоняя черную воду, в которой плавали бычки и обрывки бумаги, к тамбуру. Надо понять в этом что-то главное, думал он, иначе три года не протянуть, сойдешь с ума или повесишься, как вешаются некоторые, ночью ребята рассказывали. Надо понять главное, тогда все можно будет вынести... Начищенные до теплого сияния сержантские сапоги появились перед его глазами.

— Встал! — Сержант почти всегда вместо повелительного наклонения употреблял глаголы в третьем лице. — Положил тряпку в ведро, чмо! Ты как уборку делаешь?

— Я стараюсь, товарищ сержант. — Он с трудом разогнул колени, поднялся во весь рост, оказавшись почти на голову выше Горбунова. Ему показалось, что сержант тоже отметил это и именно от этого рассвирепел.

— Носовой платок есть? — Сержант говорил теперь негромко, но в вагоне почему-то наступила тишина. — Есть? Показал платок быстро...

Кое-как вытерев ладонь о надетые в дорогу брюки от дяди-петинного костюма, он осторожно вытащил из заднего кармана чистый платок. Сержант взял его, развернул и, разжав пальцы, выпустил из руки, как парашютик. Платок медленно опустился на пол, точно в центр грязной лужи.

— Платком уборку заканчивать, понял? — Сержант говорил все так же негромко, но тишина в вагоне теперь была полная. — Закончишь уборку прохода — доложишь.

И, наступив каблуком сапога на платок, Горбунов пошел дальше, старательно чиркая краем подошвы по линолеуму уже вымытого прохода, отчего на светлом линолеуме оставались черные следы. Возле своего купе он обернулся.

— Черные полосы останутся, пойдешь в наряд снова, — сказал он и, скрывшись в купе, с лязгом задвинул дверь.

День тянулся бесконечно. Сдать сержанту чистый пол удалось только к обеду. Вечером Горбунов вполне добродушно взял у него деньги и принес «плодово-выгодного», как его все называли, вина, вечером отсек опять пил.

После трех с лишним суток езды их подняли ночью. Поезд стоял, как показалось, в чистом поле, на горизонте продуваемой холодным ночным ветром пустыни светилась прерывистая полоска огней. Под крики сержантов их построили ротами, по сто двадцать человек, при этом Юрка с Красной Пресни в темноте куда-то делся, хотя собирались стать вместе, и больше он этого парня никогда не видел.

По невидимой дороге повели строем. Пустой рюкзак сползал с плеча, идти приходилось по глубокой и узкой колее, выбитой в глине, уже давно засохшей.

Остановились километра через два возле стоявшего посреди чистого поля низкого бревенчатого барака, из трубы, возвышавшейся над крышей, валил светлый на фоне неба дым, над маленькой входной дверью горел, раскачиваясь под ветром и освещая то одно, то другое лицо, фонарь с разбитым стеклом.

Оказалось, что привели в третьем часу ночи в баню. Стояли в строю, ожидая, пока помоются предыдущие роты. Наконец Горбунов скомандовал «заходи!», повалили в узкие сени, оттуда налево, в длинное полутемное помещение с лавками вдоль стен. Горбунов приказал раздеться и всю одежду сложить в свои рюкзаки или чемоданы, раздевшихся легкими поджопниками — сапогом по голому — гнал снова в сени и оттуда в правое помещение. Там было потеплее, вдоль потолка шли трубы с приваренными к ним в большом количестве душевыми разбрызгивателями, из дырочек которых вяло капала чуть теплая вода. Мыться никто толком, конечно, не стал, в разных концах кричали «я от рождения чистый!» и «домашнюю грязь смывать жалко!», сержант, стоя в открытой двери, из которой несло холодом, торопил. Каждому выходявшему он совал обрывок вафельного полотенца величиной с большой носовой платок и опять пинком направлял в левое помещение, где оставили одежду. Но рюкзаков и чемода-

нов там уже не было, два хмурых солдата, матерясь и пихая голых салаг, заканчивали раскладывать по лавкам стопки обмундирования. «Хэбэ надел!» — скомандовал Горбунов, уже оказавшийся рядом.

Детское воспоминание мгновенно возникло — хэбэ, летняя хлопчатобумажная форма. Он начал одеваться, спеша изо всех сил. Натянул лежавшие сверху бязевые кальсоны с оставшейся на поясе единственной обтянутой тканью пуговицей и оборванными завязками внизу, не доставшие ему и до щиколотки, бязевую нижнюю рубашу, под мышкой которой обнаружилась дырка, — все белье было сырое и пахло хлоркой. Влез в галифе, оказавшиеся на удивление длинными и широкими, наверное, пятьдесят второй размер, кое-как стянул сзади пряжку хлястика, но штаны все равно держались плохо. Тут же, впрочем, обнаружил в стопке узкий брезентовый ремень и им стянул пояс галифе потуже. Начал пролезать в гимнастерку — и едва не застрял, гимнастерка была явно из другого комплекта, узкая и короткая.

— Товарищ сержант, — обратился он к Горбунову, маячившему за голыми спинами, — мне брюки велики, а гимнастерка мала...

— Отставить «мала-велика»! — Горбунов отвечал ему, но орал на весь барак. — К дембелю подгонишь, чмо! Одедся, вышел, понял, нет?!

В полутьме метались, кряхтели, тихо матерились голые и одетые частично люди.

Он подумал, что страшнее ничего в своей жизни не видел, и тут же понял, что не так уж все это и страшно и предстоит увидеть многое куда страшнее, потому что это только самое начало.

Двое солдат, раскладывавших обмундирование, вошли, неся грозди сапог. Останавливаясь возле каждого, один из них спрашивал размер, а другой, светя фонариком на подошвы, выбирал пару и швырял ее на пол перед одевавшимся. Он получил свой сорок четвертый, сообразил попросить с запасом, и сел на скамью — наматывать портянки, найденные под стопкой одежды. Вспоминая, чему учил отец, он довольно ловко обмотал узким полотнищем ступню и попытался всунуть ее в сапог — нога еле влезла, сапог был ощутимо мал.

Он взял второй, еле рассмотрел выдавленную на кожмитовой подошве цифру — 43. Горбунов стоял как раз рядом, не переставая орать свое «оделся-вышел», но он не стал уже нарываться, и, ничего не сказав сержанту, вбил вторую ногу в кирзовую тесноту, чувствуя, как сминается и сразу начинает нестерпимо давить на большой палец портянка. Парень, обувавшийся рядом, отчаялся в попытках намотать портянки, просто рассовал их по карманам галифе и натянул сапоги на босые ноги...

— Четвертая рота, — заорал Горбунов уже совершенно невыносимо громко, — выходи строиться!

В дверях стояли все те же двое солдат, каждому они совали свернутый в тугой рулон и связанный бумажным шпагатом ремень из жесткого кожзаменителя и завернутую в промасленную бумагу бляху. Выйдя из бани, он попытался закрепить бляху на ремне, для чего надо было один конец ремня просунуть под скобу на изнанке бляхи, потом сложить вдвое и просунуть под вторую скобу. Но сделать это ему не удалось, ремень не гнулся, он сломал ноготь.

— Четвертая рота, — Горбунов уже немного охрип, но рев его от этого стал только страшнее. — В колонну по четыре! Строиться, салаги ебаные! Ша-агом марш! И-раз! И-два! И-раз, два, три! Песню, направляющий!

Он шел по росту правым в первой шеренге. Сержант бегом обогнал всю колонну и оказался рядом.

— Салтыков, команду кто выполнять будет?! — услышал он, и вдруг с ним что-то случилось, он вспомнил пение-крик солдат, которых мимо их дома вели куда-то каждое утро, и закричал слова, выплывшие из неведомых до этого ему самому глубин.

Украина дорогая, Белоруссия родная, ваше счастье молодое мы врагу никогда не отдадим, пел он.

И в колонне уже кто-то подхватил, и они шли по острым глиняным ухабам невидимой дороги и горланили, сколько было сил.

И он почувствовал, что именно этого хотел все последнее время: идти, петь идиотскую песню, не думая ни о том, что было вчера, ни о том, что будет завтра, потому что ни вчера, ни завтра не было и не будет, а будет только это — тесные са-

поги, холод, хочется есть и хочется спать, и ничего, кроме этого, никогда.

Потому что три года — это навсегда, и ничего больше нет, подумал он.

А примерно через год он сидел в казарме, в узком проходе между двумя двухъярусными койками, и читал письмо. Свет в казарме был уже потушен, отбой прошел с полчаса назад, все спали, только один куражившийся дембель время от времени лениво покрикивал: «Дневальный! Поддай станок ебальный!» — но и тот постепенно утомился.

Он сидел на корточках, как любят сидеть ээки и солдаты, привалившись спиной к стене. Из окна на бумагу падал свет от фонарей, окружавших плац. Крупный Нинин почерк старательной школьницы разбирать было легко.

«...очень похож на тебя, от этого мне еще тяжелее. Отец обещал устроить, чтобы тебе месяца через два, как кончится первый год, дали отпуск, приедешь сюда или в Москву, а я с Ленечкой и мамой приеду тоже туда. Зимой приезжал Киреев, он работает где-то в Азербайджане, и он оттуда на четыре дня прилетел. Поселила его у себя Любовь Соломоновна, помнишь, у которой мы с тобой жили? Она очень постарела. Киреев сказал, что прилетел специально посмотреть на сына друга. Он очень понравился моим родителям, такой солидный, все время в костюме с галстуком, шапку себе купил пыжиковую, говорит, без такой шапки на буровой, где он работает, его за инженера считать не будут. Ну, он тебе, наверное, все сам пишет, так что ты про него знаешь. Он рассказал, что Женька женился, помнишь, на той девочке, которая стихи писала, из Ленинграда? И Женька собирается переехать к ней, наверное, уже переехал, даже собирался выписаться из Москвы, вот дурак. Женька, наверное, тоже тебе пишет, хоть ты ему отсоветуй, потеряет московскую прописку, потом будет жалеть. А я сижу с Ленечкой, на работу здесь с московской пропиской не берут. Весь день с мамой вдвоем вертимся, Любка тоже помогает, когда не в школе и не гуляет, но к вечеру сил нет ни у кого. Как ты там? В воскресенье пойдём с мамой на Привоз, соберем тебе опять посылку, а в понедельник отправим. Положим сгущенки, колбасы копченой селянской, печенья, как в тот раз. Ты все получил? Пиши, мой родной. Я

тебя люблю, очень скучаю и надеюсь скоро увидеться. Уже с мамой думали, что, если тебя не отпустят в отпуск, я оставлю ей Ленечку, он уже почти полностью на искусственном, и сама к тебе приеду. Остановлюсь там где-нибудь рядом в деревне, а тебя ко мне отпустят на трое суток, папа говорит, что так полагается. Я даже не представляла себе, что так буду скучать. Мы с Ленечкой целуем тебя и любим. Нина. А помнишь, как я стояла возле того дома на Котельнической, куда ты ходил? Только не отказывайся, не ври больше. Это все кончилось, правда? Я тоже многое поняла. Если бы я больше интересовалась твоими делами, ничего бы не было, да? Может, тебе не пришлось бы даже в армию идти. Целую. Нина».

Он смял листки и сунул их в карман галифе, а из нагрудного кармана гимнастерки достал еще одно письмо, развернул, нашел конец, стал перечитывать.

«...думаешь что Танька а это может херня все помнишь я тебе тогда говорил насчет Носова и Нинки ну вот то же самое вроде все сходится а на самом деле не так и поэтому не ломай голову прошло в армии тебя не достают и забудь всего не предусмотреть пока Игорь».

Он смял и это письмо, сунул к первому, с трудом, опираясь на пол, встал — ноги затекли — и пошел к выходу из казармы. Проходя мимо дневального, сидевшего, нагло попирая устав, на тумбочке, для порядка буркнул «не спи, салага, дембель проспидишь», и вышел под холодный ветер, порывы которого несли песок из степи. Обогнул плац по периметру, чтобы не попасться на глаза дежурному по части, сидевшему в штабе перед большим, выходящим на расположение окном, — дежурил капитан Рюхин, этот мог не спать всю ночь и прицепиться к чему угодно, даже к тому, что ночью в сортир без пояса идешь. Сорванная дверь сортира уже вторые сутки стояла рядом с проемом, прислоненная к дощатой стене, а весь полк целыми днями разметал плац и красил известкой кирпичные бордюры дорожек, до двери же очередь не доходила. Внутренность длинного сарая освещала одна яркая лампочка, висевшая на коротком шнуре высоко под потолком. Все запахи перекрывал запах хлорки, белыми валиками окаймлявшей черные дыры в высокой части дощатого пола, — и тут устав

не выполнялся, одно очко приходилось на куда большее количество личного состава, чем положенные шестнадцать человек. Стараясь не стать сапогами в хлорку, раскорячившись, он присел над дырой.

Через несколько минут оба письма полетели в темную, дышащую гнилью глубину.

Все кончится через два года, думал он, выходя под колючий ветер, а что начнется?

Но его уже клонило в сон, и ненужная мысль расплылась, исчезла в пустоте, остались только голод, озноб, засыпание на ходу.

Он доплелся до своего ряда, автоматически выложил ровной стопкой на табуретке галифе, прикрыл их гимнастеркой, грудь сверху, подвернута с боков до карманов, уперевшись в края своей и соседней коек, толкнулся, подтянулся, рухнул на свой второй ярус, влез под одеяло, не вытаскивая для тепла его заправленные под матрас края, — и через минуту уже спал.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава первая. Аритмия

Никак не удастся понять, что происходит раньше — то ли во сне сердце дает сбой и начинает спешить, наверстывая пропуск, бестолково колотясь, то ли сначала просыпаешься, а уж потом сердце, напуганное перспективой нового дня, начинает суетиться. Сразу делается не до анализа ощущений, они налетают одно на другое: в животе становится пусто, как бывает, когда самолет проваливается в зоне турбулентности, ладони покрываются липким потом, вдохнуть глубоко не удастся, и одна мысль — опять началось! — дергается, мечется в голове.

Врачи, делая умный вид, все время выписывают новые лекарства. Раньше предупреждали, что с алкоголем они несовместимы, и я на какое-то время бросал пить, а теперь уж бросили предупреждать — то ли лекарства новые появились, то ли прежде запрещали выпивку просто для порядка, с воспитательными целями. Вероятно, какое-то из этих лекарств, да еще в сочетании с выпитым на ночь, вызывает сны яркие, длинные, с сюжетами. Я просыпаюсь среди ночи раз десять, засыпаю снова, а сон продолжается, и когда на рассвете просыпаюсь окончательно, видение остается в памяти, будто по-

смотрел вечером сбивчивое современное кино. Воспоминание это растворяется в дневном освещении, но, пока я лежу в кабинете на диване, скрывшись от жизни за темными тяжелыми шторами, картинку можно просматривать снова, одну за другой. И я пытаюсь вызвать их, отвлечься, надеясь обмануть сердце, утихомирить его. Иногда это удается, приступ аритмии откладывается, чтобы — как правило — начаться снова среди дня или ближе к вечеру, когда устану. Но чаще от воспоминаний об увиденном во сне становится еще хуже, нападет страх, от которого невозможно избавиться, как себя ни уговаривай, и с этим страхом приходится вставать и жить несколько минут, пока принятая по такому случаю раньше обычного первая рюмка не смажет все — и страх, и боль в груди от толчков сошедшего с ума сердца. И дальше жизнь так и продолжается весь день — расплываясь, теряя резкость очертаний от глотка к глотку.

Снятся мне чаще всего отец и мать, отец — почти каждую ночь. Иногда я пытаюсь днем вызвать в памяти его лицо, его фигуру в длинной шинели и чуть косо сидящей серо-сизой ушанке, но это удается с трудом, а во сне я его вижу отчетливо. Во сне родители обычно принимают участие в моих нынешних делах, детство мне не снится никогда, да я и наяву не могу вспомнить себя мальчишкой.

Сегодня мне приснилось, что отец участвует в совете директоров. Он сидит не за столом, а на одном из стульев у стены, где иногда, чтобы подчеркнуть свое безразличие к обсуждаемому предмету, сажусь я сам. Я сижу рядом с отцом, а на председательском месте сидит Белый, и во сне я думаю, что Женьке не следовало бы являться на заседание, раз уж он умер. В конце концов, говорю я во сне отцу шепотом, все идет и без Женьки, а ему кажется, что без него тут все развалится. Отец косится на меня, его лицо очень близко, и я могу рассмотреть мелкие сосудики в белках его глаз. Он прикладывает палец к губам, и я понимаю, что он не советует мне говорить о Женькиной смерти, чтобы другие не услышали, и думаю, что отец прав, они не должны знать о том, кто из нас умер. Тут оказывается, что мы с отцом стоим перед домом, дом еще недостроенный, каким он был лет шесть назад. «Маме позвони, — говорит отец, — она волнуется, как ты здесь». Я начинаю искать телефон и вспоми-

наю, что оставил его в доме, но дом недостроенный, и это почему-то мешает мне войти и взять телефон. Во сне мне кажется совершенно очевидным, что взять мобильник из недостроенного дома невозможно, я хочу объяснить это отцу, но он не слушает меня, он выходит за ворота, я спешу за ним и вижу, что он идет по обочине дороги, он идет на станцию, чтобы вернуться в Москву электричкой, а мимо несутся машины, и любая может задеть его и сбить, я пытаюсь крикнуть ему, чтобы он вернулся, чтобы шел осторожно, подальше от машин, но не решаюсь кричать, потому что, если закричать на совете директоров, меня сочтут окончательно сошедшим с ума алкоголиком, а отец все идет по обочине, и машины свистят мимо, и я не могу крикнуть, что звонить матери не обязательно, потому что ведь она тоже умерла, отец просто забыл...

Я знаю, что видеть во сне покойных родителей — это к скорой встрече с ними. Я лежу в полумгле, сквозь шторы уже начинает пробиваться серый рассвет, сердце проваливается и суетливо колотится после каждого провала, а я все вспоминаю, как отец шел по обочине и машины проносились мимо. Постепенно страх становится невыносимым, я встаю, босиком, натываясь на мебель, шлепаю к шкафу, отпираю, стараюсь не щелкнуть ключом на весь дом, бар, освещаются, сверкают бутылки, стаканы и рюмки, я наливаю коньяку, хотя хочется виски, но коньяк вроде бы действует лучше, делаю большой глоток и жду результата.

Пока результат не наступил, я думаю о вещах, о том, как быстро пропал интерес к ним, как только они появились. Не то чтобы я теперь не замечаю вещи, их мелкие детали, их прелесть, но я перестал желать их, жаждать обладания, как жаждал раньше, в молодости, когда всем существом хотел каждую пуговицу какого-нибудь случайно отрытого в комиссионке пиджака. Это была — теперь я понимаю — задержавшаяся детская любовь к мелочам, та любовь маленького человечка к соразмерному, которая когда-то заставляла с нежностью рассматривать шляпку каждого обойного гвоздя, которыми okayмлялась кожа на спинке кресла в дядипетиной комнате. Шляпки, маленькие латунные цветы, притягивали взгляд, и я их рассматривал часами, с горечью замечая, что некоторые немного покорежены молотком.

И вот еще что, думаю я: любовь к вещам, ко всем этим рубашечкам, выцыганенным у иностранцев, была другой стороной ненависти к миру, в котором жил и в котором этих вещей всегда недоставало, в котором они становились вестниками другой жизни. А теперь вокруг все есть, вокруг меня вещей столько, сколько я не могу запомнить, и с этим миром они уже не враждуют, мир изменился еще больше, чем я. Мне и сейчас нравится рассматривать вещи, особенно по привычке одежду и — это возникло в жизни гораздо позже, чем тряпки и, наверное, поэтому привлекает меньше — машины и оружие. Но я, стоит засмотреться на какой-нибудь пиджак в витрине на Монтенаполеоне или Риджент-стрит, оглянуться на промелькнувший по встречной полосе «ягуар», тут же вспоминаю, что уже ничего не нужно, потому что все, чего мне когда-то нестерпимо хотелось, у меня уже давно есть. И жгучее наслаждение неутоленного желания сразу проходит.

Собственно, то же самое и в то же время — в последние пять — семь лет — случилось и с женщинами.

Снова замирает и дергается в груди, но теперь страха уже нет, ощущение пустоты в желудке прошло. Я наливаю еще полрюмки, проглатываю, надеваю халат и иду в Нинину спальню.

Там, как всегда, отдернуты шторы и законный рассеянный свет заливает все.

— Доброе утро, — говорю я, подходя к большой кровати, посреди которой на боку, натащив на себя одеяло до подбородка, лежит моя жена.

Нина молчит, хотя глаза ее открыты и она смотрит на меня.

Я уже давно стараюсь не задумываться над тем, почему она столько лет не отвечает мне — то ли слышать стала хуже, то ли решила больше не пересиливать себя, то ли просто не понимает моих слов. Она действительно прибавляет громкость, когда смотрит телевизор, но молчит, конечно, не только из-за глухоты. Главная болезнь, считает ее врач, возможно, вообще не проявилась бы отчетливо, не случись того, что случилось тогда. Врач думает, что она и раньше была немного аутичной, наверное, именно это чувствовала мать, считавшая ее холодным человеком. И мне хочется тоже думать, будто Нина действительно больна, хотя я знаю, что с другими она разговари-

вает, иногда даже очень охотно и всегда громко, — но если меня нет рядом. Молчит она со мной да еще с Ленькой и его женой — с сыном она перестала разговаривать вскоре после того, как он женился. Поэтому я, конечно, не верю в болезнь, я знаю, что у ее молчания есть действительные причины и они проявили не болезнь, а редко встречающееся свойство характера — Нина не умеет забывать. Но я стараюсь не думать об этом, как и о том, какое лицо я вижу в зеркале, бреясь.

— Доброе утро, — повторяю я и, не дождавшись ответа, выхожу и спускаюсь на первый этаж.

Там уже пахнет кофе, и скоро этот запах заставит Нину подняться, она тяжело, крепко держась за перила, сойдет по лестнице, и мы сядем завтракать, так и не поздоровавшись после ночи.

В доме все делает Гена, невысокий и кажущийся щуплым человек не то тридцати, не то пятидесяти лет на вид. Полуседы длинные волосы он собирает на затылке в пони-тэйл, в левом ухе носит маленькую серьгу колечком и круглый год ходит в черной кожаной куртке-косухе, надевая под нее майку или свитер в зависимости от погоды. Поэтому издали его можно принять за мальчишку, и многие удивляются, видя его вылезавшим из-за руля моей машины. Спит Гена в маленькой комнате, дверью в которую заканчивается коридор первого этажа. Я никогда не захожу к нему, но знаю, что там нет ничего, кроме узкой койки, вешалки на стене и тумбочки, на которой лежит дембельский альбом в бархатном алом переплете. На первой странице альбома его фотография в выгоревшей добела еще не камуфляжной гимнастерке с двумя медалями над левым карманом и в парадном голубом берете, на заднем плане горы, кажущиеся декорацией, внизу выцарапано по эмульсии «Кандагар-88». Выглядит на фотографии Гена точно так же, как сейчас, только серьги в ухе нет и волос из-под берета не видно.

Числится он моим шофером и охранником, но я доплачиваю из своих к тому, что ему платит компания, и он готовит завтрак, варит суп, который остается Нине на день, ставит тарелки в посудомойку, а днем, пока ждет меня, успевает купить продукты и аккуратно разложить пакеты в идеально пустом багажнике. Он же нанимает женщин, которые время от вре-

мении приходят из ближнего поселка делать в доме большую уборку.

Вечером, когда мы возвращаемся домой, он тормозит в переулке возле Патриарших перед маленьким, открывшимся еще на заре новых времен ресторанчиком, в который любили ходить мы с Ниной, в те годы еще пытавшейся все забыть. Теперь у этого заведения даже названия, кажется, нет, но готовят в нем прилично. В ресторане он берет, раскладывая по судкам и термосам, ужин на троих, судки ставит на пол рядом с собой, перед передним пассажирским сиденьем, а я сижу сзади, съезжившись в правом углу, дремлю, слушаю Питерсона или что-нибудь из нового, безликого, но приятного джаза — диски покупает тоже Гена, довольно точно уловивший мой старомодный вкус.

Раз в неделю, наварив супу, Гена берет выходной на сутки, за рулем его заменяет водитель разгонной машины, которому все равно делать нечего — у всех, кроме меня и Игоря, начальников в компании по два шофера и не по одному автомобилю, так что разгонная почти никогда не требуется. Я знаю, что свободные сутки Гена проводит в Железнодорожном, откуда он родом, но кто у него там — родители или женщина, — понятия не имею, он никогда ничего не рассказывает, да и вообще почти не разговаривает, к счастью. Правда, один раз утром, спустившись в столовую позже обычного, я слышал, как он обращался к Нине и она отвечала, думая, вероятно, что меня нет поблизости. Говорили они, конечно, о погоде и собаках. Когда я вошел, она замолчала на полуслове, будто кто-то ее выключил, а Гена, как мне показалось, даже смутился. Сделав вид, что ничего не слышал, я кивнул ему и сел за стол.

Сегодня мы должны выехать на полчаса раньше обычного, я собираюсь порыться в документах до того, как все начнут сходиться, поэтому Гена выходит из кухни почти готовым к отъезду — без куртки, но уже в надетой поверх свитера желтой кожаной амуниции, удерживающей под мышкой кобур. Он несет поднос с кофейником, молочником, чашками и бутербродами на небольшом блюде, увидев меня, чуть заметно наклоняет голову — это можно принять и за поклон слуги, и за фамильярный кивок приятеля. Оставив поднос

в столовой, он возвращается на кухню и приходит оттуда с маленькой кастрюлькой овсяной каши. Овсянка утром — единственная моя полезная привычка, следовать ей нетрудно, я люблю это ощущение обволакивающего тепла, к тому же каша нейтрализует выпитое с утра.

Волочась по полу, путаясь под ногами, спуют собаки — у нас живут три таксы. Иногда Нина молча показывает на какую-нибудь из них, обращая мое внимание на необычное выражение морды или учиненную втихую каверзу. Совместным умилением без слов наше общение заканчивается.

Нина входит в столовую, когда я уже покончил с кашей и допиваю кофе. Она смотрит мимо меня со ставшим теперь постоянным выражением сдержанной любезности — прежде, когда мы еще появлялись вместе на людях, она смотрела так на случайно встреченного неблизкого знакомого. Подвинув стул, чтобы не сидеть напротив меня, она устраивается за дальней узкой стороной стола. Немедленно появившийся Гена наливает ей кофе, подвигает молочник и бутерброды. Глядя перед собой, прищурившись, словно она хочет что-то рассмотреть на дальней стене, Нина глотает кофе и жует кусок сыра, снятый с хлеба. Минут через пять я оставляю ее за столом и поднимаюсь к себе — бриться, принимать душ и одеваться. У меня на это есть по меньшей мере полчаса, и можно не торопиться.

В зеркале над умывальной раковиной я поневоле рассматриваю то, что рассматривает каждый мужчина, пока трехлезвийный «жиллетт» понемногу сдвигает со щек густую и липкую синтетическую пену. Я вижу частую седину, от которой волосы на висках — собственно, только там они и остались — кажутся на таком расстоянии просто серыми. Я вижу повисшие по бокам подбородка мешки, как у старого Гинденбурга на серебряной монете — интересно, куда делись эти монеты и огромные разноцветные купюры, которых была полная коробка от леденцов, вся эта коллекция, которую собирал лет до десяти? — и вспоминаю, что называются такие мешки не то брылья, не то брыла. Я вижу не разглаживающуюся никогда вертикальную двойную морщину между бровями, ставшими густыми и длинными, как у полоумного генсека — Боже, нету этого генсека уже двадцать лет! Я вижу мелкие сосуди-

ки на носу и сильно шелушащуюся кожу в складках, идущих от ноздрей вниз до самых брыльев. И главное, что я вижу, — рассматривающие все это глаза, они выражают напряженное бессмысленное внимание, как глаза любого человека, глядящего в зеркало, но сквозь внимание проступает то, что я больше всего не хочу видеть: выражение обиды и презрения. Это выражение заставляет знакомых при встрече спрашивать, что у меня случилось. И что могу ответить я им? Что презираю себя, а обижен на жизнь, которая сделала меня тем, кто я есть, — пустым, лживым и бесчувственным стариком, а ведь совсем недавно я был молод, и тогда пустота и лживость еще не пугали, еще казалось, что можно жить с ними, но испытывать настоящие чувства, что пустота и жизнь совместимы, что можно любить, иметь друзей и пустота и ложь не поглотят их, но пустота и ложь, оказалось, поглощают все. Что могло заполнить пустоту? Ну, наверное, вера, но она пришла слишком поздно, поздно. Да и вера ли действительно — то, что пришло? Я не знаю. И как можно было избежать лжи? Я уже давно понял, что не правда противоположна лжи, а жестокость, потому что правда и есть жестокость и только жестокие люди могут не лгать никогда, потому что им не жалко тех, кому они говорят правду. Чтобы стать хирургом, надо иметь жестокость, без которой не воткнешь нож в живую плоть. А обычный человек прикладывает к больному месту теплое.

Я стою под душем, закрыв глаза, и единственное, чего мне хочется, — вернуться в кабинет, где не убрана постель с дивана, лечь на левый бок, почему-то вопреки всякой логике сердце меньше чувствуется, когда лежишь на левом боку, натянуть одеяло до самого верху, прикрыв углом затылок, скорчиться в позе эмбриона, которую, как я где-то недавно прочел, предпочитают люди, испытывающие страх перед миром, и лежать в полумгле, лежать, лежать... Вместо этого я долго досуха вытираюсь и иду одеваться.

Теперь, когда я могу купить любую одежду, какая понравится, приличия заставляют меня всегда носить белую рубашку с шелковым неярким галстуком и темный костюм из тонкой шерсти. В этой униформе есть своя прелесть, можно получать удовольствие от качества ткани и шитья, но мне уже давно наскучили эти мелкие радости. Я беру рубашку с широким твер-

дым воротником, лежащую сверху стопки привезенных вчера из прачечной, снимаю с плечиков один из трех сшитых прошлой осенью на Сэвил Роу костюмов, все три были готовы к концу недели, которую провел тогда в Лондоне. Вспоминать эту неделю не хочется, но уже не остановишься — я повязываю перед зеркалом в гардеробной один из купленных тогда же галстуков, светло-синий, в мелкий серебристый ромб, и терзаю себя, вспоминая унижение, которое вытерпел в комнате для переговоров принадлежащего арабам нелепо дорогого, огромного и отвратительного отеля недалеко от Белгрэвии...

Зачем на переговоры взяли Игоря, было непонятно, технический директор, занимающийся только производством, был совершенно не нужен на этой встрече. Теперь он сидел, далеко отодвинувшись от стола, толстый, нескладный, в дорогом итальянском костюме, который на нем выглядел дешевой тряпкой, и качался на задних гнутых ножках тяжелого стула — мебель в комнате была уродливая, стилизованная под старинную, но явно новая, и настоящая темно-красная кожа обивки на ней казалась искусственной.

Стул скрипел.

Рустэм, сидевший во главе стола, недовольно покосился на скрип и громко сказал: «Слушай, перестань! Не делаешь ни хера, так хоть веди себя прилично».

Сухое, словно нарисованное тонко отточенным карандашом, обтянутое чистой смуглой кожей лицо, безукоризненный гладкий вишневый галстук на светящейся голубоватой белизной рубашке, тончайшая синяя шерсть пиджака облегает плечи без единой складки, словно приклеенная, — кто бы подумал сейчас, что двенадцать лет назад этот весьма известный среди имеющих дело с русскими сырьевой экспортер был бухгалтером стройуправления и внештатным инструктором райкома комсомола, ходил в одном мятом сером костюме круглый год, галстук снимал через голову, не развязывая, а с Киреевым, опытным и уважаемым в маленьком сибирском городе инженером, говорил робко, тихим голосом советовался о перспективах посреднического кооператива.

Переводчик напрягся — переводить сказанное Рустэмом он, конечно, не стал, но голландцы, похоже, смысл и так поняли, во всяком случае самый молодой из них понял точно,

он в Москве бывал часто и подолгу и даже в гостинице сам объяснялся. Минуту стояла тишина, потом положение попытался исправить Ромка Эпштейн, начальник плановой службы, типичный ботаник на вид, которому модные круглые очки только придавали сходство с отличником-десятиклассником, — он быстро затрещал на своем безукоризненном английском о сроках и распределении объемов по месяцам, голландцы охотно включились. Киреев со стуком опустил стул на все четыре ножки и сидел молча, круглое лицо его пошло пятнами, длинный нос-клюв покраснел сильнее обычного.

Я наклонился к Рустэму и, понизив голос, но внятно, сказал то, что еще за минуту до этого и в мыслях не решился бы сказать. «Хам ты, Рустэм, — сказал я, — был ты комсомольским хамом, им и остался». Говоря это, я одновременно улыбался голландцам, как бы извиняясь, что каким-то деловым замечанием отвлекаю внимание президента компании.

Рустэм, надо отдать ему должное, лица не потерял. Продолжая слушать с выражением напряженного внимания разговор Ромки с партнерами, как бы ожидая перевода, он шевельнул углом рта, и я отчетливо расслышал его ответ. Ответ был достойный. «Пошел отсюда на хуй, дурак старый, — сказал Рустэм, — в Москве разберемся с тобой».

Я отодвинул стул, поклонился в пространство и вышел.

В пустом лобби я попросил трипл скотч но айс, выпил, к ужасу бармена, виски разом, сел в низкое бархатное кресло перед обширным столиком, сверкающим полированной столешницей светлого дерева, и закурил. Сердце дергалось и замирало, дышать было трудно, будто грудь сдавливала слишком тесная одежда. Я вытащил из кармана пиджака упаковочку какого-то очередного лекарства, названия которых уже не запоминались, и проглотил маленькую продолговатую таблетку, не запивая.

Минут через десять в лобби появился Игорь. Подойдя ко мне со своей дурацкой расплывчатой улыбочкой, он махнул рукой, показывая куда-то вверх и в сторону: «Перерыв там...»

Я с трудом, сильно опираясь на подлокотники, выбрался из кресла, потащил Киреева к бару, попросил уже два трой-

ных виски, чего бармен долго не мог понять, но наконец мы получили выпивку, хлопнули, и я повел Киреева смотреть Сэвил Роу. Вот тогда-то я и заказал у Хантсмэна три костюма и Киреева уговорил заказать хотя бы один, а потом мы вернулись в отель, забрали вещи и переехали в маленькую дешевую гостиничку возле Пэддингтонского вокзала, известную мне с первых приездов, и больше в Лондоне уже не виделись ни с Рустэмом, ни с Ромкой Эпштейном, только Валера Гулькевич, наш финансист, разыскал каким-то образом нашу ночлежку и пытался нас уговорить пойти к Рустэму и все уладить, но я сказал, что до Москвы разговаривать не буду...

Я заглядываю в комнату Нины. Она смотрит по телевизору утренний сериал, который смотрит всегда, он действительно лучше других, только я удивляюсь, как пожилой и нездоровый человек может спокойно целый час слушать бесконечные разговоры о болезнях и смертях. Мне, например, это было бы невыносимо. Я прощаюсь с Ниной до вечера, она не отвечает, и я опять не могу понять, то ли она не слышит из-за телевизионного гомона моего голоса, то ли не хочет отвечать. Потом я беру оставленный с вечера на лестничной площадке серебристый алюминиевый кейс, который постоянно таскаю с собой, хотя дома почти никогда не раскрываю, и спускаюсь — лаково выбритый, пахнущий «Эгоистом» от Шанель, хорошо одетый, с темно-синим тонким пальто через руку деловой человек. Наверное, никто не смог бы, глядя на этого господина, предположить, что внутри у него каша из растерянности и страха да еще отчаяние оттого, что теперь уже ничего не успеешь исправить.

Гена не открывает мне дверцы, хотя еще не сидит за рулем, а стоит рядом с машиной со своей, левой стороны. Он знает, что я не люблю, когда передо мной распахивают дверь машины и потом захлопывают ее, — я боюсь, что мне прихлопнут руку, потому что влезая с трудом, долго втягиваюсь в нутро, устраиваясь удобно. Умопившись наконец, я сам притягиваю дверцу.

Тонкий слой нападавшего за ночь — возможно, последнего этой зимой — снега покрывает весь двор, молодая яблоня возле подъезда торчит из него сиротливо, как шея подростка

из слишком широкого воротника. Асфальт аллеи, обсаженной низкими елками, уже расчищен, мой сильно не новый «шестисотый» тяжело шуршит, на минуту останавливается перед воротами, Гена возится с пультом, ворота едут в сторону, выехав, мы притормаживаем, снова короткая возня с пультом, ворота закрываются, и через пять минут мы уже выбираемся на Рублевку и несемся к городу в потоке таких же «мерседесов» и «ауди», которыми вечно забита эта узкая дорога богатых. Может быть, кто-то из них, стоя по вечерам в здешних пробках, тоже вспоминает, что скорее верблюд пройдет в игольное ушко, чем богатый в Царствие Небесное, — во всяком случае, я вспоминаю об этом всегда и усмехаюсь, участвуя в этих постоянных репетициях просачивания.

И добро бы рай ждал нас в конце пути — но мы протискиваемся в ад.

Я прислушиваюсь к дергающемуся и замирающему сердцу, дремлю, слушаю быстрый, скользящий рояль Питерсона, постепенно сердце успокаивается, я засыпаю крепко, мне даже снится что-то неуволимо приятное, потом я просыпаюсь и вижу, что мы уже разворачиваемся у Никитских ворот и протискиваемся по узкому переулку к стеклянному кубу главного входа конторы.

Охранник почтительно, с именем-отчеством, здороваётся. Бездумно разглядывая свое отражение в темном зеркале, я поднимаюсь лифтом на последний этаж, иду по пустому тихому коридору, разминая чрезмерно широкими шагами затекшие в машине ноги. В кабинете проветрено, но запах вчерашнего табачного дыма не исчез. Я бросаю пальто на диван — потом придет секретарша и повесит в шкаф, сажусь за стол, вытаскиваю из кейса бумаги, а кейс ставлю на пол рядом с креслом, запускаю компьютер... В это время, когда я работаю в пустом здании, даже сердце мне обычно не докучает, оно вообще оставляет меня в покое, стоит на чем-нибудь по-настоящему сосредоточиться. Но сегодня оно продолжает дергаться, и через несколько минут я закуриваю, откидываюсь на спинку кресла, закрываю глаза — работать в таком состоянии все равно невозможно — и пытаюсь вспомнить, с чего же началась нынешняя беспросветная жизнь.

Глава вторая. День до обеда

Все изменилось, когда наконец защитил докторскую.

Теперь, вспоминая последнее двадцатилетие, понимаю, что именно то время стало переломом в судьбе, а начавшееся спустя лет семь-восемь — бешеные метания; решения, принявшиеся как бы в полубреду и оказавшиеся потом единственно верными; прощание без сожалений с профессией; рухнувшие, пролившиеся будто с неба деньги; мир, оказавшийся маленьким, когда он стал доступен; улицы чужих городов, о которых когда-то и не мечтал, будто их и не существует в реальности, исхоженные за несколько месяцев первых, жадных поездок вдоль и поперек; гостиницы, машины, вещи, вещи, вещи; потеря представлений о том, что осуществлению бытовых желаний могут быть непреодолимые препятствия, — это было уже только продолжением новой веселой жизни, которая пошла после банкета в «Праге», после прихода корочек из ВАКа, после того, как получил лабораторию и профессорство в университете.

Тогда я не задумывался, а теперь вполне отдаю себе отчет в том, что никогда по-настоящему наукой не занимался, хотя упорно лез вверх: защищал экстерном после армии диплом, высиживал кандидатскую, пробивал докторскую... Но все это было просто наиболее приемлемым — безопасным и даже уважаемым — способом добывания денег, единственной доступной мне карьерой. В обычные партийно-советские начальники никогда не пытался пробиться, даже не задумывался об этом, чувствуя, что скрыть отвращение не смогу. Да никто меня с моей не слишком безупречной советской биографией в комсорги, а потом в парторги не пустил бы, меня и в партию не спешили приглашать, а когда наконец пришла на институт разнарядка и ее решили отдать мне, уже доктору и завлабу, времена наступили вольные настолько, что я спокойно позволил себе отказаться.

Впрочем, и вокруг меня было много таких же ученых «от некуда деться», нашедших в институте приличное убежище от тогдашней жизни, а в академических зарплатах и надбавках — источник сравнительно безбедного и не вступавшего в конфликт с советскими законами существования. Потом мы

ушли в бизнес, кое-кто в политику, а хоть чего-нибудь действительно стоящие специалисты разъехались по американским и немецким университетам или, оставшись в институте, получили иностранные гранты, приличные заказы на исследования для новых русских корпораций. Конечно, нашлись и такие — их было сравнительно немного, но они оказались на виду, иногда давали телевизионные интервью про гибель отечественной науки, — кто нищенствовал. Некоторые из них быстро спивались дешевой, даже им доступной водкой. Попали в их число и действительно талантливые, но слабодушные ребята, не умевшие управлять своей жизнью без профкомовского и парткомовского надзора, и такие, как я, равнодушные карьеристы, но — без моей закалки ранним сиротством, фарцовкой, армией — растерявшиеся...

Но тогда, только защитив докторскую, только пробившись в институтскую элиту, я свое существование не анализировал, а просто наслаждался им. Быстро сделались привычными приглашения на конференции — ну, не в Нью-Йорк, конечно, и не в Стокгольм, так в Тбилиси, Софию, Варшаву. Стало много легче с деньгами, во всяком случае через два года, когда Ленька затеял жениться, мы с Ниной смогли дать ему на взнос за однокомнатную, которую без всякой очереди устроил отец Иры, работавший тогда в райисполкоме. Потом, когда мы с Игорем и Белым регистрировали наш «Топос», что означало «торгово-посреднический кооператив», мой сват, работавший уже в горкоме, тоже помог... А 22 августа, когда все ликовали, как безумные, он умер от обширного, сразу разодравшего сердце в клочья инфаркта. Сидел перед телевизором, морщился от трехцветных знамен, вдруг покачнулся, выпал из кресла, перевернулся на спину, заскреб задниками домашних тапок, смятая ковер...

Ее звали Леной, выглядела она тихой девочкой из хорошей ученой семьи — собственно, во всех отношениях, кроме одного, и была ею. Поначалу, когда она ради прибавки в двадцатку по сравнению с университетом, где работала до этого в НИСе, пришла мэнээсом с еще не защищенной кандидатской в мою лабораторию, я не обратил на нее никакого внимания. И все обошлось бы, не будь одного похмельного ноябрьского утра...

Я вернулся из Ленинграда, куда ездил оппонировать старому приятелю. После защиты крепко выпили, он накрыл стол в еще доступной тогда доцентам и профессорам «Европейке», я еле успел на «Стрелу», в вагоне встретил знакомых, просидели всю ночь, а прямо с вокзала поехал в институт, намереваясь до начала работы обязательно опохмелиться — в нижнем ящике левой тумбы стола давно уже каталась бутылка хорошего армянского, привезенного одним соискателем рецензии из самого Еревана.

Неверные мои шаги отдавались эхом от обшарпанных, некогда покрашенных зеленой масляной краской поверх лепных панелей стен институтского коридора, эхо металось в темноте под высокими сводами. Я открыл кабинет тысячу раз погнутым и выправленным ключом, взятым на вахте у сонной, но чутко шевельнувшей носом тетки, швырнул сумку под рогатую вешалку в углу, на одном роге которой второй сезон болтался чей-то забытый шарф, повесил на соседний рог плащ, сел за стол, согнулся в три погибели, отъехав вместе с креслом, нащупал в нижнем ящике бутылку, вытащил ее, взял, не глядя, с подоконника позади себя стакан с желтым, не отмытым кругом чуть ниже края, оставшимся от предыдущей одинокой — а может, и в компании с коллегами — выпивки, стащил с горлышка бутылки «бескозырку», которой тогда закрывались даже самые лучшие отечественные напитки, налил в стакан, поставленный прямо на графики к квартальному отчету лаборатории, лечебного напитка почти до половины и собрался с душевным усилием проглотить коньяк... Но рука моя повисла в воздухе: я почувствовал, что в соседней комнате, где стояло пять столов большей части сотрудников лаборатории — остальные трое были разбросаны по закуткам на разных этажах, — кто-то есть.

Выпивать с утра на работе было не только весьма предосудительно, но и небезопасно даже для завлаба и гордости института, до последней борьбы с пьянством еще оставалось много лет, но бесперспективные пятидесятилетние кандидаты и пенсионного возраста младшие научные сотрудники из профкома подняли бы и тогда большую волну. А беспартийный, полуеврей, да еще и пьяница, заведующий важной лабораторией, — этого общественность не потерпела бы. Поэтому

му я поставил бутылку под стол, за тумбу, налитый стакан осторожно отправил в ящик и пошел посмотреть, кто это за полчаса до начала рабочего дня уже двигает науку.

Она стояла у окна, скрестив руки на груди и обхватив себя за плечи под тонким свитерком, прижавшись лбом к стеклу. За окном была осенняя серость, шел мелкий дождь, часть окна перекрывала крайняя колонна главного институтского входа, открывавшегося только в дни предпраздничных собраний да гражданских панихид — академики помирали регулярно.

Когда я вошел, она, не обернувшись, поздоровалась, назвав меня по имени-отчеству.

— Как догадались, Леночка? — Я сразу принял обычный отцовский тон, которым разговаривал с юными младшими научными и аспирантками, так было удобней, поскольку такой тон позволял избегать официальности и в то же время в значительной степени исключал лирику. — И что это вам не спится? В вашем возрасте утренней бессонницы еще не бывает...

Она обернулась и посмотрела мне прямо в лицо, и в ту же секунду я понял, чем все кончится, то есть, вернее, что в самое ближайшее время начнется. Ничего особенного не было в ее взгляде, обычный внимательный взгляд хорошей студентки, стремящейся понять лекцию, но потом, когда я уже узнал, что этот взгляд выражает на самом деле, я стал думать, что в то ноябрьское утро не я сделал выбор.

— Я не догадалась, Михаил Леонидович, а видела, как вы на такси подъехали. — Отвечая, она одновременно пробиралась поближе ко мне между столами и шкафами, делящими комнату на индивидуальные закоулки, и остановилась в шаге от меня. — А прихожу я всегда рано, потому что отвожу дочку в математическую школу, это тут рядом, а потом деваться некуда...

И ничего нельзя уже было изменить, и я почувствовал это уже тогда, но не предположил, конечно, как далеко все пойдет, и браво, как подобает старому гусару, решившему тряхнуть стариной, предложил ей выпить со мною в такое неподобающее время, а она неожиданно — для меня неожиданно — легко согласилась, и мы долго искали второй стакан, потом она взяла свою чайную, чисто вымытую чашку, и мы пошли в мой

кабинет и выпили, а днем я вызвал ее к себе в кабинет, и уже повел себя, как настоящий тайный друг — закрыв дверь, позвал ее обедать, и мы, вроде бы случайно объединившись в коридоре, пошли вместе в институтскую столовую и сели за один стол, и пронизательные наши сотрудники к нам уже в тот день не подсаживались...

Сейчас, вспоминая наши первые месяцы, я пытаюсь понять, что нас связало сразу и надолго.

Третью жизни прошла с того времени, когда мы, забыв всякую осторожность, не расставались целыми днями. Она часами просиживала у меня в кабинете и даже несколько раз ездила со мною на лекции в университет, садилась в последнем ряду, надеясь сойти за студентку другого факультета, которые действительно иногда приходили послушать сравнительно молодого и модного профессора, но надежда ее, конечно, была наивной — все, кто интересовался, уже знали. И каждый вечер я провожал ее почти до самого дома, сначала ездили в метро, время от времени натыкаясь на знакомых, и, замечая их всегда слишком поздно, глупо притворялись случайно оказавшимися в одном вагоне, потом у меня появилась первая машина, нищая «шестерка», я останавливался за квартал от ее пятиэтажки, оглядывался, мы долго целовались в сумерках, наконец она выскальзывала и бежала к своему подъезду — обычная работающая женщина, бедно, но старательно одетая, с сумками добытых днем продуктов в обеих руках.

Раз или два в неделю среди дня, выйдя порознь из института, мы ехали через полгорода в коммуналку на Ордынке, в комнату, которую уже считали своей.

Принадлежала она Женьке, получившему ее каким-то невероятным путем вскоре после того, как женился, сначала уехал к жене в Ленинград, но потом вернулся, и его отец устроил им эту комнату, а потом Женька очень скоро развелся, поэтесса его уехала к себе в Питер, а он снова поселился в родительской квартире, и комната стояла запертая, Женька время от времени водил туда своих часто менявшихся дам, потом он уехал в Канаду, опять устроил отец перед самым своим выходом на пенсию, а когда Женька вернулся, родители его уже безвыездно жили на даче, там отец и умер, мать

стала жить с Женькой, и он забросил своих баб и лучше любой сиделки ухаживал за матерью, она совсем потеряла память, Женьку не узнавала, и в таком состоянии на два года пережила отца, а после ее смерти Женька снова стал водить подруг в большую квартиру с разваливающейся шикарной мебелью и почерневшим паркетом, а комната так и стояла запертая.

Женька охотно дал ключи, он никогда не стоял на Нининой стороне, еще в молодости, когда была у меня история с Таней, он, казалось, даже одобрял меня. И сейчас по первому моему звонку приехал в институт на своей старой, но еще шикарной белой «Волге» — экспортный вариант, куплена после пяти лет заведования хозяйством посольства в Канаде — и, не спрашивая подробностей, буркнув «поздравляю, старик, не сдаешься», сунул связку на ржавом кольце.

Внутри все покрылось пылью, пыль плясала под солнечным лучом в затхлом воздухе и поднималась облаком при попытке сесть в продавленное кресло на раскоряченных тонких ножках или на еще более продавленный, расплзшийся диван. Я хотел договориться об уборке со старухой соседкой, неожиданно оказавшейся абсолютно доброжелательной к нам, очевидно попирающим советскую мораль, но Лена за час или два все убрала сама, даже умудрилась вытянуть антикварным пылесосом «Ракета» пыль из руин мебели. И мы впервые остались вдвоем в закрытом помещении, куда никто не мог войти.

Двадцать лет назад это было, и теперь я хочу понять, что же, кроме обычной постельной жажды первых месяцев, тогда соединило нас. Что заставляло бесконечно продлевать свидание, часами ходить по глухим переулкам, непрерывно разговаривая, рассказывая обо всем, что было прежде в наших жизнях, перебивая друг друга, вспоминая самые мелкие и постыдные, никогда ни с кем не вспомилавшиеся детали, и бывало, что, находившись так, мы возвращались в нашу комнату, и все начиналось сначала — внимательный ее взгляд, истязания, муки, попытки слиться неразъединимо... Иногда я, рывком сбросив свое тело с нее, плакал навзрыд, вжимая лицо в стиб руки, чтобы не было слышно соседке...

Страсть, любовь — это простые и, наверное, вполне исчерпывающие объяснения, но их почему-то мало, когда

вспоминаешь то, что было. Было ощущение встречи, вот что. Будто когда-то, в ранней молодости или еще в детстве, мы назначили свидание, но не вышло, помешали случайности — ну, например, то, что она была на пятнадцать лет моложе меня, что, когда она пошла в первый класс, я уже был женат, — и вот нечаянно столкнулись, и теперь будто не знакомимся заново, а просто рассказываем, что случилось, пока мы не виделись. Это, наверное, и называется браком, заключенным на небесах, только не было брака. А тот, который был, он-то никакого отношения к небесам не имел, он-то возник уж точно на земле, из детского вожделения, но укрепился привычкой, стал тканью жизни, самой жизнью, и я — странно, но все как-то совмещалось, любовь тогда еще не мешала жизни — даже и не думал разводиться с Ниной. Правда, и Лена ни одной минуты, по-моему, не думала о разводе со своим мужем, ее ровесником, весьма перспективным биологом. Наши семьи как-то оставались в стороне, они не мешали нам, как не мешают двадцатилетним, одержимым своими чувствами, существующие где-то в стороне и даже любимые родители.

Впрочем, мы пытались конспирироваться...

Так продолжалось пять лет. Вероятно, если бы мы прожили эти пять лет под одной крышей, разница характеров и постепенно возникающее раздражение бытом сделали бы наши отношения обычным супружеством, но у нас не хватило на это времени, потому что мы постоянно разлучались — на ночь, на выходные, на отпуск. И каждый день новая встреча отбрасывала прочь всякую ерунду, хотя, если бы все протянулось еще дольше, возможно, мы бы начали замечать несовпадения, и роман кончился бы сам собой. Она умела радоваться, обожала своих многочисленных подруг, рвалась на всякие выставки и концерты, готова была мчаться на любое развлечение — слова «тусовка» тогда еще не было — и никогда не уставала, я же, быстро пережив всякого общения, ставшего в то время, после защиты докторской, почти непрерывным, банкетов, встреч, поездок, понемногу сделался угрюмым, бывать на людях разлюбил. Если честно, последнему имелась и еще одна причина — она, по своему легкому и даже несколько легкомысленному складу, гораздо меньше боялась огласки, я же

очень остерегался того, что слухи дойдут до жены, хорошо помнил, какой ужас когда-то начался из-за Тани... Но, так или иначе, времени устать друг от друга у нас не было, и мы снова и снова неслись на встречи и не могли намотаться, наговориться, намолчаться вместе, нацеловаться, належаться в постели, в горячем и быстро высыхающем после любви поту.

Банальнейшая, в сущности, история, внушаю я себе теперь, и чего искать какие-то особые объяснения? Был служебный роман, заурядный адюльтер, каких полно было, есть и будет, а что кончился он жутковато, так знаю ли я, чем кончаются другие, — вон, четыре этажа конторы подо мною, и на каждом наверняка кипят страсти, ломаются судьбы, а ведь жизнь теперь другая и времени у этих ребят на лирику куда меньше, работать приходится всерьез, нет у них академических библиотечных дней, в которые мы долго ехали троллейбусом до Серебряного Бора и там, в безлюдстве вторника или четверга, давали себе безрассудную волю... И знаю ли, какие горести и обиды скрыты в домах за заборами, что сплошной стеной тянутся по обочинам дороги, ведущей к моему, наполненному несчастьем дому? Мне-то кажется, что в этих домах живут люди, не способные терзаться и терзать других из-за такой мелочи, как любовь, работа и деньги вытеснили из них все остальное, но, возможно, и они как раз в это время мучаются воспоминаниями и, глядя на проносящуюся мимо, вслед за столбами дальнего света фар, черную тень «мерседеса», завидуют сидящему внутри человеку, давно забывшему, как им представляется, все страсти, кроме жадности и властолюбия.

И все-таки к тому времени, когда случилось то, что не могло не случиться, наши отношения с Леной уже начали не то чтобы портиться, но иногда слегка омрачаться.

Однажды она отпросилась — мы, конечно, сохраняли видимость дистанции между подчиненной и начальником — и ушла с работы пораньше. А часа через полтора совсем в другом районе, куда занесло меня случайно, уж не помню, зачем, я увидел ее переходящей дорогу, она держала под руку молодого мужчину неприметной внешности и, заглядывая сбоку ему в лицо, о чем-то оживленно рассказывала и смеялась. Именно по неприметной внешности я определил в ее спутнике мужа — она его описывала почти красавцем, но как

раз такого типа. Ничего особенного во всем этом не было, видимо, случились у них какие-то срочные семейные дела, потом она говорила, что вместе ходили на важное родительское собрание, но на следующий день я не мог заставить себя посмотреть ей в глаза, я все время вспоминал, как она заглядывала сбоку в лицо мужа и смеялась точно так же, как со мной... Да и не могло быть никакого родительского собрания в том районе, ведь дочь ее ходила в школу рядом с нашим институтом.

И еще был неприятный случай, когда уже она серьезно обиделась на меня, причем справедливо. В лаборатории отмечали ее день рождения, сидели, как обычно, при запертой двери, выпивали, анекдоты рассказывали. На правах начальника я вел стол, поднимал тосты, даже, пользуясь тем, что все продолжали делать вид, будто ничего не знают — или, наоборот, будто давно и с одобрением приняли ситуацию, — поцеловал ее в щеку, поздравляя. В сумке у нее уже лежал мой подарок, кажется, часики, что еще я мог тогда себе позволить... Да еще ей предстояло этот подарок через какое-то время легализовать дома, сказав, что купила из внеплановой премии... Среди веселья с предварительным звонком, чтобы открыли дверь, явился мой коллега, тоже завлаб и профессор, с которым у меня в последнее время завелись кое-какие общие деловые интересы, намечалось там кое-что по линии ученого совета. Малый он был компанейский, притащил цветы и под полкой пиджака бутылку, быстро перевел на себя общее внимание, и я, как-то не заметив этого, стал вести при нем как бы второй голос, подыгрывать, громко смеяться его шуткам. Потом мы увлеклись уже серьезным разговором, отсели вдвоем в угол, народ стал понемногу расходиться, и в какой-то момент я увидел ее — она стояла у двери с охапкой букетов в руках и ожидающе глядела на меня. Еще утром мы с нею договорились встретиться после общей пьянки возле метро, посидеть полчаса в кафе, отметить вдвоем... Но сейчас прерывать важный разговор было неудобно, и я, секунду помявшись, махнул ей прощально рукой и даже сказал что-то вроде «ну, еще раз с днем рождения, до завтра». Назавтра она не пришла, позвонив моему заму и сказавшись нездоровой «после вчерашних излишеств». Я звонил ей целый день, но она молча выслуши-

вала извинения и клала трубку. Мы помирились — я не уверен, что она меня простила, но, видно, еще не могла тогда порвать — почти через месяц.

А еще примерно через полгода все кончилось сразу — и любовь, нечаянно залетевшая в мою жизнь, и семья, которую эта любовь взорвала, погибнув сама, и, собственно, вся жизнь, оставившая от себя лишь плоскую свою тень — дело, деньги, союзники и враги, пустая игра взрослых мужчин...

Я открываю глаза и вижу, что пепельница полна окурков, по экрану монитора ползут цветные змеи, а в кресле через стол от меня сидит Киреев.

— Как это ты умудряешься во сне курить? — спрашивает он. — Сгоришь так когда-нибудь.

— Похоже, Игорь Иванович, что мы с тобою оба сгорим, и очень скоро. — Я снова закуриваю, хотя во рту уже невыносимо противно, и знаком прошу Игоря закрыть дверь на ключ, потом достаю из винного отделения стенового шкафа початую бутылку любимого «Гленфиддик» и два толстодонных стакана, наливаю ему и себе. Льда нет, но просить секретаршу принести не хочется, уже давно не борется страна с пьянством, а нам с Киреевым приходится пить тайком, чтобы не радовать врагов нашим алкоголизмом. У врагов и без того есть основания радоваться...

— Новости есть? — Игорь морщится, я так и не приучил его пить хороший виски без льда. — Узнал что-нибудь?

Он ходит по конторе без пиджака, вот и сейчас ко мне зашел в перетянутой по жирным плечам подтяжками рубашке, галстук распушен, ворот расстегнут и уже измят. Пиджак он снимает с самого утра и вешает на спинку стула в кабинете, в рубашке приходит и на совещания к Рустэму, вызывая косые взгляды. Вольности внешнего вида у нас в конторе вообще не одобряются, а если и терпят, то не такие стариковские. Ромка Эпштейн, например, ходит с модной среди артистической молодежи трехдневной щетиной, которая никак не пристала молодому серьезному финансисту-очкарику, но это вполне терпит и даже, кажется, молчаливо одобряет Рустэм. Наша несравненная директор по маркетингу Верочка Алексеева — какая уж Верочка, когда к полтиннику идет, но только Верочка для всех! — является на переговоры в блядского или поло-

умного вида платьях, зато самых дорогих брэндов, и это принимается прямо-таки с восторгом, как же, самая стильная деловая дама в Москве. Валера Гулькевич носит джинсы к пиджаку с галстуком — и ничего, это модно среди яппи... А на Игоря Рустэм смотрит с нескрываемой безгловостью — как еще можно смотреть на жирного нескладного старика? И даже мои старания, как мне иногда кажется, вызывают еле заметную ироническую усмешку: пыжится дед, костюмчики в Лондоне шьет, платочки шелковые в кармашек нагрудный запихивает, а все равно старпер и есть старпер...

— Новости, Игорек, старые. — Я наливаю себе еще, выпиваю, уже не растягивая глотки, залпом, как водку, тяжело, с хрипом выдыхаю. — Подходил вчера ко мне наш вундеркинд, Рома Эпштейн. По-дружески интересовался ни мало ни много знаешь, чем? Не собираюсь ли я уйти из дела, продать свои акции, понял? Выдавить они нас хотят, Игорь, выдавить, лишние мы здесь теперь... Ромка говорит: вы, Михаил Леонидович, только никому не рассказывайте о нашем разговоре, потому что я поступаю вопреки корпоративным интересам, но просто хочется вам помочь по-дружески, вот я и берусь свести вас с человеком, он совершенно со стороны, просто мой приятель, он охотно ваш пакет купит, а конторе от этого ничего плохого не будет, потому что он готов все акции тут же отдать в управление, а провести через совет директоров я берусь... Ну, я, конечно, как старый дурак, прямо спросил: а кому в управление, Рома, вам? Он смеется: ну, вы, Михаил Леонидович, во всем интригу видите... А хоть бы и мне? Ну, не все ли вам равно, если вы свою десятку получите, вложите в какие-нибудь стоящие активы в Европе и горя знать не будете...

— Значит, тебе десять предлагают? Хорошие деньги... — Игорь вздохнул, криво усмехнулся. — А мне сегодня с утра пораньше тот же Ромка только четыре давал... Причем напрямую, от себя. Ну, у меня, конечно, и пакет поменьше, но не настолько... Ну, и чего делать будем?

Киреев начинает раздражать и меня, его кривые улыбочки, красный нос, мятая рубаха так и приглашают: пните меня, старого мудака, люди добрые, а не пнете, я и сам упаду.

— Чего делать? Чего делать?! — Я кричу на него шепотом.

том, потому что в маленьком предбанничке, где сидит секретарша, все слышно, перегородки в нашем столетнем доме поставлены современные, а секретарша моя Екатерина Викторовна — я называю ее по имени-отчеству, так спокойней — осталась с прежних времен, когда она работала в общей нашей с Рустэмом приемной, одна на двоих вице-президентов, а потом он стал президентом, и она постоянно бегаёт к его помощнице доносить о каждом моем слове. — Чего делать? Да ты что, с ума сошел, сам не понимаешь, что делать? Они хотят нас из дела выкинуть за гроши, а ты размышляешь? Мой пакет не десять стоит, а минимум тринадцать, твой — восемь. И хер им, а не акции, понял? Я добром не уйду...

Игорь молча смотрит на меня минуты две, потом берет из моей пачки сигарету, закуривает, неумело выпускает дым — он бросил уже лет десять назад.

— Значит, добром не уйдешь, — задумчиво повторяет он. — Ну, мне сказать или ты сам понимаешь? Не понимаешь? Тогда я скажу. Ты добром действительно не уйдешь, ты все сделаешь, чтобы уйти, как Женька ушел? Да?! И меня призываете за вами туда?!

Игорь бешено шипит, тыкая дымящейся сигаретой вверх, в потолок.

— Так хер не им, а тебе, понял? — Он давит окурок в пепельнице, машинально облизывает выпачканный пеплом палец. — Я в твои игры играть не буду, у меня другие планы, понял? Я лучше в Боткинской от инфаркта...

Он идет к двери, отпирает ее, задерживается на секунду и заканчивает разговор почти шепотом:

— Вот ты тогда, в Лондоне, вступился за меня. — Игорь кланяется. — Спасибо, барин! Ну, как же, Рустэм потом принес нам свои извинения, гордость восторжествовала... А на самом деле, как считал он нас обоих старыми мудаками, так и считает, а за извинения вынужденные только зло дополнительное затаил. Просил я тебя вступаться? Дурак ты, Мишка, действительно дурак...

Киреев уходит, я остаюсь один и сразу наливаю себе уже почти полный стакан.

Наверное, он прав. Только я не хочу сейчас думать об этом. Думаю я о Нине, о том, как она будет молчать сегодня за

ужином, как потом уйдет в свою комнату, включит телевизор на полную громкость, и я, проходя к себе, загляну в ее всегда приоткрытую дверь — она не любит закрытых дверей — и увижу согбенную, уже почти старческую спину, глубоко ушедшую в кресло, седые, просвеченные излучением экрана волосы, и мне станет стыдно за все — за ее изуродованную жизнь, и за любовь, от которой я отказался, и за прошлое, которое погубил, не создав будущего, и за неприличную, суетливую старость, наступившую сразу после глупой, бессмысленной молодости.

И еще все-таки я думаю о том, что мне осталось только одно: держаться, не сдаваясь, до самой смерти. Пусть я буду пошлым и смешным, пусть меня считают упрямым и тупым, пусть меня убьют — пластид, цирроз, пуля, тромб, лобовое столкновение, сердечная недостаточность — и пусть потом торжествуют убийцы, но я не сдамся. Я не могу сдаться. Я не умею сдаваться. Я survivor, по-русски нет нормального подходящего слова. «Выживленец», вот как надо перевести, но это звучит нелепо. Нелепо, зато точно — я всю жизнь потратил на то, чтобы выжить, и выжил, и теперь мне поздно менять принципы. Я выживал, и не сдавался, и выкручивался, и я выживу, и не сдамся, и выкручусь, и хрен вам всем. Меня советская власть не одолела, наоборот, я ее обхитрил и устроился при ней, выжил и пережил ее, так неужели вы, недоноски, пузыри, надувшиеся в вакууме новой жизни, одолеете?! Как бы не так...

Только стыд сильнее меня. Но я еще надеюсь договориться с ним.

Глава третья. Хороший вечер

Вымотанный до тошноты, просидевший часов семь на совещаниях, в половине из которых не было нужды, обкурившийся и непрерывно кашляющий, выпивший в течение дня не меньше бутылки, но отвратительно трезвый, я решил захватить к Леньке. Не виделась уже по меньшей мере месяц, да и просто захотелось посидеть в покое до того, как вернуться домой.

Машина протискивается в вечных пробках по бульварам, Гена объезжает особенно безнадежные заторы по мало кому известным сквозным дворам, едет под «кирпичи» и по тротуарам. Пешком от моей конторы до дома, где живет мой сын, идти минут двадцать, едем мы больше получаса, но делать нечего — мне уже давно не под силу ходить пешком по грязным, в ледяных наростах улицам: покрываюсь потом, в груди болит, ноги слабеют... А когда-то, кажется, еще совсем недавно, я мог целый день бродить по городу, километров по пятнадцать делал, а то и двадцать. Цели никакой не было, зато были силы, а теперь в любом моем передвижении всегда есть цель, зато силы кончились — все ушли на достижение этих целей...

Ленька с женой Ирой живут в нашей старой квартире на 2-й Тверской-Ямской, но и квартиру, и весь дом уже не узнать. Белеют рамы стеклопакетов в окнах, подъезд нынешние жильцы отремонтировали в складчину, и теперь он красивей, наверное, чем был до войны, когда дом построили. Место завидное, метр жилой площади стоит здесь как минимум тысячи полторы, поэтому все жильцы в доме сменились, куда-то подевались их дети, мои ровесники, — наверное, уехали на окраины, получив хорошие доплаты при обмене. В семейном жилье остались только мой Ленька, к которому даже и не подходили с предложениями меняться, было понятно, что парень обеспеченный, да Бирюза Сафидуллина, единственная живая из сафидуллинских детей, — полуподвальная дворницкая квартира могла бы подойти под какой-нибудь офис, но старший сын Бирюзы работает дворником, и хорошего дворника новые жильцы в обиду не дали. Вот и получилось, что на моей жизни уже второй Ахмед Сафидуллин метет двор за этим домом. Все сломалось и исчезло — страна, город, жизнь, — и только Ахмед Сафидуллин с метлой летом и деревянной лопатой зимой остался, и останется, видно, навеки, потому что у младшей дочери Бирюзы уже есть годовалый сын Ахмед...

В дядипетинной квартире все теперь по-другому, во время последнего ремонта Ленька сделал перепланировку, долго пробивал разрешение в каких-то районных инстанциях, носил деньги... И теперь я никак не могу вспомнить, где была дверь

из прихожей в большую комнату, где стоял шкаф с оставшимися от дяди Пети вещами, где кончался коридор и начиналась кухня, — память оскальзывается на том, что я вижу вокруг. Прямо от стальной, облицованной под светлый орех двери начинается огромное пустое пространство, в одном углу которого как бы кухня со столовой, в другом как бы гостиная с гигантским угловым диваном, обтянутым кремовой кожей, со стойкой какой-то не совсем понятной мне электроники, над которой возвышается широкий плоский экран телевизора, совершенно излишне большой, на мой взгляд, а вокруг множество мелких стульчиков и табуреточек, тоже обтянутых кремовой кожей. Пол голый, без ковра, в кухонном углу он выложен голубой плиткой, а остальная поверхность светится зеркальным буковым паркетом. Собственно, почти вся квартира превращена в эту беспредельную комнату, только в дальнем ее углу есть дверь в совсем небольшую спальню, где нет мебели — только широкая кровать, сплошная зеркальная стена, за которой устроен гардероб, да подвешенный под самый потолок еще один телевизор.

То, во что мой сын превратил квартиру, в которой прошла большая часть моей и едва ли не вся его — с перерывом на несколько лет, когда они, только поженившись, поселились в однокомнатной кооперативной в Дегунине — жизнь, похоже на отличный гостиничный номер. Голые, изумительно ровные белые стены, только одна большая, тоже гостиничного типа, абстрактная картина, удовлетворяющая всем требованиям для четырех, пожалуй, звезд, ванная, объединенная после трудоемкого разрушения стены с уборной. Все вполне симпатично, только нет больше дядипетиной квартиры.

Впрочем, я не расстраиваюсь из-за этого. Я уже давно вообще не расстраиваюсь из-за того, что бесследно исчезают следы моего существования, меняют облик места, где когда-то часто бывал, сносятся дома, реставрируются до полной неузнаваемости целые кварталы, а то, к чему успел привыкнуть уже в новой жизни, непрерывно меняется тоже, плывет, скользит, на месте магазина открывается ресторан, на месте ресторана вырастает офисный центр... Я думаю, что так и должно быть: сначала жизнь стирает фон твоего существования, потом сотрет тебя самого. Из нового мира, к которому

не успел привыкнуть, уходить легче. И главной удачей в судьбе я считаю то, что дожил до перемен и пережил их, — я уже не успею ощутить настоящим, реальным этот мир, а с декорациями, в которых я играю все еще непривычную роль, попрощаюсь с легкой душой: спектакль окончен, пора разгримировываться.

Мы сидим за длинной доской кухонного стола-бара. Ира заставила всю полированную поверхность скучными тарелками, купленными наверняка в шведском магазине-сарая. Впрочем, каким же тарелкам тут быть — старую посуду я увез в свой дом. На тарелках деликатесы из какого-нибудь супермаркета, где теперь все молодые и богатые вроде Леньки покупают еду по пятницам. Надо отдать должное: невестка постаралась, за два часа, прошедшие с моего звонка, которым я предупредил о приезде, куплено все, что я успел полюбить в последние годы, даже улитки по-бургундски, приготовленные с чесночным маслом и запаянные в фольгу, уже разогреты в микроволновой печи.

Сын ставит на стол бутылку недорогого, но приличного «Грантс» для меня и бутылку тоже недорогого, но настоящего бордо для себя и жены. Мы пьем, едим, я расспрашиваю его о делах, невестка интересуется здоровьем Нины Николаевны и моим...

У Леньки уже давно свой устойчивый бизнес — он бросил аспирантуру в МАИ и открыл кооператив по ремонту бытовой электроники едва ли не в тот же месяц, когда ушел из своего института в кооператоры я, когда мы с Киреевым и Женькой еще не понимали, что, собственно, будем делать. Теперь он занимается русской сборкой компьютеров или чем-то в этом роде, владеет десятком мастерских в области. У него есть и служащие — бухгалтерия, маркетинг, все, что полагается, они сидят в маленьком одноэтажном домике где-то в районе Рогожки, но нет совладельцев. У него и друзей нет, да и, насколько я помню, никогда не было, с детсадовских времен, и никогда он этим не тяготился. В детстве он больше всего любил в полном одиночестве возиться с радиодетальями, вечно что-то паял, роняя мелкие капли олова на старейший дядипетин стол, который стоял, кажется, там, где сейчас высокая узкая этажерка с компакт-дисками. Когда я подходил к нему,

он клал паяльник на подставку, поднимал лицо и молча смотрел мне прямо в глаза.

Лицом сын похож на Нину и по необъяснимой причине на ее отчима, каким я помню тестя, когда тот еще был молодым офицером, едва ли не самым высоким мужчиной в нашей Заячьей Пади, и ходил в шинели с широкими прямыми плечами, над которыми погоны торчали крылышками... Ира, неработающая молодая женщина, выглядит прекрасно, как выглядят все такие же неработающие молодые женщины, которых я рассматриваю, когда они останавливаются рядом с моим черным бегемотом на перекрестке: гладкое миловидное лицо за стеклом яркой маленькой машинки или огромного, как автобус, джипа, выражение спокойного внимания, к уху прижат микроскопический телефон. Эти женщины мне решительно не нравятся, я вообще не воспринимаю их как женщин, ну, да чего ждать от брюзгливого старика. А Ленька, насколько я могу судить, с женой счастлив, во всяком случае, у них за четырнадцать лет не было ни одного серьезного конфликта. Спорят только, куда поехать на Рождество, в Таиланд или на Мальту, да летом — в Шотландию или в очередной раз в Испанию. И детей у них нет, но они, как мне представляется, об этом нисколько не жалеют. Иногда Ира берет работу по своей архитектурной специальности, ей заказывают дизайн офисных интерьеров небольшие фирмы, это очень неплохо оплачивается. Заработанные деньги Ира сама и тратит, почти не залезая в семейный бюджет при покупках — непрерывных — одежды...

Сын смотрит, как я наливаю себе уже третью порцию виски, придвигает пепельницу, когда я чиркаю зажигалкой — он не курит, а Ира после еды выкурила одну тоненькую, противно пахнущую сигарету, — и осторожно интересуется, много ли я пью в последнее время и как мое сердце.

— Все так же, — отвечаю я, хотя понимаю, что сын волнуется по-настоящему и не надо бы его расстраивать, надо бы сказать, что все хорошо, но ничего не могу с собой поделать, я привык в последние годы ныть и жаловаться на здоровье всем, кто им интересуется. Это дурная привычка, но, может быть, меня извиняет то, что интересуются немногие — ну, Игорь спросит иногда, как организм, не совсем ли еще разва-

лился, да вот Ленька. Не Рустэму же рассказывать об аритмии. И Нине не расскажешь...

— Сейчас ничего, — начинаю я подробно, — а утром отрывалось по полной программе. Знаешь, такое странное чувство: оно проваливается, как будто от страха, но причина и следствие меняются местами, сначала проваливается сердце, а потом возникает страх...

Я зачем-то все больше углубляюсь в описание своих болезней. Лицо сына выражает настоящее сочувствие, сейчас он похож на того, каким был в совсем раннем детстве, когда выражение горя появлялось на круглой роже, стоило разбудить его утром, — он ненавидел детский сад, где невозможно было ни на минуту остаться одному, но нам с Ниной некуда было деваться, я днем сидел в институте, как приклеенный, отработывал не положенную мне, с незаконченным высшим, инженерскую зарплату, а по вечерам писал сначала диплом, потом сразу кандидатскую, Нина за полторы ставки пропадала в школе с утра до вечера...

— Ладно, Ленька, не расстраивайся, — бодро сворачиваю я рассказ, — всему свое время, здоровье в пределах возрастных норм...

Как раз в эту секунду сердце дергается и проваливается, мое лицо, конечно, искажается от болезненного толчка, я замолкаю, суетливо достаю сигарету, кладу ее рядом с пепельницей, не закурив, наливаю себе еще виски, глотаю — выпивкой аритмию иногда удается приостановить. И сын тоже молчит, глядя на испуганного старика, жизнь которого может прерваться в любой момент, и тогда — он еще не знает этого, а я знаю точно — начнется его, Леонида Михайловича Салтыкова, настоящая жизнь.

Мы редко видимся, а когда видимся, говорим о ерунде и только общепринятые вещи, но я чувствую, что связан с этим уже не очень молодым и не очень близко мне знакомым человеком сильнее, чем со всеми остальными людьми на земле. Кроме Нины, пожалуй, но мне кажется, что сына я лучше понимаю, чем жену...

— Сегодня читал в «Коммерсанте», что в твоей конторе дела на подъеме — Ленька, чтобы отвлечь меня, заговаривает, как ему кажется, о приятном и интересном мне, я

никогда не рассказываю ему о своих деловых неприятностях, о том, как ненавижу свою контору. — Опять вспомнили, как вы тогда, в восемьдесят девятом, поднялись из ничего, из пустоты за полгода. Правда, не раскопали, что тогда же ты и мне дал на первую мастерскую... Помнишь, дед, тот подвал? Ну, на Цветном, ты там был один раз... Вот место было — клад! Нас азербайджанцы с рынка сразу поломанными видаками завалили, специально из Баку везли в ремонт...

Видимо, думая, что мне это приятно, сын называет меня дедом, хотя я никакой не дед и, видимо, уже не стану им. Раньше мне это нравилось, меня и Игорь называл дедом, и кое-кто из молодых в конторе, с кем отношения были приятельские, а начал меня так называть Белый, хотя сам был на два года старше... А теперь я вздрагиваю от такого обращения, потому что уже нет в нем ничего шуточного, я действительно старик и выгляжу стариком, как бы тщательно ни одевался, как бы ни выбривался до скрипа, как бы ни выкладывал шелковый платочек в нагрудном кармане пиджака, сколько бы ни изводил самой дорогой парфюмерии. Даже поддерживать простую опрятность стало труднее, тело начало производить какие-то отвратительные выделения и запахи. Носки вечером стягиваю мокрые, хотя никогда прежде, даже в армии, ноги не потели, кожа во всех складках раздражается, краснеет, трескается...

Как и следовало ожидать, я ополовиниваю выставленную Ленькой бутылку виски и, чтобы не зайти еще дальше — выпитое за день уже подбирается к литру, — собираюсь уезжать. Невестка целует меня в щеку, на которой за день отросла почти невидимая, но колючая седая щетина, сын хлопает по плечу: ну, держись, дед, не болей, сходил бы ты к толковому кардиологу, у тебя есть? Есть, есть, отвечаю я, все у меня есть, и патологоанатом у меня есть свой, не удерживаюсь от дурацкой шутки. Пил бы поменьше, тихо, чтобы не услышала уже отошедшая и рухнувшая в кресло перед телевизором Ира, говорит Ленька, я молча киваю, постараюсь, мол, но при этом хитро улыбаюсь — дескать, сам понимаешь, горбатого могила исправит. Тяжело плышет, закрывается за мною стальная дверь, и я остаюсь один.

Я знаю, что старость всегда одинока, даже если вокруг большая семья, но все равно жалею, что сын и его жена не живут с нами. Теперь никто не живет вместе с родителями, все молодые, работающие в конторе, например, снимают квартиры, если на покупку еще не собрали, и все довольны, меньше скандалов, но, по мне, лучше были бы скандалы... Лучше мучиться, как Игорь, у которого дочка, отирающаяся в каком-то непонятном качестве на телевидении, разведена уже в третий, кажется, раз, сильно пьет и пьяная становится невменяемой, кидалась однажды на мать с хлебным ножом, зато трезвая делается тихой, некрасивая — копия Киреев — милая женщина, по субботам таскает Игоря в модные кинотеатры, а в будни по вечерам они втроем смотрят телевизионные новости и спорят о политике.

А у меня дома тишина, тишина и мрак.

В машине шелестит радио, мерцают зеленым приборы, перед фарами летит, отодвигая тьму, освещенный кусок воздуха. Задремать не удастся, начинают крутиться, отталкивая, сминая одна другую — вот уж некстати, сейчас как раз полчаса мог бы отдохнуть, — мысли, которые должны были бы одолевать днем, но тогда дурью маялся, в прошлом рылся... Я выдвигаю пепельницу, закуриваю и тут же роняю пепел на колени. Хорошо, они продолжают выдавливать нас, Игоря и меня. Какой же расклад? Больше всех суетится Ромка, ботаник наш, отличник. Ну, конечно, не по собственной инициативе, он рустэмовский адъютант, но надо понять, насколько сам Рустэм готов идти до конца. Готов ли? Может, встретив сопротивление, отступит, подождет, пока вопрос решится естественным путем — старики не вечные, образ жизни ведут нездоровый, либо ногами уйдут, либо вперед ногами... Нет, Рустэм ждать не будет. Значит... Ну, Алексеева с ними, Верочка ставит только на победителя, она, правильно ее Игорь называет, конкретный пацан. Валера Гулькевич... Он приличный парень, но кто знает... И остаются наши технари, Гарик Шмидт и Толя Петров. Гарика Рустэм привел, взял в дело, когда он мастером на буровой гнил, значит... Ничего не значит, потому что вряд ли среди этих ребят принято испытывать благодарность, Гарик может ждать до последнего, как дела повернутся. А вот Толя — загадочный малый, кажется, вообще ни о чем, кроме дела, не думает, если он решит, что для де-

ла нужно нас с Киреевым удавить, будет за ноги держать, и выражение лица останется обычное, спокойно любезное... Вот, собственно, и все. Похоже, конец...

Нет, не конец, потому что Рустэм понимает — если мы с Игорем упремся, будут проблемы. Если мы оба наши пакета на сторону отдадим, он сам может в воздухе повиснуть. В конце концов, мы можем таким крутым ребятам свое продать, по сравнению с которыми он никто, и, как бы там директора ни голосовали, против настоящих крутых не попрешь, тут никто не поможет, хоть в Кремль беги, хоть на Лубянку, — настоящие ребята туда не бегают, просто позвонят и договорятся, и нет Рустэма Ибрагимова, а есть подследственный Ибрагимов Рустэм Рашидович... И Ромка Эпштейн, если вместе с Рустэмом в Матросскую Тишину не загремит, сам приползет и свой пакетик за лимон отдаст, и еще благодарить будет, а остальные разбегутся, утащив, сколько смогут, и спрячутся по испаниям и израилям...

И Рустэм должен знать, что у нас такие ребята на примете уже есть! А что этих ребят я сам боюсь больше, чем его, он знать не должен. Тем более что, если совсем честно, не боюсь я ни их, ни его. Ну, боюсь? Пожалуй, нет... Его я ненавижу, вот в чем правда, и он это знает, а страх... Нет, не боюсь.

Это, конечно, настоящая война, но он уже начал войну, давно начал, значит, если мы сдадимся, дождет до упора, заберет все за половину цены, а вот если упремся... В конце концов, сейчас не девяносто пятый год, можно и самого Рустэма потеснить. А потом передать все Ленке — это по отношению к нему будет только честно, долг отдам...

Машина останавливается перед воротами, фары освещают прочерченную горизонтальными полосками узких облицовочных планок рыже-коричневую поверхность. Гена возится с пультом, ворота отползают, машина въезжает и разворачивается носом к гаражу, свет фар скользит, последовательно выбеливая все углы двора. Приехали, день кончился.

Мы ужинаем на кухне вместе с Геной, он, с моего молчаливого согласия, позволяет себе это, если приезжаем позже обычного, когда Нина уже спит. Я сижу в халате и наконец действительно отдыхаю — не стесняясь шофера, наливаю себе почти полный стакан, закусываю холодной осетриной...

Ночью опять будет изжога, но сейчас мне хорошо, начинает клонить в сон, я иду наверх, укладываюсь, не зажигая света, — только дворový фонарь немного пробивает шторы.

Теперь главное — не позволить мыслям снова разыгаться, а то ночь пропала. Надо думать о приятном, о чем всегда думаю, чтобы заснуть.

Пустой среди жаркого весеннего дня бульвар Распай, я иду от Монпарнаса вниз. Серые и белые фасады, зеленые и синие лаковые двери подъездов ярко освещены стоящим высоко в бесцветном небе солнцем, крыши косо приткнувшихся к тротуару машин сияют, слепя глаза, странная для города тишина плывет в горячем воздухе. Я сворачиваю в Люксембургский сад, под каблуками трещит гравий, со стороны кортов доносятся крики игроков, короткие резкие удары мячей о ракетки и глухие — о землю. Дети пускают в пруду игрушечные яхты и катера, я останавливаюсь и смотрю. Если сфокусировать взгляд так, чтобы не видеть ничего вокруг, игрушки превращаются в настоящие корабли, пруд — в спокойное бескрайнее море.

Я прохожу парк насквозь и вижу за столиком у входа в кафе на углу Нину, она сидит перед чашкой кофе и щурится против солнца, высматривая меня. Это наша первая — и оставшаяся единственной — поездка в Париж вдвоем, она еще разговаривает со мной, хотя иногда уже замолкает надолго, и тогда я ловлю на себе ее взгляд, в котором страх и удивление, будто она вошла в свою комнату и увидела там незнакомого человека. Но там это бывало реже, чем в Москве...

Черт! Все, я опять влез в этот кошмар, и сна теперь не будет долго.

Я включаю лампу, стоящую на тумбе возле дивана, и несколько минут лежу на спине, глядя в невидимый потолок, жду, какотреагирует сердце. Но оно пока никак не проявляет своего отношения к бессоннице, и я встаю, накидываю халат поверх пижамы — в доме прохладно, Гена, мне кажется, сознательно так отрегулировал отопление, он заботится о здоровых условиях нашего сна — и, включив вторую лампу, сажусь в кресло. Тут же, оглушительно стуча когтями по лестнице, приходят собаки, по очереди тычутся носами в колени, выше не достают, а лезть на руки, чтобы лизнуть в лицо, не реша-

ются, ночами, когда я не сплю, они не спят тоже, но ведут себя робко — ложатся и сворачиваются черно-коричневыми калачиками, глядят на меня, сидящего в круге света, из полутьмы.

На столике перед креслом стоит бутылка, которую я достал утром. Не надо бы, хватит уже, говорю я себе, и минуты две держусь, но потом капитулирую и наливаю... Выпив, я откидываюсь на спинку кресла, закрываю глаза, даю себе полную волю и сразу же оказываюсь в восемьдесят шестом году.

Глава четвертая. Бессонница

Утром я показался в институте, сказал, что буду работать в Ленинке, даже для верности позвонил, узнал, открыт ли профессорский зал — его в последнее время часто закрывали, в такой день можно было попасться, сказав, что уехал в библиотеку. А Лена взяла положенный ей, как аспирантке, библиотечный день.

Конечно, достаточно было сопоставить такие совпадения хотя бы за последний месяц, чтобы все понять, но сослуживцы в наши дела не лезли — возможно, потому, что в кругу, к которому я принадлежал, такие связи были почти нормой. Едва ли не все мои коллеги, мужики примерно моих лет или старше, завлабы и старшие научные, имели любовниц и не особенно это скрывали, подругами их чаще всего становились лаборантки, аспирантки, мэнээски, некоторые решались связываться и со студентками. Иногда страсть или просто долгая связь кончалась скандалом — пятидесятилетний, перенесший инфаркт, а то и два, достойный ученый муж и руководитель уходил от жены, с которой прожил полжизни, а девочка, если была замужем, поплакав, объявляла все ровеснику-мужу, еще пыхтящему над кандидатской в другом НИИ. И начинались мытарства, снятые за бешеные деньги комнаты в коммуналках, безденежье, да еще общественность проводила воспитательную работу по линии парткома и месткома... Но постепенно все успокаивалось, брошенная жена начинала делать карьеру и через пару лет сама наконец защищала докторскую, у счастливого страдальца от неведомо каким образом прибавившихся сил рождался ребенок — у некоторых к этому вре-

мени были уже внуки от старших детей... Институт выбивал для ценного специалиста, хотя и наломавшего дров по линии морального облика, но снова взявшегося за ум, однокомнатную в Дегунине, тут он получал Государственную премию в небольшой компании, прикупал к полученной казенной еще одну кооперативную, менял две на двухкомнатную возле метро и уже жил с любимой женой и младенцем нормально, комфортно... Но, увы, довольно часто недолго: третий инфаркт, все откладывавшийся, пока в крови кипел адреналин страсти и решимости, настигал его, молодая жена не отходила от постели, на похоронах все очень суетились, чтобы предотвратить конфликт между бывшей и нынешней, уже вдовой, но конфликта никакого и не было, на поминках все вместе грустно, но спокойно выпивали, тем и кончался счастливый служебный роман. В память о друге вдову, оставшуюся в приличной двухкомнатной и с маленьким ребенком на руках, кто-нибудь брал в свою лабораторию, хотя она совсем дисквалифицировалась за годы семейного счастья... И был случай, когда такая милая женщина, прозванная после этого «переходящим призом», стала причиной профессорского развода и во второй раз, только очередной влюбленный меньше мучился в предпенсионном возрасте, сразу поселившись в приличной квартире, оставленной предшественником, а потому и жил в счастье дольше. И второй ребенок родился, и народ посмеивался, но строго не судил...

В занавешенное какой-то тряпкой окно Женькиной комнаты пробивался яркий дневной свет, и в полумгле я видел то, что уже давно должно было стать привычным, но никак не становилось — длинное узкое ее тело, уходившее подо мною вниз, туда, где мы срослись. Со стороны, наверное, мы были похожи на расщепленное от середины молнией дерево. Глаза ее были закрыты, она не могла с открытыми глазами, хотя я просил ее. Но она всегда закрывала слишком темные по сравнению с добела обесцвеченными — у нее было не по возрасту много седины — волосами глаза, и у меня возникало ощущение, что я остаюсь один. Стояло очень жаркое лето, одно из тех, которых много было в восьмидесятые, пот тек по моему лицу и капал на ее лицо, и она смешно терла веки, вытирала мой едкий пот.

Теперь я уже знал, что выражает ее внимательный взгляд, которым когда-то она посмотрела на меня впервые, — в этом взгляде было ненасытное ее желание, так она смотрела на меня сбоку, сидя в машине, пока мы ехали сюда, на Ордынку, так смотрела, уже прыгнув на Женькину продавленную тахту и натянув простыню до подбородка, пока я неловко раздевался, стесняясь своего затекшего под одеждой тела... А потом она закрывала глаза, а когда открывала их через десять минут, или полчаса, или час, на сколько хватало моих уже тогда подходивших к концу сил, взгляд был другой, глаза светились, в них не было того спокойного внимания, с которым прицеливается снайпер, в них был только свет.

Потом мы быстро молча оделись — было трудно говорить в первые минуты после этого — и вышли на пылающую под солнцем улицу, сначала она, потом я. Лена сразу прошла за угол и ждала там, я сел в машину, сдал задним ходом, она ловко открыла дверцу, мгновенно оказалась внутри, и мы поехали, понемногу начали разговаривать, заговорились, смеялись чему-то...

Первой увидела она. Мы стояли на перекрестке, она замолчала на полуслове, потом тихо сказала что-то, я переспросил не расслышав.

— Из соседней машины какая-то женщина смотрит на нас, — повторила она тихо, будто ее могли услышать сквозь два стекла.

Рядом с нами стояло такси, и оттуда действительно смотрела на нас немолодая очень красивая женщина, золотистые ее волосы светились и вспыхивали на солнце. Красивая женщина, подумал я и только после этого узнал Нину. Она смотрела, напряженно щурясь, потом отвернулась, тут зажегся зеленый, такси дернулось и уехало, а я надолго застрял на перекрестке, так что сзади уже начали сигналить.

Не помню, о чем говорили мы с Леной в те полчаса, за которые я довез ее до дома, говорили ли вообще, не помню, о чем думал, пока один ехал домой, — кажется, мыслей не было вообще, меня начало знобить, и подступила тошнота, как бывает, когда заболеваешь гриппом.

Леньки дома не было. Нина сидела в большой комнате за столом, она не переоделась, только сбросила босоножки, и они

валялись под стулом, одна упала на бок, была видна потертая подошва. Когда я вошел, Нина не подняла глаз, продолжала что-то сосредоточенно рассматривать на скатерти с тем же выражением, с которым она смотрела из такси в мою машину, — щурясь, словно пытаюсь увидеть что-то трудноразличимое.

Я стал что-то бормотать — подвозил знакомую, не сразу разглядел Нину в такси, а когда увидел, было поздно окликать, еще какую-то явную ерунду... Нина молчала. Потом она подняла глаза, посмотрела мне в лицо, и я увидел то, что с тех пор вижу всегда: удивление и испуг, с какими обычный человек, не естествоиспытатель, разглядывает какого-нибудь огромного паука или ящерицу.

— Когда-то я стояла перед тем проклятым домом на Котельниках, — наконец выговорила она, и я вздрогнул, потому что знал, что она вспомнит об этом, а Нина продолжала говорить ровным, бесцветным тоном, словно пересказывала какой-то сюжет: — И думала, что не переживу унижения. Пережила... Тогда я поверила тебе, поверила, что больше никогда не придется испытывать то же самое. Ну, вот, дождалась...

Я молчал, у меня не было сил врать. И она замолчала тоже, снова принялась рассматривать что-то на скатерти. Прошло несколько минут в тишине. Я все еще стоял в дверях, пот лился по спине, рубашка намокла — в комнате было невыносимо душно.

— Некуда деваться, — сказала Нина, не поднимая глаз, словно говорила сама с собой. — Некуда деваться...

Она мельком взглянула на меня, будто забыла, что я здесь.

— Некуда деваться, — повторила она, — придется...

Она не закончила, и я так и не узнал никогда, что она хотела сказать.

В дядипетиной комнате я бросил портфель и, не раздеваясь, повалился на кровать.

Проснулся поздним вечером. В квартире стояла тишина, в комнате было темно. Полежал несколько минут, потом вспомнил, что произошло, вскочил, заспешил куда-то...

В большой комнате тоже не горел свет, но я разглядел, что сын спит на своей тахте, ее купили вместо детской кроватки, когда он еще учился в первом классе, и поставили вместо вы-

брошенной железной кровати, на которой умерла мать. Ленка сбросил простыню — к ночи не стало прохладней — и лежал в одних плавках. Было слышно его дыхание.

Я вышел в прихожую и увидел свет, пробивающийся из-под кухонной двери.

Нина сидела в кухне за столом, перед нею стояла пустая чашка с коричневым осадком кофе на дне и лежала металлическая трубочка с валидолом.

— Пойдем спать, — сказал я.

Она посмотрела на меня, по лицу ее текли слезы, оно было уже все мокрое, глаза опухли.

— Не разговаривай со мной, — сказала она тихо, я еле расслышал ее слова. — Пожалуйста, не разговаривай со мной... Мне некуда уйти, ты знаешь. Я остаюсь с тобой, но, пожалуйста, пожалуйста, не говори мне ничего больше!

Так началось ее молчание. После того дня еще было много всего, она еще не замолчала окончательно, но началось тогда.

Никак не могу теперь вспомнить все последовательно. Помню только, что я впал в какой-то столбняк — ходил на работу, приходил домой, что-то ел, но все это делалось как бы само собой. Совсем бросил пить, не хотелось. С Леной, встретив ее в институте, здоровался, но бывать вдвоем мы перестали, просто я больше не устраивал свиданий, не ловил ее в коридоре, не назначал время, и она ни о чем не спрашивала, и постепенно мы отвыкали друг от друга, и очень скоро, недели через три, я заметил, что уже почти никогда не вспоминаю о ней, а если и вспоминаю, то вскользь — задумаюсь о чем-нибудь несущественном, и вдруг перед глазами возникнет лицо и растает, а я ничего не почувствую... По делу она общалась с моим замом.

Иногда, словно очнувшись ото сна, я удивлялся: как долго тянулось и как быстро кончилось! Но и удивление это сразу проходило, уплывало куда-то в сторону, и я снова погружался в бесчувствие...

Как будто тот взгляд Нины из такси, напряженно испуганный и удивленный взгляд, заморозил меня и все вокруг и я смотрел на мир сквозь толстый слой льда.

Месяца через четыре Нина стала иногда обращаться ко мне, постепенно ее тон делался все более и более спокойным,

мне показалось, что она решила и на этот раз все забыть и вернуться к нормальной жизни. Тут как раз и представилась возможность поехать в Париж вдвоем, пришло мне под конец моей академической карьеры шикарное приглашение — месяц поработать по обмену в их лаборатории, занимающейся тем же, что моя, математическим моделированием распознавания зрительных образов. Приглашали вместе с женой. В смысле нашей проверенности в зарубежных поездках проблем не было, я до этого объехал почти все соцстраны, Нина была один раз даже в Англии в группе редакторов англоязычной литературы — она ушла из школы еще в конце семидесятых и работала в издательстве, редактировала учебники английского. Тематика моей лаборатории была вполне открытая, применение наших методик, конечно, было возможно и в военных целях, например, в космической разведке, но занимались этим не мы, в лаборатории работали чистые теоретики. Проблема же была в том, что мы не оставляли заложников, Ленька был уже совершенно взрослый, родители Нины уже умерли, сначала мать, а через полгода отчим, младшая сестра Любка давно жила с мужем, подполковником-ракетчиком, в Хабаровске, квартира в Одессе пропала... Тем не менее нас отпустили вдвоем, кончался восемьдесят шестой год, времена наступали либеральные.

...Я вышел на угол Люксембургского сада и увидел Нину за маленьким круглым мраморным столиком...

А когда мы вернулись, Ленька, как и следовало ожидать после месяца его жизни без родителей в свободной квартире в центре, объявил, что женится.

Была представлена невеста, которая сначала не понравилась мне. Слишком жестко смотрели ее глаза, слишком она была какая-то взрослая, хотя младше Леньки на год. Я бы предпочел даже совсем легкомысленную, пусть даже развязную, каких, мне казалось, было большинство в поколении сына, какую-нибудь фанатку рок-музыки, пропадающую на подпольных концертах, курящую — хорошо, если просто сигареты, пьющую с ребятами портвейн... Мне, с опытом моей молодости, это было бы по крайней мере понятно. Но Ленька и сам не интересовался ни роком, ни вообще молодежной жизнью — сидел вечерами со своими схемами, появился у него

уже тогда первый компьютер, собранный из каких-то обломков... И Ира была девушка серьезная, скромная и даже робкая, только глаза смотрели жестко, как будто она все время прикидывала, взвешивала что-то, расставляла людей по определенным ею местам...

Да и родители ее мне были совершенно чужды — и отец, советский начальник, партработник, в общем, из тех, с которыми у меня никогда не было ничего общего, и мать, профессиональная общественница, когда-то комсомольская активистка, а к тому времени, как мы познакомились, профсоюзная чиновница, ведавшая на городском уровне путевками.

А Нина легко приняла будущую невестку и новых родственников, вполне одобрила Ленкин выбор. Начались хлопоты, свадьба, на которой меня тошнило от гостей со стороны невесты, важных дядек с партийными манерами, толстых, уродливо наряженных баб с высокими прическами, пошлых тостов и всего советского свадебного безобразия... Потом Ленкин тесть очень быстро устроил молодой семье — Ленка и Ира всего полгода снимали жилье — вступление в жилищный кооператив, мы дали денег на однокомнатную...

И вот однажды, вскоре после того, как они переехали в свою квартиру, мы пришли к ним в гости. Мы с Ленкой сидели на кухне, говорили о наступивших переменах, о том, что нас интересовало больше всего, — о возможностях завести собственное дело, и я, и он тогда пробивали открытие своих кооперативов. Нина и Ира были в комнате, обсуждали вроде бы цвет занавесок и в каком углу поставить мягкую мебель... Вдруг из комнаты донеслись громкие голоса. Мы с Ленкой замолчали, прислушались, но в комнате уже все стихло, а через секунду в кухню вошла Нина. Не глядя на Ленку, она сказала, что нам пора домой. Я засуетился, спросил, не случилось ли чего, Нина пожала плечами и не ответила. Ира не вышла в прихожую проводить нас, Ленка потянулся поцеловать мать на прощание, но она отвернулась. По дороге домой я пытался узнать, что произошло, Нина ответила, что расскажет, когда приедем, но и дома рассказывать ничего не стала, сидела в кухне, пила кофе, а когда я вошел, вытерла слезы и посмотрела на меня с испугом и удивлением, от которых я начал уже было отвыкать.

— Что тебе Ира сказала? — спросил я, хотя понимал, что не надо бы об этом спрашивать. — Что-нибудь обидное?

— Обидное... — Нина усмехнулась, я хорошо знал эту ее усмешку, это была усмешка непримиримости, усмешка человека, отказывающего всему окружающему миру в праве на прощение. — Обидное... Нет, ничего обидного. Просто я поняла, что теперь у меня и сына не будет. Они оба против меня, они заодно, а я... Ладно. Я зря рассказываю тебе это...

С нею что-то случилось тогда, что-то такое затронула в ней невестка, чего трогать было нельзя, но что? Я так и не узнал этого ни тогда, ни после и сейчас не знаю.

Больше мы не бывали у них, а когда по моей инициативе Ленька и Ира приходили к нам, Нина на невестку не смотрела вообще, Леньке отвечала односложно или не отвечала вообще, и постепенно они перестали приходить, с тех пор же, как мы переехали в этот дом, а Ленька с Ирой свою однокомнатную продали и поселились в нашей старой квартире, Нина сына не видит никогда, я один заезжаю поведать молодых раз в месяц-полтора...

У меня затекла спина, в глазах резь, хочется спать, но я знаю — стоит лечь, и сон тут же отступит, и я опять буду ворочаться, скручиваться, поджимая ноги к животу в позе эмбриона, и так пролежу до утра, а если еще посидеть в кресле, то в конце концов сон сморит и удастся поспать хотя бы часа три. Я мысленно машу рукой на все, наливаю себе не меньше трети стакана, пью, почти не чувствуя вкуса, ведь за сутки я уже подобрался к литру, откидываюсь, закрываю глаза...

И все же еще был шанс, что она постепенно успокоится, со мной она была немногословна, но ровна, иногда даже дружелюбна, и я надеялся помирить ее в конце концов с Ирой и Ленькой, еще был шанс — а потом она нашла ключи...

Где-то в кармане пищит телефон. Я вскакиваю, мечусь, пытаюсь вспомнить, куда я его сунул, нахожу в пиджаке, повешенном на спинку рабочего кресла, стоящего перед письменным столом, вытаскиваю, выворачивая подкладку, писк становится громче.

— Алле, — говорю я хриплым после долгого молчания голосом, — алле, слушаю вас!

Одновременно я кошусь на часы, которых никогда не снимаю с руки. Начало второго, еще не очень поздно, но мне уже давно никто не звонит в такое время, все знают, что я рано ложусь и очень дорожу сном. Значит, что-то случилось...

— Солт, перепугался? — В трубке дурацкое хихиканье Киреева, сразу слышно, что он пьян, звонит из какого-то шумного места, доносятся громкие женские голоса, бухает музыка. — Разбудил, Солт? Слушай, я тут с молодежью выпиваю, понял, дома со всеми разругался, достали бабы, вот смылся, сижу в «Голден паласе», ребята в рулетку сражаются, бабки просаживают, а я тут с девочками... Девчонки, хотите еще одного старика в компанию? Примете? Во, они примут. Приезжай, Солт, садись за руль и приезжай, а лучше разбуди своего водилу, а то выпить нормально не сможешь, и приезжай, а? Через полчаса по ночной-то дороге будешь здесь, давай, оттянемся с молодежью, о жизни попиздим...

На мгновение возникает желание действительно поехать, сна все равно нет, но тут же чувствую жуткую усталость. Будить Гену, одеваться...

— С кем ты там? — спрашиваю я.

— Старый, все хорошие ребята, — орет Игорь, он всегда дико орет пьяный. — Знаешь, кто с нами гуляет? Сам Роман Семеныч Эпштейн, вот кто! Слушай, приезжай, прямо тут мы с ним и договоримся! И будем свободны, представляешь, на пенсию пойдем, старичок!

Киреев пьет в «Голден паласе» с Ромкой Эпштейном, который не пьет вообще и, насколько я знаю, в казино не играет... И при всех старый дурень болтает о делах. Интересно, кто там еще из конторы? Вполне может разделять мужскую компанию наша Верочка Алексеева, она, как известно, любого мужика перепивает и не пьянеет... Это плохо кончится.

— Не приеду, — говорю я в трубку твердо и как могу убедительно, пытаюсь пробиться к сознанию пьяного, — и тебе советую немедленно валить оттуда, слышишь, Игорь?! Кончай болтать лишнее и езжай домой, лучше дома еще стакан выпей и спать ложись. Ты слушаешь?

— Бздишь, Солт... — Он громко вздыхает в трубку, потом раздается всхлип, и я понимаю, что он сейчас пьет. — Бздишь... А чего бояться, Мишка? Давай, и правда, дела

бросим, пусть молодые мудохаются, а мы отдохнем перед смертью... Приезжай луч...

Он отключается на полуслове.

Меня до сих пор коробит, когда при женщинах произносятся простые слова. Хотя какие там женщины... Все равно противно. А Игорь перед молодыми выдрючивается...

И вдруг последние мои силы кончаются. Прямо в халате я падаю поверх одеяла, мысли путаются, к большому своему удивлению, я чувствую, что сейчас засну.

Может, Игорь прав, плюнуть на все, взять, сколько они дают, запереть дом и уехать с Ниной в Прагу, там все готово... или в Германию, например, в Баварию, там хорошо, юг, тепло, зелень, купить маленький складенький домик где-нибудь над озером, сидеть весь день на веранде пивной, смотреть на туристов... иногда смотаться в Лондон, погулять по городу... или в Австралию... в Австралию...

Сон одолевает меня, последним усилием я влезая под одеяло, и тут же начинается кошмар, лицо Рустэма придвигается вплотную, я чувствую его дыхание, всегда отдающее запахом сырого мяса, наверное, желудок нездоровый, думаю я и вижу, что никакой это не Рустэм, это Женька, его желтое лицо, полосочки пластыря приклеены за ушами, чтобы скрыть разрывы кожи, это в морге постарались, собрали из кусочков, молодцы, а что я мог сделать, говорю я Женьке, что я мог сделать, ору я во сне, ничего нельзя было сделать, понимаешь, ничего, скоро я сам уеду, поехали в Австралию, Женька, поехали, ладно, поехали, соглашается он, только не в Австралию, ты же сам понимаешь, тебе в Австралию нельзя, нельзя, соглашаюсь я, и Женька улыбается, не поднимая глубоко ввалившихся темных век, он сильно изменился за эти три дня, которые прошли до похорон, да я и не хочу уже в Австралию, говорю я, нечего мне уже там делать, Нина, повторяю я, Нина, я не еду туда, но она молчит, я замечаю, что ни одного седого волоса нет в ее золотых прядях, вот и хорошо, думаю я, все устроилось, ей даже краситься больше не надо, сейчас пойдем на шестнадцатую станцию на пляж, там уже все наши, ты сошел с ума, говорит Нина, это же не Одесса, разве ты забыл, Одессы нет больше.

Утром Гена говорит мне, что я во сне кричал на весь дом, он

хотел подняться и разбудить, но я сам замолчал. Нина пьет кофе и смотрит в глубину чашки, будто ищет там что-то. Она тоже, конечно, слышала мой крик, ее комната рядом. Но она никогда не скажет мне, что именно я кричал.

Глава пятая. Контора

Я ненавижу искусственный мрамор, которым теперь облицовывают все, в том числе ступеньки перед входами в дорогие магазины и конторы вроде нашей. И дело даже не в том, что эти ступеньки сверхъестественно скользкие, стоит встать на них хотя бы чуть-чуть влажной подошвой, как нога едет, словно по льду, подтаявшему в оттепель, приходится хвататься за перила, если они есть, нелепо изгибаться, чтобы устоять, многие просто падают, — дело не только в этом, отвратительные светло-серые плиты почему-то раздражают меня самым своим видом, а если я попадаю в помещение, где ими облицованы и стены, меня начинает тошнить, кружится голова... Тысячу раз говорил Магомету, тоненькому, чрезвычайно модного вида тихому пареньку, который у нас занимается хозяйством, никак не могу запомнить его фамилию, все знают, что он родственник Рустэма, и обращаются с ним не по чину и возрасту уважительно, тысячу раз говорил ему, что надо переделать ступеньки, он смотрит преданно в глаза, старательно кивает, завтра сделаем, Михаил Леонидович, и все остается по-прежнему.

Я поднимаюсь по проклятым ступенькам, Гена идет на шаг сзади и справа, как полагается. В лифте душно, пахнет чьи-то приторными духами, в темном зеркале отражается мое искаженное напряжением лицо — отчего это выражение не покидает мое лицо, даже когда я ничем не занят? И в кабинете душно, застоявшийся запах табачного дыма никогда не уходит отсюда, даже летом, когда работает кондиционер, а сейчас, когда открыта узкая форточка, этот запах смешивается с запахом летающих в холодном сыром воздухе выхлопных газов — мое окно выходит на тесную, забитую машинами улицу.

Екатерина Викторовна приносит почту, забирает пальто и уходит, наверняка ее уже нет и на месте — взяв с собой

трубку радиотелефона, чтобы переключать на меня звонки, она отправилась в приемную Рустэма, где сидит его секретарша, называющаяся престижно «помощник», ее закадычная подружка Роза Маратовна, самое хитрое из всех известных мне живых существ. Теперь часа полтора, пока начальство занимается бумагами, они будут неслышным шепотом обсуждать все, что делается в конторе и о чем они знают наверняка лучше всех — по крайней мере меня.

Я просматриваю письма, это всякая чушь, которую в последнее время носят ко мне. Понемногу Рустэм уже вытеснил меня из реального управления основной деятельностью, хотя я по-прежнему член совета директоров и даже вице-президент компании. Но уже полгода я занимаюсь только рассмотрением просьб о спонсорстве, утрясанием мелких скандалов в провинциальных отделениях, назначениями внутри конторы на незначительные должности, не выше заместителя начальника отдела...

Звонит по внутреннему Киреев, справляется, на месте ли я, говорит, что сейчас зайдет. Мы предпочитаем обсуждать наши дела в моем кабинете, потому что его секретарша подслушивает еще более откровенно, чем моя, и делится услышанным вообще с кем попало, но уличить ее не удастся да и сменить не получилось бы, потому что секретарш назначает Магомет, а он, конечно, разведет руками — постараюсь, Игорь Иванович, вы ж знаете, людей приличных сейчас найти трудно...

Выглядит Игорь ужасно, лицо опухло больше обычного, нос кажется длиннее и краснее, чем всегда, рубашку, похоже, он со вчера не менял. Тяжело плюхается в кресло перед моим столом и молча тычет в сторону шкафа. Я достаю очередную бутылку — пустая уже исчезла, значит, моя внимательная Екатерина Викторовна уже доложила Розе Маратовне о том, что вчера старые пьяницы опять среди дня жрали — и, попутно заперев дверь, разливаю понемногу. Игорь глотает, давясь, глаза его наливаются слезами, он подавляет рвотный позыв, дышит открытым ртом и понемногу приходит в себя.

— Ну, повеселился вчера с народом? — издевательским тоном спрашиваю я, мне не жалко Игоря, его клоунское поведение и жуткие манеры вредят нам обоим, меня считают таким

же глупым и жалким стариком, каким кажется нашим стальным мальчикам и девочкам он. — Что Марина говорит?

Киреев женился, когда ему уже было под тридцать. Марина — наша ровесница, но всегда выглядела, на мой взгляд, старше. У нее внешность старой барыни из костюмного спектакля или фильма: нос с небольшой горбинкой, презрительно опущенные уголки рта, высоко взбитая пышная прическа и осанистая крупная фигура. Как бы для завершенности образа она носит небольшие очки, похожие на пенсне. Всю жизнь она проработала корректором в газете, лет десять назад Киреев уговорил ее работу бросить, она получала в месяц столько, сколько он уже тогда зарабатывал в час, а теперь у нее уже и возраст пенсионный... Игорь был изумленно счастлив тридцать с лишним лет назад, счастлив, насколько я понимаю, и сейчас, хотя о жене отзывается в соответствии с его дурацкими представлениями о том, что должен говорить о жене каждый мужчина, как о сварливой ведьме, называет ее в разговорах со мной «бензопила». Но в домашнем имени Машка, которое он для нее придумал, слышатся нежность и все то же первое удивление оболтуса с провинциальными корнями — как такая удивительная женщина могла выйти за меня, дурака?

— Утром был Сталинград, — вздыхает он, — но я дома Павлова не сдал... В конце концов, могу я иногда отдохнуть с сослуживцами? Этого даже правила корпоративных отношений требуют...

— Дурак ты, — я двигаю в его сторону рукой со стаканом, как бы чокаясь, делаю глоток. — Нашел с кем пить. Они тебя на удобрение пустить хотят, а ты с ними в казино всю ночь дурью маешься... Ты хоть помнишь, что Ромке наговорил?

Игорь молчит, вздыхает, тоскливо смотрит на бутылку. Я снова наливаю ему, теперь уже, в соответствии с правилами грамотного опохмела, побольше и решительно убираю виски в шкаф. Он грустно провожает выпивку взглядом, глотает налитое, высоко поднимая толстое дно стакана и двигая кадыком, минуту переживает ощущения. Я знаю, что в нем сейчас происходит, как оживают все его внутренние органы, как они начинают работать в почти нормальном режиме, так, что их

деятельность перестаешь замечать, как проходит озноб и возникает необыкновенная бодрость, эйфория похмелившегося, ко второй половине дня она кончится и ему снова станет плохо, потянет лечь, начнет ломать, но тогда уж надо терпеть и больше сегодня не пить, иначе запой...

— Да ничего я не говорил, с девками какими-то шампанское сдуру пил и анекдоты травил... У тебя сегодня работы много? — спрашивает он, хотя отлично знает, что у меня уже давно не бывает много работы.

— А у тебя? — отвечаю вопросом я, и мы грустно смеемся, потому что я знаю, что и его практически отстранили от дел, фактически производством руководит Шмидт, а по периферии с инспекциями непрерывно мотается Толя Петров, умеющий жестко и холодно обуздывать быстро наглеющих без повседневного присмотра конторы местных начальничков. — Скучно быть министром без портфеля, а?

— Ни черта не скучно! — Лицо Игоря приобретает выражение тупого упрямства. — Хочет чурка нас в стороне держать, и пусть, все равно он нас боится, потому что у нас в руках есть реальные рычаги... И ничего он с нами не сделает, времена не те, в стране порядок, бандиты не все решают...

— Вчера ты по-другому говорил! — Меня разбирает злость на никак не взрослеющего друга, он все тот же болтун, каким был, когда торговали мы грузинскими водолазками, он придумывает удобную жизнь, чтобы не бояться реальной. — И зря ты Рустэма чуркой называешь. Шпионки в предбаннике нет? Ну, это ничего не значит, теперь техника знаешь какая...

Я указываю на потолок, из которого торчат датчики пожарной сигнализации. Игорь откровенно пугается.

— Это ж от пожара, разве нет? — спрашивает он, сразу понизив голос. — Или ты действительно думаешь, что они нас слушают?

— Может, от пожара, — злобно мучаю я его, — может, и не только от пожара...

— Слушай, пошли отсюда, к чертовой матери! — предлагает он решительно. — Делать все равно не фига. И кому, в конце концов, мы должны отчитываться? Пусть он помучается, пусть гадает, с какими именно братками мы поехали договариваться...

— Ты забыл? В три собираемся по ситуации на северных участках, там плохие дела, морозы, с транспортом беда, смены на работу доехать не могут. Твой вопрос, между прочим... — Я демонстративно берусь за бумаги, поворачиваюсь к компьютеру, сегодня Игорь раздражает меня больше обычного. — Я б на твоём месте пошел готовиться к совещанию.

Он встает, минуту топчется возле двери и, поняв, что разговор прерван окончательно, тихо выходит. Мне тут же становится его жалко, но ему действительно надо бы подготовиться к разговору у Рустэма.

В предбаннике чувствуется некая жизнь, видимо, вернулась на место секретарша. Я нажимаю кнопку и отдельно говорю в микрофон:

— Кофе, Екатерина Викторовна, пожалуйста.

Через минуту она вносит чашку и вазочку с печеньем на подносе, меняет пепельницу на чистую и снова исчезает. Интересно, что из нашего разговора она слышала, думаю я, она вернулась от Розы раньше, чем Игорь назвал Рустэма чуркой, или позже?

Бумаги представляют собой очевидный мусор.

Какие-то проходимцы из неведомого фонда просят денег на благотворительный концерт в пользу сирот последней войны, обещают большую рекламу на телевидении и на улицах, предлагают встретиться для переговоров. Реклама нам совершенно не нужна, деньги, процентов семьдесят, они украдут... Заглядываю в компьютер — так и есть, это уже третье письмо от них, раньше предлагали сотрудничество в предвыборной кампании в сибирской области, где у нашей конторы есть интересы, и создание цветного еженедельника, развлекательного, но при этом прокремлевской ориентации, которая, видимо, им кажется выгодной для нас. Названия организаций на всех трех письмах разные — фонд, общественное объединение, издательский дом. Но рядом с должностью подписавшего — президент, председатель, генеральный директор — стоит одна и та же фамилия. Не то наивность, не то наглость... И последнее письмо они тоже зачем-то продублировали электронной почтой, идиоты, вот оно... Не буду отвечать. С ними только начни переписываться, не отвяжутся.

Что еще? Приглашение на заседание торгово-промышленного совета, приглашение на имя Рустэма, но он переадресовал его мне с резолюцией на сопроводилке: «Г-ну Салтыкову М.Л. Прошу рассмотреть необходимость нашего участия, если требуется, пойдешь сам». Он пишет удивительно грамотно для закончившего горный техникум уроженца города Орджоникидзе, но всегда сбивается с официального тона современных документов на райкомовское «ты». Идти не хочется — несколько часов пустой напыщенной говорильни, которая нужна только верхушке совета, изображающей деятельность в ожидании очередных выборов, когда поддержку мощной деловой организации можно будет продать за приличные деньги какому-нибудь кандидату... Потом банкет, на котором все будут решать свои маленькие проблемы, объединившись по двое-трое...

Снимаю трубку прямого с Рустэмом.

— Слушаю тебя, Михаил Леонидович, — отвечает он, и опять на меня веет глубокой советской древностью от его мягкой важности и «ты» в сочетании с именем-отчеством.

— Рустэм, не пойду я на совет, — говорю я, не здороваюсь, у меня нет сил даже на простую вежливость, — нечего там делать, одна болтовня.

Он дослушивает фразу до конца и еще несколько секунд молчит, так что мои слова повисают в воздухе и я начинаю нервничать. Хорошую школу прошли эти ребята в комсомоле.

— Ну, смотри, — наконец произносит он безразличным тоном, — я бы сходил, если б время было. Неловко, если компания не будет представлена вообще, там все соберутся.

Он умеет многое вложить в самую невинную фразу, следует отдать ему должное. Например, у него нет времени, а у меня есть — напоминание о том, что в ежедневных делах конторы я почти не участвую.

Мне и спорить лень. Черт с ним, пропадет полдня, потерплю в очередной раз унижения — никто на банкете не будет тащить меня в сторонку для делового разговора, потому что уже многие, если не все, знают о моей реальной роли в компании, буду стоять в углу, как посторонний, и только к концу кто-нибудь из таких же, как я, чудом сохранившихся стариков подойдет чокнуться, вместе вспомнить героические коопера-

тивные времена... Ладно, схожу, говорю я отвратительно покорным тоном, как шофер, которого послали за сигаретами, и вешаю трубку.

Еще какой-то странный конверт, явно не делового, а частного письма из Штатов. Незнакомый обратный адрес, никогда прежде не встречавшееся название какой-то американской деревни, штат Нью-Джерси, ничего не говорит и фамилия — Mrs. Berkovitch. Не знаю я никакой миссис Беркович... Но адрес моей конторы правильный, написан грамотно по-русски и явно русским человеком — сначала Russia, потом «Россия, Москва» и так далее в русском порядке, а не начиная с фамилии. Я вскрываю конверт, разворачиваю листки, исписанные с двух сторон крупным старческим почерком, и, только дочитав почти до конца первую страницу, понимаю, кто меня разыскал.

«Здравствуй, Мишенька! Ты, конечно, очень удивишься, получив это письмо. Я не помню, знал ли ты мою фамилию по мужу, кажется, не знал. Да, когда я тебе звонила перед отъездом, ты даже вообще не спросил, с кем я еду и каким образом меня, чистую русскую, выпускают в Израиль. Не до того тебе тогда было, и, наверное, ты вдобавок еще боялся, что я снова полезу со своей любовью, затею долгое прощание. Зря ты боялся, уже тогда все прошло, а сейчас я вспоминаю нашу молодость и те три или четыре месяца с удовольствием, потому что на самом деле было очень хорошо. Мы уехали сначала действительно в Израиль, прожили там двенадцать лет, там у нас выросли сыновья, они погодки, родились еще в Союзе, теперь я живу со старшим Мишкой и его детьми, у меня три внучки, две от Мишки и одна от младшего, Сёмки, его покойный Гриша, мой муж, в честь своего отца назвал. Все девчонки похожи на меня, такие же азиатки. В Израиле Гриша работал в большой государственной фирме, он был хороший инженер-химик, а я сидела дома, только иногда делала переводы с английского для израильских русских газет, там переводчики не нужны, английский все знают. Мальчиков удалось послать учиться в Штаты, они здесь и остались, смогли получить гражданство, у обоих хорошая работа, они оба работают с РС, не знаю, как это теперь у вас называется, персональные вычислительные машины? Потом Гриша заболел, у него был

рак желудка, сначала лечился в Израиле, там очень хорошая медицина, а потом, когда стало ясно, что уже недолго, мы решили поехать в гости к мальчикам, чтобы он повидался с детьми, и здесь все пошло быстро, он умер, а я осталась и вот уже десять лет живу здесь. У меня появился сахарный диабет, а в остальном все хорошо. Но ты, конечно, не узнал бы сейчас ту Таню, к которой бегал на Котельническую набережную...»

Я читаю письмо и удивляюсь, что ровным счетом ничего не чувствую, кроме некоторого интереса к чужой мне жизни, которая вот прошла где-то вдалеке, со всеми обычными заботами, горестями и мирными радостями, и сейчас она кончается в американской глуши, а я читаю нелепое письмо незнакомой старухи и не чувствую ничего. Отложив листочки, я пытаюсь вспомнить Танино лицо, но картинка не появляется, я помню, что у нее были узкие темные глаза, но не могу их увидеть, я пробую вообразить комнату с задернутыми шторами, смятую простыню на широкой кровати, желтоватую ее кожу, изгибающееся тело — и не могу разглядеть в исчезнувшем времени ничего. Фотография не возникает, память подсовывает только складывавшиеся в невыразительное описание слова.

«...сын одной моей подруги, я с ней познакомилась уже здесь, его business связан с Россией, и вдруг однажды, когда я была у них в гостях, он, рассказывая о поездке в Москву, упомянул твою фамилию, у него какие-то дела с твоим учреждением, я вздрогнула, спросила, как зовут, и все совпало. Я не удивилась, потому что так и знала, что в этих ваших новых обстоятельствах у тебя будет все в порядке, ты ведь еще тогда, почти сорок лет назад, был энергичный юноша. Я помню, как ты и твои друзья все время покупали что-то, продавали, сидели у меня на кухне, разговаривали, водку пили. Как они? Один был смешной, толстый и красноносый, а другой красивый парень, не помню уже имен. И я попросила у этого мальчика, сына моей подруги, твой адрес, у него была визитная карточка, там по-английски написано, что ты vice-president, это правда? Будет время, напиши, как живешь. Я вспоминаю, как у нас все было, с радостью, нет никакой обиды. Твоя старая знакомая Таня. Ты так и остался с твоей тогдашней женой? Она все такая же красавица, как ты тогда считал? Сколько у вас детей? Извини, что спрашиваю, старушечий интерес. Т.»

Дочитывая письмо, я уже не пытаюсь мысленно увидеть Таню, полутемную ее комнату, дом возле высотки на Котельниках — да цел ли он?.. Мне уже не до того — ужас охватил меня, когда я дошел до слов «сорок лет назад». Ужас, сорок лет, целая огромная жизнь, правильно, Нина тогда была беременна Ленкой, а сейчас ему тридцать девять, ужас, прошла жизнь, мы все старые, совсем старые, а Тане все еще интересно, действительно ли красива моя жена, жизнь прошла, а на другом краю света сидит бабушка троих внушек, и ревность дергает ее душу, как дергает и ноет недолеченный зуб, и ради одной фразы, одного вопроса в приписке она посылает длинное письмо человеку, лица которого тоже, конечно, не может вспомнить, как я не могу вспомнить ее лица.

Стоя у окна и глядя на утрамбовывающиеся перед светофором машины внизу, я выкуриваю сигарету. Жизнь продолжается до самого ее конца, вот и страсти уже потеряли саму свою сущность, а все еще тлеют, не хотят гаснуть, как окурочек, недостаточно сильно придавленный в пепельнице, и тянется вверх едкий синий дымок, и противный запах тлеющей бумаги распространяется вокруг...

Докурив, я возвращаюсь к столу, раздавливаю окурочек на дне пепельницы в труху, вкладываю письмо в конверт и рву все в мельчайшие клочки, которые не удастся сложить даже Екатерине Викторовне. Я чувствую некоторую театральность поступка, но извиняю себя тем, что зрителей нет.

До трех еще остается полчаса, надо бы перекусить, но мне не хочется идти в конторский кафетерий, где для начальства выделена — в лучших отечественных традициях — отдельная комната, еду в которую подает официантка. Там наверняка сидит над пустой чашкой, уже давно покончив с кофе, наша очаровательная Верочка Алексеева, небрежно сыплет сигаретный пепел на свою роскошную юбку, болтает вроде бы о всякой чепухе с Валерой Гулькевичем или с непробиваемо молчаливым Толей Петровым, вроде бы о совершенно невинных вещах, о каком-нибудь столике, который она для своей и без того изысканно шикарной, но бесконечно совершенствующейся квартиры раскопала в антикварном салоне, а на самом деле воспитывает мальчиков, внушает им правильные мысли. Придется здороваться, Верочка предложит подсесть... К чер-

ту. Лучше эти полчаса я посижу без них, спокойно. Я прошу у секретарши еще кофе, когда она ставит на стол поднос — на нем теперь, кроме печенья, тарелочка с бутербродами, мой любимый камамбер аккуратно намазан, Екатерина Викторовна хорошая секретарша — и уходит, запираю дверь, наливаю, не раздумывая и не разглядывая стремительно пустеющую бутылку, сразу полстакана соломенно-желтого «Гленливет» и с удовольствием начинаю варварский одинокий ланч.

Сегодня сердце не проваливается, не донимает меня, я даже забыл о нем.

Полчаса удовольствия, без мыслей о том, что будет.

И без мыслей о том, что было.

Не было ничего. Не было никакого письма, не было никакой Тани, не было жизни — а то, чего не было, не может кончиться, и не о чем тосковать.

Комната, где собирается совет директоров, круглая, она находится в низкой широкой башне, надстроенной над углом нашего здания. Как Рустэм и его Магомет смогли выбить разрешение архитектурных властей на это безобразие, неизвестно, но изумительный доходный дом постройки предреволюционных лет изуродован бесповоротно.

Народ подтягивается в течение пяти — десяти минут, в это время Роза Маратовна и еще какая-то девочка, работающая у нее на подхвате, разносят чай и кофе. Перед стулом Рустэма ставится его особая чашка, он пьет какой-то травяной отвар по рекомендации модного врача, у которого теперь все лечатся. Я благодарю, отказываясь и от кофе, и от чая, придвигаю к себе пепельницу и закуриваю первую на совещании сигарету. Часа за полтора, которые мы наверняка просидим, я выкурю штук пять... Я курю и, как бы глядя в пространство, рассматриваю садящихся вокруг овального стола, посередине которого, в специальной дырке, целая клумба мелких пестрых цветов — они растут в большом керамическом корыте, вставленном в дырку. Почему-то эти цветы меня ужасно раздражают, хотя я признаю, что выглядит все красиво.

Прямо напротив меня сидит Валера Гулькевич. Он отодвинулся от стола, ногу в обтягивающих джинсах закинул на ногу не по-нашему, а положил голенью на колено — когда только эти ребята научились так, по-американски, сидеть? Впро-

чем, я и сам теперь так иногда сижу — удобнее, яйца не сдавливаются... Рядом с Гулькевичем Гарик Шмидт, полный молодой человек, при своей фамилии похожий не на Штольца, а на Обломова, круглое, кажущееся на первый взгляд добродушным лицо, и только взгляд совсем не обломовский, твердый и холодный. У толстяков часто бывают злые глаза... Гарик всегда ходит в строгом костюме, костюм хороший, наверняка сшит на заказ у итальянского портного, но на расплывшейся, расширяющейся книзу фигуре сидит плохо. Под пиджаком у Гарика не рубашка с галстуком, а тонкая черная фуфайка под горло. Это модно, но на нем, при его короткой шее, выглядит ужасно. Рядом с Рустэмом, безукоризненно элегантным — синий костюм, голубая рубашка с белым воротником, стянутым лялочкой под лимонно-желтым галстуком, — устроился, разложив перед собой папки, электронную записную книжку, сигареты, зажигалку, Рома Эпштейн. Модная щетина на его щеках поблескивает светлой медью, волосы на голове острижены не длиннее щетины и тоже сверкают красивой рыжиной, узкие прямоугольные стекла очков сияют — весь он словно подсвечен, как подсвечивают теперь большие дома на центральных московских улицах. Идеальный экземпляр молодого российского топ-менеджера, и сходство, несмотря на щетину, с вундеркиндом-отличником, героем школьных математических олимпиад, нисколько не снижает его образа. Я смотрю на него и думаю, что из жизни меня вытесняет даже не Рустэм, а именно такие, как Рома, без комсомольского и вообще советского прошлого, не знающие никакой другой действительности, кроме нынешней, и потому приспособленные к ней абсолютно. Собственно, они и есть эта действительность... Между Эпштейном и Петровым изящно, держа прямую спину, сохраняемую в фитнес-клубе, помещается Верочка Алексеева. Сегодня на ней немыслимая стеганая кацавейка, похожая на наряд бомжа, только стоит это уродство, прикидываю я, никак не меньше полутора тысяч и куплено либо в Москве, где-нибудь в Столешникове, либо на Фобур Сент-Оноре. Верочка непрестанно курит, вокруг нее дым, летит пепел, лицо у нее серьезное, выражающее глубокую озабоченность делами компании. Если бы у меня спросили, кого на свете я боюсь больше всего, я бы назвал Верочку Алексееву,

не задумываясь. Улыбнется нежно в лицо, прикоснется ласково к плечу — и сживет со свету, уничтожит, если только почувствует угрозу себе, тень угрозы... Толя Петров, невысокий, с гладко зачесанными черными волосами и очень правильными чертами лица мужчина — его никак не назовешь молодым человеком, хотя ему едва за тридцать, — сосредоточенно читает разложенные перед ним двумя стопками бумаги, быстро переворачивая прочитанный листок и перенося его из правой стопки в левую. Он будет докладывать. Ходит Толя во всем сером, серый однотонный галстук на серой рубашке, темно-серый вполне приличный костюм — так сейчас носят, но на нем эта одежда не выглядит модной, а кажется спецовкой. Общение с ним почти невозможно, он никогда не начинает разговор сам, на вопросы отвечает тихо и односложно, в коридорах конторы появляется редко и идет быстро, глядя мимо встречных и отвечая на приветствия почти беззвучным «здравствуйте». Я представляю себе, как вдруг лопаются ткань на рукаве его пиджака, расходятся кожа и багровые мышцы, обнаруживается стальной скелет... Говорят, что начальники наших провинциальных отделений, запуганные им насмерть, и зовут его «терминатор»... А рядом со мной сидит Киреев, надевший ради совещания пиджак, но узел галстука так и не подтянувший, идиотская манера ходить с распущенным галстуком, как Жириновский. Мы всегда сидим рядом, Игорь говорит, что так мы образуем фракцию маразма.

Я пытаюсь представить, как выгляжу сам со стороны, ну, например, в глазах Верочки. Одет вроде бы прилично... Но, вероятно, на взгляд современных тридцати — сорокалетних, слишком тщательно и обдуманно. Ладно, это сойдет, вон Рустэм вообще выглядит, как реклама Бриони. А вот лицо... Куда денешь выражение обиды, обиды на весь мир и презрения к нему, которое, я знаю, никогда не сходит с моего лица, куда денешь страдание, которое в опущенных уголках губ, в клоунской гримасе... Плохо. Я снова закуриваю, я знаю, что лицо мое разглаживается, становится невыразительным, спокойным, когда я курю, пью, читаю — словом, занимаю себя чем-нибудь.

Я не слушаю Петрова. Зачем он читает свой доклад, неизвестно, текст был разослан по внутренней сети всем членам

совета директоров, каждый мог прочитать его на своем мониторе, а сейчас можно было бы уже начинать обсуждение. Но у нас любят старые советские порядки, потому что других порядков Рустэм со всем его международным лоском не знает, вернее, знает, но не может принять. И молодые уже привыкли к этим дурацким обычаям и будут их сохранять, и райком не умрет никогда. Поэтому у нас совещания делятся бесконечно, поэтому выступать все начинают с общих правильных слов, только вместо «решений партии и правительства» почтительно поминают «интересы компании», поэтому сейчас все демонстрируют интерес и внимание, слушая то, что с утра прочли.

А я думаю о том, чем эти ребята, которым сейчас между тридцатью и сорока, отличаются от нас, какими мы были в свои тридцать — сорок. Ну, во-первых, пьют меньше, некоторые вообще не пьют. Понятно — некогда, есть реальное дело, от которого реально зависят реальные деньги, кто ж будет от такой жизни уходить в безумие и болтовню за бутылкой... Во-вторых, бабы, насколько я могу судить, их вообще не интересуют. Не знаю ни об одном романе, мучительном адюльтере, тяжелом разводе, которыми постоянно маялось мое поколение. Похоже, что этим вполне хватает голых в журналах и на видео, а в жизни иногда похороваются с какими-нибудь полумоделями-полублядями, глотнув литр-другой пива в модном клубе или борделе под именем сауны, и в середине ночи — домой, к семье... Все женаты, у всех уже по двое, а то и по трое детей, а мы рожали по молодости одного, и на того сил еле хватало... Единственная слабость, которой они подвержены не меньше нашего, — все курят, и курят помногу. Перед каждым, кроме Рустэма, — он давно избавился от всех пороков, наш стальной Рустэм — лежит пачка «Парламента лайт». Несколько последних лет я тоже курю «Парламент лайт», а когда мне было столько, сколько им сейчас, я курил кубинские, сладкий горлодер «Партагас» или «Рейс»... И у всех прекрасный английский, даже Рустэм говорит довольно сносно и вполне свободно читает, непонятно, когда выучил, я с моими остатками университетского «отлично» стесняюсь при них рот открыть, а уж другие мои ровесники... Игорь дорогу спросить не может, а ведь учил в советском

институте. Нет, он, кажется, в «Керосинке» немецкий учил. Так и немецкого не знает...

Полным ходом уже идет обсуждение доклада. Уже выступил с весьма толковыми соображениями Гарик Шмидт, уже Рома объяснил, адресуясь, конечно, к одному Рустэму, как решить проблему наиболее современным образом, в соответствии с западными принципами организации аналогичных производств, уже Верочка сделала несколько исключительно точных и разумных замечаний, и теперь говорит Игорь. Говорит он, естественно, невнятно, жует слова, но я слышу, что предлагает он вещи вполне резонные, если его послушаются, затраты будут ничтожными. Рустэм смотрит на Игоря Ивановича — только меня и Киреева здесь называют по имени-отчеству, даже Рустэма все зовут просто Рустэмом — с доброжелательным интересом. Как будто слушает ребенка...

Очередь доходит до меня. Я пожимаю плечами, как бы давая понять, что мне нечего существенно добавить к уже сказанному, и то же самое произношу вслух: Толя все изложил исчерпывающе, если учесть сказанное Игорем Ивановичем, Гариком, Ромой и, конечно, очень важные замечания Верочки, можно быстро, за пару дней, разработать план мер и начать его реализовывать без дополнительного обсуждения.

Рустэм, слушая мою краткую речь, опускает глаза, рассматривает лежащий перед ним толстый блокнот в черном кожаном переплете. Мне кажется, что он боится встретиться со мной взглядом. Может быть, просто не хочет, чтобы я увидел в его глазах то, что он думает обо мне, глупом старике, прямо стоящем поперек его, Рустэма, прямой и гладкой дороги. Отличное широкое шоссе, никого впереди, уже видна, поднимается над горизонтом давно выбранная цель — и вдруг это чучело, не желающее уйти, исчезнуть, провалиться в ничто, как положено всем, кто стоит между Рустэмом и целью...

— Значит, решили. Толя, все предложения сведи и сядем с тобой послезавтра с утра, закончим с этим, — одной фразой подводит итог Рустэм. Большого интереса к проблеме нет, кажется, и у него.

Все встают, отодвигая стулья.

— Михал Леонидыч, — говорит Рустэм через стол негромко, так что в общем шуме никто, кроме меня, его, по-

жалуй, не слышит, — зайдй, пожалуйста, ко мне... Прямо сейчас.

По конторе ходили слухи, что на отделку и меблировку его кабинета ухнули сто тысяч. Я знаю точно, что шестьдесят, мне не жалко этих денег, куда больше тратится, к примеру, на идиотские маркетинговые исследования, совершенно ненужные, наш бизнес можно делать без всяких исследований, цены за баррель газеты публикуют, но Верочка связывается с самыми дорогими западными фирмами, сама месяцами сидит в Лондоне и Франкфурте. Черт с ними, с деньгами, просто мне не нравится кабинет Рустэма, декорированный модным дизайнером, как молодежный клуб — полированный металл, стекло, гладкие светлые поверхности... Думаю, что и самому Рустэму это не очень нравится, откуда у него такой вкус, ему бы тяжелую полированную мебель, ковры, какие он когда-то видел в кабинете первого секретаря обкома, попав туда единственный раз в составе комсомольского актива. Но он старательно следит за модой и терпит эти кресла, похожие на медицинское оборудование, эти картины с расчлененкой, развешенные на белых стенах, как терпит итальянские темные костюмы и двухсотдолларовые галстуки «семь слоев», хотя, я уверен, с удовольствием ходил бы в турецких трениках.

— Садись. — Он указывает на кресло. — Кури, если хочешь.

Предложение курить — значительный жест, в своем кабинете он не позволяет этого никому, кроме иностранцев, но они в большинстве и сами не курят. Рустэм тоже садится в кресло для гостей через кофейный столик от меня, подвигает, чтобы мне было удобней, по стеклянной столешнице девственно чистой пепельницу из куса полированного алюминия.

— Слушай, я чего удумал. — Он говорит по-русски очень чисто, без малейшего акцента, почти без современного жаргона, а в таких личных беседах любит употреблять простые, даже старомодно простонародные обороты. — Давай сегодня вечером завалимся куда-нибудь, посидим, выпьем? Давно не отдыхали по-человечески, я уже озверел. Ребяток позовем, Верочку, Игоря Иваныча... Как ты смотришь?

Адресованное мне абсолютно непьющим человеком предложение выпить звучало бы комично, не исходи оно от Рустэ-

ма. В его словах и поступках искать смешную сторону глупо, ничего смешного он никогда не делает. Чтобы подумать минуту, я начинаю долго закуривать — ищу по карманам сигареты, потом зажигалку, как бы не найдя ее, беру настольную и кручу в руках, вроде не могу понять, как она действует...

Совершенно очевидно, что он собирается вечером, в неслужебной обстановке, начать разговор о чем-то серьезном и важном, а поскольку никаких важных дел я в последнее время не веду, говорить будем все о том же — о нашем с Игорем выходе из бизнеса. Так... Наверняка у него уже есть, как теперь говорят по-американски, «предложение, от которого мы не сможем отказаться». Если не ходить, ситуация только усложнится, проблема останется, он начнет действовать в полную силу без предупреждения, а нам с Игорем будет только хуже, против Рустэма и в открытую играть мало кому удастся, если же его козыри будут совсем неизвестны, шансов у нас не останется. А в разговоре можно будет попытаться хоть что-то уловить...

— А куда пойдем? — Я специально спрашиваю о чепухе, тяну время. В конце концов, лучше вечером поговорить прямо, насколько это возможно, с ним, чем выслушивать наглые глупости от Ромы Эпштейна.

— Я думал, может, в «Пушкинь»? — Рустэм заглядывает мне в глаза, как будто действительно заинтересован в моем мнении. — Там прилично, шпаны нет...

Место не имеет в этом случае для меня никакого значения, но я делаю вид, что обдумываю. Надо будет до вечера поговорить с Киреевым, предупредить его, чтобы сосредоточился, не пил за столом, взвешивал каждое слово, а лучше вообще молчал бы побольше. Хотя иногда его дурь оказывается не такой уж дурью и срабатывает лучше любой шахматной хитрости.

— Михал Леонидыч, я знаю, о чем ты думаешь, — говорит Рустэм, я вздрагиваю, и он наверняка замечает это, но, конечно, никак не обнаруживает. Он смотрит на меня грустно, я знаю этот его беспомощный взгляд, вызывающий доверие и сочувствие к закомплексованному, мягкому человеку, за которого его принимают многие из тех, кто не знаком с Рустэмом Ибрагимовым десять лет, как я. — Ты ведь на меня

до сих пор из-за того случая обижаешься, да? Когда я грубость допустил в Лондоне. И Игорь Иванович, мне кажется, тоже обиду помнит. А что я могу сделать? Что? Хочешь, еще раз извинюсь и перед ним извинюсь, хочешь? Ну, мужики, вы же взрослые люди, вы же можете понять... Думаешь, мне самому мой кавказский характер нравится? А что я могу сделать — год держусь, потом срываюсь, в башке все кругом идет, как будто дури накурился, людей обижаю... Ну, извини, что еще сказать?

Я машу рукой, мол, ладно, нет давно никаких обид. Их и действительно нет и тогда не было, а было вполне трезвое желание показать зубы, чтобы опасался хамить, как холоуям, чтобы понял, что с нами пока не так просто управиться, как ему представляется. Обижаться на Рустэма глупо, как глупо обижаться воробью на крадущуюся к нему кошку — надо быстренько взлетать, если успеваешь.

— Ладно... — Я встаю. — Договорились. Пойду, перечитаю Толин доклад. Мне кажется, Игорь прав, там не надо ничего изобретать, все просто решается, надо у военных машин купить десятка полтора, они их за гроши отдадут, вот и вся проблема транспорта.

— Да я и сам так думаю. — Рустэм улыбается во весь сверкающий швейцарскими зубами рот. — Наши молодые все через жопу любят делать, все на американцев смотрят, если их слушать, надо на каждом участке рабочим поселок строить, как на Марсе, знаешь, в фантастике показывают? Так у нас тогда и себестоимость будет, как у американцев, даже больше... Ну, все. Часов в девять поедем.

По дороге к себе я заглядываю в маленькую приемную Игоря. Его нет, секретарша говорит, что сразу после совещания он уехал на какую-то встречу, какую, не сказал, обещал быть, если успеет, к концу дня, часам к восьми. Странно. Какая еще неожиданная встреча может у него быть? Он вроде никуда с утра не собирался, мечтал день как-нибудь прожить после вчерашнего...

Перечитывать доклад Петрова мне не хочется, и так все ясно. А вот Танино письмо я бы перечитал, но оно порвано, и мелкие клочки лежат под столом, на дне корзины.

Глава шестая. Ключи

Когда Таня позвонила, мне было совсем не до лирических воспоминаний.

Полным ходом шли дела в нашем «Топосе», мы, Женька, Игорь и я, совершенно обалдели от круглосуточной работы и сыплющихся килограммами тогдашних денег — помню, однажды дневной доход не уместился в старый Женькин фибровый чемодан с металлическими уголками, и, прежде чем ехать к нашему меняле, индусу из посольства, мы принимали пачки, и я давил на крышку ногой, чтобы защелкнуть замки. В нашей конторе, арендованной у жэка полуподвальной комнате, где до этого сидели дежурные сантехники, на кривых фанерных столах валялись накладные на идущую в Польшу селитру, а в маленьком окошке, выходящем на бывшую детскую площадку, огороженную теперь сетчатым забором, были видны «опели» и длинноносые «ауди»-«сотки», только что пригнанные нашими машинами из Голландии и уже подкрашенные по ржавчине...

Задрезжал много раз битый, обмотанный синей изоляцией телефон. Я снял трубку и услышал вроде бы знакомый женский голос, но чей именно, понять сразу не смог.

— Привет, Салтыков, — повторила она, — не узнал? Это Таня...

Я едва не спросил, какая Таня, но успел сообразить вовремя. Впрочем, то, что я спросил, было не лучше.

— Привет, — сказал я, не успев изобразить хотя бы вежливую радость, — а как ты меня нашла?

— Дурак ты, Мишка, как был дурак, так и остался, будь ты трижды доктор и профессор. — Она засмеялась, и тут я сразу увидел ее лицо, темные узкие глаза без зрачков, ставшие от смеха еще уже, и рука моя, державшая трубку, стала влажной. — И как ты, такой дурак, в кооператоры пошел? Хотя тебя и раньше на всякую дрянь тянуло... Я тебя нашла, чтобы попрощаться, понял? Уезжаю, а то не искала бы. Двадцать лет не искала и дальше жила бы без твоих дурацких вопросов...

— Куда уезжаешь? — Я действительно не понял да и не очень пытался понять, я хотел только прервать этот разговор,

потому что чувствовал, как некстати все это — дрожащая рука, воспоминания о комнате со смятой постелью, все, что уже начинается. — Да ты как живешь? Где, что?

— Никак я больше здесь не живу. — Она уже не смеялась, а я с облегчением почувствовал, что сейчас разговор наш и закончится. — Уезжаю я от вашей перестройки, от всего этого безобразия... А как я все годы жила, тебя ведь не интересуешь, правда же? Раньше не интересовался, ну, и не притворяйся. Будь здоров, Мишка. Поосторожнее здесь — вас, кооператоров, убивают каждый день. Ну, прощай. Да, вот еще что: ты тогда думал, что это я про ваши дела, куда надо, стукнула. Помнишь? Ну, так знай, что не было этого. Хотя, если б додумалась, может, и стукнула бы... Я тогда тебе смерти желала. Ну, все. Пока. Больше уж точно никогда не увидимся. Живи...

Я тогда долго сидел в нашем подвале один. Женька с Игорем носились где-то, по каким-то главкам и производственным объединениям, обламывали начальство, поили в первых кооперативных кабаках нужных министерских людей, а я, вместо того чтобы заниматься делом, сидел, бессмысленно глядя в пространство, и думал, что этот звонок не последний, что обязательно еще что-нибудь подобное случится в ближайшее время.

Я не ошибался, я вообще многое предчувствую, эта способность вдруг увидеть то, что будет, словно оно уже произошло, проявляется и сейчас, только какая от нее польза? Изменить будущее все равно нельзя... Впрочем, я пытаюсь.

А тогда я подумал, что надо бы подготовиться к любым неожиданностям, но как-то сразу забыл об этом. Танин звонок уже на следующий день стал расплываться в памяти, стирались слова, я уже не слышал ее голоса, а через неделю текущие хлопоты и неприятности и вовсе вытеснили любые человеческие мысли — остались только старания перехитрить проклятых поляков, норовивших обдурить на каждом долларе, да попытки успокоить упрямых шоферюг, пригнавших очередную партию металлолома и требовавших денег немедленно...

И тут телефон зазвонил снова, и я услышал голос Лены, и его-то я узнал сразу.

Она исчезла из института незаметно, еще до моего ухода. К тому времени мы виделись совсем редко, ее вроде бы по производственной необходимости наш умный старый директор перевел в другую лабораторию, он не знал, что я уже всю занят кооперативом и вот-вот сам уйду — тогда такие вещи люди скрывали до последней возможности, как постыдную болезнь. С нею мы иногда сталкивались в коридоре или у входа в столовую, кивали, не глядя друг другу в лицо, и молча расходились. И не могу сказать, что мне — не знаю, как ей — это давалось тяжело. Все умерло под тем взглядом Нины. И про увольнение Лены из института я узнал случайно, говорили с заведующим лабораторией, в которую ее перевели, о том, что народ из института бежит, — думаю, он пытался проверить слухи, которые, конечно, уже пошли и обо мне, в институте ничего нельзя было утаивать долго. И он среди других назвал и ее фамилию. Уволилась, а куда пошла, неизвестно, просто забрала трудовую книжку. То ли будет на улице торговать, как уже многие торгуют, нашей с ним зарплаты теперь на хлеб не хватает, а что мэнэсам делать, то ли уезжать собралась, многие бегут от ожидающихся со дня на день погромов, причем не только евреи...

И опять я ничего не почувствовал, словно и не было наших с нею пяти лет, слияния, невозможности прожить день врозь. Я тогда весь ушел в планы кооператива, с Игорем и Женькой сидели ночами, пытались проникнуть в суть совершенно незнакомой нам — да и кому тогда была знакома эта суть? — деятельности, решали, что лучше вывозить. Что ввозить, было понятно сразу, все тогда кинулись на подержанные машины и компьютеры...

Теперь она позвонила. Спокойно, будто в последний раз говорили вчера, а не полтора года назад, поздоровалась — «здравствуй, это Лена, говорить можешь?» — и сказала, что муж наконец получил давно ожидавшееся приглашение на год, организовал все его коллега-биолог, с которым они независимо друг от друга много лет занимались одной темой, и теперь этот австралиец...

— Кто-кто? — перебил я, изумившись, Австралия тогда не фигурировала ни в чьих известных мне планах, ехали боль-

ше всего в Германию, Америку, в Израиль, конечно, но в Австралию. — Вы что, в Австралию уезжаете?

Да, спокойно продолжала она, университет в Мельбурне, при нем небольшая научно-исследовательская лаборатория, с ней у мужа годичный контракт, а там видно будет, но австралиец утверждает, что все устроится, потому что их темой могут заинтересоваться военные...

— Австралийские военные? — опять перебил я в дурацком изумлении, еще не совсем понимая, что речь ведь не об Австралии, а о ее отъезде навсегда. — Какие там еще военные? Кенгуру, что ли?

Она вежливо хмыкнула в ответ на мою невысокого пошиба шутку. Нет, не кенгуру, это большая страна, там все есть. Есть шанс, что найдется работа и ей в том же университете, там группа студентов-математиков заканчивает обучение с углубленным русским, возможно, ее пристроят к этой группе куратором, все-таки она математик по образованию и русская. Дочь уже полгода занимается английским с хорошим репетитором, есть надежда, что освоится там в школе за месяц-другой, дети быстро погружаются в языковую среду...

— Давай увидимся, — вдруг сорвалось у меня с языка. — Австралия... Это же черт знает где! Я туда никогда не попаду...

Почему мне тогда так захотелось ее увидеть? Ведь уже прошло все... Не знаю. Не успел, наверное, представить себе возможные последствия. А если б представил?.. Не знаю.

— Давай, — все тем же спокойным тоном согласилась она, потом выяснилось, что она звонила от подруги, которой сказала, что звонит другой подруге. — Когда ты можешь?

Я уже не очень хорошо соображал, глянул на часы — день шел к концу, а на вечер была назначена важная встреча с одним малым из Череповца.

— Давай завтра, прямо с утра, если ты свободна, — предложил я, быстро прикинув, как освободить весь завтрашний день, ребят посвящать, конечно, не буду, скажу, что пойду в поликлинику, у меня уже тогда начинались первые небольшие неприятности с сердцем — вдруг наступало удушье, обливался потом, слабели ноги. Я действительно хотел с утра забежать к знакомой за отделением в академическую поликли-

нику, от которой меня по недосмотру еще не открепили, сделать быстренько кардиограмму... Но это максимум час. — Давай в одиннадцать у «Дома тканей»?

Я назвал место автоматически, раньше мы часто встречались у этого магазина на Ленинском, выйдя порознь из института.

— Давай, — коротко согласилась она, — завтра я свободна весь день.

Ключи от Женькиной комнаты так и болтались все эти полтора года по моим карманам, мы просто забыли о них, и я, и Белый. А теперь я о них вспомнил...

Еще не приткнув мою доживавшую последние месяцы «шестерку» к тротуару, я издали увидел Лену. На ней была новая, очень красивая длинная дубленка с блестящей, выделанной под кожу поверхностью, тогда такие только вошли в моду, их называли «обливными», — вот она, Австралия, уже началась, мельком успел подумать я, узнав ее сразу, причем со спины, даже в этой, не виденной мною раньше одежде. Сразу вспомнил я эту узкую длинную спину, эту манеру поднимать плечи, глубоко засунув руки в карманы, и покачиваться с каблука на носок...

Сев в машину, мы поцеловались в первый раз, и тут же все смазлось, потеряло ясные очертания, я, не замечая ничего вокруг, гнал несчастную железяку, рискуя, что она развалится прямо на дороге. В Женькиной комнате мы кое-как, в четыре руки вытряхнули пыль из наших, пролежавших здесь все время простыней, лихорадочно разделись, стараясь не глядеть друг на друга, и на какое-то время вылетели из действительности, перестали быть отдельными, прожившими немалое время врозь, немолодыми уже людьми и превратились в единое яростное существо, в хрипящее и задыхающееся животное. Все было, как раньше.

...Между прочим, с утра я успел сделать кардиограмму. «Ничего особенного, — сказала, расправляя рыжеватую скручивающуюся ленту и ведя по ней облезлым маникюром, толстая заведованием. — Для вашего возраста и образа жизни вполне прилично... Ну, валидол с собой носите на всякий случай...» И я успел купить валидол в аптечном киоске на первом этаже поликлиники и успел незаметно сунуть кроша-

щуюю таблетку под язык, и Лена, наверное, чувствовала ментоловый запах...

И кончилось через минуту. Она тихонько заскулила, стала царапать мои плечи острыми кончиками ногтей, я оттолкнулся от нее и со стоном рухнул на спину. Лена еле ощутимо притронулась к моему животу, осторожно приложила ладонь, но моя кожа еще была слишком чувствительна, и меня перевернуло, как от слабого удара током.

Потом все повторялось бесконечно, мы не могли остановиться, мы взбесились.

А потом уже совсем не стало сил, и мы лежали рядом, но не касаясь друг друга, и я говорил, зачем-то рассказывал ей о своей жизни то, что не успел рассказать за пять лет, иногда мне казалось, что она заснула, я, приподнявшись на локте, поворачивался к ней, но ее глаза были широко раскрыты, она смотрела в потолок, и в лице ее я не мог разглядеть ни сочувствия, ни понимания, она просто молча слушала, и я ложился снова на спину и продолжал свой отчаянный рассказ.

— Дай мне сигарету, — вдруг попросила она.

Давно, в разгар наших отношений, она бросила курить, как-то постепенно перестала, не прилагая для этого никаких усилий, и теперь я отметил про себя, что это тоже Австралия, наверное, нелегко ей дается отъезд, можно представить, что было в ее жизни за прошедшие полтора года... Пока я тянулся, не вставая, к пиджаку, рылся в карманах, она перелезла через меня и быстро оделась. Достав пачку и зажигалку, я лег, укрывшись до пояса простыней, а она села рядом, на край тахты, спиной ко мне, и закурила, поставив у своих ног на грязный пол какое-то грязное Женькино блюдце вместо пепельницы. Я уже не мог продолжать свой истерический рассказ, меня будто выключили, и наступило молчание, и чем дольше мы молчали, тем невозможнее становилось произнести что-нибудь.

— Вот вся эта история, — наконец, все так же сидя спиной ко мне, заговорила она, — ну... когда кто-то донес этому Носову и твой отец... в общем, то, что ты рассказал о детстве, это мучает тебя всю жизнь... и эта история с Таней, ее звали Таней?.. когда кто-то донес на тебя... вокруг тебя все время одно и то же... предательство, тебя все предают, да?.. зна-

ешь, мне кажется, я понимаю, в чем дело... ты притягиваешь предательство, потому что... не обижайся, но ты ведь сам предаешь всех... ты предал Нину, эту Таню... и меня предал...

Я слушал ее и понимал, что это просто прощение, что так и должно было все кончиться, но от этого понимания мне было не легче, потому что в ее словах был смысл, и у меня не находилось возражений — правда, я и не хотел возражать, нельзя возражать словам прощания.

Впрочем, одно возражение нашлось, и я не удержался.

— Я друзей не предавал, — сказал я.

Лена повернулась ко мне, и тут я заметил, как она изменилась за это время. Точные черты ее лица, казавшегося мне раньше, когда мы виделись каждый день, совсем молодым, стали дрожать и расплываться, словно они были нарисованы неверной, робкой рукой, по бокам подбородка появились чуть заметные мешочки, старость будто выглядывала из-за ее прежнего лица и тут же пряталась. Взгляд был все тот же, внимательный, но за этим вниманием я не увидел напряженного интереса ко мне, той жажды, которая когда-то мгновенно притянула меня и потом столько лет удерживала рядом с нею, — просто внимательный взгляд постороннего человека, такой ловишь иногда на себе в метро... И я почувствовал, что мне уже не хочется продолжать разговор, а хочется только одного — побыстрее одеться и уйти из этой отвратительной, пропитанной пылью комнаты.

— У тебя еще не было случая их предать, — сказала она. — Я не хочу, чтобы тебе пришлось, но если случай будет... Я желаю тебе удержаться.

На том все и кончилось.

Я не помню, как мы попрощались, кажется, я довез ее до метро в центре, и она, прежде чем выйти из машины, вежливо поцеловала меня в щеку.

Подъехав к дому и запарковавшись на обычном своем месте, возле чудом сохраненного Сафидуллиными старого деревянного ларя помойки, я потоптался перед подъездом и не вошел — решил где-нибудь выпить, побыть среди людей. Не очень-то и хотелось, но я чувствовал, что вроде бы должен, все же расстался с большим куском жизни.

По Горького я побрел вниз, на Пушкинской свернул за угол

к забегаловке, в которой бывал часто, там даже тогда, в разгар злополучной борьбы с пьянством и в отсутствие вообще всякой еды, наливали коньяк — правда, омерзительный дагестанский — и варили приличный кофе, а закусить можно было горячим бутербродом с расплавленным сыром, имевшим мыльный запах и вкус.

И уже минут через сорок я жутко напился.

На следующий день ничего не помнил, а уж теперь не помню тем более — подходили какие-то знакомые, вроде бы и я всем рассказывал, что, представляете, вот в Австралию уезжает человек, это ж надо! Потом, кажется, сидел до закрытия один, продолжал пить, рассуждал — возможно, вслух — о предательстве. Я не предатель, упорно объяснял я не то Лене, не то Нине, просто я увлекаюсь, я же не предаю с какой-то целью, а вы все предавали меня сознательно, вы мстили...

Ничего я не помню, ничего я, возможно, тогда никому и не объяснял, это теперь я все придумываю.

А утром я проснулся и увидел, что Нина стоит надо мною и держит связку Женькиных ключей, и я сразу протрезвел, и все понял, и начал что-то городить, уверял, что это ключи от нашего рабочего подвала, но уже потому, что я так сразу начал оправдываться, любому стало бы все ясно, если с чудовищного похмелья человек так складно рассказывает, значит, он врет, а Нина вообще всегда безошибочно чувствовала мою ложь, и уж ее-то обмануть не стоило и пытаться.

— Это снова она, — сказала Нина и разжала пальцы, ключи, тихо звякнув, упали на подушку рядом с моим лицом. — Все снова... Этому не будет конца.

Пожалуй, это были ее последние важные слова, обращенные ко мне. Только какая-нибудь крайняя практическая необходимость может теперь заставить ее произнести фразу или две, но и при этом она не называет меня по имени, а просто общается нечто в пространство. Например, что уезжает — Нина, что бы ни происходило, как бы плохо себя ни чувствовала, раз или два в год ездит за границу. Время от времени она выбирается и просто в город, видится там, насколько я знаю, с немногими оставшимися в стране и имеющими время посидеть с нею в кафе подругами. Но о таких поездках она меня в известность не ставит, я сам, вернувшись вечером, догады-

ваюсь по некоторым признакам, что днем ее несколько часов не было дома.

Но тогда она ошиблась — это был именно конец. Через какое-то время я заметил оцепенение, в которое всегда впадаю в невыносимых ситуациях, так, видимо, устроена моя психика — срабатывает защита от перегрузки, и все отключается. В таком оцепенении, собственно, я нахожусь и сейчас...

Работал я невероятно много, разворачивался кооператив, потом наше первое эспэ, с поляками, потом второе, уже с немцами, потом появился, возник из киреевского прошлого Рус-тэм... Но, кроме работы, уже не было ничего. Женщина могла возникнуть, но это длилось не дольше одной ночи, в какой-нибудь деловой заграничной поездке, переводчица из местных русских или кто-нибудь в этом роде, а через два дня я не мог — и не пытался — вспомнить ни лица ее, ни имени. В Москве мелькали какие-то уж совершенно непотребные, длинные, тонкие, как из рекламы, но с грубыми деревенскими лицами, они появлялись в саунах, без многочасового сидения в которых не обходились тогда никакие деловые отношения, или в ресторанах вдруг почему-то оказывались за столиком, их имен я не только не помнил наутро, но, мне кажется, и не спрашивал, а лиц не видел.

С Ниной мы с того утра стали жить в разных комнатах, она осталась в дядипетинной, а я окончательно обосновался в большой. Мы не разговаривали и почти не виделись — я уходил рано, приходил среди ночи, она еще дорабатывала в своем издательстве, но в основном возилась с верстками и сверками дома. Иногда, сварив себе утром кофе и быстро глотая его на кухне, я видел ее, в коридоре мелькал халат, и я спешил уйти, пока в ванной шумел душ.

И постепенно жизнь застыла, ее уже нельзя было изменить.

А потом был построен дом. Когда я решил его строить, мы, кажется, все же начали разговаривать, Нина оживилась, мы ездили вместе по пригородам, еще не сплошь заставленным особняками, выбирали место, она меняла что-то в проекте... Я надеялся, что жизнь восстановится, уже тогда я хотел только этого. Но после переезда за город стало еще хуже. Не помню точно, наверное, в то время я и начал думать, что она не про-

сто обижена, никакая обида, казалось мне, не может держаться так долго. Не помню, как я уговорил ее пойти по врачам... И врачи подтверждали мое предположение, но как-то невнятно — да, возможно, это болезнь, однако, видите ли, в таких случаях трудно провести границу между тяжелым, но не патологическим состоянием и болезнью...

Почему мы не развелись, зачем я врал, выкручивался, упрашивал, ради чего она мучилась, изводила себя, сходила с ума — но отчего же не расходились? Все знакомые годам к сорока поразвелись, поженились снова, многие и снова развелись... Что удержало нас?

Какое-то время назад я, кажется, понял. И с тех пор больше никогда не задаю себе этого вопроса, уж больно нелеп ответ, до которого я додумался.

Такой любви не бывает, да мало ли чего не бывает, а есть.

Глава седьмая. Сослуживцы

Те, кто знают меня давно — Ленька, Игорь, изредка встречающиеся институтские коллеги, — говорят, что у меня здорово испортился характер. Странно было бы, если б этого не произошло... Я и сам замечаю, что чем дальше, тем больше меня раздражают самые невинные вещи, но поделаться с собой ничего не могу.

Один малый из нашего института, способный был ученый и парень остроумный, стал часто болеть, врачи никак не могли поставить диагноз — то желудок, то сердце, наконец сказали, что тяжелый невроз, уложили в знаменитую в интеллигентских кругах Соловьевку, в клинику, где тогда, в семидесятые, модно было отлеживаться от неприятностей, клали на месяц с лишним и бюллетень давали. Я заехал его навестить, у нас были полуприятельские отношения. Выглядел он прекрасно, все время шутил, говорил, что теперь у него вообще нет нервной системы, осталась одна пищеварительная. Но почему-то было понятно, что не все так хорошо. Я запомнил еще одну его шутку: ну, сказал он, ладно, я верю, что у меня невроз и депрессия, я даже верю, что это можно вылечить таблетками и прогулками перед сном, но разве оттого что я вылечусь, наш ученый секретарь перестанет быть мудаком? Через

год он покончил с собой, на рассвете выбросился из окна своей квартиры на двенадцатом этаже, в которой поселился за месяц до этого, семь лет ее ждал после развода, комнаты снимал...

Вот и я никак не могу убедить себя в том, что вся окружающая дрянь только кажется мне такой, а на самом деле это у меня характер паршивый, старческая брюзгливость и усталость. Ну, например, дикая мода на всякую театральщину в наших дорогих ресторанах, костюмированные официанты, декорации, какое-то барахло украшает зал — да не во мне дело, а в том, что мерзость это, глупость и дурной вкус! Да, плохой у меня характер, брюзга я, но ведь за границей же этого нет почему-то! Там я и не раздражаюсь. Вернее, раздражаюсь, конечно, но там другие причины...

Нам определили отличный стол, на втором этаже в дальнем левом углу, наверное, рустэмовская Роза Маратовна еще с утра заказала, а со мной он советовался для видимости. Наряженные опереточными лакеями официанты работали, надо отдать должное, умело, раздражение мое понемногу прошло.

Рассаживаемся мы привычно, в таком же порядке, в каком садимся на совещаниях. Тут только я замечаю, что не пришел Валера Гулькевич, — и немедленно, хотя не говорю ни слова, получаю от Рустэма пояснения: у Валеры семейное торжество какое-то, у тещи, что ли, юбилей, он никак не может, очень жалел.

— Куда тебя черти унесли днем? — успеваю спросить у Игоря, пока все двигают стулья, устраиваясь.

Он глядит на меня удивленно.

— Меня Рустэм еще с утра попросил... — начинает он, но я уже отворачиваюсь, давая ему понять, чтобы замолчал, потому что у Верочки слух отличный, а мне уже и так все ясно: Рустэм к сегодняшнему вечеру подготовился отлично, все продумал, в частности, позаботился о том, чтобы мы с Игорем не обсудили общей линии поведения. Через несколько минут, когда все углубляются в меню, я, будто советуя Кирееву, что выбрать, наклоняюсь к самому его уху и невнятно бормочу «Не пей много». Кажется, он слышит.

Салат я не заказываю, я не люблю закуски, и, дожидаясь свою паровую осетрину, быстро, без тоста, выпиваю большую

рюмку водки, ее я попросил принести сразу, еще не развернув салфетки. Официант, изобразив лицом всяческое понимание, подал мгновенно. Рустэм делает вид, что ничего не заметил, остальные то ли действительно не заметили, то ли тоже притворились, только Игорь закопошился, собираясь ляпнуть что-нибудь игривое, выпивка всегда вызывала у него прилив остроумия, но я тычу его в бок, чтобы молчал. По дороге в ресторан в машине опять начало дергаться и замирать сердце, теперь я надеюсь, что аритмию удастся придавить водкой.

За едой говорим о чепухе. Первый тост, конечно, произносит Рустэм — за нас всех, за компанию. «За компанию в целом и за нашу дружную компанию», — обнаруживая прекрасное чувство неродного русского, он поводит рукой с фужером, как бы обнимая сидящих за столом. Пьет он только шампанское, заказали сразу две бутылки «Дом Периньон», официант подвинул к столу ведро на высокой ножке, вид у него стал еще более торжественный. Верочка, как и я, пьет водку, остальные, включая Игоря, налегают на шампанское, потом переходят на вина, Толя Петров попросил «Перье» и при тостах поднимает большой фужер с водой, внимательно глядя в лицо говорящему.

Потом тосты идут однообразные — за всех по очереди. Начинают, естественно, с дамы, Рома Эпштейн предлагает выпить «за облагораживающее влияние нашей Верочки на нас, грубых и черствых мужиков, за ее красоту и ум», Верочка, чокаясь с каждым, каждому в отдельности очаровательно улыбается и лихо, как бы отчаянно, хлопает рюмку. Она же поднимает следующий тост, и, надо признаться, даже я на минуту расслабляюсь, а Игорь вообще плывет: Верочка говорит, что хочет «выпить за мудрость, опыт и молодую энергию тех, у кого мы все учимся». Конечно, слова вполне дежурные, но Верочка ловко подсуетилась, это тактически правильно — выпить за нас с Игорем раньше, чем за Рустэма.

Когда до меня доходит очередь говорить, я, не проявляя особой изобретательности, просто предлагаю выпить за молодых, жестом включая в их число не только Рому, Гарика и Толю, но и Верочку, естественно, и Рустэма. Все преувеличенно оживляются, начинают гомонить — какие уж мы молодые, теперь вон в список «Форбса» тридцатилетние попадают, Ве-

рочка, сияя улыбкой, даже называет себя «старой шваброй», а Рустэм — сразу становится тихо — говорит, что если их и можно считать молодыми по сравнению с Михал Леонидычем и Игорем Ивановичем, то только по уму. И опять все начинают говорить одновременно, подтверждая, что именно по уму, а по жизни вы, Михаил Леонидович, и вы, Игорь Иванович, еще сами юноши прямо, мальчишки, еще нам класс можете показать... Один Толя Петров молчит, глядя прямо перед собой, но и он, поймав мой взгляд, вежливо улыбается, словно извиняясь — мол, не обращайтесь на меня внимания, ну, не умею я веселиться, что со мной поделаешь.

Я думаю, что в этой лести слышится какой-то особый тон, какой-то большой смысл, чем в обычных застольных комплиментах. Старики-то вы старики, но еще хорохоритесь, еще помучаемся мы с вами, прежде чем удушим...

Народ принимается рассказывать анекдоты, вспоминать, как выпивали в прошлом году, когда такой же компанией ездили под Звенигород в бывший совминовский пансионат, а мне слушать эту чушь делается невыносимо скучно. Я пью, уже не дожидаясь других, доедаю рыбу — с армейских времен сохранилась привычка есть быстро, ничего не могу с собой поделатъ — и прикидываю, когда же Рустэм начнет серьезный разговор, ради которого он все и затеял. Что такой разговор будет, я не сомневаюсь, но время идет, болтовня становится все более пустой, никто, конечно, и слова не говорит о делах, да и странно было бы говорить о важном в ресторане, где за соседним столом может оказаться кто угодно. Вон, например, сидит человек, которого я — как и все — знаю в лицо, он телевизионный сплетник. Время от времени поглядывает в нашу сторону, значит, в субботу ночью обязательно сообщит телезрителям, что весь совет директоров «Топоса» на днях ужинал «в одном из дорогих московских ресторанов» — так они выражаются, чтобы не обвинили в скрытой рекламе. Делать скрытую рекламу они умеют по-другому, не подкапашься, а не умели бы — так не было бы у него ни на ресторан, ни на этот пиджачок тысячи за две...

Анекдоты становятся все более глупыми и грубыми, но на меня понемногу начинает действовать водка, и раздражение проходит. В конце концов, думаю я, их можно понять —

и Рустэма, и остальных. Дело поглощает их целиком, им видятся перспективы, они сами хотят в список «Форбса», а два старых мудака мельтешат, лезут во все, осторожничают, потому что уже ничего не хотят, только удержать то, что есть, да иметь занятие, отвлекающее от старческих болезней, страха смерти, одиночества... Так какого же черта? Ведь не убиваем же мы старых идиотов, наоборот, предлагаем приличные деньги, чтобы отошли в сторону, не мешали...

Я знаю за собой эту склонность: искать правоту врага. Когда-то у меня и с советской властью были такие отношения, я ненавидел ее, но в глубине души признавал ее резоны, ее логику — за что ж ей меня любить, если я ее терпеть не могу и все время обдурить норовлю. Наверное, поэтому не стал диссидентом, а приспособливался и выживал, как мог, привычка мысленно играть не только на своей, но и на другой стороне и помогала мне выжить, я знал наперед, что сделает противник, потому что сам превращался в него...

Между тем выпивка берет свое, шум за столом делается совсем бестолковым. Я замечаю, как Рустэм подает официанту знак, что мы хотим расплатиться. Тут же Рома, который обычно платит в таких случаях, потом контора ему возмещает представительские, вытаскивает бумажник, достает из него карточку — издали я не могу разглядеть, кажется, это золотая «Мастер кард», неплохо живет наша молодежь — и несколько пятисотенных, чаевые. Похоже, что вечер заканчивается, но я понимаю, что наш с Рустэмом разговор состоится обязательно. Значит, сейчас поедem куда-нибудь еще, возможно, на всю ночь. Они все делают правильно, стариков надо довести до кондиции.

Я гляжу на Игоря, в последний час я перестал его контролировать, отвлекся. Как и следовало ожидать, друг мой пьян вдребезги. Он пытается влезть в пиджак, который уже давно снял и косо повесил на спинку стула, и тыкает руками в пустоту позади себя.

— Домой езжай, — шиплю я ему в ухо, не переставая улыбаться и делая вид, что просто помогаю ему одеться. — Прямо сейчас домой, не разговаривай больше ни с кем, понял?

Киреев косится на меня, старательно изображая всем лицом хитрость. И я уже не в первый раз удивляюсь тому,

сколько в нем осталось от пацана, с которым мы сидели в «штабе» среди густой не то травы, не то кустарника, в Заячьей Пади это называлось «веники», мы сидели в нашем «штабе», сложенном из кусков фанеры, обрывков черного толя, им в городке латали прохудившиеся крыши, и кирпичных обломков, и он с таким же хитрым выражением развивал дурацкие планы, строил глупые предположения, а потом планы оказывались вполне разумными и предположения — верными... Но сейчас он невменяемо пьян.

— Я понял... — Он отвечает, не понижая голоса, но, кажется, никто ничего не слышит, все уговаривают Верочку не разбивать компанию и ехать дальше веселиться в какой-нибудь клуб, сейчас только решим, куда именно, чтобы было прилично, ну, без голубых, и вообще надоели они, нигде от них нет спасения, ну, пойдёте на воздух, там решим. — Я по-онял... То есть ты хитрый, а я дурак пьяный? Ладно, посмотрим, кто дурак... Значит, ты с молодыми гулять поедешь, а Кирееву спать пора? Хорошо...

Говорить с ним бесполезно, остается надеяться, что он в машине заснет и шофер сам решит везти его домой.

К ночи сильно похолодало, по асфальту извиваются снежные змеи, ветер, налетая порывами, поднимает их в воздух и швыряет в лицо мелкую острую крошку. Над площадью пылает реклама, гигантские огненные буквы кажутся висящими в черном небе без опор. По тротуарам Тверской идет толпа, на лица падает желтый свет витрин, люди — все очень молодые, почти дети — выглядят в своих нелепых одеждах участниками маскарада.

Подплывает тяжелая туша рустэмовской «ауди», следом возникает «тахо» его сопровождения, потом выплывает из тьмы черный ящик киреевского «гелендевагена», суетятся охранники и шоферы, Гарик, подчеркнуто осторожно поддерживая под локоток, ведет Верочку к ее серебрищему в темноте «лексусу»... Рустэм, вероятно, успел дать указания своему водителю — машины одна за другой пересекают Тверскую и несутся вниз по бульварам. Гена держится за «ягуаром» Толи Петрова, любовь к этой машине — единственная известная всем Толина слабость, за рулем он, непьющий, всегда сидит сам, как и положено владельцу

спортивного, да еще и раритетного, семидесятих годов, автомобиля.

В машине я сознательно расслабляюсь и засыпаю. У меня достаточно опыта, я надеюсь, что, если посплю хотя бы пятнадцать минут, потом смогу пить снова сколько угодно, становясь только трезвее. За это, конечно, завтра со мною сквитается не только сердце, но и желудок, и печень будет тяжело ворочаться и ныть весь день, но теперь уж делать нечего, надо прожить эту ночь...

— Приехали, Михал Леонидыч. — Гена стоит у открытой дверцы, слегка наклонившись, готовый помочь мне вылезти.

Голова еще не болит, но похмельный озноб уже начался.

Я выглядываю из машины и вижу длинное трехэтажное здание с пыльными, это заметно даже в темноте, слепыми, чем-то закрытыми изнутри окнами. Над крышей дома поочередно загораются буквы в слове «клуб» и в еще каком-то, которое я не могу прочитать, какая-то бессмыслица вроде «Элегант».

Тяжело опираясь на спинку сиденья и на руку Гены, я выбираюсь наружу. Все наши машины, кроме Верочкиного «лексуса», уже стоят вдоль тротуара, охранники и шоферы переминаются рядом с ними, мерцают в темноте огоньки сигарет. Я оглядываюсь — место незнакомое, через дорогу маленький сквер, вдали над крышами домов плывет в черной пустоте подсвеченный шпиль высотки. Вроде бы той, что на Восстания...

— Все уже там, — говорит Гена, продолжая поддерживать меня под руку, но не делая ни шагу ко входу в дом, к низкому крыльцу под козырьком из темного стекла, к полированной дубовой двери, в которой легко угадывается бутафория, скрывающая настоящую, стальную. — Пойдете, Михал Леонидыч? Или, может, домой?

— Надо идти, Гена. — Я откровенно вздыхаю. — Только постоим немного, подышу...

Я действительно несколько раз сильно втягиваю воздух, потом вытаскиваю из внутреннего кармана пальто серебряную фляжку — в прошлом году Ленька на день рождения подарил, не ширпотреб, а настоящая, в каком-нибудь лондонском антикварном ее нашел, наверное, — и, свинтив крышку, де-

лаю три хороших глотка. Еще подышать... Озноб проходит, окружающее становится более четким. Теперь можно продолжать, часа на два меня хватит, а там посмотрим.

— Через два с половиной часа зайдешь, найдешь меня, — говорю я Гене, — заберешь... В любом случае, понял?

Он молча кивает и нажимает кнопку рядом с дверью...

Мы сидим с Рустэмом вдвоем.

Я несколько раз порываюсь спросить, куда делись Игорь и все остальные, но забываю.

Потом я иду из туалета, толкаю дверь и вижу их всех, Гарик, Толя и Рома сидят за столом, сняв пиджаки, и играют в карты, а Игорь спит, растянувшись поперек дивана, он почти сполз на пол, его ноги перегораживают комнату, рубашка расстегнута до пупа, а рядом с ним на диване сидит голая девушка и курит. Вы ошиблись, Михал Леонидыч, говорит Гарик, обернувшись, вам в соседнюю комнату.

И я закрываю дверь и открываю следующую.

Ну, говорит Рустэм, ты решил, договорились, а о чем мы договорились, спрашиваю я, о смерти моей или о чем-то еще, зря ты так шутишь, говорит Рустэм, у тебя нет причин так шутить, я с тобой серьезно говорю, ты пойми, мы же не «Лукойл», мы карликовая компания, понимаешь, мы мелочь на этом рынке, мы живем, пока нам жить разрешили, а теперь серьезные люди хотят нас под себя взять, и они возьмут, и другого варианта нет, но вы с Киреевым должны уйти, они поставили условие, а если вы не уйдете, то они просто нас прикроют, нас нечего делать прикрыть, им все наши кредиты известны, тогда они всех выкинут, и Рому, и вообще всех, и меня, понимаешь, вы должны уйти, я вас как друзей прошу.

А Женьку ты тоже как друга просил, спрашиваю я.

Если б ты не был старый, говорит Рустэм, старый и пьяный, ты бы ответил мне за этот базар.

Да брось ты, Рустэм, говорю я, тут же нет никого, не делай из меня дурака и не бойся, я же действительно пьяный, а завтра все забуду.

Ну, так ты решаешь или нет, спрашивает Рустэм.

Решаю, я решаю, что это наша контора, понял, говорю я, можешь так и серьезным людям сказать, что старики уперлись, говорят, что это их контора, их и Женьки Белоцерков-

ского, и идите вы все в жопу, понял, Рустэм, а помнишь, как тебя Игорь привел, помнишь, как ты в Москву приехал, помнишь, сука?

Рустэма нет, а я просыпаюсь на заднем сиденье моей машины.

Мимо летят деревья в снегу, я снова засыпаю и снова просыпаюсь, щека трется о кожу сиденья, а мимо летят деревья в снегу, и я смотрю снизу на пролетающие в окне деревья и на болтающийся перед моими глазами пони-тэйл Гены.

Больше они не будут разговаривать, думаю я. Теперь нам с Игорем конец, думаю я, и засыпаю снова, и больше уж не просыпаюсь.

Пальто надо снять, Михал Леонидыч, говорит Гена, я соглашаюсь, что надо, но проснуться не могу.

Кирееву я звоню в половине десятого утра, уже почти приведя себя в порядок по давней, еще с молодости известной методике: Гена сварил крепкий бульон и принес мне чашку наверх, я, преодолевая судороги пищевода, проглотил три рюмки водки подряд и запил чашкой жирного кипятку. Привет, печень. Зато через полчаса я уже стал почти человеком.

Конечно, лучше было бы просто отлежаться, принять какое-нибудь легкое снотворное и проспать весь день, но я не могу на это решиться, черт его знает, что Игорь вчера наговорил, прежде чем вырубился окончательно. Свой разговор с Рустэмом я помню — во всяком случае, так мне кажется — до единого слова, но больше не помню ничего. Возможно, после меня принялись за Игоря, разбудили, он в беспамятстве не только пообещал что-нибудь, но и подписал... Все это, конечно, не имеет серьезного значения, все можно поправить, но я нервничаю.

Вернее, не нервничаю по-настоящему, что-то изменилось во мне после вчерашнего вечера: я прикидываю последствия, оцениваю масштаб угрозы, испытываю страх, ненависть, отчаяние, но появился новый фон — безразличие, и вся душевная суета идет на этом фоне, будто я со стороны слежу, как психует с похмелья некий пожилой мужчина, хорошо мне знакомый, но, в сущности, посторонний.

Мне отвечает женский голос. Прислуга у Игоря приходящая, трубку она не снимает.

— Марина? Это Миша... — Я придаю тону максимум вины. — А сам-то далеко? Как он? Мы тут вчера...

— Это Женя. — У жены и дочери Игоря голоса совершенно неразличимые. — У мамы голова болит, она прилегла... А папа еще не просыпался, его привезли-то в седьмом часу утра... Да, Михаил Леонидович, вы вчера действительно... Он как мертвый. Вот жду, когда очнется, не уйду. Как вы думаете, может, врача вызвать? У нас нарколог есть свой...

Да, уж что нарколог у них есть свой, это мне известно. Ее и лечит... Кажется, месяц назад в последний раз выводил из запоя, Игорь рассказывал, что над ее кроватью уже и гвоздь навсегда вбит, капельницу вешать...

— Обойдется, думаю. — Сказав это, я тут же пугаюсь. А если не обойдется? В нашем-то возрасте такое веселье и вправду может кончиться легкой смертью в пьяном сне. — Ты вот что, ты ему лучше давление и пульс померь, прибор есть?

— Есть, — вздыхает она, — поищу сейчас... Ну, вы, папки, даете...

Я вешаю трубку, даже из вежливости не поинтересовавшись дополнительно ни здоровьем Марины, ни делами самой Жени. Чего спрашивать? И так все известно и понятно: Марина пострадает день мигренью, а потом такое устроит Игорю, что он недели на две забудет, как выпивка выглядит, а Евгения Игоревна часа через полтора поедет в Останкино, где все называют ее Женечкой и в грош не ставят, будет там слоняться по коридорам и сидеть в подвальном кафетерии в надежде, что кто-нибудь все же возьмет каким-нибудь ассистентом в какой-нибудь «проект», теперь все называется «проект», но никто не возьмет, и недельки через две-три она сама запыет... Все известно, и слишком мы хорошо знакомы, чтобы спрашивать из пустой вежливости.

Я набираю свой рабочий телефон.

— Компания «Топос», приемная Салтыкова, — любезнейшим тоном, как положено секретарше в приличной фирме, отвечает трубка.

— Это я, Екатерина Викторовна. — Теперь я автоматически добавляю в голос страдания, приличествующего больному. — Что там слышно?

— Доброе утро, Михаил Леонидович. — Любезность окрашивается особой приветливостью и как бы даже радостью оттого, что наконец прорезался любимый начальник. — У нас все в порядке. С утра Рустэм Рашидович интересовался, а больше никто не звонил. А вы не заболели? Что-то голос у вас...

— Я сегодня не приеду, — перебиваю я ее нежности. — Рустэму Рашидовичу скажите, что неважно себя чувствую и день полежу. Если что-нибудь срочное, звоните сюда. А если из фонда будут спрашивать, не помню, как он называется, что-то насчет сирот, скажите, что мы им письменно ответим.

— Все поняла, Михаил Леонидович. — Конечно, все поняла, чего уж тут понимать, и, чем я болен, наверняка поняла. — Сердце прихватило? Может, врача вызвать? Давайте я...

— Не надо! — Никаких оснований грубить ей нет, но я не могу сдержаться, обрываю резко. — Не надо никакого врача, я не умираю. Все. А с Ибрагимовым, если что, сразу соединяйте, я здесь весь день у телефона.

Нестерпимо захотелось спать, водка с бульоном всегда так действуют. Сердце сегодня ведет себя на удивление тихо, единственным неприятным ощущением осталась тяжесть под ложечкой, но было бы странно, если б вообще ничего не мучило... Посплю пару часов и совсем очухаюсь. Может, во второй половине дня еще съезжу все-таки в контору...

Прежде чем лечь, заглядываю в комнату Нины. Там пусто, постель застелена и вообще относительно прибрано, только груда английских книг валяется, как всегда, на полу у изголовья. Я поднимаю верхнюю. Идиотское название «Последний дом», на задней обложке отрывки из восторженных рецензий и кусочек текста. Какая-то чушь из жизни британской аристократии, супружеские измены, ревность, семейные тайны... Ночами напролет, мучаясь бессонницей, которую не берут никакие снотворные, она читает эту ерунду.

Я подхожу к окну. Сыплется мелкий снег, весь задний двор уже покрыт ровным белым полотном, по которому петляют свежие следы. Сверху это похоже на покрывало с узором из мелких дырочек, такое когда-то, еще в Заячьей Пади, лежало на родительской кровати. Собаки носятся кругами, комич-

ным коротконогим галопом, а Нина стоит в центре этих кругов, закинув голову, снег падает на ее лицо. На ней толстая стеганая куртка, стеганые брюки и ботинки с нейлоновыми толстыми стегаными голенищами, обычная ее зимняя одежда, в которой она гуляет по двору или уходит на час-полтора в рощу, начинающуюся прямо за нашим участком и тянущуюся до поворота на шоссе. Я знаю об этих ее прогулках, но не беспокоюсь — поселок набит охраной, а на шоссе стоит кирпично-стеклянный пост ГАИ.

О чем она сейчас там думает, чувствуя, как тает на щеках снег, вдыхая сырой воздух, глядя на собак? Она ничего не знает о моих нынешних проблемах, наверное, ей было бы интересно следить за развитием интриги просто со стороны, как за развитием сюжета в каком-нибудь из тех романов, которые она читает... Но она не хочет ничего знать о моей жизни, а если бы даже я рассказал ей обо всем, она не смогла бы преодолеть отторжение, и страсти, борьба, противостояние характеров, все, среди чего я сейчас живу, показались бы ей просто обычной мерзостью, всегда окружающей меня. Давно, когда время от времени молчание еще нарушалось и мы пытались выяснять отношения, она сказала: «Ты сам выбрал свою жизнь, мне она отвратительна, мир, в котором ты существуешь, я знать не желаю». И постепенно мы с нею оказались действительно в разных мирах, в мой она не хочет даже заглядывать и не хочет понимать, что, если он рухнет, погибнем мы оба. Она выпала из действительности, ей остались комната, вид из окна в чистый пустой двор, чистая пустая роща, собаки, английские романы и пару раз в год поездка куда-нибудь, где вообще невозможно представить, что бывает такая жизнь, как моя, и там она так же читает английские романы и одна бродит по пляжу, как здесь одна бродит в роще, и так же напряженно думает о чем-то, чего я не могу понять.

И мне не на что обижаться, она права — я сам выстроил свое одиночество. И ее одиночество тоже.

В кабинете шторы задернуты, снежной раздражающей мути не видно. Я ложусь, укрываюсь с головой, но, хотя спать хочется ужасно, заснуть не могу. Снова лезут воспоминания о вчерашнем вечере, я прекрасно помню все, сказанное Рустэмом, а вот свои слова теперь точно восстановить не могу, мне

начинает казаться, что я говорил плохо, недостаточно твердо... Да и чего можно было ожидать от смертельно пьяного? А еще Игоря предупреждал... А, черт с ним! В конце концов, совершенно не важно, что именно я вчера говорил, решения я не изменю, вот и все. Спать...

Засыпая, я слышу, как Нина тяжело поднимается по лестнице, но не входит в свою комнату, а идет дальше по коридору в верхнюю гостиную, куда ни она, ни я не заходим почти никогда, а сейчас она, наверное, идет туда посмотреть телевизор, чтобы не разбудить меня, она думает, что я сплю.

И я действительно сплю, и мне снится, что я сплю на скамейке весной восемьдесят девятого года и вижу во сне человека, исчезнувшего весной шестьдесят третьего.

Глава восьмая. Кладбище

Дела шли хорошо, машины расхватаывали, мы начали заказывать все более дорогие, фуры приходили, битком набитые почти новыми «мерседесами» и «бээмвэ», и уже к вечеру того же дня на площадке не оставалось ни одного автомобиля, сто девяностые и триста восемнадцатые улетали мгновенно. Мы и сами пересели на приличные машины — Киреев взял «мерс», «мокрый асфальт», конечно, и кожаный салон, Женька не без выгоды продал свою «Волгу», хоть и проржавела старушка, но нашелся смуглый охотник на «белый-белый» и в экспортном исполнении, а пижон Женька теперь ездил на акулopodobной семьсот пятидесятой «бээмвэ», тоже белой, я же выбрал случайно затесавшуюся в одном из привозов двести сороковую «вольво», перегонщик привез ее не под заказ, а на всякий случай, уверенный, что на почти новый темно-красный «сарай», казавшийся тогда, до нашествия джипов, сверхъестественно огромным, желающий найдется. Я не стал даже пытаться ее сбывать и ездил с наслаждением. Женька и Игорь пошучивали по поводу борделя на колесах, хотя оснований у них было немного — я еще не опомнился от случившегося, еще надеялся, что с Ниной все наладится, и никого у меня не было, мелькнула было одна энергичная свердловчанка, приехавшая завоевывать Москву, стояла на краю тротуара, вылавливала машину, я ее подвез, потом она прямо

и сказала, что надеется когда-нибудь так поймать приличного мужика, но во мне она разочаровалась быстро, как только поняла, что развести меня, освободив для своих нужд, не удастся, вот с нею пару раз и съездили за кольцевую, забирались поздним вечером в рощу, машина ползла по прошлогодним листьям, выдавливая из-под них воду, ближний свет скользил по тонким стволам подлеска, все происходило быстро и не запоминалось, потом она исчезла — остались только два грязных следа ее каблучков на потолке салона, которые я, к счастью, вовремя заметил и счистил сухим пятновыводителем. Боже, всякая дрянь, появлявшаяся тогда в Москве, изумляла, я помню, как мы восхищались этой белой пеной, мгновенно превращавшейся в порошок, потом его надо было стряхнуть, и пятно исчезало, оставался только еле заметный ореол...

И вдруг нам перекрыли селитру. Кто-то там, на Урале, кого-то убил, начали тамошние ребята все делить заново, а мы мгновенно оказались в жутких долгах, не успели даже заметить, как это произошло, и тут еще наши собственные бандиты пришли за очередным взносом, они ждать не стали бы, так что пришлось срочно искать деньги. Женька вымолил нужную немалую сумму у какого-то отца приятеля, успевшего ловко перепрыгнуть из кабинета начальника главка в шикарное кожаное кресло председателя какой-то тишайшей артели по переработке вторсырья, которая, конечно, ничего не перерабатывала, а гнала металлолом через все границы и процветала. Мы расплатились с бандитами, но общий долг наш увеличился, а через месяц ничего не изменилось, и бандиты пришли снова... Иногда казалось, что в прокуренном подвале слышны щелчки — счет-чик, счет-чик, — будто тикает адская машина и сейчас рванет.

Вообще-то такая перспектива была вполне реальной, взрывали и за меньшие деньги.

Мы немедленно продали все свои колеса, сохранив один на троих «опель-аскону», который продать было невозможно, при перевозке его чем-то тиранули по борту, осталась глубокая невыправляемая борозда, и «опель» понемногу ржавел на бывшей детской площадке, добавляя нам убытков, а теперь пригодился. Но вырученного за три приличные тачки еле хватило отдать бывшему начальнику главка, и ничего не остава-

лось на расплату с «крышей» — тогда это слово было сравнительно новое, и телевизионные комментаторы еще не употребляли глагол «крышевать»... Больше продать было нечего, кроме полусломанного факса, но он был никому не нужен.

Речи о том, чтобы просто перерегистрировать на бандитов кооператив, а самим валить на все четыре стороны, не шло, тогда еще не отбирали бизнес, поскольку ни черта все эти кооперативы не стоили, все, что получали, шло в дело и на первую вожденную роскошь — подержанные немецкие машины, хорошие телевизоры из коммерческих магазинов и тряпки. Я не по возрасту щеголял в джинсах и кожаных куртках, тогда же купил Нине длинную «обливную» дубленку — возможно, выбирая ее, бессознательно сравнивал с той, которую видел в последний раз на Лене. Нина взяла подарок молча, но и на нее вещь произвела впечатление, во всяком случае, она не швырнула ее мне в морду... Женька рехнулся на шелке, он носил не только шелковые рубашки, но и пиджаки, и брюки... А Игорь одевался, как будто постоянно собирался на похороны — черный двубортный костюм мешком, черная рубашка...

Пожалуй, он имел резон: наши шансы попасть в ближайшее время на собственные похороны росли с каждым днем. Могли подпереть дверь подвала снаружи и поджечь, могли поодиночке пристукнуть в подъездах, могло быть и хуже — народ рассказывал байки о кооператорах и рэкетирах, о паяльниках и утюгах, а мы точно знали, как бывает. Один мальчуган начал почти одновременно с нами, его, подполковника-снабженца, тогда отправили на раннюю пенсию из армии, и он очень быстро поднялся на еде, тоннами гнал из Германии колбасы, сыры, консервы, все просроченное, конечно, но такое прекрасное на голодный советский взгляд, он здорово раскрутился. Мы познакомились как-то в знаменитом первом кооперативном ресторане на Кропоткинской, цены даже для нас там были заоблачные, мы только иногда позволяли себе, а он там сидел каждый вечер. Но потом что-то у него сломалось, начали непомерно требовать таможенники, он влез в долги — и пропал. Нашли через полтора месяца в лесу по Егорьевскому шоссе. Его подвесили на ветку за вывернутые назад руки, рот заткнули куском его же рубахи. Кожи не было на всей спине, а мошонка была перетянута проволокой, почти отрезана.

За нашим мутным окном подсыхала грязь, ветер уже гонял первую пыль, сверкал металлическим солнцем апрель. Окончательный срок нам назначили на тридцатое.

«К праздникам со всем накрутом отдадите, — сказал наш куратор, как он сам себя называл, прочие же называли его почему-то Корейцем, хотя никаким корейцем он не был, а был белобрысым, лысоватым в свои тридцать, почти двухметровым полутяжем, бывшим вольником, чемпионом Челябинской области, уже отмотавшим пятерку за участие в драке с убийством. — Не портите праздник, мужики, ни мне, ни себе...» Пригнувшись в дверях, он вышел, следом протиснулись, не оглядываясь, двое его пацанов — такие же тяжелые, с маленькими круглыми головами на непомерных плечах. Уши у всех были приплюснутые, раздавленные борцовскими захватами.

Мы сидели молча, вариантов для обсуждения не осталось.

Собственно, решение я принял еще в то утро, но все не мог собраться с духом и сказать ребятам, я представлял себе их реакцию — ведь подумают, что в детство впал, умом двинулся от безысходности... Но теперь тянуть уже было нельзя.

— Пошли отсюда, — сказал я твердо. — Есть разговор, поехали куда-нибудь... ну, в машине решим, куда. Давайте быстро, у нас времени нет, действовать надо...

— Ты, Солт, нас куда зовешь? — спросил Киреев, не меняя позы, он сидел, развалившись в рваном, невесь от куда попавшем в наш подвал кресле, вытянув скрещенные ноги и разглядывая свои новенькие сияющие туфли... лет двадцать, если не тридцать, назад были у меня такие, «шузы с разговорами», теперь вот наконец и у него есть... радости только нет. — Поедем вместе топиться? А чего, нормально: с Крымского моста втроем — и привет... Баб только жалко с детишками, вот Белому легче...

Женька сидел верхом на стуле, положив на спинку руки и опершись на них подбородком, он вроде бы смотрел на меня внимательно, вроде бы ожидал объяснений, на самом же деле, я точно знал, смотрел в пустоту и думал о своем. Так бывало всегда: Игорь в трудных ситуациях начинал нести чушь, шутить по-дурацки, что не мешало ему иногда придумывать наилучший выход, болтая, он сосредотачивался, а Женька,

наоборот, начисто замолкал, не отвечал даже на прямые обращения к нему, а потом вдруг предлагал самое рискованное, почти неосуществимое, зато радикальное решение. Но сейчас ждать чего-нибудь от них не приходилось, все возможности исчерпались.

— Кончай молоть херню, — сказал я Кирееву, уже надевая куртку, — если я говорю, что есть выход, значит, вставай и поехали. Ну?

— Гну, — автоматически отозвался Игорь, но вылез из кресла и стал натягивать длинное черное пальто.

Белый все молчал, я снял с гвоздя плечики с аккуратно расправленным шелковым плащом и швырнул в его сторону. Все так же молча он оделся, мы заперли черную железную дверь подвала зачем-то на все замки — взять там было нечего — и вышли в золотисто-сиреневые сумерки.

Когда-то я больше всего любил такое время в Москве, часами шатался по городу, покупал на углу Неглинной и Кузнецкого пирожки с повидлом, жевал, вытаскивая по одному из коричневого обрывка бумаги в пятнах проступившего масла, и шел, шел в сторону заката... А теперь я и не заметил, как наступила и уже почти прошла весна.

Женька сел за руль, я устроился рядом, Игорь втиснулся позади меня, кряхтя и требуя, чтобы я сдвинул сиденье вперед — у него уже тогда появилось заметное брюхо.

— Тебе худеть надо, а я ноги укоротить не могу, — автоматически огрызнулся я, но сиденье, конечно, сдвинул вперед до упора, отчего колени поднялись к подбородку, и мы поехали в Останкино.

Там, в парке за Шереметьевским дворцом, доживала свои последние дни известная нам с давних времен уединенная шашлычная, вполне пригодная для секретного разговора.

Однако, когда мы добрались до места, поставили машину, договорившись о присмотре с тоскующим на углу гаишником, и дошли напрямик по сырой между деревьями земле через парк к цели, заведение уже закрывалось. «Мясо кончилось, понимаешь русский язык, — отвечал на все уговоры хмурый темнолицый шашлычник, — воды нет, понимаешь?» Наконец мы уломали его, он вынес бутылку ужасного дагестанского коньяка, тогда это был единственный продававшийся, да и то

в считанных местах, алкоголь, три пластмассовых стаканчика и несколько кусков брынзы с прилипшей зеленью и серого хлеба на пластмассовой тарелке. Позади стекляшки валялись древние дощатые ящики от помидоров, мы положили одним дном вверх посередине, сервировали на нем ужин, а сами расселись кругом, подмостив под задницы ящики же, поставленные на торцы. «Милиционер придет, я вам ничего не давал, вы у меня ничего не брали, понимаешь?» — сказал азербайджанец, запер фанерную дверь на гигантский висячий замок и ушел, оставив нас в пятне света, падавшего из стекляшки, посреди уже темного парка.

Женька разлил коньяк, выпили сразу, Игорь, по своему обыкновению, принялся закусывать, будто три дня не ел, а я, едва прорышавшись от едкой дряни, никакой это был, конечно, не коньяк, а разведенный чем-то плохой спирт, начал рассказывать. Несколько раз то Киреев, то Белый пытались меня перебить, но я рявкал, и они затыкались.

Рассказ занял минут десять, не больше. Когда я дошел до того, как прятал банку из-под лечо, как рыхлая земля забивалась мне под ногти, а я спешил все закончить, пока не вернулся Ахмед, Игорь выматерился и механически схватился за бутылку, но она уже была пуста.

— Если я сейчас не выпью, помру, недослушав, — сказал он.

Я и сам был не против еще одного стакана хотя бы той же дагестанской мерзости, от собственного рассказа меня кололо, но взять было решительно негде.

— Молчи. — Женька ткнул Игоря в бок. — А ты рассказывай дальше... Потом, может, выпить найдем... Ну, и когда ты в последний раз проверял... ну, как сказать... когда на кладбище был?

— На кладбище я бываю регулярно, раз в месяца три-четыре, у меня там, между прочим, мать и дядька лежат. — Я закурил, сигарета в руке дрожала, странно, я не ожидал, что так разволнуюсь. — Ахмед, как и обещал, все кругом зацементировал, цемент, конечно, потрескался, но лежит на месте...

— Ну, и что мы будем делать? — Киреев ерзал на своем ящике, ящик уже покосился и вот-вот должен был рухнуть, но Игорь ничего не замечал. — Цемент долбить, чтобы все

кладбище сбежалось? Если, конечно, ты, Солт, вообще все это не выдумал. Может, ты свихнулся, а? Мне, например, кажется, что свихнулся. Да не бывает в жизни бриллиантов, ты, предводитель дворянства! Ты же еще в школе много лишнего читал, а теперь и вылезло...

— Не ори! — Женька встал, и его ящик мягко повалился на землю. — Значит, так: сейчас едем ко мне. У меня, во-первых, есть что выпить, неприкосновенный запас, еще с канадских времен держу...

— Вот сволочь, — с чувством произнес Игорь.

— Заткнись! — Женька ногой сгреб в кучку следы нашего застолья, его аккуратность проявлялась автоматически. — Во-вторых, ты, Солт, там все на бумаге нарисуешь, вспомни все свои чертежные навыки, ты же профессор, в конце концов. В-третьих, придумаем, как вытащить...

— Дома говорить нельзя, — возразил я, — там телефон...

— Ну, это глупость! — Женька нетерпеливо топтался на месте, ожидая, пока Игорь вернется из-за кустов, оттуда слышался шорох падающей на листья мощной струи. — На всю жизнь ты перепугался, Солт. Никто сейчас никого уже не слушает, во всяком случае, если и слушают, то не нас, конторе теперь сил не хватает с неформалами воевать. Сам не понимаешь, что ли? Бандиты, что ли, подслушку устроили?

— Могут и бандиты. — Я настаивал из упрямства, понимая, что бандиты, конечно, организовать прослушивание Женькиной квартиры не могут, да, хоть бы и могли, не станут, не нужно им это, у них методы проще. — Ну, ладно... Сядем, как в прежние времена, на кухне, кран откроем на полную... Поехали.

От Женьки Игорь и я позвонили домашним, сказали, что уезжаем по делам на пару дней, Игорь для достоверности — все-таки прослушку до конца никто не исключал — убедительно соврал Марине, что летим на Урал. Просидели у Женьки до утра, прикончили его заначку джина, утром ненадолго разъехались — у каждого была своя задача в рамках общей подготовки к операции. Мне, в частности, надо было купить пару детских совочков, какими роются в песочницах, их можно было принести на кладбище в карманах, а Игорь поехал добывать рассаду подходящих для могилы цветов.

Сам Женька остался дома, чтобы созвониться и договориться о встрече с дальним знакомым, который мог быть связан с платежеспособными людьми, интересующимися камнями. Дальний этот знакомый, армянин, работал в металлоремонте на Разгуляе, а подпольно ремонтировал дорогую старинную ювелирку и даже брал заказы на новую. Был он хорошо известен среди московских актрис и вообще богатых дам с художественными претензиями умением переделать непарную запонку, оставшуюся от деда, в модный большой перстень, починить хитрый замок в прабабкиной изумрудной сережке, запаять тончайшую цепочку, порвавшуюся в какой-нибудь лирический момент... Но ходили также слухи, что есть у него и серьезные заказчики, каким-то боком фигурировал он даже в пересказывавшихся шепотком историях о бриллиантах Гали Брежневой... Естественно, по телефону Женька ничего говорить не станет, да и при первой встрече только прощупает ситуацию. Когда же клад окажется у нас в руках, надо будет действовать с максимальной осторожностью и не торопясь — налетев на стукача, за такую операцию вполне можно огрести срок на всю оставшуюся жизнь, а могут и покупатели просто прихлопнуть в момент передачи. Стоимость полотняной колбаски, закатанной в полулитровую банку, мы пока даже не представляли себе, но предполагали, что и за десятую часть найдутся желающие расплатиться тремя пулями. Женька собирался при первой встрече с армянином — знали его все как просто Вартана — узнать цены, сказав, что у приятеля случайно завалился крупный камушек, в дальнейшем же иметь дело только с самим Вартаном как с посредником, получающим хороший процент, вплоть до половины всей суммы, и встречаться обязательно один на один где-нибудь за городом, чтобы мы с Игорем страховали издали. Более подробного и безопасного плана мы придумать за ночь не смогли и потому согласились, что исключить риск совсем не удастся, а действовать через армянина казалось наиболее разумным — в конце концов, до сих пор никто из его клиентов не был убит...

Моя проблема оказалась серьезнее, чем предполагали: в «Детском мире» на Дзержинского я не нашел ничего, половина секций вообще была занята коммерческими магазинами,

в которых продавались самопальные брюки мешком, сшитые по последней бандитской моде из пальтового букле, да поддельные джинсы, предварительно скрученные в жгуты и вываренные в отбеливателе какими-нибудь подольскими рукодельниками. Я метнулся на «Щербаковскую» и там в магазине «Малыш», занимавшем весь первый этаж длинного дома напротив метро, нашел-таки необходимое. Совочки были хилые, тонкая крашеная жесть приколочена двумя гвоздиками к деревянной ручке, но я решил, что вечером мы этот инструмент усовершенствуем и укрепим.

Времени до назначенного срока возвращения к Женьке еще оставалось полно, почти весь день. В сияющей пустоте неба плыло над городом одинокое светлое облако, на солнечной стороне проспекта Мира припекало. Бабки и хмурые прилично одетые женщины стояли шпалерами от выхода из метро аж до кафе-мороженого «Белый медведь», предлагали кефир, масло в размякших пачках, прогибающиеся под собственным весом толстые дубинки вареной колбасы в ярко-красной синтетической оболочке...

Я побрел в направлении косо впившегося в небо космического обелиска, перешел дорогу — и через полчаса оказался перед хороводом золотых девушек, кружащимся в сухом бассейне выключенного фонтана. На ВДНХ было пусто, как обычно в середине буднего дня. Редкие бездельники вроде меня пересекали бескрайние асфальтовые площади и углублялись в мертвый город, какой мог бы нарисовать мечтательный пионер. Вокруг миражами поднимались резные дворцы, гигантские каменные колосья, бетонные истуканы шахтеров, колхозников и ученых, застывших с символами своего труда — отбойными молотками, серпами и микроскопами — в руках, аллеи вели к дальним полянам, откуда-то долетал теплый запах хлеба, зеленой шелковой тряпкой, брошенной среди деревьев, лежал пруд, а за ним стояла высокая ограда из частых тонких прутьев, отделявшая выставку от Ботанического сада.

Я заметил скамейку, которую неведомые могучие безобразники уволокли с аллеи в глубь кустов, продрался сквозь колючие ветки и сел, вытянув во всю длину ноги и широко раскинув руки по скамеечной спинке. Закрыв глаза, я закинул голо-

ву. Я чувствовал, как под солнцем сохнет и нагревается кожа на лбу и на щеках, как яркий свет пробивается под веки.

Впервые за многие месяцы я мог не думать о текущих делах — все уже закрутилось и шло своим чередом, ничего нельзя было изменить, я принял решение, и мы двинулись по единственно возможному пути.

Все эти годы я старался ни при каких обстоятельствах не вспоминать о том, что лежало на кладбище между крышкой материнного гроба и надгробием, между прошлым и настоящим, между страшными снами и реальной жизнью... И в конце концов как бы забыл. Я приходил на Ваганьково, подметал в ограде, красил металлическую решетку, потом садился на низенькую, поставленную еще Ахмедом внутри ограды скамеечку из узкой и короткой доски на двух вкопанных обрубках березового ствола, закрывал глаза, отдыхал. И иногда, все чаще с годами, возникало перед моими глазами лицо матери, я слышал ее голос, а дядю Петю я уже не помнил совсем, только какая-то расплывчатая тень фигуры, общие очертания... И ничего больше. Я выдрессировал себя.

Двадцать пять лет прошло. Нет, двадцать шесть уже... С ума сойти... Да было ли? Может, прав Игорь, я все придумал, выплыли детские книжки? Какие еще бриллианты, вокруг идет настоящая жизнь, вот селитру нам перекрыли — это правда, вот бандиты могут убить — это тоже правда, и правда то, что все мои близкие люди лежат в земле, отец на давно заброшенном кладбище в навсегда исчезнувшей из моей жизни Заячьей Пади, никогда я туда не приеду, не найду четырехгранного фанерного конуса со звездой, да и нету давно этого фанерного бессмертия, а мать и дядька недалеко, на Ваганькове, и нет ничего в земле, кроме их костей, и нет у меня близких, кроме женщины, которую я так измучил, что она знать меня больше не хочет, да сына, который вырос совсем отдельным человеком, да двух старых, как и я, почти пятидесятилетних дураков, которых вместе со мною могут через неделю-другую пристукнуть убийцы, какие еще бриллианты, нет ничего в земле, кроме праха моей прошлой жизни...

После бессонной ночи, разморенный на солнце, я заснул, видимо, очень крепко.

Мне приснился Витька Головачев, о котором наяву я никогда не вспоминал с той весны, когда он исчез, сбежал, растворился в стране, а потом сбежал в армию и я... Двадцать пять, нет, уже двадцать шесть лет назад.

В мой сон Витька явился при полном параде, в остроносых австрийских туфлях с тенями, в английском сером, в мелкую крапинку костюме, в итальянской белой водолазке, он стоял передо мною и усмехался, по своему обыкновению, снисходительно, он всегда относился к нам, как к несмышленным детям, и я понял, что он уже знает о нашем плане, если ты такой умный, сказал я Витьке во сне, то сам придумай план лучше, но он молчал и усмехался, а потом повернулся и стал уходить по какой-то чистенькой улице с аккуратными домиками, на их фасадах перекрещивались широкие деревянные балки, такие домики мы видели в Таллине, когда ездили туда все вчетвером за кое-какими тряпками, значит, подумал я во сне, мы снова в Таллине, только непонятно, зачем, что нам теперь делать в Таллине, если завтра с утра мы должны быть на кладбище.

Я открыл глаза и сразу увидел, что старого мятого пластикового пакета, в котором лежали совочки, на скамейке рядом со мною нет. Кто-то унес его, пока я спал. Возможно, это Витька взял, еще толком не проснувшись, подумал я, он любит дурацкие шутки.

Я еле успел в «Малыш», который почему-то закрывался в тот день рано. Совки, к счастью, еще были в продаже.

Назавтра была родительская суббота, что наш план учитывал. Народ, вываливая из трамвая и автобусов, шел на кладбище толпами, трое мужиков с тряпочными сумками, в старомодных нелепых пиджаках — мы для пущей конспирации даже переоделись у Женьки в какое-то рванье, пиджак его отца не сходил на киреевском пузе, а мне старый Женькин был короток и запястья торчали из рукавов — никак не могли привлечь внимание. Да и в сумках, загляни в них кто-нибудь, обнаружили бы вполне обычные вещи: цветочная рассада, пакет сухих удобрений, банка краски-серебрянки, бутылка водки и бутерброды в газете... Женька еще нес лопату с обернутым куском пестрого ситца лезвием. Машину мы оставили далеко на Хорошевке.

Все получалось точно по плану. Игорь ходил вокруг, красил ограду, стараясь дольше задерживаться с той стороны, с кото-

рой были ближайшие соседи, — впрочем, они возились на своем участке и в нашу сторону не глядели. Женька быстро разрыхлил лопатой землю вокруг светло-серого, растрескавшегося на куски цемента, лежавшего прямоугольником с неровными краями, из которого уже не совсем вертикально поднималась черная гранитная плита. Серые, неглубоко вырезанные в полированном граните буквы шли пыльными строчками:

Малкина М.П.

19.X.1933 — 7.XI.1952

Малкина А.Х.

24.V.1911 — 10.XI.1952

Малкин П.И.

14.VIII.1910 — 29.VII.1957

Салтыкова М.И.

5.V.1914 — 27.III.1963

Эти буквы все время оказывались перед глазами, но я довольно быстро научился не видеть их, точнее, видеть, как бы не понимая смысла, не читать и не думать — просто серые пыльные значки, неглубоко вырезанные в полированной черной поверхности гранитной плиты.

Потом мы, все трое, сидели внутри ограды на корточках, выставив на самое видное место горшочки с рассадой и пакеты с семенами, и, горячечно спеша, рыли совками землю, подрываясь под пласт цемента с трех сторон, проделывая в земле тоннели, стремящиеся к нарисованной мною на плане точке.

Время от времени чей-нибудь совок стучался о твердое. Нашедший застывал, придав лицу совершенно безразличное выражение, и тут же, забыв всякую осторожность, засовывал в нору руку по самое плечо. Двое других ждали, перестав дышать, — и из земли появлялся осколок цементной заливки или просто камень.

Часа через три, кое-как разбросав словно кротом нарытые кучки желтой рыхлой земли и замаскировав дыры, мы тесно сели на скамеечку, в одно мгновение выпили водку, съели бутерброды и закурили. Народ на кладбище уже выпивал и закусывал вовсю, с соседних участков доносились песни — здесь никто не боялся нарушать свирепствовавшие тогда антиалкогольные правила, два милиционера, время от времени

проходившие по аллее, старательно шагали в ногу и не смотрели по сторонам, было похоже, что их уже кто-то угостил. Ваганьково единодушно сопротивлялось власти, только мы оставались трезвыми и сосредоточенными.

Перекурив, мы снова принялись за свое тайное дело. Мы увлеклись, рыли, уже ни на что не обращая внимания, три галереи параллельно, начав с одной стороны.

Не знаю, кто из нас заметил и успел крикнуть. Так бы и легли там с переломанными костями и расколотыми черепами... Но мы были еще крепкие, со спортивным прошлым мужики, и мы успели, разогнувшись, подхватить и, надрываясь, удержать валившуюся на нас плиту.

Она вывернулась, открыв неглубокую яму, которую окружали обломки кирпичей, вкопанные редко, с большими промежутками, — фундамент надгробия. На дне пустой ямы проглядывали гнилые черные доски.

Все было кончено.

Игорь пошел к воротам и вернулся с кладбищенским работягой в резиновых сапогах, рваных трениках и распахнутой байковой клетчатой рубаше. Это был высокий и очень широкий в груди мальи́й с коротко стриженными жгуче черными волосами на круглой голове, с густой черной, тоже коротко стриженной бородой, походивший на татарского бойца с картины «Завоевание Ермаком Сибири». Говорил он в иронической интеллигентской манере, даже не пытаясь притворяться обычным ханыгой. Впрочем, ничего удивительного в этом не было, тогда еще и кое-кто из моих знакомых, ушедших в истопники и дворники из кандидатов наук, не успел сориентироваться и рвануть в бизнес или выйти на эстраду со своими гитарами и песнями...

— Ну-с, господа хорошие, катастрофа? — Он окинул взглядом истоптанную рыхлую землю в ограде и косо лежащую надписями вверх плиту. — А чего здесь понарыто? Клад искали? Или просто — за что интеллигенция ни возьмется, все на нее же и рухнет?

Мы молчали, стараясь не глядеть друг на друга. Конспираторы...

— Ладно, не будем углубляться, как говорят люди моей профессии, нам за лишнюю глубину не платят. — Мальи́й ус-

мехнулся. — Кто хозяин некрополя? Работы здесь примерно на двадцать бутылок, с учетом того, что цена на бутылку сейчас выше государственной раза в полтора... Сегодня, будьте добры, авансом половину, завтра во второй половине дня приезжайте принимать объект и рассчитываться... И так?

Мы собрали последние деньги и отдали ему.

...Назавтра — не помню уж, где я достал остальное — я заехал на кладбище, увидел его в группе стоявших у церкви таких же оборванцев, помахал издали, и мы пошли к могиле. Шли молча, я еле поспевал за ним.

Плита стояла ровно, вокруг была гладкая бетонная площадка, оставшаяся свободной земля аккуратно взрыхлена.

— Я травку посеял, — серьезно, не ерничая больше, сказал мальи́й, взял деньги, сунул их, не считая, в нагрудный карман рубахи и, быстро и прямо глянув мне в глаза своими темными, с восточной ласковой поволокой глазами, тихо добавил: — А впредь с могилами не шутите, они этого не любят...

Я предложил ему сигарету, мы покурили, коротко обменявшись мнениями о нашумевшей повести его бывшего коллеги, потом я пожал ему руку и, почему-то спеша, почти побежал к воротам.

Поставленную им плиту я лет через пять, когда деньги уже появились большие, было собрался заменить памятником, но раздумал, вспомнив его совет насчет могил. Так и по сей день держится его работа, так и останется, пока не придет время дописывать на граните «Салтыков М.Л. 16.IX.1940 — ...», пока не определится вторая дата...

Мы молча доехали до Женьки и молча сели пить чай. Сил разговаривать не было, денег на водку не было, не было ничего — и не было больше никакого выхода. Жизни предстояло кончиться через десять дней.

— Если все-таки согласиться, что ты, Солт, не сумасшедший... — Игорь, как всегда, не выдержал молчания первым. — И тебе бриллианты в полотняном мешочке не примерещились, остается одно объяснение: кто-то из кладбищенских рабочих еще тогда, в шестьдесят третьем, подсмотрел, как ты зарывал банку, а потом вырыл. Может, у них за эти двадцать пять лет и легенда оформилась о кладе. Помнишь, что этот парень, пьянь культурная, сказал? Как будто знает что-то...

Я и сам додумался, конечно, до того же, но соглашаться с Киреевым не хотелось, как будто еще была надежда. Женька, тоже промолчав, встал и ушел из кухни куда-то в комнаты, было слышно, как он там возится, что-то скрипело, хлопала дверцы шкафов, потом он вернулся с какой-то папкой из пожелтевшего от старости картона, положил ее на подоконник, сел на свое место, закурил, глянул на нас, рот его кривился в странной улыбке.

— Есть еще один вариант, — начал он тихо, и я сразу почему-то понял, что он скажет, и попытался прервать его, но Женька вдруг хлопнул ладонью по столу. — Тихо, молчи! Есть еще такой вариант: кто-то из нас, я или Игорь, съездил туда раньше. Вчера. Или мы оба...

— Совсем ебанулся, — сказал Киреев и принялся с подчеркнuto скучающим видом искать сигарету по пустым пачкам, потом хлопать себя по карманам. — Совсем крыша поехала...

Глядя на покрывавшую стол клеенку в кофейных кругах, Женька продолжал, уже не повышая голоса:

— Я помню, Солт, все твои рассказы о преследующих тебя чудесах. — Он стряхнул пепел в пустую чашку, глянул на догоревшую уже до фильтра сигарету и раздавил окурочек в той же чашке. — О том, как неизвестно кто донес там, в вашей Заячьей Пади, особисту, а ты думал, что это сделал кто-то из друзей твоих отца с матерью или даже Нина, как на тебя стукнули в гэбэ, а ты подумал на Таню... Теперь пришла наша с Игорем очередь. Вокруг тебя, Солт, все время образуются тайны одного... ну, не знаю, как сказать... одного типа. Тебя предают близкие люди. Да? Думал ты так или нет? Говори честно, если мы трое будем еще друг перед другом кривляться и благородство демонстрировать... Ну?

— Дурак ты! — Ничего другого ответить я не мог, потому что на самом деле Женька был очень умным человеком, возможно, самым умным из нас, и ответить мне было нечего. — Что я должен тебе сказать? Что не может ни в каком бреду мне в голову прийти такое? Поклясться мне? Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: я не думаю, что мои товарищи ограбили меня и, значит, самих себя...

— Заткнись! — В голосе Женьки я с ужасом услышал ненависть и замолчал. — Все-таки кривляешься... Неужели ты

не понимаешь, что мы все трое сейчас об этом думаем и будем теперь думать всегда?!

— Погоди. — Вдруг я сообразил, нашел аргумент и тут же успокоился сам, поняв, что сейчас смогу успокоить и Женьку, и Игоря, совсем скисшего и все делавшего вид, что ищет сигареты. — Погоди... Послушай, я же тебе говорю: если кто-то из вас или вы оба взяли эти камни, вы же все равно должны расплатиться с Корейцем! Расплатиться за нас всех, потому что ведь он всех пришьет, если не расплатимся! Или вы собрались бежать в... Австралию?

Почему у меня вырвалась эта «Австралия»? Известно, почему — у меня и теперь при слове «предательство» возникает в ушах голос Лены, и я слышу ее слова «ты притягиваешь предательство... ты сам предаешь всех...». Но тогда мне было не до анализа своих подсознательных ассоциаций.

Женька замолчал и смотрел теперь на меня задумчиво, а Киреев сразу ожил, нашел где-то сигарету и теперь с наслаждением затягивался, потешаясь надо мной.

— «Пришьет», — передразнил он меня, — кто так теперь говорит, а, Солт? Ты это где в последний раз слышал, в незабвенном фильме «Дело пестрых»? «Замочит» надо говорить, ты, чучело, понял? В одном ты совершенно прав: мы действительно собрались с Женькой бежать, только не в Австралию, а в Аргентину, в Рио-де-Жанейро. В полном соответствии с указаниями нашего великого предшественника в деле поиска чужих бриллиантов...

Постепенно Женька тоже развеселился, мы катались со смеху, вспоминали, как рылись в земле, оглядываясь по сторонам и думая, что никто не замечает наших идиотских действий... Мы будто забыли, что впереди теперь — кошмар.

Поздно вечером мы ушли от Женьки, распрощались в метро на «Белорусской», и Игорь поехал к себе в Одинцово, где тогда еще жили все Киреевы, вшестером в трехкомнатной квартире, его ушедший давно в отставку и совершенно сумасшедший отец, такие же окончательно ополоумевшие мать и оставшаяся старой девой сестра, Марина и Женька, уже студентка.

А я потихоньку побрел к себе, шел по Горького, улица лежала темная и пустая, только в подворотнях переминались по двое-трое проститутки — они тогда начали появляться.

Я думал о нашем положении и никакого выхода из него не видел. Последняя надежда рухнула, как и следовало предполагать... Вдруг меня кольнуло — там лежат кости матери, и дяди Пети, и тети Ады, и Марты. «С могилами не шутите, они этого не любят». Пришла ясная мысль, впервые за эти двадцать шесть лет: я сделал что-то не то, что-то ужасное. Могилу нельзя так использовать... Могилу близких.

Это они, мертвые, и забрали клад, подумал я.

И тут же попытался одернуть себя — совсем сдурел с этими делами, мистика хороша для развлечения, но нельзя же всерьез считать, что мертвые перепрятали свои сокровища! Однако было уже поздно, один раз возникнув, мысль не желала уходить. Это были их бриллианты, и они не хотят, чтобы фамильное богатство ушло к какому-то Корейцу, чтобы сбереженное от бандитской власти попало к обычным бандитам.

Додумавшись до такого, я даже остановился, будто налетел на столб. Тут же из подворотни донесся громкий шепот: «Мужчина! Хотите с девушкой отдохнуть? Мужчина!» Но я только отмахнулся, не глядя, и повернул в противоположную от дома сторону, надо было проследить мысль до конца.

И тогда с Носовым... Если рассуждать логично, никто из наших друзей не мог ему донести... Значит, это судьба, или можно называть это как угодно... Оставленные дедом проклятые камни погубили дядьку, убили моего отца, уложили мою мать в постель на годы... И со мной тогда, двадцать шесть лет назад, они сыграли шутку, отправили меня в армию, чтобы я поумнел и по молодости не растрянжирил их... И теперь они не дались мне в руки...

Размышляя так, я в то же время понимал, что схожу с ума, но поделаться с собой ничего не мог — гнал глупые мысли, а они возвращались.

Я снова двинулся к дому, но пошел на этот раз не по Горького, а сразу по Лесной повернул к своей Тверской-Ямской. Здесь уже было темно, как ночью в лесу, даже домов не разглядеть. Из подвалов несло гнилью — в те годы центр Москвы буквально рушился, подвалы заливало, фасады трескались, все проваливалось...

Домашние давно спали, я тихонько прошел к своей тахте, разделся и, как обычно к ночи, когда завод кончается, почувствовал, что сил больше нет. Заснул сразу и спал без снов.

Все следующее утро я не мог найти Женьку, телефон его не отвечал. Не объявлялся и Игорь... Во второй половине дня я смотался на кладбище, рассчитался с интеллигентным рабочим, оттуда поехал к Женьке без звонка, но никто мне не открыл — Белого дома не было.

Так прошел и понедельник, я метался, мучился размышлениями о мести бриллиантов и не мог представить, что случилось с Женькой.

А во вторник он позвонил сам с утра и велел быстро ехать в наш подвал, где они с Игорем уже меня ждут.

Собственно, меня он позвал, чтобы просто сообщить об уже совершившемся факте: Женька переоформляет свою родительскую трехкомнатную квартиру в доме против Телеграфа на Корейца, за это нам списывают все долги, засчитывают немного вперед и еще дают какие-то деньги наличными. А сам Белый переезжает на Ордынку — я был настолько поражен новостью, что даже упоминание той комнаты в коммуналке не отвлекло меня, — и уже заказал машину, чтобы вывезти туда книги и кое-что из вещей на память о стариках, мебель же он всю оставляет бандиту.

Игорь, узнавший все на полчаса раньше, чем я — они с Женькой встретились в подвале случайно, Киреев приехал, истомившись в Одинцове бездельем и неизвестностью, — сидел с бессмысленной улыбкой, непрерывно вытирая пот со лба. А Женька все время шутил по поводу «Вишневого сада», называл себя Раневской, но шутки его были слишком однообразными, чтобы казаться по-настоящему веселыми. Я же был так потрясен, что и навязчивая идея относительно магии камней меня оставила, провалилась куда-то...

Глава девятая. Весеннее обострение

Пролетел по грязи и гололеду московский февраль, перебесился снегопадами и последними морозами март, дело пошло к весне, народ неудержимо потянулся в отъезд — впереди маячили становящиеся все более продолжительными в последние годы

майские нерабочие дни. В отделах прикидывали соотношение «цена — качество» Турции, Египта и Кипра, начальники групп собирались в Испанию и на Корсику, а директора делали выбор между Лазурным берегом и Майами...

Однажды утром я услышал, как Нина по телефону вызывает своего шофера — для редких ее выездов из дома существует в этом качестве приличный господин, рано ушедший в отставку армейский полковник, не гнушающийся приработком к пенсии. Аккуратно зачесанной седой шевелюрой и крепким грубым лицом он сильно напоминает первого президента. Нашла его Нина сама через каких-то знакомых и доверилась — вообще-то она боится ездить в машине, хотя вполне спокойно переносит самолет — по детской, видимо, привычке доверять военным.

Александр Дмитриевич прибывает обычно ранним утром, берет в известном ему месте ключи и выводит из гаража на середину двора нашу вторую машину, старый, но в отличном состоянии «ниссан патрол». Нина не хочет пересаживаться ни на что другое, вероятно, ее успокаивают размеры джипа, да она и вообще не любит нового. Впрочем, обо всем этом я могу только догадываться, своего молчания ради такой ерунды, как автомобиль, жена не нарушает. Выведя машину из гаража, Александр Дмитриевич обязательно открывает капот и долго смотрит на работающий двигатель, время от времени склоняясь в глубину матчасти и что-то там вроде бы подкручивая. Я люблю наблюдать этот ритуал сверху, из своего окна.

Через полчаса выходит Нина в городской одежде, тоже давно не обновлявшейся, хотя у нее есть вполне приличные свои деньги, специально положенные мною на счет в уважаемом московском банке, и пластиковая карточка. Но вещей она почти не снашивает, моде, конечно, значения не придает, да я и не уверен, что умеет карточкой пользоваться.

Сегодня она появляется в светлом плаще-тренче, с яркой косынкой, выбивающейся из-под его воротника, с непокрытыми волосами, которые она накануне выездов сама подкрашивает в их естественный золотистый цвет, скрывая уже почти сплошную седину. Отступив за темную штору, я смотрю на стоящую у автомобиля женщину, на таком расстоянии кажу-

щуюся еще совсем не старой. И красота ее никуда не делась, а с возрастом она стала очень похожа на свою ровесницу Катрин Денёв.

Отставной полковник закрывает капот, старательно вытирает руки чистой тряпочкой, которую, сложив, сует в карман темного пальто, и, деликатно поддерживая под локоть, помогает Нине преодолеть высокую ступеньку. Только движения выдают ее возраст и потерю привычки к самостоятельному передвижению. Она долго устраивается на сиденье, а шофер стоит возле открытой двери...

Вечером я приезжаю рано, и мы ужинаем вместе. Когда Гена выходит из столовой, Нина, глядя, по обыкновению, в сторону, сообщает, что через два дня она улетит на месяц в Европу, сначала побудет дней десять в Лондоне, потом переберется в Италию. Чтобы как-то реагировать, я интересуюсь, достаточно ли хорошо для путешествия она себя чувствует и все ли у нее в порядке с визами. Все так же не глядя на меня, она говорит, что визы еще не кончились, а чувствует она себя хорошо, спасибо, кроме того, с нею летит подруга, которую она пригласила, то есть, если что, рядом будет человек, и, как бы предупреждая мой вопрос, добавляет, что подругу эту, бывшую сослуживицу по издательству, я не знаю. Действительно, никого в издательстве, где Нина работала в последние годы, перед тем как осесть дома, я не знал, тогда мы уже жили почти так же, как и сейчас, — под одной крышей, но врозь. Не найдя, чем продолжить разговор, я киваю, показывая тем, что принял информацию к сведению.

После ужина мы расходимся, как всегда, по разным комнатам. Я сижу в кабинете, без интереса глядя на телевизионный экран и слушая важного, надутого, как индюк, профессионального разоблачителя власти, зарабатывающего своей оппозиционностью и принципиальностью больше меня. То, что он сообщает, мне известно и так, а возмущение, которое он при этом демонстрирует, раздражает — нельзя искренне возмущаться тем положением вещей, которое сделало тебя миллионером...

Я выключаю телевизор и сижу в темноте, размышляя, конечно, о ситуации, которая теперь сложилась в конторе.

Вроде бы в последние два месяца ничего не происходит...

Но понятно, что на самом деле события разворачиваются, только теперь меня и Игоря не ставят в известность о них. После моей пьяной истерики в ночном клубе Рустэм к разговору о нашем выходе из дела не возвращается, вообще ведет себя так, будто ничего не было и никакой проблемы не существует. Жизнь идет своим чередом, я и Игорь по-прежнему практически отстранены от серьезной текущей работы, а на советах директоров у нас не бывает поводов выказать норов — решения предлагаются разумные, и мы голосуем, если требуется, как все, то есть как предлагает Рустэм.

Именно это спокойствие меня и пугает. Допустить, что Рустэм отказался от своих намерений, я, зная его, не могу. К тому же я верю его признанию, что моего и Игоря ухода не столько хочет он сам, сколько требуют «серьезные люди», следовательно, он и не может изменить своих намерений. Вероятно, ему пообещали вице-президентство в той большой компании, в которую вольется наша... И молодым, наверное, сделали хорошие предложения...

Значит... Значит, Игорь прав, надо уходить самим. Только не поздно ли? Сколько-то времени у нас еще есть, до конца мая, когда все вернутся из весенних отпусков, ничего не будет делаться. А потом все начнет развиваться быстро и необратимо, следовательно... Следовательно, за оставшееся время надо как следует подготовиться и проявить встречную инициативу первыми, только, конечно, не соглашаться на предложенные ими деньги, а просить раза в полтора больше и торговаться как раз на нормальной цене. Хотя, конечно, они уже могут и не захотеть торговаться...

Отдать контору.

Один раз мы с Игорем уже предали Женьку, предали ради того, чтобы не отдавать наш «Топос», но тогда мы успокаивали себя тем, что Женька сам так поступил бы ради сохранения дела. Теперь мы отдадим контору, которая была создана Женькой, он сделал тогда гораздо больше, чем Игорь или я, потом спасена — собственно, спасены были наши жизни — Женькой, ради этого он расстался с родительской квартирой, потом снова спасена им, уже после того, как его убили...

А теперь мы отдадим «Топос», отдадим даже не Рустэму, а неизвестно кому.

Но похоже, что выбора у нас нет.

Пора на покой старикам... Или еще поупираться?

Я перебил тяжелыми этими мыслями первый сон и понимал, что промаюсь так до рассвета, я вспомнил Женьку, и теперь он пробудет со мной всю ночь.

Он был настоящим игроком, не чета нам с Киреевым, он умел проигрывать — казалось, после Канады жизнь пошла под откос, а он отыгрался и всегда отыгрывался, пока не проигрался вчистую... Продолжал бы он игру сейчас или спасовал бы, чтобы не уйти без гроша?

Когда он переехал на Ордынку, а мы расплатились с долгами, началась полоса везения, словно он задобрил богов, принося им в жертву сто шестьдесят метров общей площади в сталинском доме на Горького.

Дела шли все лучше и лучше, и мы впервые почувствовали себя богатыми.

Игорь за немалые деньги поменял свое Одинцово на пятикомнатную возле метро в Сокольниках и перевез все семейство. Правда, на новом месте мать, отец и сестра прожили недолго, один за другим умерли в течение двух лет, Игорь сам чуть с ума не сошел, переплатил врачам тысячи, но ничего не помогло — они будто сбежали из богатой жизни на Каширку, в онкологию...

А в Женькиной жизни появилась Алина, с которой он провел свои самые счастливые годы, пять последних лет. Алина была почти вдвое моложе Женьки, она пыталась пробиться в театре, имея за спиной громкий успех в областном ТЮЗе в виде благосклонной рецензии «Московского комсомольца» — «приятной неожиданностью стала игра недавней выпускницы Щукинского Алины Кривошеиной» или что-то в этом роде. Вечно Женьку тянуло к творческим девушкам, наверное, единственный его брак с питерской поэтессой — растворилась где-то без следа — создал стереотип... В жизни Алина была совершенно очаровательным существом, веселым, как полагается щенку, и живучим, как полагается дворняжке. Она наслаждалась жизнью на Ордынке после отчего барака в Люберцах, Женькиной щедростью и непостижимыми для ее сознания потомственной нищей возможностями эту щедрость проявлять, ну, и просто Женькиной поздней и безудержной

любовью, конечно. Женька к тому времени стал так красив, как бывают красивы к полтиннику красивые и в молодости жгучие брюнеты — голубоватая густая седина при смуглом лице, строен при росте метр восемьдесят, будто мальчик... И всегда ироническая улыбка, прорезавшая глубокие складки от крыльев носа к подбородку, и всегда свежий и действительно смешной анекдот, и всегда деньги в кармане... Примерно через полтора года мы смогли вернуть Женьке деньги за его родительскую квартиру, пересчитав, естественно, наш долг на текущие цены, и он купил трехкомнатную в шикарнейшей новостройке на Октябрьском поле и за неделю обставил ее итальянскими гарнитурами, и лицо Алины раз и навсегда приобрело задумчивое выражение, словно она все время пыталась что-то вспомнить, но не могла. Они с Женькой поженились официально, зарегистрировались, мы с Игорем были свидетелями, а свадьбы не было — сразу из загса они уехали в аэропорт и улетели на Канары, куда в то время еще мало кто летал. Вернулись через две недели, посмотреть на них было невозможно, так светиться люди не могут. Алина покончила со своими театральными попытками и сосредоточила все усилия на стараниях родить Женьке ребенка, но ребенок не получался, она ходила по клиникам, ездила лечиться в Швейцарию.

Так прошло еще два года.

А потом Киреев привел Рустэма. И мы не успели заметить момент, когда все изменилось. Игорь вообще любил помогать своим бакинским и сибирским знакомым, но обычно дело ограничивалось некоторыми деньгами в трудный для них момент, причем, следует отдать должное, деньги, как правило, возвращались. А Рустэму деньги, которыми мог бы помочь ему Киреев, были не нужны, он сам приехал с приличными деньгами — ему нужно было попасть в какое-нибудь прилично налаженное дело, потому что создать свое он в Москве тогда не смог бы, ни связей, ни понимания столичных правил игры у него не было. И он вошел в наше дело и выгрыз его изнутри, устраиваясь.

Через год потекла понемногу нефть, было понятно, что в число гигантов мы никогда не войдем, поздноовато начали, да и масштаба Рустэму все же не хватало, но нас стали замечать.

И тут он уж сориентировался быстро — совместное наше предприятие с поляками и немцами тихо прикрылось, мы стали сначала ЗАО, потом ОАО «Топос», часть бизнеса — ввоз подержанных автомобилей — просто продали, причем очень выгодно, нашему главному перегонщику, Женька стал президентом, а мы трое — Игорь, я и Рустэм — вице-президентами, взяли у города в аренду на сорок девять лет особняк и быстро перестроили его под головной офис, начала приходить молодежь, появились в течение месяца Шмидт, Эпштейн и Петров, потом Эпштейн привел Алексееву и своего одноклассника Гулькевича... Рома и Гулькевич создали то, что на совещаниях деликатно называлось без уточнения «схемой», — схему вывода денег на заграничные счета. Я никогда не мог понять взаимодействия с нами всех этих несуществующих компаний, зарегистрированных на неведомых островах, хотя главой двух из них числился... Но независимо от нашего с Игорем непонимания «схема» работала, и уже на наши личные счета пошли совсем новые деньги, и мы еще не испугались, а только изумлялись размаху и понемногу привыкали к настоящему богатству.

А Женька, похоже, что-то понял и испугался. Он ничего не говорил ни Кирееву, ни мне, он всегда играл немного отдельную, свою игру. С Рустэмом они подолгу сидели вдвоем в Женькином, еще не до конца отделанном кабинете — его так и не успели отделать для Женьки и потом начали отделывать для Рустэма — и о чем-то разговаривали так, что иногда крики разносились сквозь еще не двойные двери по всему дому. Но тем все и ограничивалось, видимо, они договорились на совет директоров разногласия не выносить...

Он вышел на крыльцо нашего особняка и остановился, хозяйским взглядом окидывая еще заваленный строительным мусором двор и свежеекрашенный желтый с белым — все было сделано правильно, под старину — фасад. Его шофер Володя подал и остановил перед подъездом новенький «шестисотый», тогда только пришли четыре одинаковых для Рустэма, Женьки, Игоря и меня. На своем я до сих пор езжу.

Спустившись с крыльца, он сделал два шага к краю тротуара, сам открыл дверцу и, сев на переднее правое сиденье, крепко захлопнул ее.

Я ничего этого не видел, потом последовательность восстановил уцелевший охранник.

Мы все были внутри дома, когда раздался взрыв, полыхнуло в окнах, посыпалась штукатурка.

Когда я выбежал, развалившийся посередине на две части «мерседес» пылал посреди мостовой. Я запомнил одну из стоявших вдоль тротуара машин, старенькую «рено», на которой тогда ездил Толя Петров, — ее опрокинуло набок, и она загромождала путь к горевшему «шестисотому».

Загромождала путь туда, где горел уже мертвый Женька.

Женька, Володя и один охранник погибли сразу, еще одного охранника отвезли в Склиф, и он там умер — кусок железа проткнул его насквозь, еще один выжил, отлежался после контузии, его бесконечно допрашивали следователи прокуратуры. Собственно, допрашивали всех.

Президентом стал Рустэм, и мы с Игорем, не глядя друг на друга, подняли за него руки, как и остальные члены совета директоров. Кажется, тогда я утешал себя тем, что и Женька на моем месте, чтобы уберечь компанию от раскола, повел бы себя так же. Если б мы с Игорем заупрямились, ситуация стала бы патовой: по Женькиному завещанию Алине остались деньги, а я и Игорь получили его акции, вместе у нас получился тогда пакет ровно в пятьдесят процентов.

Это потом у Рустэма и Ромки стало больше, год за годом доли перераспределялись, а я и Киреев молчали, даже не пытались сопротивляться, утешаясь тем, что у нас все равно остается еще достаточно, чтобы влиять.

Взрыв был громкий, тогда о нем много писали, но даже среди журналистов не нашлось никого, кто прямо указал бы на Рустэма — так, еле уловимые намеки.

Поминки устроили в нашем особняке. Длинный стол накрыли в самом большом коридоре. В конце этого коридора женщины и медсестра сутились около Алины, не выронившей ни слезинки ни в морге, ни на кладбище, но теперь наконец потерявшей сознание и уложенной на диван.

Непьющий и некурящий Рустэм, выпив стакан водки, позвал меня и Игоря на выходящий во двор балкон курить. «Ничего не буду доказывать, — сказал он тихо и неразборчиво, неумело зажимая сигаретный фильтр зубами, и мы, еле рас-

слышав, наклонились к нему, так что те, кто на нас смотрел из коридора, сразу должны были понять, что происходит сговор. — Скажу только одно: не было бы у нас одинаковых машин, не был бы Евгений Васильевич со мной одинакового роста, да если бы эти идиоты разглядели седину... без меня бы сейчас пили». — «То есть хотели тебя. — Игорь начал, но запнулся. — То есть ты хочешь сказать...» — «Ничего я не хочу сказать! — Рустэм швырнул во двор непогашенную сигарету, и я невольно проследил полет окурка, во дворе были сложены сухие доски, нам еще только пожара не хватало. — И ничего я вам не стану объяснять... Что сказал, то и сказал, а вы решайте сами... Особенно ты, Игорь Иванович, — ты же, наверное, теперь жалеешь, что привел меня? Не упрекай себя, вот и все, что я хотел сказать». И он пошел с балкона, а мы остались, стояли и молча курили.

Через месяц Алина сдала квартиру каким-то канадцам и уехала из страны. Она никогда не писала ни мне, ни Игорю, но каким-то образом дошел до конторы слух, что она живет в Австрии, вышла там замуж за лыжного тренера, русского, работающего по контракту. В Женькиной квартире канадцев сменили французы, по телефону подтверждают, что договор об аренде заключен с мадам Белотцеркоффски...

За окном светает, я тяжело поднимаюсь из кресла и иду в душ. Надо как-то привести себя в человеческое состояние после такой ночи.

Стоя под душем, я думаю о том, как странно повернулась моя жизнь: детство прошло возле стен шарашки, почти в тюрьме, отец страшно кончил, юность пронеслась бешено, фарцевал лихо, как мало кто осмеливался... А потом все успокоилось и покатило по обычной советской дороге: в научные служащие пристроился. И когда перетрясли страну перемены, тоже ничего сверхъестественного не придумал, стал в конце концов обыкновенным дельцом невысокого ранга, даже предмет деятельности для России самый стандартный — нефть... А ведь нашлись люди, которые смогли вырваться в такие заоблачные выси... Впрочем, вот Женька тоже взлетел... Да, видно, не авантюристом родился Михаил Леонидович Салтыков, а заурядным буржуа, к этому и стремился, только обстоятельства до поры до времени мешали. Но наследственность дедова победила все...

Выживленец.

Примерно через полчаса после того, как я приезжаю в контору, Екатерина Викторовна спрашивает разрешения соединить с Олегом Николаевичем Петровским, который звонил рано утром и убедительно просил соединить, как только я появлюсь. Представился заместителем председателя думского комитета.

Минут пять стараюсь вспомнить, кто это такой, и прихожу к выводу, что никакого «Олега Николаевича из Думы» не знаю. Ничего хорошего от разговора с каким-то среднего разряда жуликом из Охотного ряда я не жду, но соединить разрешаю — такой все равно достанет.

— Приветствую, Михал Леонидыч! — Голос в трубке радостный, как будто наконец дозвонился старый друг, манера говорить знакомая, сколько я слышал таких, навсегда сохранивших советские начальнические интонации. — Петровский беспокоит... Помнишь, на последнем торгово-промышленном совете вместе скучали?..

Ничего и никого я, конечно, не помню, но бормочу, естественно, «ну, как же, помню, как же, обязательно, Олег...».

— Николаич, — подсказывает радостный голос, — с покойным Ефремовым полные тезки... Ты Ефремова-то знал?

Господи, при чем здесь Ефремов? Какой Ефремов?! Безумие какое-то, все сошли с ума...

— Хороший был мужик. — Голос погрузился, как положено при упоминании покойника. — Сидели мы с ним как-то, выпивали, очень он все близко к сердцу принимал...

Я уже собираюсь прервать этого думского пустобреха, совсем они там от безделья одурели, звонят кому попало от нечего делать. Сидит, наверное, с утра, мается похмельем, перебирает визитки, которые недавно получил, а я, дурак, свою ему, наверное, дал тогда, на совете... Но как раз тут Олег Николаевич переходит к делу:

— Слушай, Михал Леонидыч, у меня к тебе разговор есть, надо бы встретиться, перетереть кое-что... Как ты насчет сегодня пообедать вдвоем? Выбор места за приглашаемым. А?

«Перетереть», «Выбор места за приглашаемым». Что же это за уроды такие — блатная феня пополам с лакейской любезностью...

— А на какой предмет, Олег Николаевич? — осторожно интересуюсь я. — Вообще-то я с удовольствием, но время...

— А предмет серьезный, — уже строго говорит Олег Николаевич Петровский, — иначе все по телефону и решили бы. Но нельзя, обязательно надо в глаза друг другу посмотреть, понимаешь? Серьезный предмет, тебе будет интересно.

Последние слова звучат уже просто угрожающе. Откуда взялся этот гад и что ему от меня нужно?

Я предлагаю встретиться в пять, но не в ресторане, а в выходящем прямо на Красную площадь модном кафе, выпить чаю. Собеседник мой соглашается, деваться ему некуда, но не может сдержать удивления, и мне приходится что-то врать про диету — не скажу же я, что меня тошнит от перспективы обеда с ним.

— А место хоть приличное? — спрашивает он. — Что-то не слышал я от наших, чтобы кто-то туда ходил...

— Приличное, приличное, — успокаиваю я его и, не в силах отказать себе в удовольствии, добавляю. — Ваши не ходят, потому и приличное...

Он добродушно смеется и прощается до пяти.

А я почему-то вдруг начинаю нервничать из-за предстоящего разговора. Что может быть нужно такому человеку от меня, не первого лица не очень большой компании?

Что ему нужно, выясняется очень быстро.

— Ты, Михал Леонидыч, должен меня понять... — Он пыхтит, пытаясь говорить тихо, но «командирский», обеспечивавший в армии сержантскую карьеру голос его пробивается сквозь стук вилок, переговоры официантов и беседы посетителей этого кафе, одного из немногих в городе, не озвученных бешеным радио. — Должен понять... Я ж не от себя, а от серьезных ребят... ну, ты сам понимаешь... все прошли ту же школу, что и мы с тобой... не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым... э-хе-хе, не получается молодым-то, а, на полшестого уже всегда, а было время, скажи?.. всегда на три пятнадцать стоял, помнишь?.. ну, в общем, есть к тебе предложение реальное, тебе же уже говорили... нельзя отказываться, Леонидыч, мы же все патриоты, жила бы страна родная, а?.. в общем, соглашайся и запьем это дело?..

Почему эта рожа, которой только Городничего играть

в «Ревизоре», эта свинья, кое-как затянутая в двухтысячный итальянский костюм, считает меня своим, неизвестно. По возрасту? Или он просто не допускает, что есть люди, прожившие другую, чем он, жизнь, не пьянствовавшие на совещаниях комсомольского актива, не делавшие карьеру в банях, не укравшие цэковские деньги... А может, он прав, и мы действительно одной крови, я и он... Вот ведь и виски этот урод тоже предпочитает другим напиткам, заказывает уже по третьему разу себе и мне...

Я обещаю подумать в положительном смысле, плачу — он не возражает, халява представляется ему естественным образом существования — за обоих, и мы выходим на Красную площадь. Он странно быстро трезвеет и, тяжело переваливаясь на коротких толстых ногах, шаркая по асфальту низами слишком длинных штанов, уходит в сторону Иверской. А я иду к мосту, перехожу, продуваемый весенним ветром, над серым, мелко искрошившимся льдом на другую сторону и без всякой цели двигаюсь в глубь Замоскворечья.

Собственно, решение уже почти принято: надо сдаваться и уходить. Если они вводят в действие такие силы, как этот Олег Николаевич, значит, будут давить до конца. Сам он, конечно, шестерка, но послан явно не бандитами, а действительно «серьезными людьми». Вероятно, его думский статус здесь ни при чем, он просто используется ими для последних предупреждений таким несговорчивым олухам, как я. С него, если что, взятки гладки — заботится народный избранник о благе страны, о развитии отечественного бизнеса. Взятки гладки...

Остается только поторговаться еще немного, попытаться поднять цену до двенадцати — соответственно, и Игорь должен получить не меньше десяти — и подготовить все к отъезду.

Возможно, Нине стоит, уехав, там и остаться, надо как-то убедить ее в этом... И Ленку бы уговорить продать бизнес, перебраться туда, а там новое дело начнет, у него еще сил много... Труднее всего с Игорем. Он-то сам уедет охотно, давно мечтает день начинать в пивной, купили бы там на пару какое-нибудь приличное заведение, а то и два... Для отводу глаз. И жили бы все там спокойно, но бабы его!.. Марина родину не бросит, ей без березок никак, а Женька от тусовки своей не

поедет, от телевидения своего, где на нее все плюют... Нелегко будет Игорю их уламливать, но придется.

Все, больше думать не о чем.

Пришло время, когда победить можно, только отступив. Значит, надо отступать, но огрызаясь.

Решено.

Я останавливаюсь прикурить, отворачиваюсь от ветра, пряча в руках огонек зажигалки, потом поднимаю глаза и вижу, что стою на Ордынке, прямо перед подъездом того дома, где в Женькиной пыльной комнате началась и кончилась моя главная любовь.

По сути дела, с тех пор, как она уехала, в стране не осталось ничего, что удерживало бы меня.

И то, что не уехал до сих пор, объясняется только одним: не до этого было, нашел увлекательную игру, в другом месте игра такого масштаба была бы мне непосильна, вот и жил, будто нет на земле других мест... Нет, пожалуй, не совсем так... Если бы раньше пришлось бежать, сбежал бы, но раньше причин не было, ничего я раньше не пугался, и никто не мог заставить меня уехать из этого города, которому я принадлежу уже почти полвека и который столько же лет принадлежит мне, это моя собственность — золотисто-голубое небо в апреле, весенняя пыль, порыв ледяного ветра с реки, тусклая вода под мостом, тюремный силуэт дома на Берсеневской набережной, трубы «Мосэнерго» слева...

И этот дом, где умерла, почти убив меня, моя милая любовь, тоже принадлежал мне, но вот теперь пришло время, надо прощаться навсегда.

Было время прощаться с любовью, теперь пришло время прощаться с воспоминанием о ней.

Я тяну на себя высокую, кое-как выкрашенную казенной красновато-коричневой краской, некогда прекрасную дверь с высокими и узкими резными загогулинами — московский модерн — и вхожу в гулкий высокий подъезд. Мраморная крошка покатых, истертых ступенек, широкий лестничный марш в бельэтаж, где справа та дверь, утыканная до сих пор вдоль косяка кнопками отдельных звонков с приклеенными к стене под каждой бумажками — Шаров, Зильбер, Иванченко, Бухштейн, Белоцерковский...

Боже мой, они так и не сменили бумажку! Этого не может быть. Это галлюцинация.

Механически, не думая о последствиях, я нажимаю кнопку звонка.

И дверь распахивается тут же, будто меня за ней ждут.

Так распахивалась дверь, когда меня ждала она — я давал ей ключ, она приезжала раньше и прислушивалась к стуку парадной двери, чтобы открыть мне тут же, как только я позвоню.

За дверью стоит молодой человек в рабочей одежде — майка, заплеванные краской джинсы — и смотрит на меня с робкой улыбкой. Стены в прихожей ободраны, к ним прислонены фирменно упакованные пакеты длинных, достающих до потолка гладко отшлифованных досок, тесно стоят мешки с цементом и стопки плитки... Здесь идет евроремонт.

— Вы от хозяев чи из хвирмы? — спрашивает молодой человек.

— Я ошибся, — отвечаю я и закрываю дверь.

Тут же щелкает замок, звякает цепочка. Бедный хохол уже жалеет, что открыл... Женькина комната, конечно, пропала, тогда, переселяясь на Октябрьское поле, он ее не удосужился продать, а после гибели хозяина ею хорошо распорядилась дээ. Теперь вся квартира выкуплена и расселена, будет недешевое, но прекрасное жилье. В той комнате, где мы с Леной любили друг друга, поселятся хозяйские дети или сам хозяин устроит себе кабинет, и тени глупых влюбленных не станут беспокоить новых жильцов — ведь мы живы, хотя нас уже нет.

В подъезде грязь, как в любом обычном московском подъезде, но скоро все здешние коммуналки расселят, отремонтируют, и поселятся здесь люди примерно моего достатка. Такие столетние дома становятся все престижнее, отремонтируют и подъезд, поставят домофон, вон там, слева от лестницы, устроят застекленную каморку для консержки, может быть, и охранник в черном комбинезоне появится, чтобы не шлся кто попало, не бередил себе душу воспоминаниями...

Сердце, давно не дававшее о себе знать, дергается и начинает бестолково колотиться под горлом. Я шарю по карманам в поисках лекарства, сердце колотится все сильнее, будто кто-

то пробивается из меня наружу. Присев на ободранные лестничные перила, я достаю, наконец, запрессованные в фольгу таблетки, выдавливаю одну и, преодолевая судорогу сжимающегося горла, глотаю. Теперь надо подождать, пока подействует, и я, сидя на перилах, рассматриваю надписи на стенах. Они сделаны специальным шрифтом, которым пишут на стенах во всем мире, — интересно, как это распространяется, каким образом замоскворецкая шпана переняла это написание у шпаны парижской и лондонской? Прочсть ничего нельзя, буквы представляют собой сливающиеся в сплошной орнамент толстые бублики, это меня жутко раздражает... Впрочем, меня все раздражает в последние годы.

Старость, вот что это такое.

На мраморном широком, с обколотыми краями подоконнике я замечаю блюдце и обрывок газеты. Кто-то кормит здесь кошку, и это примиряет меня с граффити. Кормит, наверное, одинокая старуха, значит, еще не все человечество занято идиотским изрисовыванием стен... Впрочем, старуха скоро умрет.

Сердце притихло, затаилось, осталась только тяжесть в груди слева. Я выхожу из подъезда, дверь позади меня тяжело хлопает. Уже совсем стемнело, забрел я черт его знает куда, а Гена с машиной ждет в Охотном, где я его оставил, отправившись на встречу с этим Петровским.

Мобильный Гены отвечает сразу — наверное, ждал звонка и уже волновался, насколько я понимаю, он привязан ко мне, привык. Мы проводим вдвоем в тесном пространстве машины часа по два-три в день, работает у меня он уже почти десять лет... Я велю ему ехать к «Ударнику» и там ждать и сам потихоньку бреду туда, пересекаю сквер с дурацкими скульптурами, прохожу под мостом — редкие встречные оглядываются на слишком хорошо одетого для пешех прогулок мужчину, в таких черных пальто из тонкого кашемира не бродят под мостами — и издали распознаю задние огни своей машины.

Что ж, день закончен. Через сорок минут я буду дома, выпью, поем чего-нибудь... День закончен, решение принято, и надо постараться не думать сегодня больше ни о чем, от вто-

рой бессонной ночи подряд сердце наверняка взбунтуется. Почитать бы какую-нибудь ерунду, журнальчик какой-нибудь да заснуть...

Но я чувствую, что ничего из этого не выйдет.

Глава десятая. Прощание

В конторе пусто, все разъехались на недолгий, но всю зиму ожидавшийся и тщательно подготовленный весенний отдых, перед подъездом только дешевые машины младших служащих, еще не осиливающих по несколько отпусков в год, мой старомодный «мерин» да рустэмовская «ауди» — сам Рустэм Рашидович очень, видимо, занят этой весной, и приемы, устраиваемые русскими в Антибе, все еще вызывающие изумление мировой светской прессы, обходятся без него. Без него его приятели купают модели в трехсотдолларовом шампанском, носятся по Кот д'Азюр на «мазератти» и «бентли», поддерживают репутацию русской мафии... Впрочем, надо отдать ему должное — он не слишком большой любитель таких развлечений, а если и принимает в них участие, то исключительно ради поддержания престижа фирмы. На журнальных фотографиях — всегда на втором плане — можно распознать его безукоризненный смокинг, никаких пиджаков поверх маек, смуглое, тонко прорисованное лицо, сохраняющее выражение доброжелательного равнодушия... Когда успел выработаться из азербайджанского комсорга такой безупречный джентльмен? Да, способный парень, ничего не скажешь. И даже дом на Рублевке построил приличный, по вполне стильному проекту, не «тюремное барокко». Живет там один, жена с мальчишками в Австрии постоянно...

В последние дни и я дома один. Собаки, топая по паркету когтями, неприкаянно бродят из комнаты в комнату и, не находя нигде Нины, с горестным видом укладываются спать в каком-нибудь необычном месте — не в ее спальне или в моем кабинете, а в верхней гостиной или в нежилой части, предназначавшейся, когда строился дом, для Ленки, Иры и будущих внуков...

Я звонил Нине в Лондон, но разговор, который я планировал, не получился.

«Привет, ты где? — Сижу в Грин парке. — Как погода? — Хорошая. — Не скучаешь? — Я здесь никогда не скучаю. — Когда в Венецию? — Пока не знаю, может, через неделю. — Слушай, у меня предложение... — Слушаю. — Ты вот что... ты задержишься там... а потом можем встретиться у нас... ну, ты понимаешь, да?.. я хочу через пару недель туда прилететь, там и встретимся... — Зачем? — Ну, есть одна мысль... я бы тебе там все объяснил... — Нет, я не хочу. — Но почему? — Потому что не хочу. — Ну, задержишься в Италии, а я туда... — Нет, не надо. Пока».

Я психанул, прервал разговор, а когда через несколько минут перезвонил, чтобы все объяснить прямо, в конце концов, если они могут слушать наши разговоры по мобильным, то все равно от них не спрячешься — ее телефон уже был выключен. Я звонил весь день, и весь день милый женский голос сообщал, что ее номер из нот эвэйлбл.

К вечеру я успокоился и решил не пороть горячку. Съезжу сам на несколько дней, все подготовлю, вернусь, за это время и Нина вернется, оформлю дела в конторе, закроем дом и спокойно, как подобает обеспеченным пенсионерам, взяв собак и только необходимое на первое время, уедем. Глядишь, и Киреевы успеют собраться, там проживут первое время у нас, места вполне достаточно, потом купят что-нибудь... Вдруг Нина на новом месте переменится? И начнется мирная жизнь... Точнее, мирно закончится жизнь.

Гена сегодня молчит не так, как всегда, будто вообще немой, а с хмурым выражением, и прижимает он сильнее обычного, мы летим по самому краю левого ряда, почти чиркая колесами по бетонному разделителю. Что-то он, конечно, чувствует, а может, и знает — шоферы и охранники в конторе узнают все раньше всех, с этим ничего поделать нельзя. Надо будет на днях поговорить с ним прямо и предложить ехать с нами. Будет оттуда навещать свой Железнодорожный, ну, пореже, конечно... Словно отвечая моим мыслям, Гена резко мотает головой, отчего его пони-тэйл виляет по кожаной спине, круто берет вправо, подрезая все ряды, и несется теперь по пустому правому.

— Э, поспокойнее, — не выдерживаю я, — мента на перекрестке собьешь...

Гена молчит, немного сбавляет, потом до меня доносится еле слышное «виноват, Михал Леонидыч» и — это еще что? — тяжелый вздох. Парень явно не в порядке, поговорю с ним сегодня же вечером...

Мы долетаем до конторы в рекордные тридцать пять минут — Гена умудрился проскочить по перекрытому для кортежа пустому Кутузовскому. Но рустэмовская машина уже у подъезда, президент наш работает по четырнадцать часов в день. И, заметим, в моей помощи нисколько не нуждается — во всяком случае, мы с ним не общаемся всю неделю. Он приезжает рано утром, потом около одиннадцати уезжает по каким-то делам и возвращается в контору к шести-семи на пару часов. Я узнаю об этом, выглянув в окно. Судя по появлениям и исчезновениям «ауди», где-то за стенами конторы сегодня главные интересы господина Ибрагимова... А где именно, меня не посвящают. Из начальства не уехали отдыхать только Верочка Алексеева — иногда я вижу на стоянке ее «лексус» — и Толя Петров — появление его «ягуара» я фиксирую на слух. Но они, конечно, ко мне не заходят, не о чем им разговаривать с фактически отстраненным от дел стариком.

А Игорь, как всегда в это время, смотался ловить рыбу на Финском заливе, досидится когда-нибудь, старый дурень, над лункой, будут вертолетом спасать, как спасают таких идиотов каждый год... Счастливый киреевский характер, он легко отвлекается от неприятностей и умеет, как советует старая мудрость, переживать их по мере поступления. Перед отъездом на рыбалку позвонил мне домой поздно вечером, трепались целый час ни о чем, как в молодости, только в самом конце он мельком поинтересовался, «не созрел ли» я. Я сразу напрягся и сам услышал, как изменился голос. Почти созрел, сказал я, думаю, что скоро придет время осуществить нашу мечту, собираюсь в ближайшее время присмотреть какое-нибудь заведение, где будем пить пиво до самой смерти, не расплачиваясь... А, захотел Игорь, трактирщиком Паливцем собираешься стать, ну, наконец-то дошло, ладно, вернусь, обсудим, найдется ли там мне место за стой-

кой, у меня брюхо подходящее... Ты лучше придумай, как твоих баб уговорить, сказал я. Не твоя забота, буркнул Игорь, настроение у него тут же испортилось, я в своем доме пока хозяин, как скажу, так и будет. Ну, лови своих мальков, пожелал я и услышал в ответ яростный мат — к рыбалке он относится серьезно.

Так, недомолвками, и поговорили. Что ж, пора действительно собираться. Надо закруглить все мелкие дела, предупредить для порядка Рустэма, а послезавтра утром можно и улететь...

Екатерина Викторовна сегодня не успела меня опередить, ее стул пуст, только на спинке висит шаль, которая хранится здесь постоянно, — как все секретарши, она боится сквозняков. Я беру с ее стола свежую почту и долго вожусь с замком кабинета, нет привычки его открывать, обычно это делает моя заботливая помощница. Как всегда, вид моего служебного обиталища наводит на меня тоску — в самом воздухе здесь растворена безнадежность, кабинет напоминает палату, которую уже вот-вот начнут прибирать для следующего больного. И этот мерзкий стылый табачный запах... Я открываю форточку, бросаю портфель и плащ на диван и в реве автомобильных моторов, доносящемся с улицы, энергично принимаюсь за не стоящие того дела.

Почта, как и предполагал, сплошной джанк мэйл. Сообщения о начале чьих-то больших рекламных кампаний, нас совершенно не касающиеся, приглашения на десятилетия третьеразрядных банков — всем подряд начало исполняться по десять лет, проспекты новой оргтехники с предложениями поставить ее в обмен на старую почти бесплатно, проспекты очень выгодных корпоративных страховок... И, конечно, просьбы денег. «Ваше спонсорское участие в проекте позволит...» Известно, чего оно позволит: половину денег украдут лично учредители очередного фонда, а вторая половина расплывется в пространстве, растворится в мелком жульничестве местных деятелей, и получит детский спорт, или культурные учреждения регионов, или ветераны нефтехимии, или черт знает что еще — позорные копейки. А в организационных расходах фонда будут и аренда под офис милого особнячка в пределах Садового кольца, и служебные «бээмвэ», скром-

ные «пятерки» для председателя и замов, и оклады для них же, немногим меньше моего...

К чертовой матери. Я сгребаю весь ворох в корзину, решив на этот раз на просьбы денег даже формально не отвечать — пусть снова напишут, а там, глядишь, отказывать уже буду не я.

На всякий случай решаю просмотреть электронную почту и с изумлением обнаруживаю новое получение, всего одно, но зато какое — и-мэйл от Витьки Головачева! Сначала я даже не могу сосредоточиться на чтении, пытаюсь понять, где он мог взять мой электронный адрес...

«Мишка, дорогой! Пишет тебе твой старый товарищ Витя Головачев, если ты такого, конечно, помнишь. Давно мы с тобой не виделись, скажи? Как там Белый и Киреев? Я вас часто вспоминаю, хотя тогда, признаюсь, некрасиво вышло, когда я соскочил из Москвы с концами, а вам пришлось выкручиваться. Надеюсь, все тогда у вас обошлось, извини. А меня сильно бросало по всему Союзу, а потом переехал сюда, в Германию, потому что у меня уже был порядочный возраст, а жена моя, на которой я женился в восемьдесят пятом году, это третья, из евреев, и нам здесь дали социал...»

Я с трудом читаю мелкие буковки послания и от этого раздражаюсь, но не сразу соображаю увеличить шрифт — слишком поразило меня Витькино возникновение из электронной пустоты. Он в Германии... Восемьдесят девятый год, я сижу на скамейке, вокруг солнечная пустота ВДНХ в будний день, и мне снится Витька Головачев, явившийся в мой сон во всей красе ранних шестидесятых, он усмехается и уходит по чистой улочке среди аккуратных домиков с перекрещивающимися по фасадам балками, и тогда, во сне, я решаю, что это Таллин, а теперь оказывается — это Германия...

«...случайно один товарищ подсказал, чтобы обратиться к тебе, у него была карточка с твоим телефоном служебным и этим электрическим адресом, но по телефону отсюда звонить прилично стоит, а это письмо отправит внук моей жены, он говорит, что это копейки. Ответь ему, а он передаст мне. У меня есть одна мысль насчет дела. Я понимаю, что ты теперь в большом бизнесе и тебе мои маленькие гешефты не интересны, но все-таки надеюсь...»

Витька Головачев.

Боже, откуда же он взялся? Откуда берутся эти призраки — Таня, Витька...

Прошлого нет, оно давно перестало существовать, и как только эта минута пройдет, она тоже перестанет существовать.

Но ужас заключается в том, что все воскресает, когда наступает ночь, и все возвращаются, и с ними очень трудно иметь дело, потому что им уже ничего не объяснишь, они остались в прошлом, которое исчезло.

А потом наступает день, и чей-то голос прилетает откуда, и ложится на стол письмо, и возникают на экране слова, и оказывается, что диалог еще возможен, но ты уже привык к тому, что они не существуют, и тебе нечего сказать.

Наверное, и в этом тоже старость — появляются, чтобы навеки проститься, люди, с которыми, казалось, простился давно, но тогда еще было, видимо, не навек, а теперь уж навек, и настоящее становится прошлым, словно его затягивает в воронку, образующуюся, когда всплывают и снова тонут эти утопленники времени, и ты сам становишься прошлым, вот и все.

Витька Головачев. Два раза он бросал меня, наяву и во сне. Лена считала, что я притягиваю предательство, потому что сам предаю. Возможно, это и так. Но я все равно не хочу прощать Витьку Головачева, все эти годы я помнил, как он бросил нас.

Я нажимаю клавишу и долго держу ее нажатой уже после того, как Витькино письмо стерто, стирая и все полученные мною до этого письма, — не хочу, чтобы потом кто-нибудь читал их, хотя нет там ничего, всякая ерунда. Просто надо убрать за собой.

Дверь приоткрывается, осторожно заглядывает Екатерина Викторовна.

— Вы сегодня рано, Михал Леонидыч. — Она делает виноватое лицо. — Извините, я не успела...

— Соедините меня с Рустэмом Рашидовичем. — Я не отвечаю на ее извинения, мне лень соблюдать формальности. — И кофе, пожалуйста.

Она исчезает, не выказав удивления, почему я не звоню по прямому. Через секунду коротко звякает телефон, и, сняв трубку, я слышу голос Рустэма:

— Слушаю, Михал Леонидыч, доброе утро. Как себя чувствуешь? Что-нибудь срочное? — Он говорит подчеркнуто мягко, как с больным. А, черт, надоело...

— Срочного у меня ничего нет и быть не может, — срываюсь я и сам слышу, что голос мой дрожит от необъяснимо го бешенства. — Хочу просто тебя предупредить, что меня несколько дней не будет, если не возражаешь...

— Какие могут быть возражения? — Он отвечает еще ласковей. — Поезжай куда-нибудь, отдохни, конечно... В тепло куда-нибудь, а? Я бы и сам смотался, но, видишь, все разлетелось, надо кому-нибудь и в лавке побыть... А ты поезжай, какой разговор...

— Спасибо. — Я вешаю трубку и долго сижу, бессмысленно глядя на телефон, словно пытаюсь увидеть человека, с которым только что говорил. После любого общения с ним остается осадок, чувствуешь, что ляпнул какую-то глупость и уже не поправишь. Всегда ощущаешь себя униженным, хотя он, возможно, вовсе и не старается добиться такого эффекта. Зря я сказал, что у меня не может быть ничего срочного. Ситуация ведь и так понятна нам обоим, только лишний раз продемонстрировал свое истерическое раздражение...

Екатерина Викторовна вносит кофе, и я объявляю ей, что неделю она может быть свободна — я уезжаю. Она кивает с выражением еле заметного удивления, ведь в мое отсутствие она обычно все равно сидит в приемной, отвечает на звонки, сортирует и накапливает почту, соединяет меня в случае необходимости с Рустэмом, где бы я и он ни находились... Я повторяю, что она, если хочет, может взять отпуск, потому что я звонить не буду и Рустэму Рашидовичу тоже вряд ли понадобится. В ответ она произносит нечто вроде благодарности — чувствуется, что растерялась, — и исчезает. Теперь пойдет к рустэмовской Розе обсуждать новости... Наверняка она понимает или даже точно знает, что дни мои в конторе сочтены, и уже заботится о новой работе. Сейчас у Толи Петрова и Гарика Шмидта одна секретарша на двоих, ну, вот ее туда и пошлют второй, в их общую приемную. У мальчигов дел становится все

больше... Интересно, а куда денут секретаршу Игоря? Она-то своим отчаянным шпионством выслужила повышение...

Я пью кофе, курю и, чтобы не думать о важном и дать отдых нервам, вяло философствую, размышляя о том, что мне уже давно ясно.

Если бы ничего не случилось, все равно эти ребята выбились бы в люди. Конечно, тогда, в конце восьмидесятых, в начале девяностых, когда пошел на дно советский ржавый «Титаник», водоворот помог им подняться, выбросил наверх многих... Но если бы ничего не произошло, они все равно взяли бы свое, ну, просто, может быть, чуть позже. Всякая революция только ускоряет смену поколений и, в сущности, этим и ограничивается... А тут еще все совпало — и власть рухнула, и компьютеризация началась, и выкинуло их наверх сразу с мобильниками в руках, с приличным английским... А мы? Женька, Игорь, я... Просто пришло время уходить, не повезло, что большая часть жизни осталась там, в сгинувшем? Наверное, так...

От таких размышлений на отвлеченные темы становится еще тоскливее, чем от мыслей о конкретных проблемах. Хорошо хоть, что сердце не реагирует, хотя я его в последние дни мучаю — виски меньше, зато кофе и сигарет больше обычного, всегда так получается, когда начинаю сдерживаться с выпивкой.

Делать в конторе больше абсолютно нечего, а день еще только начался. Поручать заказ билетов секретарше не хочу, не ее дело, куда я собрался, вот и поеду сейчас сам в агентство, билеты закажу, а потом заеду на Архипова... как это теперь называется?.. Спасоглинищевский переулок, давно там не был, пора...

Машина тяжело ползет в пробках по бульварам, я нервничаю и ничего не могу с собой поделывать, хотя никуда не спешу. В первом же попавшемся турагентстве — на всю операцию потребовалось десять минут — уже заказаны билеты, завтра Гена заедет и заберет их. Пора бы перестать удивляться, а я все вспоминаю, как впервые собирался за границу, в Болгарию. Оформлять начали за два месяца... Никогда мое поколение не научится воспринимать новую жизнь как норму, норма осталась там, а теперь послабления.

Перед тем как пересечь Тверскую, поток вовсе останавливается. Я разглядываю машину справа, это древняя «шестерка», за рулем хмурый мужик лет сорока, рядом женщина чуть помоложе с неярким, но милым лицом, правильные неприметные черты, выражение грустное — да, скорей всего, просто тоже злятся из-за пробок, а мне опять мерещится романтическая история. Стояла когда-то, когда и пробок-то еще не было, перед светофором такая же «шестерка», и женщина почувствовала взгляд из соседней машины, сказала мужчине... а, хватит! Хватит.

Ничего не было, прошлого нет и не было никогда.

Поехали.

Едем.

Все.

Мы сворачиваем в самом конце бульваров направо, поднимаемся по Солянке, и через две минуты Гена тормозит перед ампириными колоннами.

Я надеваю кепку — с утра захватил с собой — и вхожу в тихий, как в провинциальном кинотеатре, вестибюль, стены которого густо заклеены объявлениями, приоткрываю дверь в правую, малую моленную комнату. Бормотание и вскрикивания нескольких мужских голосов окатывают меня. Я пытаюсь угадать спину реба Яши — за столько лет я так и не узнал его фамилии — среди нескольких спин, покрытых белыми, с черными полосками талесами. Все одинаковые — спущены с левых плечей пиджаки, ремешками обмотаны обнаженные левые руки...

И тут же он оглядывается.

Я знаю его уже почти сорок лет. И тогда он был маленьким узкоплечим стариком, и тогда желто-седые волосы на висках просвечивали розовой сухой кожей, и почти не изменился он за эти годы, только стал еще меньше.

Мы идем в большой пустой зал, садимся рядом, он крепко держит меня за руку маленькой сухой лапкой, от которой идет странный жар, будто у него повышенная температура. Светло-голубые глаза его немного слезятся, но лицо выражает радость.

— Ну, Миша, вас же не было целый год, и где вы были? Я вам даже звонил, представляете? — Он говорит шепотом

и оглядывается по сторонам, хотя в зале, кроме нас, никого нет. — Вы помните, что я вам звонил?

— Помню, реб Яша. — Я осторожно вытягиваю руку из его цепких пальчиков и кладу ему на плечо, под талесом я чувствую тонкие кости, как будто глажу птицу. — Я был занят, много работаю... А как вы?

— Ох, ох, он много работает... — Старик вместо ответа усмехается, как будто не может поверить в то, что я вообще работаю. — А кто не работает? Сейчас все работают... Если б жив был сын, вы помните, у меня же был сын, как вы, тоже инженер, он же умер в семьдесят пятом году, а не умер бы, так тоже работал бы, да? А как себя чувствует ваша жена Нина? Она здорова, ваша жена здорова? А сын Ленечка? От него есть радость?

И все сорок лет он узнает меня с первого взгляда и помнит имена всех в моей семье. Может быть, этот старый еврей будет последним, кто вспомнит нас здесь.

— Я хочу, чтобы вы помолились, реб Яша, — прерываю я его расспросы. — Я оставляю вам денег, а вы помолитесь, пожалуйста, за маму...

— Конечно, а что же делать, конечно, помолюсь, — бормочет он, роясь одновременно в карманах, достает маленький детский блокнотик и тут же раскрывает его на нужной странице, прилаживает кривые очки. — Вот, вот тут все, ваша мама, ваш дядя, и тетя, и сестренка, видите, все на букву Малкины... Ой, зачем вы даете так много, Миша? Как будто я без этого не помолюсь...

— Я не знаю, когда смогу зайти в следующий раз, реб Яша, — неожиданно для самого себя я обнимаю его. — Я уезжаю...

— В Израиль?! — вскрикивает он шепотом. — Вы-таки едете?

— Нет, не в Израиль. — Мне невыносимо грустно прощаться с этим стариком, с которым вижу раз в год. — Просто уезжаю...

— Слушайте, — шепчет он еще тише, — я вам скажу такую вещь: молиться можно везде, везде есть евреи... Не мое дело, куда вы едете, может, в Америку или даже в Германию, но молиться можно везде... И почему вы не молитесь здесь,

Миша? Вы же настоящий аид по маме, так надо сделать то, что надо сделать, и приходиться молиться, и все, и о чем тут думать?

— Я не знаю языка, реб Яша. — Он хочет меня перебить, но я останавливаю его. — Я не знаю языка, на котором надо разговаривать с Богом, он не поймет меня...

— Он поймет, — все тише шепчет старик, — он поймет, поймет...

Я впихиваю в карман его пиджака под талесом тоненькую пачку оливковых бумажек, еще раз кладу руку на птичье плечо и иду к выходу, не оборачиваясь.

Возможно, мне предстоит еще много плакать по оставляемому здесь, наверняка я еще не раз заплачу по этой жизни, но по ребу Яше я уже отплакал.

Глава одиннадцатая. Путешествие

В Шереметьеве, как всегда, полутемно — почему-то они выключают половину ламп в сотах низкого потолка. Толстая тетка в аэрофлотовской форме, стоящая в дверях VIP-зала, смотрит на нас с Киреевым подозрительно, хотя уж должна бы привыкнуть, что теперь сюда идут не солидные люди в мятых партийных костюмах и квадратных макинтошах, а кто попало, вроде нас. Купи билет первого класса, если денег не жалко, да и пожалуй в «зал официальных делегаций», как он называется до сих пор.

Я в дорогу оделся не по возрасту — старая, правда, когда-то очень дорогая кожаная куртка, джинсы, кроссовки... И даже черную бейсболку натянул, козырек которой затеняет поллица, — я не хочу здороваться со знакомыми, которые в аэропорту будут почти наверняка. Темный костюм, туфли и рубашки, которые мне понадобятся там, лежат в большом складном кофре, его я сразу сдаю в багаж, оставив себе только маленькую сумку с бумагами, ее я не выпускаю из рук, кожаная петелька на всякий случай надета на запястье.

Киреев приехал меня провожать, еле успев переодеться после рыбалки. Пиджак плохо сходится на его животе, из расстегнутого ворота рубашки-поло вылезает короткая багровая шея, и лицо тоже красное — кожа обветрилась. В целом же

он выглядит провинциальным воротилой, олигархом областного масштаба, и я в своем бандитском прикиде мог бы сойти за его шофера или охранника, но билет выписан на меня.

Тетка хмурится, но пропускает меня вместе с провожающим, и мы сразу идем в виповский буфет. Берем по двойному виски — ну, выпивкой с утра здесь никого не удивишь — и садимся в кресла в углу, так что от входа нас почти не видно.

— Ну, давай на дорожку. — Игорь поднимает стакан, но не дотягивается, чтобы чокнуться, ему трудно приподняться из низкого мягкого кресла. — Чтобы все путем...

Мы делаем по глотку, закуриваем и молчим. До вылета еще больше часа, мы специально приехали пораньше, чтобы поговорить, но говорить не о чем, все ясно. И чем дольше мы молчим, тем труднее произнести хотя бы слово.

— А помнишь, когда-то мы рассуждали о том, что у нас внутри? — Киреев наконец заговаривает первым, и я изумляюсь, что он вспомнил те наши споры чуть ли не полувековой давности, я и сам в последнее время думаю об этом же. — Женька стоял на том, что душа есть, а снаружи ничего нет, одни иллюзии, а ты, наоборот, говорил, что нет никакой души, пустота, только эти, рефлексy, ну, жрать хочется, например...

— Я помню... Видишь, как вышло... — Я начинаю нервничать, допиваю виски одним глотком и оглядываюсь на стойку, но идти за добавкой пока лень. — Женька с его детским солипсизмом...

— Вечно ты, Солт, дурацкими словами разговор портишь, — раздраженно перебивает Киреев и, с трудом выдравшись из кресла, идет к стойке.

Я сижу, не оборачиваясь, слушаю, как он по-простому, «по-рабоче-крестьянски», как сказал бы Женька, шутит с буфетчицей, и та смеется... Великий человек Киреев. Возможно, он и сам это знает, только придушивается, притворяется пришибленным...

— Так вот, Женька-то первым из нас убедился, что внешний мир существует, — упорно продолжаю я, когда Игорь возвращается с двумя стаканами и усаживается напротив. — Этот мир его и убил... А я теперь все чаще думаю, что чепуху я болтал насчет пустоты. Смотри, вот прошла жизнь, а мы ос-

тались, какие были, как будто сидим сейчас в нашем «штабе» в Заячьей Пади, помнишь?

— Ну... — Киреев смотрит на меня испуганно, как будто я заговорил о чем-то опасном. — Ну, помню, конечно... Ну, правильно, я ж то же самое и говорю...

— Ничего ты не говоришь, только пыхтишь, — усмехаюсь я, — пыхтишь, ханку жрешь с утра...

— Непьющий нашелся, — успевает вставить он.

— ...и к девчонкам клеишься, — заканчиваю я. — И вот, раз мы остались с тобой такими же, как были, то не следует ли из этого, что все случившееся за эти пятьдесят лет нам только приснилось? Будь у нас внутри пустота, как я, дурак, когда-то думал, так она наполнилась бы этим говном, которого мы за полвека наглотались... Так, может, то, что внутри нас, только оно и существует? А снаружи просто призраки бродят, фантомы? А, Кирей?

Он молчит, по-стариковски жует губами, и лицо его делается непривычным — такую глубокую скорбь я прежде видел на этом оставшемся конопатым до старости блине только однажды...

— Я, Солт, тут додумался как-то вообще до хрен его знает чего, — говорит он после долгой паузы. — Знаешь... Ну, в общем, примерно так: сначала, когда рождаешься, никакой души нет. А потом она начинает... ну, как бы расти... не ржи, идиот, слушай, что тебе говорят! И вот у нас она росла вместе, как бы одна... потому что мы все время были вместе, ты, Нинка, я, Женька тоже, потому что с ним сошлись, когда еще дураками были молодыми, еще росла наша общая душа, понял? И вот Женьки нет, как будто от этой души куска нет, понял, а остальное... ну, не делится, да? Потому ты, хоть и кобель, с Нинкой никогда разойтись не мог. Скажешь, нет?

— Не скажу. Потому что, наверное, ты прав. — Я сижу, совершенно потрясенный его монологом. Вот тебе и Киреев. — Я и сам так думаю... Это грустно, Кирей?

— Ни хера не грустно. — Он упрямо, даже с каким-то ожесточением трясет головой. — Ни хера не грустно, потому что, если б не было этой общей... ну, души, мы вообще все с ума посходили бы от тоски, а так, видишь, живем, вот сидим, выпиваем...

— С утра, — подхватываю я, пытаюсь уже взять шуточный тон, но Игорь отмахивается от меня и продолжает:

— А Нинка... она, конечно, все основания имеет, но все-таки зря она с тобой молчит. — Он смотрит в сторону, потому что понимает, что мне совсем не хочется говорить об этом. — Потому что другие за эти годы развелись по три раза, а ты из своих загулов всегда к ней возвращался... значит, делал выбор, правильно? И получается, что ты после всех разводов просто снова на ней женился...

— Поздно об этом, — уже решительно прерываю я его. — Первая жена, она же и последняя... Только ей от этого не легче. Все, пора мне, вон на посадку уже ведут.

Мы торопливо допиваем, и он провожает меня до выхода в узкий стеклянный коридор, по которому уже тянется редкий поток пассажиров моего рейса.

— Не успел сказать, — на ходу шепчет он, и я едва разбираю слова, — главное не успел... Слышишь, Солт? Главное: я сдался. Завтра поговорю с Рустэмом, попрошу накинуть пару — и все, сдаюсь. Понял?

— Понял, понял. — Я спешу ответить, потому что тоже не сказал ему главного, не до того было в нашем разговоре. — Я тоже сдаюсь, Игорь, еду готовить почву, понял? Позвони мне перед тем, как с Рустэмом говорить, детали обсудим, ладно?

Мы наскоро обнимаемся. Уходя по стеклянному коридору, я оглядываюсь и вижу его нелепую фигуру, он машет мне рукой, и живот выезжает из распахнувшихся пол пиджака.

В полете я сильно добавляю за завтраком и просыпаюсь уже в Праге. Самолет, переваливаясь и медленно разворачиваясь, рулит по полю к зданию аэропорта, в иллюминаторы лупит жаркое солнце, и народ суетливо достает сумки из верхних багажных ящиков.

Мне не в первый раз приходится испытывать похмелье среди дня, разбитого коротким сном, — в голове звенит, во рту сухо и горько, хочется немедленно вымыться и переодеться, потому что рубашка пропиталась пьяным потом и успела высохнуть на теле... Но в этот раз дискомфорт какой-то особый, такое чувство, что за шиворот настригли волос. Странно...

Возле транспортной петли, на которой выползают из аэ-

ропортовских недр косо лежащие чемоданы и сумки, толпится весь рейс, первые удачники бросаются и выхватывают свою добычу. Я жду появления кофра, проклиная новомодные правила, запрещающие курить в международных аэропортах, неприятное чувство усиливается, и вдруг я понимаю, в чем дело: кто-то внимательно смотрит на меня.

С раздраженным видом, даже махнув для выразительности рукой, я отхожу от транспортера, будто мне надоело ждать, и отправляюсь в туалет. В душном кафельном пространстве долго находиться невозможно, но я запираюсь в кабинке и, нагло попирая цивилизованные установления, закуриваю.

От первых затяжек начинает кружиться голова, но мозги каким-то непонятным образом проясняются, и я хватаюсь проверять содержимое маленькой сумочки, висящей на запястье. В самолете я ни на одну секунду с ней не расставался, ел, не снимая с руки кожаной петли, но наблюдательного человека это могло только привлечь — спал я крепко, тихонько растегнуть молнию при достаточной квалификации было нетрудно...

Слава Богу. Все бумаги на месте и лежат вроде бы в том же порядке, в котором я их уложил. Хорошо...

Теперь пора проверить, действительно ли за мною следят.

Сам по себе факт слежки никакого удивления у меня не вызывает, причины у Рустэма — или даже у тех «серьезных людей», с которыми он теперь повязан, — имеются, а рассчитывать, что моя конспирация хоть сколько-нибудь существенно усложнит их задачу, наивно. Переоделся, дурачок, и билеты сам купил, подпольщик...

Я выхожу из сортира и сразу вижу, что не ошибся. Возле опустевшей, бессмысленно ползущей транспортерной ленты, на которой остались только мой валяющийся на боку кофр и какой-то студенческий рюкзачок, вертится парень, одетый, как мой двойник: кожаная куртка, джинсы, кроссовки... Собственно, так одеваются почти все мои соотечественники в путешествие. Вид у него озабоченный, он откровенно смотрит в сторону туалета, где я провел по крайней мере десять минут, и мы сразу встречаемся с ним глазами.

Все ясно, непонятно только, почему послали такого непрофессионального мальчишку.

Он резко поворачивается, подхватывает свой рюкзак и спешит к выходу из багажной зоны.

Перекинув через плечо ремень кофра, не спеша, иду следом и я.

Странно... Такую слежку можно установить с единственной целью: чтобы продемонстрировать объекту, что он находится под наблюдением. А зачем им это? Если они догадываются о цели моей поездки, то такая слежка имеет только один смысл: они хотят помешать мне сделать то, что я наметил. Я обнаруживаю наблюдение и просто возвращаюсь в Москву, а они не получают никаких дополнительных сведений о моих заграничных интересах... Нет, вряд ли их устраивает такой результат.

Впрочем... Есть вот какой вариант: паренек просто придуривается. Сейчас он уже уверен, что я проникся пренебрежением к его профессиональным возможностям, — и, в общем, почти так и есть. Значит, приложив минимум стараний, я от него «отрываюсь» — то есть думаю, что оторвался, — и, уверенный в том, что позади чисто, начинаю заниматься своими делами, и тут-то он начинает играть не в поддавки, а по-настоящему. Например, продолжает слежку, но уже всерьез, не крутясь демонстративно на глазах. Может элементарно изменить внешность, это ему тем более нетрудно, что все предпосылки для этого есть: сейчас он длинноволосый и небритый студентик, а в следующий раз может появиться прекрасно подстриженным, чисто выбритым, в деловом костюме, и черта с два я его узнаю...

Ну, ладно, посмотрим, в чьей жопе больше детства играет.

Я становлюсь в маленькую очередь к окошку обменника — нужны местные деньги, в моих обстоятельствах платить карточкой будет не всегда удобно, наверняка потребуются рассчитаться с кем-нибудь наличными и быстро. Разбив мысленно зал на зоны, последовательно изучаю пространство. Парня с рюкзаком нигде нет... Может, я все придумал, никто за мной не следит?

Но, выйдя из здания, я его немедленно обнаруживаю — он болтается между остановкой автобуса и стоянкой такси, как бы не решаясь сделать выбор. Чтобы пройти к тому месту, где можно сесть в машину, мне приходится разминуться с ним,

глядя в сторону, он торопливо уступает дорогу. Очередник-таксист на новеньком «глазастом» — круглолицый вислоусый мужик, совершеннейший персонаж Гашека — подъезжает к ногам, проворно выскакивает из-за руля и грузит мой кофр в багажник. Я отчетливо и излишне громко называю ему адрес «Отель «Адрия» и боковым зрением вижу, как мой топтун садится в следующее такси. Это уже не слежка, а открытое наблюдение, вроде того, которое устраивала когда-то наша Лубянка за наиболее скандальными диссидентами... Интересно, как он договорится с пражским таксистом, чтобы тот ехал за моей машиной, — здесь русских не любят еще с шестьдесят восьмого года, а теперь вдобавок и опасаются нашей мафии.

Возле подъезда давно мне известной, довольно симпатичной гостиницы в нижнем конце Вацлавской площади мой Швейк тормозит. Пока он достает кофр и благодарит — почему-то по-немецки, неужели не распознал бывшего оккупанта? — за чаевые, я оглядываю место действия. Жарко, бродят толпы туристов в ярких майках и шортах, и я, в моей кожанке и джинсах, потный и уже обросший после бритья на рассвете седой щетиной, чувствую себя грязным пятном, которое оставляет немытый палец на картинке из глянцевого журнала. Когда-то, в первых поездках на Запад, это чувство не покидало меня — как бы ни оделся, всегда оказывался одетым слишком тепло и мрачно. Потом, когда стал летать только первым классом, в полном комфорте, когда в дорогу начал надевать деловой костюм из тонкой прохладной шерсти, приличный в любую погоду, это чувство забылось...

Швейцар вопросительно смотрит на меня, но я не вхожу, ожидая, когда подъедет мой сопровождающий, — я придумал, как не просто оторваться от него, но оторваться поиздевавшись.

Наконец его машина останавливается перед подъездом, и он оказывается вынужденным выйти прямо в мои объятия. Выбора у него нет, и, стараясь не встретиться со мною взглядом, он быстро проходит в вестибюль.

И тогда я, не торопясь, снимаю куртку — жарко уже невыносимо, — перекидываю через плечо ремень кофра и, навьюченный, как верблюд, начинаю двигаться в сторону ратуши.

Даже если мальчишка немедленно бросится за мною, преследовать меня более или менее незаметно ему будет невозможно: путь мой лежит по извилистым, узким и забитым народом улочкам, здесь ему придется идти прямо за моею спиной, чтобы не потерять из виду. К тому же я через каждые десять шагов останавливаюсь, перекидываю в другую руку куртку, перевешиваю кофр на другое плечо — как бы в изнеможении, хотя ноша не такая уж тяжелая. При этом я затравленно, как и подобает еще не нашедшему приют туристу, оглядываюсь по сторонам, вытираю пот со лба, в общем, демонстрирую беспомощность. Впрочем, не забываю бдительно следить за крепко прижатой к груди маленькой сумкой — ее петля по-прежнему на моем запястье, но в толпе могут срезать за милую душу, здесь полно балканского, растекшегося в последние годы по всей Европе воря...

На площади я сажусь за столик в ближнем к ратуше открытом кафе, ставлю кофр рядом на брусчатку, вешаю куртку на спинку стула, беру маленькую кружку пива — я не фанатик, как большинство, этого напитка, да и наливать жидкостью в моем положении не стоит — и, блаженно вытянув ноги, смотрю, как и все вокруг, на часовую башню, ожидая появления резных фигур, которые одна за другой должны выехать из дверок в циферблате вместе с боем курантов... Впрочем, на самом деле рассматриваю я не башню, виденную мною десятки раз, а толпу перед ней. Почему-то я уверен, что, если мой преследователь здесь появится, я его сразу замечу.

Наконец часы начинают бить, толпа застывает, задрав головы, дверцы распахиваются, и в высоте начинается хоровод раскрашенных рыцарей, священников, каких-то толстяков, выплывает смерть с косой... Туристы аплодируют — западные люди любят аплодировать по любому поводу.

Мне же пора, передохнув, продолжить осуществление своего плана. Я оставляю деньги за пиво под кружкой, подхватываю поклажу и иду через площадь к ее противоположному краю, протискиваясь через толпу, переместившуюся теперь к духовому оркестру, наярывающему штраусовские вальсы и почему-то старые советские песни.

Все складывается, как я и планировал: старинные автомобили-кабриолеты, сверкающие лаковыми кузовами и медью

фар, стоят на своем месте. Я всегда задавался вопросом, настоящие ли это раритеты или хорошие подделки, изготовленные недавно для потребностей туристического бизнеса, но шоферы клялись, что настоящие, — впрочем, ухмыляясь при этом. Если подделки, то безукоризненные: и окраска совсем другая, чем на современных машинах, и огромные плетеные корзины прицеплены сзади в качестве багажников, и толстая потрескавшаяся кожа сидений впечатляет, и рули на старинный манер справа...

Я отдаю шоферу сто пятьдесят крон и отправляюсь в экскурсию по старинной Праге. Солнце печет отчаянно, экипаж гремит и пыхтит, мы едем по старым еврейским кварталам, проезжаем знаменитую синагогу, возле которой фотографируются вездесущие японцы, шофер, оборачиваясь, выкрикивает объяснения на жутковатом английском — не может быть, чтобы и он не признал во мне русского, просто не хочет говорить на языке бывшего «старшего брата»... Теперь мы едем по набережной, справа сверкает вода и, отставая от нас, скользит ярко раскрашенный пароходик, на палубе которого блестят медные трубы и тромбоны, оттуда, прорываясь сквозь весь грохот, долетают обрывки диксиленда... Мы поворачиваем налево и снова оказываемся в глубине старого города. Пора.

Я дотрагиваюсь до плеча шофера, он оборачивается и видит перед носом пятьдесят крон. Стоп хиа, перекрикиваю я шум мотора и улицы, стоп! Чех думает секунд двадцать, потом, неуверенно улыбаясь, кивает — впрочем, к этому времени он уже затормозил. Я сгребаю все свое барахло, тяжело — с непривычки к открывающимся назад автомобильным дверцам — вылезая на тротуар и машу водителю: вперед, вперед! Колымага трогается, а я, сделав десяток шагов следом за нею, сворачиваю в маленький пассаж, прохожу его насквозь и попадаю на параллельную улицу, узкую и всю затененную высокими домами, выстроившимися по обе ее стороны. На улице почти нет машин, кроме стоящих у тротуаров, да и людей нет — пусто, тихо, шести-, восьмиэтажные серые дома доменной постройки, добротные коробки без излишеств, с лакированными темно-синими и зелеными дверями подъездов. Улица довольно круто идет в гору, но мне нужно пройти вверх всего метров тридцать.

Вот так, мальчик, вот тебе и слезка. Улица видна вся, в обе стороны, и пуста.

Я останавливаюсь перед зеленой дверью, достаю из маленькой сумочки, висящей на запястье, ключи и отпираю одним из них замок. Дверь открывается тяжело и беззвучно, в гигантском, облицованном желтовато-серым мрамором вестибюле прохладно, даже холодновато после жары, на которой я был еще пять минут назад. По слегка стертým ступеням широкого марша лестницы я поднимаюсь к сетчатой шахте лифта, вхожу в его полированный тесноватый шкаф и долго, медленно поднимаюсь, вдыхая застарелый сигарный дух и разглядывая себя в отливающем голубизной зеркале. Потное лицо блестит, рот кривится от напряжения — я жутко устал. Не по возрасту Михал Леонидыч, все эти развлечения, пьянка с утра и полдня игры в шпионы...

С тихим звоном лифт останавливается на последнем этаже. Теперь надо одолеть еще двадцать ступенек полированного красного дерева, и узкая лестница выводит на маленькую площадку. Вторым ключом я отпираю стальную, крашенную, как военный корабль, серым, шаровым маслом дверь и оказываюсь под свирепым, каким оно бывает только над крышами большого города, солнцем. В двух шагах возвышается купол музея, внизу кипит Вацлавская площадь — я сделал маленький круг.

Третий ключ отпирает дверь в надстройку, как бы в отдельный дом, стоящий на крыше и занимающий большую ее часть.

Я всегда хотел жить на крыше. Много лет назад я стоял у края бассейна, хлорный дух которого растекался над местом, где теперь восстал храм, и смотрел через реку на знаменитый дом, пытаясь угадать, кто живет во многих маленьких домиках, возвышавшихся над его крышами. Скорее всего, никто там не жил, а помещались всякие технические службы и устройства... Или гэбэшные потайные комнаты... Или, может быть, жил какой-нибудь слесарь, поселенный там для близости к подведомственным ему кранам и вентилям, годами наблюдал сверху суету во дворах дома, ночные аресты, утренние подачи персоналок к подъездам, потом запустение и упадок, постепенно охватившие гигантское поселение, крепость и тюрьму одновременно... Я мечтал жить на крыше и могу те-

перь жить, если захочу. Вот крыша, вот город внизу, прекрасный город, а то, что он чужой, даже лучше — день за днем, ночь за ночью его можно рассматривать отсюда, и до конца жизни он будет интересен.

Я купил эту квартиру четыре года назад, в хорошие времена, когда денежный ливень казался бесконечным, а контора — вечной, но почему-то сообразил сохранить покупку в секрете, и теперь никто, кроме Нины, Леньки и Игоря, не знает о существовании этого убежища.

В квартире полутьма, мелкая пыль пляшет в плоских полотнах света, проникающего сквозь жалюзи. Среди приличной старой мебели, купленной вместе с жильем, в комнатах стоят нераспакованные коробки с телевизором, холодильником и прочей техникой — тогда, купив квартиру, я сразу же начал оборудовать будущее существование, но отвлекся, бросил, уехал, еще было не до того... Теперь пришло время.

Пришло время остановиться, оглядеться с высоты. Лучше нет красоты, орал Киреев, стоя на крыше сарая и собираясь с нее прыгнуть, а я смотрел снизу и не решался повторить его подвиг...

Поздним вечером я, в одних трусах, еще мокрый после душа — весь остаток дня, не раздевшись, проспал на жестком, обитом неприятно скользким шелком диване, потом долго приходил в себя под горячей водой, — вытаскиваю на крышу большое плетеное кресло, набрасываю в него маленьких подушек, собранных по всей квартире, и устраиваюсь с телефоном и предусмотрительно купленной еще в московском дьюти-фри пластмассовой фляжкой «Блэк лэйбл».

Да не было никакой слезки, думаю я, мало ли чего покажется спьяну, ну, совпал маршрут какого-то парня с моим, вот и все... Переутомление и нервы. Странно еще, что сердце не дает себя знать, впрочем, в поездках оно всегда меня щадит.

Снизу, из улиц, наплывает светящийся, не остывший после дневной горячки выдох города. Я делаю хороший глоток — сейчас еще сильнее захочется есть, но идти куда-нибудь нет сил, может, попозже спущусь в какое-нибудь ночное заведение — и, закурив, набираю номер Нины. В трубке лепечут по-итальянски, и, не поняв ни слова, я получаю почти исчерпывающую информацию: жена в Венеции и выключила теле-

фон. Собственно, немногим больше я узнал бы, если бы она ответила... Я набираю Киреева.

— Здорово, — говорит друг, прочитавший мой номер на определителе, прямо мне в ухо, — ну, осмотрел местность? Пьянствуешь или кровать осваиваешь?

— Пьянствую и осматриваю места, где нам предстоит с тобой скоро пребывать... — Отвечая Игорю, я вдруг представляю себе, как можно было бы все это изобразить: сидит человек в трусах на крыше в Праге, вот от него протягивается ниточка в Венецию, вот тянется вторая, в Москву. — Мне нравится, места хорошие.

— Что, уже пивную покупаешь или ты свой чердак имеешь в виду? — Кажется, что он говорит слишком громко, но я знаю, что это просто качество международной связи. — Ты сейчас где?

— Я сейчас на крыше... — Нити тянутся, вот-вот оборвутся. — Знаешь, что такое крыша? Это остановка на полпути к небу, понял? И я сейчас осматриваю небеса, ищу нам следующее пристанище, созвездие выбираю... Тебя устроит Телец? Или обязательно Дева?

— Пьяный уже, — констатирует Киреев. — Телец... Нет уж, Карлсон, сиди себе на крыше, а на небеса не торопись, я, например, пока не собираюсь, ясно?

— Ясно, ясно, ни о чем высоком никогда думать не мог и на старости лет не научился. — Я перевожу разговор. — Ну, тогда о делах. Что нового за день?

— А то новое... — Он продолжает говорить ровно и с дурашливыми интонациями, будто продолжает треп. — Что с сегодняшнего дня я больше не акционер всемирно известной компании «Топос», все подписано, и бабки мои уже кинуты, куда положено, понял, и становлюсь я тем, кем всю жизнь хотел быть, даже когда слова еще этого не знал, рантье, понял? Але, Солт, ты понял меня? И вот еще что: Рустэм ничего не добавил, понял, и я согласился, потому что мне все остоебенило, вот и все! Але, Солт!

— Я слушаю... — Сделав паузу, я протягиваю вниз руку, нащупываю флажку, подношу ее ко рту, глотаю. — Слушаю... Ну, поздравляю, Кирей. Поздравляю и, наверное, присоеди-

нюю в ближайшие дни... Ладно. Пока, Игорь. Надо перевернуть. Созвонимся...

Он отключается не попрощавшись.

И я остаюсь один.

В моей жизни уже не раз бывали такие дни — иногда недели, — когда я жил как бы «на два дома», как бы два человека существовали одновременно в одном Михаиле Салтыкове, занимаясь совершенно разными вещами. Один, не суетясь, но быстро действовал, совершая какие-нибудь крайне важные и жизненно необходимые поступки, а другой вяло, невнимательно, как бы в полусне, наблюдал за действующим и размышлял о чем-нибудь, совершенно несущественном в данный момент... Обычно я так раздваивался в самые трудные моменты, возможно, именно это помогало их пережить.

Утром после бессонной ночи, проведенной в кресле на крыше, в очередной раз начинается такая жизнь. Я непрерывно что-то делаю и в то же время со спокойным интересом слежу за этим все больше устающим пожилым господином, за тем, как он, с трудом подавляя беспричинное раздражение, разговаривает с людьми, как носится из города в город, как пытается вечером заснуть и, покрутившись в кровати час-полтора, встает, одевается, идет бродить по пустым и гулким ночным европейским улицам в поисках ближнего заведения, где можно выпить в такое время...

Я сижу у моего пражского адвоката, мы уже битый час разговариваем, но он никак не может понять, что именно я хочу изменить в бумагах, удостоверяющих мои права на часть дома по адресу... представляющую собой надстройку (пентхауз), ограниченную снизу... наследует госпожа Нина Салтыков, а в случае ее смерти права переходят к господину Леонид Салтыков... куда же вы, пан Михаил, хотите вставить господина Киреев?..

Поздним вечером я иду по Праге, просто гуляю после тяжелого дня, я собираюсь выйти к Карлову мосту и постоять над водой, сворачиваю в плохо освещенную улицу, и тут же возникает передо мною в неожиданной близости расплывающееся в темноте светлое пятно женского лица: «Мужчина, вы русский? Хотите отдохнуть с русской девочкой? У нас хоро-

шие девочки, молодые; москвички есть...» Я прислушиваюсь к себе, чтобы понять, чего я хочу, и понимаю, что не хочу ничего...

Резко заходит на посадку мой самолет, мне становится страшно, только не хватает теперь разбиться, но все обходится благополучно, и через час я уже переодеваюсь в своем гостиничном номере, рассматриваю в зеркале пожилого мужчину в дорогом английском костюме, все ничего, только выражение лица очень уж скорбное, как будто на похороны собирается господин, но мне некогда заниматься своим лицом, я выхожу из отеля и оказываюсь на широкой улице, упирающейся дальним концом в набережную озера, десять минут ходьбы до того конца, я сворачиваю за угол, вхожу в банк, доложите, пожалуйста, старшему менеджеру, что с ним хочет говорить господин Салтыков из России...

Я ужинаю в знаменитом ресторанчике рядом с моим отелем, в этом заведении меню из одного блюда, антрекот с жареной картошкой, но такого качества, что пожилая пара, которую подсаживают за мой стол — ресторан битком набит, — раз в месяц приезжает сюда, в Женеву, из Италии только ради этого антрекота, а господин, наверное, из России, почему вы догадались, ну, это же просто, вы заказали водку к мясу, мы были в России в прошлом году, в Санкт-Петербурге, очень красивый город, а из какого города господин, и вдруг я замечаю, что куда-то провалились несколько минут, итальянской пары за столом уже нет, официанты, поглядывая в мою сторону, сворачивают скатерти, значит, я уснул посреди разговора...

Душное, пропитавшееся запахом дезодорантов купе поезда...

В магазине напротив «Сюиссотель» я покупаю новую рубашку, запас чистых, которые я взял с собой, исчерпался, а отдавать в стирку некогда, рубашка слишком дешевая, какие продаются в магазинах «Си энд эй» по всему миру, я уже давно не ношу таких, но отель стоит на отшибе, а все приличные магазины в Цюрихе на Баннхофштрассе, и я, конечно, не поеду туда за рубашкой — в одиннадцать уже надо быть в здешнем банке. Вытаскивая в номере бесчисленные булавки, которыми рубашка скелета, и вынимая вложенные для прида-

ния формы картонки, я вспоминаю те времена, когда такая об-новка была бы событием, когда каждая пуговица была бы рас-смотрена — Женька, надыбал шортец, представляешь, все настоящее, пуговицы на четыре удара! — и оценена, лучше ли мне жилось тогда, лучше ли живется теперь, когда комод в Москве забит рубашками, купленными на лондонской Джермин-стрит, с моими инициалами, вышитыми над левой манжетой, я не уверен, что стало лучше, но не уверен и в том, что было лучше в молодости, так ли уж хороша молодость, не знаю, но старость нехороша, вот это я знаю точно...

Итак, господин Салтыков, кажется, мы все предусмотрели, говорит полный молодой человек в маленьких круглых очках, сидящий напротив меня, эдакий цюрихский Пьер Безухов, ему лет двадцать пять—двадцать семь, а уже такой прилич-ный пост в большом банке, молодец, итак, господин Салты-ков, мы зафиксировали все ваши указания относительно счета и рады будем действовать в соответствии с ними и распоряже-ниями вашими или любого из ваших доверенных...

Тротуары Баннхофштрассе влажно блестят, улица только что вымыта, народу немного, навстречу мне летит на роликах немолодой, едва ли не моих лет господин в шортах и длинной майке, длинные седые волосы развеваются по ветру, рядом с роликобежцем галопом мчится серый мраморный дог, я смо-трю вслед этой паре, пока они не скрываются за углом, инте-ресно, что понял бы этот человек, если бы рассказать ему, как я жил, мы почти ровесники, что он понял бы про Заячью Падь пятидесятых, и про Москву шестидесятых, и про инсти-тут, и про то, как мы гнали селитру в Польшу, что он делал в те же годы, как прожил свою жизнь до того, как встал на ро-лики и понесся с собакой по свежевыванной улице...

Ну, вот и все, пора заканчивать, думаю я, доставая телефон и набирая номер, вот и все, пора...

— Але, Рустэм, привет. — Я говорю на ходу, ему, навер-ное, слышно мое громкое дыхание, как всегда бывает, когда говоришь на ходу, но он думает, что я волнуюсь. — Да, это я, звоню, чтобы сказать, что согласен, да, на твоих условиях, ты уже должен был получить все реквизиты... их послали сегодня на твой электронный адрес... ну, сам понимаешь... все, до встречи...

И тут где-то, скорей всего, у меня в голове раздаётся тихий звонок, как будто лифт остановился на моем этаже, и я обнаруживаю себя в огромном бетонном сарае цюрихского аэропорта, все, что я должен был сделать в Европе, сделано, я сижу в неудобном аэропортовском кресле и жду московского рейса. Мои половинки слились, и я уже не вижу со стороны пожилого человека, одетого не по возрасту в джинсы и кожаную куртку, томящегося в ожидании вылета, — я просто сижу в неудобном кресле и жду, понемногу раздражаясь из-за того, что курить теперь у них нельзя нигде, даже в зале первого класса.

Я звоню Нине, телефон опять сообщает по-итальянски, что абонент недоступен. Ну, что это за манера выключать телефон в путешествии, ведь по-человечески же просил этого не делать! И сколько можно болтаться в Венеции, неужели не надоело...

— *The world has gone mad with this fighting against smoking**. — Я поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с произнесшей эти слова дамой. Типичная интернациональная пенсионерка в путешествии: кроссовки, белые носочки, полотняная юбка, тонкий свитерок, накинутый на плечи и связанный рукавами на груди, а над всем этим веснушки и по-мужски остриженная подсиненная седина. — *Damn, I terribly want a cigarette... I'll have to distract myself with a conversation, if you don't mind. So, are you satisfied? Is everything all right with your apartments and bank accounts? What about surveillance? Did you forget this young man — by the way, there he is standing near the bar with his rucksack on, have you forgotten him? That right, don't think about things that you can't change... ***

Интересно, вполне спокойно и даже весело думаю я, это тоже результат переутомления или так все же бывает на самом деле? Не предполагал, что говорить в таком случае придется по-английски. Черт, моего английского для такого разговора не хватит... Черт...

*** Мир сошел с ума с этой борьбой против курения... — здесь и далее по-английски за незнакомку говорит Захар Артемьев, которому автор выражает признательность.*

*** Мне тоже чертовски хочется курить... Придется отвлекаться беседой, если вы не против. Итак, вы удовлетворены? С квартирой и счетами полный порядок? А о слежке, об этом молодом человеке — вон он, кстати, стоит возле бара со своим рюкзаком — вообще забыли? И правильно, не стоит думать о том, что от вас не зависит...*

Глава двенадцатая. Перед вылетом

— Honestly, my native language is German*, но я могу говорить вам по-русскому, только вы будете извинять мои ошибки, — продолжает тетка с милым акцентом. — И я имею одну просьбу: не удивляйтесь, пожалуйста, прошу вас. Вы, например, можете быть уверены потом, что имели беседу с собой, а я была просто в вашем уме фантом, да? Каждый человек или дама имеет возможность говорить с собой, когда устал и жизнь идет плохо, очень трудно, и уже нет совсем сил, это так. Я знаю, что в России есть обычай так говорить, как с собой, в поезде с попутником... нет, с попутчиком, да? Но теперь в Европе мало ездят в поезде, и вы можете говорить со мной здесь...

— Для обычного попутчика вы слишком хорошо осведомлены о моей жизни, — не особенно вежливо перебиваю я. — Я готов считать вас Мефистофелем, принимая во внимание ваше немецкое происхождение, но «черт» по-русски мужского рода...

— Но я не обычный попутчик, это правда? — кокетничает она. — И я знаю еще русские слова «нечистая сила», это женский род, вот, пожалуйста...

— Ладно, меня устраивает ваше предложение, — соглашаюсь я, — будем считать, что я разговариваю со своей душой или с совестью, а вы просто сидите напротив, случайная соседка в зале ожидания... Но меня все же интересует тот парень, вот он как раз смотрит в нашу сторону, — это действительно слезка?

— Какая есть разница, — пожимает она плечами, — действительно или не действительно... Вы все хотите узнавать, вы всегда все хотели узнавать. Вы хотели узнавать, кто написал то письмо тогда, когда вы были в детстве, вы хотели узнавать, кто... есть у вас такое слово... настучал, да? настучал про вас в кей-джи-би, когда вы были юноша, кто взял клейнод... да, бриллианты из земли, теперь вы будете хотеть узнавать про этого молодого человека, потом про ваши деньги...

— А что случилось с деньгами? — Я не испытываю ни ужаса, ни отчаяния, хотя сразу все понимаю. Маленькая су-

* Вообще-то мой родной немецкий...

мочка с документами висит, как всегда, на моем запястье, но я даже не дергаюсь проверить, на месте ли банковские бумаги. Спокойное, тихое безразличие ко всему, что случилось и случится, накрывает меня, только сам разговор мне интересен.

— Все бумаги на месте. — Она смотрит на меня со снисходительным сочувствием, как смотрит взрослый на ребенка, в руках у которого развалилась его любимая игрушка. — Теперь никому не нужны никакие бумаги, есть компьютер, разве нет? Теперь есть такие молодые люди, которые берут компьютер, раз, два, три — и ваши деньги сразу ушли от вашего счета на другой счет, все. Вам жалко ваши деньги?

— Больше у меня ничего нет, — пожимаю я плечами, — впрочем... теперь, пожалуй, мне ничего и не нужно...

— Это неправда пока. — Она улыбается, показывая мелкие и ровные зубы, идеальную металлокерамику. — Вы привыкли иметь деньги. Вся ваша жизнь была так: деньги, деньги, деньги! Вы всегда верили, что деньги — это хорошая жизнь, нет, не так, правильно будет вот так: вы думали, что деньги — это как... вот, как стена, жизнь там, а вы здесь, и деньги... как крепость, да? И вы не боялись жить, если были деньги, и всегда думали: вот деньги, это жизнь моя и моей фамилии. Сейчас я вспомню слово... А, вот: вы всегда хотели деньги — чтобы откупиться, правильно? Откупиться от жизни. О, да, откупиться.

— Допустим... — Жутко тянет закурить, но об этом здесь и мечтать нечего. Можно пойти к бару и выпить, но, во-первых, я не решаюсь пригласить ее, и, во-вторых, мне почему-то не хочется приближаться к тому парню с рюкзаком, а он прочно устроился за стойкой. — Допустим, что все именно так, я и сам раньше иногда думал об этом. Собственно, здесь нет ничего удивительного: так учил меня жить мой дядя...

Она кивнула, подтверждая, что про дядю Петю ей все известно.

— ...и я сам учился тому же самому, оставшись со слепой матерью на руках в шестнадцать лет, без всякой помощи. Интересно, во что мне было еще верить?

— Я не судья, я не делаю вам суд... — Произносятся это, она уже роется в своей небольшой дорожной сумке «Барберри». — Вот, нашла! Позвольте угощать вас здесь, потому что

вы не хотите идти в бар, где этот молодой человек. Но такой разговор нельзя говорить... ах, хорошее русское слово... насухую, вот!

Она протягивает мне небольшую бутылку «Гленфиддик», я принимаю темно-зеленое трехгранное стекло, скручиваю пробку и не знаю, что делать дальше. Надо бы предложить и ей, но пить из одного горлышка с нею... дело не только в неловкости, еще и страшновато...

— Вы смешной... — Она снова роется в сумке. — Это... суеверный, да? Бойтесь пить из одного горла с нечистой силой. Смешной. Но я не эйдс, не инфекция, просто я не умею пить из горла, как русский. Вот, сюда можно налить только на один палец, больше для меня запрещается, гипертензия...

Она вынимает из потертого кожаного футляра складной серебряный стаканчик, и я наливаю ей глоток, заглядывая сверху, чтобы не перелить.

Соломенная жидкость отсвечивает в полированном металле, и мне кажется, что там колеблется какое-то отражение... тени какие-то мелькают...

дымится что-то, и тут мне наконец делается страшно, рука вздрагивает, и тяжелая капля падает на ее колено, на светлую полотняную юбку, и я вижу, как мгновенно испаряется, высыхает темное пятно.

Я поднимаю глаза и смотрю ей в лицо.

Обычное веснушчатое лицо европейки примерно моих лет.

— Не надо бояться всякой мелкой чепухи, — говорит она, — на хорошей материи все сохнет быстро. Итак, я хочу говорить тост. Я буду выпивать этот стаканчик за то, что у вас пройдет эта болезнь, которая называется «деньги», и вы будете жить здоровый дальше. На здоровье!

Ни один иностранец не может произнести правильное русское пожелание здоровья собутыльнику, даже она... Я делаю огромный глоток из бутылки и едва не задыхаюсь, она лихо опрокидывает свой стаканчик, из соседних кресел на нас неодобрительно смотрят.

— Не надо обращать ваше внимание на них, — говорит она, весьма презрительно кривя рот. — Это есть просто европейская манера... это не русские... лицемерность, да? И еще они завидуют, потому что мы пьем хороший скотч. Теперь вы

будете пить без меня, это ничего. Как вы чувствуете себя? Сердце хорошо?

— Спасибо, сегодня неплохо, — автоматически отвечаю я, вспоминая, что мне осталось непонятным... А, вспомнил! — Мы отвлеклись. — Я наклоняюсь к ней и зачем-то понижаю голос. — И вы так и не сказали мне, кто тогда, в Заячьей Пади, написал донос, кто стукнул на меня, кто вырыл клад. Ведь я грешил на близких, мне было плохо от этого...

— Все узнавать, все время узнавать, вы имеете манию узнавать... — Собеседница раздражается, замолкает, совершенно по-старушечьи поджав губы, и становится похожа на обычную русскую бабку, осуждающую весь мир.

Помолчав, она решительно протягивает ко мне руку со стаканчиком, и я наливаю ей вторую порцию уже не глядя, мне страшно заглядывать на дно дьявольского сосуда. Не дожидаясь меня, старая пьяница снова одним ловким глотком выпивает и еще минуту молчит, глядя в пространство заслезившимися светлыми глазами, переживает ощущения.

— Это нехорошо, думать плохие вещи про людей. — Она наконец решает продолжить нравоучения. — Это ваша вина — думать, что все ваши, которые любят вас, могут всегда вас обманывать. Предатели, да? Вы всегда старались любить, но вы не могли, потому что... не знаю слова... чтобы любить, надо верить... если любишь какую-нибудь женщину или мужчину, он будет, как вы, вы сделаетесь один человек, тогда любовь. А вы всегда отдельный, один. И вы всегда думаете, что другой может вам сделать все плохое. Можно не верить в партнеры, это бизнес, можно не верить в другие люди, которые просто рядом есть, но надо верить в те, которые вы любите. Это так... баналь... Вы должны знать, но вы не верите... Поэтому вы теряли все свои женщины, и теперь вы один, но, может быть, потом, скоро, когда вы станете здоровый от вашей болезни, от деньги, ваша жена...

— Но кто же тогда? — не выдержав жуткого этого монолога, в котором справедливо каждое исковерканное слово, шепотом кричу я. — Кто же, если не близкие люди, ломал и уродовал мою жизнь? Кто знал все, что нужно было знать для этого? Разве не все люди чувствуют себя так же, как я,

отдельными? Разве не ради себя самих все люди любят тех, кого любят?!

Она молчит. Замолкаю, оглядываясь, чтобы увидеть реакцию соседей на мою истерику, и я.

Зал опустел, в дальнем его конце небольшая очередь втягивается в проход между двумя электронными тумбами, возле которых девушки в синих мундирчиках и ярких косынках отмечают посадочные талоны. Я прослушал, какой рейс объявили, возможно, мой...

— Еще имеете время, — говорит она и снова замолкает, пристально разглядывая меня, как бы раздумывая, стоит ли продолжать разговор.

Под ее взглядом я в несколько глотков допиваю виски и ставлю пустую посуду на пол рядом с креслом...

— Не знаю, как говорить... — Она все медлит, а я уже сижу на краешке кресла, мне уже хочется туда, в самолет, мне вдруг стал совсем неинтересен этот разговор, будто такие случаются каждый день, ну, какая-то неглупая пожилая немка устроила мне в зале ожидания цюрихского аэропорта короткий сеанс психоанализа, подумаешь. — Не знаю эти русские слова... вы считаете, все люди объект, а люди субъект, каждый человек субъект, как вы... Нет, так говорить непонятно!

Она решительно обрывает фразу и смотрит, как я уже совершенно неприлично ерзаю в кресле, не решаясь попроситься и бежать на посадку.

— Бог, — вдруг говорит она, и я дергаюсь от неожиданности. — Вас наказывал Бог, вы можете это понимать? Не люди. Все проверки... нет, испытания... Это давал Бог.

— Странно, что вы говорите о Боге. — От удивления я даже забываю на минуту о своем рейсе. — Вы...

— Что странно? Не странно совсем. — Видно, что ее все больше раздражает моя тупость. — Я знаю про Бог много... Кто может знать про Бог, если я не знаю? Это вы не думали о Нем, даже приходили в Его храм и не думали совсем...

— Я не знаю языка моей религии, — отвечаю я, понимая, что этот разговор уже никогда не закончится, никогда я не улечу в Москву, не приеду в свой дом, не побегут ко мне навстречу собаки, я вечно буду сидеть здесь, ожидать вылета и оправдываться перед кем-то. — Я не знаю обычаев и молитв...

— Религия не имеет разницы, и молитва... — Заметно, что ее тоже утомила беседа и ей не хочется заканчивать фразы. — Молитва... не надо говорить языком... Но теперь уже все. Вы еще будете иметь время потом думать про наше неприятное знакомство. Теперь вы должны идти.

Я встаю, она остается сидеть. Вряд ли следует подавать ей руку... Впрочем, она уже не замечает меня, открыв свою сумку, она что-то ищет. Вероятно, не надо с нею вообще общаться... Я делаю несколько шагов к девушкам в синей форме, они машут мне, показывая, что надо спешить.

— И не надо быть грустным из-за ноги! — раздается позади меня. — Я была знакомая многих хромым мужчинам, им это было красиво даже...

Я оглядываюсь и вижу пожилую туристку, она сидит, читая карманного формата книгу в темном переплете, и не смотрит в мою сторону.

Девушки в синем окликают меня, сэр, плиз, ви ар вэйтинг, и я почти бегу к ним, совсем не хромым, какая еще нога...

Проходя между тумбами, я еще раз оглядываюсь и вижу совершенно пустой зал. В глаза бросаются темно-зеленая трехгранная бутылка, стоящая на полу возле кресла, в котором я дремал, ожидая вылета, и небольшая книга в темном переплете, лежащая на противоположном кресле.

Мне очень хочется вернуться и взять книгу — полистал бы в полете... Но уже совсем нет времени.

Глава тринадцатая. Все обошлось

До самой посадки я, как обычно, сплю. Я всегда стараюсь в полете заснуть, поскольку самолетов побаиваюсь, а за последнее время еще и устал отчаянно, тут не то что слезка померещится или черт привидится в облике немецкой пенсионерки, — от всего, что навалилось, вообще можно с ума сойти...

В Шереметьеве все, как было, будто недели не прошло: полутьма, тоска, только добавились лужи на полу — за стеклами льет дождь. Я иду между шпалерами встречающих, высматривая Гену, но вместо него меня окликают смутно знакомый бритоголовый качок.

— Михал Леонидыч! С приземлением... Я вас отвезу на разгонной, давайте сумочку. — Он снимает с моего плеча кофр и быстро идет впереди меня, проталкиваясь к выходу.

— А почему Гена не приехал? — еле поспевая за бритоголовым, обращаюсь я к его спине. — Случилось что-нибудь?

— Ничего не случилось, — отвечает он, не останавливаясь, через плечо, — вы разве забыли, Михал Леонидыч? У Гены ж сегодня выходной типа, он меня еще вчера предупредил, номер рейса дал и вообще...

Почему-то он страшно спешит, легко раздвигая людей круглыми оплывшими плечами, но позади него толпа снова смыкается, и мне никак не удастся его догнать.

Машина, потрепанная «бээмвэ», на которой когда-то ездил Рустэм, стоит перед самым выходом, шофер бросает кофр на переднее сиденье и распахивает передо мной заднюю дверцу. Бритая его голова намочена под дождем и блестит в темноте.

Едет он круто, по осевой, хотя шоссе почти пустое — первый час ночи. Дождь льет, не переставая, наплывают из темного неба и исчезают позади рекламные щиты, на горизонте, там, где город, мерцает зарево. Как всегда, когда возвращаешься, все вокруг кажется более цивилизованным, чем выглядело до отъезда, — и на Москву-то не похоже, будто прилетел в очередной европейский город... Только радио напоминает, где ты, — в промежутках между блатными песнями несет какую-то чушь на родном языке, от которого успел немного отвыкнуть. Я прошу выключить и начинаю дремать. Никаких мыслей, никаких забот, дождь, дорога, огни вдалеке... Так бы и ехать.

— Приехали. — Шофер сидит, не оборачиваясь, не делая никакой попытки выйти, вытащить мой кофр, вообще как-то помочь.

Меня со сна познабливает, ноги затекли. С трудом, опираясь на распахнутую до упора дверцу, я выбираюсь из машины.

Дождь лупит, мы остановились на дороге перед воротами — ну, тут шоферу предъявить претензии нельзя, Гена, скорей всего, не дал ему пульта управления, так что завести меня во двор он не может, даже если бы и хотел.

Позади себя я слышу какое-то движение, потом шорох шин и негромкий рык мотора, оглядываюсь — и не верю своим

глазам: мой кофр стоит на мокром асфальте, едва ли не в луже, а «бээмвэ» медленно разворачивается в сторону города. Бригоголового не видно за темными стеклами. Чуть громче взвывает мотор, и машина уже уносится, растворяется в дожде.

Хорош я буду, если не захватил ключ от калитки!.. И ведь, скорей всего, не захватил.

Я вешаю ремень кофра на плечо и осторожно расстегиваю маленькую сумочку, пригнувшись и прикрывая ее собою от дождя. В глубине, под бумагами, лежат ключи, это точно, но есть ли на связке ключ от калитки? Черт его знает, я никогда, насколько помню, не входил через калитку ночью, а запирает обычно все Гена.

Он же включает сигнализацию, и, если он включил ее и на этот раз, меня ждет кошмар, потому что я умею ее выключать только изнутри дома.

Ладно, об этом лучше не думать. В конце концов, объяснюсь с ментами, если приедут, не под дождем же ночевать.

Нет, что же это за сволочь они прислали меня встречать?! Завтра скажу нашему проклятому завхозу, этому Магомету... Впрочем, завтра у меня будут другие разговоры.

Так, вот ключ неизвестно от чего, возможно, он и нужен.

Я рассматриваю связку при слабом свете, падающем откуда-то сверху и сбоку.

И наконец соображаю, что свет падает из-за забора, из окон второго этажа.

До этого я не знал, что выражение «ноги подогнулись от страха» следует понимать буквально.

Нина в Италии, Гена в своем Железнодорожном.

А в моем кабинете горит свет, не очень яркий, значит, включена, скорей всего, настольная лампа... Или торшер возле кресла... И в верхней гостиной горит свет, тоже тусклый... Мерцает сквозь дождь... Нет, пожалуй, там просто открыта дверь и свет проникает из глубины дома... А окна Нининой комнаты выходят на другую сторону... Какая-то тень в окне гостиной... Проплыла, исчезла... Колеблющийся силуэт в окне кабинета...

Боже! Что же это?! Собаки молчат!

Руки дрожат, ключи с глухим звоном падают на землю, я

наклоняюсь, кофр съезжает с плеча, я отшвыриваю его, он мягко ударяется в калитку.

И калитка беззвучно распахивается.

Собаки молчат, вот в чем весь ужас. Убили собак.

Есть ключи. Не выпрямляясь, сую их в карман брюк, маленькая сумка, висящая на запястье, мешает. Я снимаю петлю с руки и прячу сумку за пазуху, в большой внутренний карман, она не лезет, кое-как я запикиваю ее и доверху застегиваю молнию куртки.

Не поднимаясь, на корточках передвигаюсь вбок и выглядываю из-за забора.

Теперь освещен и первый этаж, окна кухни, столовой, большой гостиной, светлое пятно падает на траву и сбоку дома, значит, включили свет в комнате Гены.

Все так же, на корточках, я проскальзываю в калитку и выпрямляюсь уже на фоне темного забора — темное на темном не должно быть видно из дома.

Метров десять до гаража я пробегаю вдоль забора на цыпочках, гравий тихо скрипит под ногами, но этот звук вряд ли слышен там, за окнами, где движутся тени. Сколько их там? Мне все равно, они убили собак, и я уже ничего не хочу, только убить их, возможно, это мое последнее желание в жизни, и не может быть, чтобы мне не удалось выполнить последнее желание.

Я стою за углом гаража, переводя дух. Гаражные ворота никогда не запираются, но может быть, Гена их запер, уезжая на сутки. Тогда все — ключа от этого замка у меня на связке наверняка нет.

Вдруг я соображаю, что забыл сделать первое, что должно было бы прийти в голову, и лихорадочно хватаюсь за телефон. Так, прекрасно. Я не знаю номера нашего поселкового отделения милиции, не знаю, как звонить дежурному, ведь, наверное, есть дежурный по области. Хорошо, есть, в конце концов, известный телефон в Москве, ноль один — это пожарка, ноль два... ноль три — «скорая», значит, ноль два. Надо звонить из гаража, чтобы не услышали они.

Из-за угла надо сделать три шага, теперь потянуть створку ворот на себя. Створка легко поддается, идет без скрипа, Гена — молодец, все у него в порядке. Я пролезаю в образовав-

шуюся узкую щель, ворота позади меня сами ползут, закрываются с тихим стуком, и я остаюсь уже в полнейшей тьме.

Тут же я соображаю, как добыть свет: надо нажать любую кнопку на телефоне, включится подсветка. Но лучше бы сразу попасть на ноль три. Осторожно я ощупываю поверхность с кнопками и выбираю вроде бы нужные. Экранчик вспыхивает зеленым и сообщает мне, что телефон мой не работает. Видимо, за бетонными стенами и железными воротами гаража нет связи. Надо было звонить еще от дороги, но теперь уже поздно.

Остается использовать телефон как фонарик. Нажимая время от времени на кнопки и добывая так немного зеленого света, выставив перед собой руки, я пробираюсь между машинами — обе на месте — к задней стене гаража. Там стоит старый большой сейф, в котором я держу свой полицейский помповый «Ремингтон», давно, как только это стало возможным у нас, купленный черт его знает для чего, просто в качестве красивой, раньше недоступной игрушки. Сейф вопреки всем правилам я не запираю, да от него и ключа нет.

Вот он, вот штурвальчик на дверце, повернуть, так, вот ружье. Очень хорошо, а патроны? И помню ли я, как надо заряжать эту штуку? Вроде бы помню. Патроны должны быть в коробке где-то внизу, я наклоняюсь, светя телефоном, и нахожу картонную коробку сразу. Теперь уж придется все остальное делать в абсолютной темноте, одной рукой не справлюсь.

Минут пять я вожусь с оружием, удивительно, но все удается, во всяком случае, мне кажется, что ружье заряжено. Я передергиваю затвор, его оглушительное клацанье слышно, наверное, не только в доме, но и на километр вокруг, но мне все становится безразлично.

Теперь пусть все будет, как будет. В конце концов, сегодня днем я узнал все самое важное, и уже не важно, чем и когда завершится моя жизнь.

Я прислушиваюсь к себе и не слышу ничего. Ни страха, ни сожалений — пусто.

За Ниной присмотрит Ленька, вот наконец и помиряется.

Куда-то делся телефон, но он мне больше не нужен, я легко нахожу проход между машинами, сильно толкаю ворота, они приоткрываются, и я выхожу во двор.

Льет дождь. Все окна в доме светятся.

Ладно, я готов.

Я останавливаюсь сразу перед гаражными воротами, чтобы успеть спрятаться за железной створкой.

И стреляю в небо.

Так, передернуть затвор, как они это делают в кино, одной рукой, так не получится, надо тянуть второй, ага, гильза вылетает и падает в траву, отлично, я снова готов.

В какое окно целиться? Или ждать, как они отреагируют на первый выстрел?

Разлетается стекло в окне кабинета, и я вижу белые с оранжевым вспышки в раме этого окна, слышу негромкие хлопки, один, второй, третий, я стою, забыв про ружье, ствол его смотрит в небо.

Два удара в левую ногу над коленом. Будто налетел на острый штырь. Боль входит в ногу и растекается по всему телу, вверх, она перехватывает глотку, я задыхаюсь и падаю, ружье отлетает в сторону.

Странно, я лежу на земле, но у меня кружится голова и пустеет в животе, будто я смотрю вниз с какой-то жуткой высоты.

От дома доносится крик, кричит женщина.

Нина.

Я поднимаю голову и вижу свою жену, стоящую в проеме разбитого окна, осколки стекла сверкают, свет стал ярче, и я отчетливо вижу ее лицо.

И ничего больше. Тишина, только шуршит дождь.

Я ползу по лужам к дому, потом встаю, делаю несколько шагов. Я могу идти, нога почти не болит, только немеет, и я не могу ее сгибать. Перед крыльцом я оступаю и снова падаю, вползаю по ступенькам, толкаю дверь, ползу по полу холла. В ярком свете я вижу, как быстро намокает левая штанина, на ковре после меня остается темный широкий след. Голова кружится и тошнит.

Нина стоит на верхней площадке лестницы и смотрит на меня. Ее правая рука висит вдоль тела, как мертвая.

Принеси полотенце перетянуть ногу, прошу я ее. Она уходит, я подползаю к лестнице и сажусь, опираясь спиной о нижнюю ступеньку. Что-то привлекает мое внимание, но я

не понимаю, что. Что-то на лестнице... Я поворачиваю голову, насколько могу, и вижу валяющийся на третьей ступеньке снизу пистолет. Откуда он взялся в нашем доме, этот немного облезлый «Макаров»?

Нина спускается по лестнице и садится рядом со мною, в левой руке у нее большая белая тряпка, правая висит неподвижно. Я не нашла полотенце, говорит она, это моя ночная рубашка, но тебе придется перевязывать самому, у меня не действует правая рука, что-то случилось от стрельбы. Не двигай ею и придерживай левой, говорю я, чтобы она не двигалась, может быть, перелом. Это от отдачи, говорит она, я уже забыла, как надо стрелять. А стреляешь метко, говорю я, пытаясь перетянуть ногу рубашкой, но у меня не хватает сил, и от каждой попытки силы убывают. Ты разве не помнишь, говорит она, в Заячьей Пади меня отец... Бурлаков брал с собою на стрельбище, учил, я стреляла из мелкашки лучше всех в классе.

Наконец мне удастся крепко перетянуть ногу, в этот момент боль делается невыносимой, и я на секунду теряю сознание.

Потом мы сидим с Ниной рядом и ждем, когда приедут милиция, «скорая» и Ленька, Нине удалось кое-как справиться с телефоном одной рукой. Тряпка на моей ноге промокла бурым, но понемногу кровь вроде бы останавливается.

Мы сидим и разговариваем впервые за все эти проклятые годы.

А телефон твой, почему он отвечает по-итальянски? Я забыла его в гостинице, я прилетела вчера, даже хотела тебе позвонить и сказать, но, когда собралась, Гена уже уехал, а я твоего номера не помню, в моем мобильном он записан, а здесь я не нашла и решила ждать, а вечером начали подъезжать какие-то машины, представляешь, одна за другой, стоят у ворот и уезжают, очень страшно. Но почему ты стреляла в меня? Ну, я же говорю, подъехала незнакомая машина, какой-то человек крадется. И собаки, понимаешь, собаки не узнали тебя, они спрятались в моей комнате, как от чужого, помнишь, когда приходил ветеринар, мы их не могли найти. А пистолет-то откуда? Я взяла его в Гениной комнате, я подумала, что он мог его оставить, спрятать там где-нибудь, не бу-

дет же он ездить с пистолетом в электричке, и точно, кобура и все эти ремни, они лежали под его матрацем, но я сразу нашла.

Она нянчит левой свою правую руку и постанывает, подвывает между словами, а я мучаюсь от тошноты и время от времени уплываю куда-то, выключаюсь на мгновение, но мы не прерываем разговора.

Правда, хорошо, что теперь мы можем разговаривать? А то вырубилась бы оба. Знаешь, у меня новость: у нас теперь нет денег, представь себе, ни копейки, все счета пусты, можешь себе представить? Не могу, как это случилось, ты точно знаешь или просто предполагаешь? Нет, все точно, так бывает, хакер взламывает счет ну, прямо со своего компьютера, сидит где-нибудь здесь, в Москве, и взламывает мой цюрихский счет, или женеvский, и все деньги мгновенно уходят на какой-нибудь другой счет, с него на третий, и ничего не найдешь, их сразу снимают, промежуточные счета закрывают, и все. Там был один парень, и одна немка мне все объяснила. Потом я тебе все расскажу. Понимаешь, просто взломали счета, а с банков ничего не получишь, в суде они выиграют, швейцарские судьи никогда не станут на сторону русского, потому что мы все мафия, понимаешь? Нет, я ничего не понимаю, что же теперь будет? На что мы будем жить? Не бойся, будем как-нибудь жить. Я уже почти придумал, как. Понимаешь, я уверен, что счета Игоря тоже вскрыли. И я решил вот что: пусть Киреевы сдают свою здешнюю квартиру и едут жить в Прагу, в нашу. Ты не против? А сюда, в дом, пусть переезжают Ленька с Ирой, они и за собаками присмотрят. А нам с тобой место я тоже придумал, только ты не возражай сразу. Я и не возражаю, ты разве не знаешь, что я могу жить где угодно, ты разве не помнишь?

Я киваю, конечно, я все помню, я киваю, стараюсь лучше разглядеть ее, самую красивую девочку в классе. Седые ее волосы против света отливают золотым. Как раньше. Она изменилась меньше, чем я.

Кружится голова, совсем онемела нога, я хочу сесть поудобнее, но мне не удастся, я сползаю и ложусь боком на ковер, вот и хорошо, теперь можно заснуть, и боль пройдет.

Но тут раздается грохот, распаивается дверь, и меня окру-

жают ноги в мокрых и грязных ботинках, ага, «скорая» и милиция приехали вместе, а вот и Ленька, держись, дед, говорит он, все обошлось, обе пули в мякоть, сейчас в больницу, и все будет в порядке, сердце-то как, нормально сердце, отвечаю я, а что у матери с рукой, перелом, нет, просто локоть выбила, ну, вы даете, родители, Ленька качает головой, чуть друг друга не постреляли, ну, вы даете.

Меня на носилках впихивают в «уазик» «скорой», рядом садится девушка в белом халате. А жена, где моя жена, спрашиваю я, не волнуйтесь, мужчина, говорит медсестра или врач, ее ваш сын повез на своей машине, они вперед нас будут. Я хочу спросить, значат ли ее слова, что нас везут в одну больницу, но тут «уазик» дергается, начинает разворачиваться, я чуть не сваливаюсь набок со своих носилок, боль огнем обжигает ногу, и я теряю сознание, а когда прихожу в себя от нашатыря, который сует мне в лицо медсестра, то уже не помню своего вопроса и думаю только о боли.

Остается только боль, думаю я. Боль остается, пока жив. Потом я не то снова теряю сознание, не то засыпаю.

Эпилог. Дом престарелых

Весь день шел мелкий сухой снег, к вечеру он засыпал все тонким ровным слоем. Вечером Салтыков провожает сына и невестку, приезжающих каждую неделю. Накинув теплую куртку поверх тренировочного костюма, в котором ходит всегда, Салтыков стоит в дверях корпуса и, щурясь в белесую, словно вылинявшую от снега темноту, смотрит, как молодые садятся в машину, как едва различимо машут ему из-за стекол, как машина разворачивается, оставляя грязный след на белом...

Потом Салтыков возвращается в вестибюль, пересекает его, тяжело опираясь на палку, — к ночи нога начинает ныть, садится на диван в дальнем углу. В вестибюле по вечернему позднему времени потушен почти весь свет, только торшер рядом с диваном, на котором устроился Салтыков, включен. Здесь можно рассмотреть конверт, который сын, вспомнив в последнюю минуту, сунул в карман куртки, можно даже прочитать письмо, если не забыл в палате очки... Очки на месте, висят на груди, Салтыков долго примащивается, чтобы свет падал, как надо, потом долго рассматривает конверт. Марка американская, обратный адрес тоже американский, но он ничего не говорит Салтыкову. А русский адрес бывшей салтыковской конторы написан без ошибок, но почерк явно не русский. С трудом оторвав узкую полоску с краю конверта, Салтыков вынимает листок, разворачивает его и начинает читать.

«Уважаемый господин Михаил Салтыков, это письмо Вы получаете от сына Вашей старой знакомой Татьяны Беркович. Я сожалею, сообщая Вам, что мама умерла от сердечной атаки...»

Салтыков не дочитывает письма до конца, складывает листок, прячет его в конверт и аккуратно засовывает конверт в карман куртки. Сбрасывает очки, повисающие на груди, и, изо всех сил опираясь на палку, встает с продавленного дивана, снова пересекает вестибюль, возвращаясь к входным дверям. Перед тем как выйти наружу, натягивает, перекладывая палку из руки в руку, куртку в рукава и даже застегивает ее наглухо. Охранник, сидящий рядом с маленькой тумбочкой справа от дверей, смотрит на старика внимательно, но ничего не говорит. Пройдусь перед сном, не запирайте пока, молодой человек, хрипло просит Салтыков и выходит под мелкий снег, все сыплющийся с черного неба.

Длинная прямая аллея между огромными елями, верхушки которых растворяются в темной вышине, ведет к воротам. Идти до них хромоту старому человеку не меньше десяти минут.

По дороге Салтыков думает о письме из Америки и о том телефонном звонке, о котором рассказал сегодня сын. Звонила какая-то женщина, сказала, что звонит из Австралии, действительно, чувствовалось, что звонит черт его знает откуда, — слова наталкивались одно на другое, не успевая одолевая расстояние. Говорила странно: например, поинтересовалась, что у Михаила Леонидовича с ногой, а когда Ленька ответил, что ничего страшного, последствия ранений минимальные, охнула — как, он был ранен?! Ленька предложил ей номер мобильного, который есть у отца в палате, но она, ничего на это не ответив, отключилась.

Думая о письме и телефонном звонке, Салтыков прислушивается к себе. Что-то дергается внутри, когда в голове проплывает слово «Австралия», он даже делает несколько произвольно быстрых шагов, сильно припадая на больную ногу, словно хочет бежать к воротам и за ворота, в белесую мглу, до самой Австралии... Но тут же останавливается, оглядывается, будто проверяя, не видел ли кто его попытки, и соображает, что дернулось просто сердце, устал за день, надо будет принять перед сном то новое лекарство, а то к утру точно начнется аритмия.

У ворот Салтыков останавливается, достает из кармана конверт и старательно рвет письмо — надвое, еще раз надвое, в мелкие клочки, и, сложив аккуратно пачечкой обрывки, втыкает их глубоко в снег, засыпавший до краев урну. Вот и нет Тани.

А Австралия далеко, да и кончилась давно Австралия, только сердце все еще сбивается с ритма от этого слова.

На обратном пути Салтыков думает о том, о чем думает всегда, хотя старается не думать, но разве можно заставить себя не вспоминать жизнь, которая была? И никакая, даже самая пронизательная немка ничего не может с этим поделаться.

Салтыков думает о доносах, о пропавшем кладе, о растворившихся без следа деньгах... Бог испытывал, думает он, ну, хорошо, пусть Бог, но интересно, выдержал я это испытание или нет? Надеюсь, что выдержал. Ведь жив до сих пор, значит...

Салтыков вспоминает людей — убитого друга, и еще живого друга, который, наверное, будет завтра звонить из Праги и болтать по телефону чушь, тратя дорогие минуты, и человека по имени Рустэм, который уже, наверное, давно забыл о Салтыкове, у него много новых проблем там, где он теперь, и совсем посторонних ему молодых людей, с которыми несколько лет назад было связано все самое важное, как казалось тогда, в его жизни, и которые теперь исчезли неведомо где, Рома, Гарик и еще один, как же его звали, Коля, Толя, не имеет значения, и эта странная женщина, Вера, которая вдруг явилась месяца три назад проводить, нелепо одетая пожилая женщина, живет на сбережения, жаловалась на одиночество...

Всех и не вспомнишь. Вот был молчаливый человек, каждый день видел Салтыков перед собою его спину, по которой ползала вправо-влево косица, тихо гудел мотор, тихо пело, подмигивая зеленым огнем, радио, потом ужинали вдвоем — где теперь этот человек? Бог его знает, так и не вернулся из своего Железнодорожного, исчез, страна большая.

Салтыков отвлекается от воспоминаний, представляя себе, как через полчаса Ленька и Ира подъедут к воротам, ворота поползут вбок, а собаки в доме будут разрываться счастливым лаем, потом их покормят, выпустят во двор на пять минут, вернувшись, они нанесут на ногах и животах снега, топя когтями, поднимутся по лестнице, три старые ожиревшие таксы, и улягутся спать там, где спят всегда, — возле кресла в кабинете...

Интересно, кто еще жив из нашего класса, вдруг приходит в голову Салтыкову. Имена уже все забылись... Володька Сарайкин, Толька... какая-то армянская фамилия, и сестра у него была... Нет, одноклассников не вспомнить. А кто помнится? Вот Витька Головачев, он-то жив, наверное, они там, в Германии, долго живут... Непонятно откуда всплывает в память университетская активист-

ка, пытавшаяся когда-то спасти Салтыкова Михаила от исключения... сколько же лет прошло?.. сорок или больше... Да, много народу забылось, а ведь были, жизнь от них зависела, судьба...

Отца и мать Салтыков не вспоминает никогда, но они все равно снятся ему каждую ночь. Чаще всего снится, будто он, Салтыков, приходит навещать родителей, родители живут вдвоем в маленькой чистой комнате, в той самой, в которой на самом деле теперь живет Салтыков, и во сне он знает, что это его комната, но не удивляется, что живут в ней родители. Разговаривать с ними не о чем, они и так все знают, и Салтыков томится, ожидая, когда сон кончится. Повидались — и хватит пока...

Перед дверью в корпус Салтыков долго вытирает ноги и концом палки счищает снег с боков высоких ботинок, которые надевает для прогулок, никогда не зашнуровывая доверху. Пожелав охраннику спокойной ночи, сворачивает из вестибюля в правый коридор и медленно, стараясь, насколько получается, не топтать и не стучать палкой, идет к своей палате.

Там за столом, придвинутым вплотную к подоконнику, сидит, не зажигая света, его жена. За окном снег сверкает под фонарем, и сверкает промерзшее стекло, на фоне которого чернеет женский профиль. Когда-то в Одессе ходил по пляжу веселый юноша, вырезывал профили из черной бумаги, наклеивал их на белые картонки и продавал, беря по полтиннику за портрет. Салтыков отдал ему полтинник и долго разглядывал профиль своей молодой красивой жены, а она смотрела на свое изображение недоверчиво и говорила, что не может быть у нее такой курносый нос. А нос-то остался таким же, с чуть задранным кверху кончиком, усмехается в темноте Салтыков.

Сев на свою постель, через стол от жены, Салтыков находит рукой ее руку, лежащую на столе. Женская кисть еле заметно напрягается, слабо сжимается в маленький кулак, но Салтыков не убирает руки, а плотнее накрывает этот сухой кулачок ладонью, обнимает его пальцами, прячет весь и сидит так, стараясь не шевелиться.

Даже если она знала, в кого целится, это не имеет значения, думает Салтыков. Ничего уже не имеет значения, просто сидим вместе, глядя в ночь, вот и все. Хорошая была жизнь.

май 2002 — июнь 2003

Оглавление

Пролог. Дом престарелых	7
Книга первая	9
Книга вторая	169
Книга третья	319
Эпилог. Дом престарелых	475

Александр Абрамович
Кабаков
ВСЁ ПОПРАВИМО

Редактор
Е.Д.Шубина

Художественный редактор
И.А.Кирсанова

Технолог
С.С.Басипова

Оператор компьютерной верстки
Е.В.Путерброт

Операторы компьютерной
верстки переплета
В.М.Драновский,
С.Б.Мжельский

Корректоры
А.И.Лисовская,
С.В.Цыганова

Подписано в печать 25.05.2005.
Формат 84x108 /32.
Тираж 5 000 экз.
Заказ № 1129.

ЗАО «Вагриус»
107150, Москва, ул. Ивантеевская, д.4, корп.1

Е-mail: vagrius@vagrius.com
Информация об издательстве в Интернете:
<http://www.vagrius.com>;
<http://www.vagrius.ru>

Отпечатано в ОАО
“Тульская типография”.
300600, г. Тула, пр. Ленина,109 .

Александр Кабаков – автор прогремевшего
в конце прошлого века бестселлера
«Невозвращенец», серии повестей
о «похождениях настоящего мужчины
в Москве и других невероятных местах»
и недавно появившихся грустных и смешных
«Московских сказок».

«Всё поправимо» – роман подведения
итогов. Его герой – зрелый человек, заново
переживающий всю свою жизнь:
от сталинского детства в маленьком городке
и «оттепельной» (стиляжбей) юности
в Москве до наших дней, где сладость свободы
тесно переплелась с разочарованием, ложью,
порушенной дружбой и горечью измен...

Роман «Всё поправимо» удостоен

ПРЕМИИ имени АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА

Kabakov, Aleksandr

Vse popravimo : khroniki chastnoi zhizni



7715959 Distributed by A2088523

EAST VIEW PUBLICATIONS INC.

eastview@eastview.com

Fax: 7631559-2931

www.eastview.com